

В. А. Ачкасов

Сравнительная политология

*Рекомендовано УМО по классическому университетскому
образованию в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки ВПО
030200 — «Политология»*



АСПЕКТ ПРЕСС

Москва

2011

УДК 32.001
ББК 66.0
A97

Рецензенты:
доктор полит. наук, профессор *И. Н. Барыгин*
доктор философ. наук, профессор *В. А. Гуроров*

Ачкасов В. А.

A97 Сравнительная политология: Учебник / В. А. Ачкасов. — М.: Аспект Пресс, 2011. — 400 с.— (Для бакалавров).

ISBN 978–5–7567–0596–6

Учебник представляет собой развернутые лекции по всем основным темам учебного курса «Сравнительная политология». При подготовке учебника использованы новейшие исследования, материалы и теоретические разработки ведущих отечественных и зарубежных политологов-компаративистов. Издание соответствует требованиям нового государственного образовательного стандарта и базовой федеральной программе по дисциплине «Политология».

Для бакалавров, обучающихся по направлению «Политология». Учебник может быть использован преподавателями для подготовки учебных курсов, спецкурсов и факультативов по актуальным проблемам политической науки.

УДК 32.001
ББК 66.0

ISBN 978–5–7567–0596–6

© Ачкасов В. А., 2011
© Оформление. ЗАО Издательство
«Аспект Пресс», 2011

Все учебники издательства «Аспект Пресс» на сайте
www.aspectpress.ru

Оглавление

Введение. Развитие сравнительной политологии в современной России	5
Глава 1. История становления сравнительной политологии	10
§ 1. Основные этапы становления сравнительной политологии	10
§ 2. Специфика и границы сравнительной политической науки	22
§ 3. Основные стратегии преодоления методологических сложностей в сравнительных исследованиях	25
Глава 2. Теория политических систем как теоретическая парадигма сравнительной политологии	38
§ 1. Роль теории политических систем в сравнительном анализе	38
§ 2. Теория политических систем Д. Истона: проблема политической стабильности	41
Глава 3. Структурный функционализм и принцип функциональной эквивалентности	50
§ 1. Структура и функции политической системы	50
§ 2. Принцип функциональной эквивалентности в сравнительных исследованиях	55
Глава 4. Теория рационального/общественного выбора в сравнительной политологии	61
§ 1. Методологический кризис сравнительной политологии 1960–1970-х годов и пути его преодоления	61
§ 2. Принцип методологического индивидуализма и теория рационального выбора	64
§ 3. Стратегии политического поведения (теория игр)	72
Глава 5. Неоинституционализм в компаративном политическом анализе	85
§ 1. Возникновение нового институционализма	85
§ 2. Основополагающие принципы неоинституционализма	98
§ 3. Основные течения в неоинституционализме	101
Глава 6. Изучение политических режимов в сравнительной политологии	127
§ 1. Проблемы типологизации политических режимов	127
§ 2. Тоталитарный режим — теоретическая концепция или идеологический конструкт	133
§ 3. Типологии авторитарных режимов	140
Глава 7. Изучение демократических режимов в сравнительной политологии	147
§ 1. Критерии современной либеральной демократии	147
§ 2. Современные концепции и типологии демократии	152

Глава 8. Политическая культура в сравнительных исследованиях	163
§ 1. Концепт политической культуры	163
§ 2. Развитие теории политической культуры: проблемы применения для сравнительного анализа	167
§ 3. Сравнительное исследование политических субкультур	175
Глава 9. Сравнительный национализм	179
§ 1. Национализм — поливариантный и амбивалентный феномен	179
§ 2. Типологический анализ национализма	187
Глава 10. Проблемы демократического транзита в сравнительной перспективе	197
§ 1. «Третья волна демократизации» и структурные (социально-экономические, политические, культурные) предпосылки перехода к демократии	197
§ 2. Демократический транзит и типологии переходных политических систем	213
§ 3. Элитистские теории демократического транзита	224
§ 4. Институциональный подход в транзитологии	250
Глава 11. Политические партии как объект сравнительного исследования	264
§ 1. Место и роль политических партий в становлении и функционировании либеральной демократии	264
§ 2. «Политическая партия» — определение понятия	278
§ 3. Типологии политических партий	282
Глава 12. Партийные системы в сравнительном измерении	303
§ 1. Свойства партийных систем	303
§ 2. Типологии партийных систем	306
Глава 13. Избирательные системы в компаративных исследованиях	314
§ 1. Выборы как инструмент политического представительства	314
§ 2. Сравнение мажоритарной и пропорциональной систем	324
§ 3. Модификации двух основных избирательных моделей	338
§ 4. Эволюция моделей электорального поведения	344
§ 5. Референдум как форма «прямой демократии»	351
Глава 14. Организованные группы интересов в сравнительной перспективе	356
§ 1. Корпоратизм и концепции групп интересов	356
§ 2. Типологизация организованных групп интересов	362
§ 3. Лоббизм в сравнительном измерении	365
§ 4. Практика неокорпоратизма и плюрализма	373
Приложение	379
Рекомендуемая литература	382
Библиографический список	390

Введение

Развитие сравнительной политологии в современной России

Сегодня сравнительная политология является ведущей отраслью политической науки. Почти четверть (свыше 24%) всех индивидуальных членов Международной ассоциации политической науки специализируются в области сравнительной политологии. Издается более десятка специализированных журналов по сравнительной политологии, в которых публикуются результаты постоянно ведущихся исследований. Общие и специальные курсы по «*Comparative Politics*» занимают значительное место в учебных планах ведущих университетов мира и пользуются большой популярностью у студентов-политологов.

В отличие от стран Запада в российской политической науке развитие сравнительных исследований еще только начинается. Сегодня российская сравнительная политология уже прошла этап своего становления во многом благодаря освоению методологии и теоретических концептов и принципов западных компаративных исследований. Одной из задач, которую ставили перед собой на этом этапе российские исследователи, было включение российского «случая» в предметное поле мировой политической науки. При этом не следует забывать, что сама политическая наука в нашей стране очень молода, ей немногим более 20 лет.

Конечно, в советском прошлом существовал наш, отечественный вариант «политической науки» — «теория научного коммунизма». Однако ее задачами почти исключительно были оправдание и легитимация существующего политического порядка, а также критика буржуазной политической лженауки. Однако справедливости ради следует оговориться, что в последнее десятилетие существования СССР появился ряд переводных изданий, например, книга польского политолога Е. Вятра «Социология политических отношений» (М., 1979), а также работ отечественных авторов, которые, используя эзопов язык и набор обязательных «ритуальных фраз», тем не менее знакомили научную общественность страны с рядом достижений западной политической науки (работы Э. Я. Баталова, Ф. М. Бурлацкого, А. А. Галкина, К. С. Гаджиева, Ю. А. Замошкина, А. Ю. Мельвиля, А. А. Федосеева, Г. Х. Шахназарова и некоторых других). Характерный пример такого рода работ — книга под редакцией Г. Х. Шахназарова «Современная буржуазная политическая наука: проблемы государства и демократии» (М., 1982).

Сегодня уже нельзя сказать, что российские политологи не знакомы с основными методологиями и методами сравнительного анализа. О становлении и высокой степени востребованности компаративной политической науки в нашей стране в 1990-е годы свидетельствует экспертный опрос, проведенный в 2001 г. журналом «Полис» среди членов российского политологического сообщества с целью выявить наиболее значимые для отечественной политической науки научные направления. Сравнительная политология уверенно заняла первое место в этом рейтинге, значительно опередив ближайших «конкурентов». С той поры политическая наука в России переживает дальнейшую эволюцию, ее специализации стали более выраженными, но сравнительные исследования по-прежнему остаются одними из наиболее востребованных.

Действительно, на сегодняшний день в нашей стране появились достаточно многочисленные публикации по методологиям структурного функционализма, рационального выбора, нового институционализма и др. (работы А. А. Дегтярева, В. Я. Гельмана, Г. В. Голосова, М. В. Ильина, П. В. Панова, С. В. Патрушева, Л. В. Сморгунова и др.). Тем не менее по-прежнему «налицо параллельное существование предметных исследований и работ по методологии и методам (компаративного) анализа», — что констатировал еще в начале 2000-х годов Л. В. Сморгунов. «По-видимому, ситуация постепенно будет меняться. Прошел или проходит этап освоения зарубежного опыта, и российская политическая наука начинает свой собственный путь»¹. Однако за прошедшие годы, к сожалению, изменилось немного, что конечно же имеет свои причины.

Серьезнейшим препятствием, стоящим на пути творческой научно-исследовательской деятельности для абсолютного большинства российских политологов (впрочем, как и для всех гуманитариев), является необеспеченность существования. Поразивший Россию в 1990-е годы глубокий экономический и социальный кризис привел к тому, что государственная поддержка вузов ограничивалась, по существу, жалкими дотациями на мизерную зарплату. Это заставляло преподавателей (а подавляющее большинство российских политологов — преподаватели вузов) искать дополнительные источники заработка, бегать по многочисленным «халтурам», пытаясь хоть как-то выжить. С тех пор практически ничего не изменилось. Поэтому нетрудно понять, почему российские политологические журналы переполнены поверхностными статьями, анализировать которые не представляется никакой возможности, а сравнительные политические исследования единичны (поскольку они требуют не только знаний, но и значительных средств). Зато уже можно себе представить, что происходит с университетской и вузовской политологией после того, как эта важнейшая для развития по-

¹ Сморгун Л. В. Современная сравнительная политология: Учебник. М., 2002. С. 4.

литического образования наука стала в вузах «необязательным» учебным курсом. Вузовская политология постепенно деградирует. Подобная тенденция наметилась уже более десятилетия назад.

Вторая проблема — невостребованность политологических исследований, политической экспертизы и профессиональных политологов. Например, по численности и потенциалу петербургское политологическое сообщество сопоставимо, пожалуй, только с московским. Однако профессиональные политологи в качестве экспертов, консультантов, политехнологов практически невостребованы, их мнение по важнейшим политическим проблемам власть «не слышит». Если в большинстве развитых стран крупнейшие университеты являются теми центрами, в которых проводятся научные исследования и разрабатываются новые политические идеи, оказывающие влияние на политическую элиту, то для современной России более типичным является использование непрофессионалов, ориентирующихся не на объективный анализ, а скорее на конъюнктуру, готовых «научно обосновать» что угодно, лишь бы это гарантировало получение стабильных доходов от весьма сомнительных социологических исследований, политических прогнозов и сверхлояльных комментариев любых решений и действий властей.

Однако вопреки всему российская сравнительная политология «скорее жива, чем мертва». Уже в 1995 г. появился первый отечественный учебник «Сравнительная политология», написанный тогда еще новосибирским политологом Г. В. Голосовым. Уже не менее пятнадцати лет учебный курс «Сравнительная политология» читается на факультетах и отделениях университетов, готовящих политологов. На сегодняшний день издано около десятка учебников и учебных пособий по данной дисциплине, правда, разной степени фундаментальности и с различным уровнем соответствия предмету «Сравнительная политология»¹. Появились и переводы работ ряда ведущих западных политологов-компаративистов (Г. Алмонда, М. Догана, Р. Патнема, Р. Даля, А. Лейпхарта, Г. О’Доннелла, А. Пшеворского, Ч. Тилли, С. Хантингтона, Дж. Хигли, Ф. Шмиттера, Ч. Эндрейна и др.). Так, важным событием в истории российской политической науки в целом и сравнительной политологии в частности стал перевод и публикация фундаментальной работы «Политическая наука: новые направления» под редакцией Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна в 1999 г., научным редактором которой была Е. Б. Шестопа².

¹ Голосов Г. Сравнительная политология: Учебник. СПб., 2001; Сморгунов Л. В. Современная сравнительная политология: Учебник. М., 2002; Ачкасов В. А. Сравнительная политология: Курс лекций. СПб., 2002; Желтов В. В. Сравнительная политология: Учебник. М., 2008; Василенко И. А. Сравнительная политология: Учеб. пособие. М., 2009 и др.

² Десять лет спустя появляется перевод еще одной важной работы, познакомившей российских политологов с современным уровнем развития европейской политической науки: Политическая наука в Западной Европе / Под ред. Х.-Д. Клингеманна. М., 2009 (научным редактором которой также была Е. Б. Шестопа).

Открываются и вузовские кафедры сравнительной политологии. Первой кафедрой России, специализированной в области сравнительных политических исследований, стала, учрежденная в 1998 г., кафедра сравнительной политологии МГИМО (У). «Данное обстоятельство делает кафедру “законодательницей моды” в своей области, позволяет ей активно воздействовать на формирование в России стандарта по сравнительной политологии, ставит в один ряд с признанными в мире центрами изучения сравнительной политологии», — не без гордости пишет на сайте МГИМО (У) ее первый заведующий профессор М. В. Ильин. С 2010 г. МГИМО (У) начал издавать журнал «Сравнительная политика».

Однако на сегодняшний день в стране функционирует всего три кафедры сравнительной политологии: помимо МГИМО (У), в 2005 г. создана кафедра в Российском университете дружбы народов, а в январе 2010 г. — в Московском государственном университете, кроме этого, специализация по сравнительной политологии существует более десяти лет на факультете политологии Санкт-Петербургского государственного университета, и в перспективе здесь также будет создана кафедра. Это очень и очень мало, особенно в сравнении с тенденциями развития политической науки в странах Запада.

Появились и первые фундаментальные сравнительные исследования российских политологов: исследовательский проект «Политический атлас современности», осуществленный учеными МГИМО (У), опыт многомерного статистического анализа политических систем современных государств (рук. проф. А. Ю. Мельвиль) (М., 2007); российские политологи принимали участие в большом международном проекте «Парламентское представительство в Европе. 1848—2000. Парламентское рекрутирование и карьера в одиннадцати европейских странах» (О. В. Гаман-Голутвина и др.).

В 1990-е — начале 2000-х годов отечественными учеными проводятся сравнительные исследования развития парламентов, партий, партийных и избирательных систем на Западе и в посткоммунистических странах (Г. Голосов, В. Гельман, Ю. Игрицкий, А. Кулик, Б. Макаренко, Е. Мелешкина, Л. Сморгунов, Е. Спасский, К. Холодковский, П. Федосов, Ю. Шевченко и др.). Развиваются отечественная сравнительная регионалистика (В. Гельман, И. Барыгин, И. Бусыгина, В. Ковалев, С. Рыженков, Р. Туровский и др.), сравнительные исследования политических культур (Э. Баталов, К. Гаджиев, В. Гуроров, И. Глебова, Ю. Пивоваров, В. Рукавишников, А. Соловьев и др.), национализма (В. Ачкасов, В. Малахов, О. Малинова, А. Миллер, В. Тишков и др.), политических систем и политических режимов (А. Воскресенский, М. Ильин, О. Зазнаев, Н. Лапина, А. Медушевский, А. Салмин, Л. Сморгунов, А. Цыганков и др.), политических элит (О. Гаман-Голутвина, А. Дука, В. Ледяев, В. Мохов, С. Перегудов, С. Пшизова, А. Чирикова

и др.), федерализма (В. Ачкасов, А. Захаров, М. Миронюк, М. Фарукшин, В. Филиппов и др.). В силу того что в 1990-е годы Россия в очередной раз переживает радикальные социальные трансформации, серьезное внимание российских исследователей привлекает транзитология — одна из ведущих отраслей сравнительной политологии, изучающая политические преобразования, становление властных режимов и политических институтов в различных частях мира (Г. Ванштейн, В. Гельман, Г. Голосов, Б. Капустин, В. Лапкин, А. Мельвиль, В. Сергеев, А. Соловьев, П. Панов, С. Патрушев, Л. Шевцова и др.).

Этот список конечно же можно было бы продолжить. Однако, несмотря на эти действительные успехи, российская политическая компаративистика пока серьезно отстает от западных аналогов, поэтому проблема освоения мирового опыта сравнительных политических исследований, их теоретико-методологических основ стоит по-прежнему остро (особенно за пределами российских «столиц» — Москвы и Санкт-Петербурга). Определенную отдачу в деле актуализации наиболее важных тем этой субдисциплины политической науки приносят усилия «Исследовательского комитета по сравнительной политологии» Российской ассоциации политической науки (РАПН). Периодически проводятся методологические семинары по сравнительным исследованиям в политической науке в Европейском университете в Санкт-Петербурге... Однако «узок круг революционеров» и все так же «далеки они от народа». Поэтому одной из важнейших задач по-прежнему является популяризация сравнительной политологии, с тем чтобы она не развивалась в нашей стране в рамках тупиковой модели «догоняющего развития», а уже «здесь и сейчас» использовала новейшие методологические подходы, исследовательские техники и разработки. С некоторыми из них знакомит данный учебник.

В заключение — еще несколько необходимых замечаний. Прежде всего, следует объяснить, почему в тексте почти полностью отсутствуют библиографические справки. Дело в том, что при работе над учебником использовалось большое количество источников. Ссылки на каждый из них непосредственно в тексте учебника сделали бы его очень неудобным для восприятия. Однако полностью убрать справочно-библиографический аппарат было бы с научной и этической точки зрения некорректно. Поэтому, наряду со списком рекомендованной литературы для каждой главы, в конце учебника есть и библиографический список, в который включены те книги и статьи, которые либо цитируются, либо упоминаются в тексте. И хотя этот список достаточно объемный, он не может претендовать на роль сколько-нибудь полной библиографии работ по сравнительной политологии. Такую задачу автор перед собой не ставил, к тому же это потребовало бы серьезных дополнительных усилий.

Глава 1

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ

1. Основные этапы становления сравнительной политологии
 2. Специфика и границы сравнительной политической науки
 3. Основные стратегии преодоления методологических сложностей в сравнительных исследованиях
-

§ 1. Основные этапы становления сравнительной политологии

Сравнительная политология имеет длительную предысторию уже потому, что невозможно мыслить не сравнивая. Тем более без сравнения невозможны ни научная мысль, ни научное исследование. Даже исследователь, «который пожелает описать события на отдаленном острове, не сумеет обойтись без понятия “не-островного”, на фоне которого легче понять своеобразное, собственно “островное” в происходящих там процессах», — отмечает известный немецкий историк *Э. Нольте*. При этом сами понятия, употребляемые при сравнении — «сходство» и «различие», весьма относительны. Можно сказать, что никакое сравнение невозможно, если одновременно не присутствуют сходные черты и различия сравниваемых объектов. Невозможно сравнивать абсолютно одинаковые объекты, равным же образом нельзя сравнить полностью несовместимые, взаимоисключающие объекты. Никакие две страны (региона), их политические системы не могут быть одинаковыми во всем, в то же время они всегда имеют что-то общее, их объединяющее. Поэтому сравнение всегда происходит в той точке, где сходство пересекается с различием. Все сравнения построены на аналогиях, но, в то же время, все сравнения в определенном смысле построены и на противопоставлении. Продолжая эту мысль, можно предположить, что все социальные и политические исследования в той или иной степени носят сравнительный характер. По мнению американского политолога-компаративиста *А. Лейнхарта*, сравнительный метод — «это метод обнаружения эмпирических связей между переменными величинами, а

не метод измерения», т.е. сравнительный метод основывается не на количественном, а на качественном анализе и в этом смысле является не узким, специализированным приемом, а рассчитан на широкое и общее исследование. Сравнительный метод позволяет нам сопоставить различные политические системы, их элементы и характеристики. Использование кросснационального анализа позволяет исследователю не останавливаться только на описании, например, российской политической системы, а перейти к ответам на более фундаментальные вопросы: выявить и объяснить важнейшие причинные связи в системе.

Как пишет индийский политолог *Парматта Шаран*, «несмотря на то что изучение сравнительной политологии приобрело особое значение после Второй мировой войны... сама дисциплина прошла достаточно долгий путь развития... включающий три этапа: простейший, усложненный и современный». По его мнению, простейший этап развития сравнительной политологии охватывает период от античности до Первой мировой войны, второй этап «укладывается» между двумя мировыми войнами, современный же начинается с конца Второй мировой войны. Собственно только на современном этапе и можно по праву говорить о сравнительной политологии как научной субдисциплине, специфика которой выражается прежде всего в ее **методе**.

Российские политологи *М. В. Ильин* и *Л. В. Сморгун* предлагают несколько отличную периодизацию становления и развития сравнительной политологии:

- 1) становление сравнительной политологии как самостоятельной отрасли знания (конец XIX в.);
- 2) накопление потенциала — «традиционная сравнительная политология» (первая половина XX в.);
- 3) обновление и экспансия — «новая сравнительная политология» (с начала 50-х по конец 70-х годов XX в.);
- 4) кризис и отпочкование субдисциплин — «плюралистическая сравнительная политология» (с середины 70-х годов XX в. по настоящее время).

Тем не менее вклад классиков философской и социально-политической мысли в развитие компаративной политической науки и сравнительного метода несомненен.

Действительно, уже в начальный *классический* период развития политического знания достаточно широко применяются элементы сравнительного анализа. Так, при построении теоретических проектов идеального государства *Платон* и многие его последователи на этом пути использовали простейшие элементы логического моделирования

политического устройства, отталкиваясь в конструировании идеала от наличного политического опыта.

В свою очередь аристотелевская критика платоновского «Государства» послужила для ученика Платона исходной точкой развития собственно политического учения, в котором параллельно присутствуют две тенденции — тенденция к нормативному освоению политической действительности и тенденция к эмпирическому анализу реальных форм государственного устройства посредством изучения фактического материала. При этом Аристотель, выясняя общие и специфические характеристики известных ему политических образований (городов-государств — полисов), опирался на синхронные и диахронные методы и анализировал в сравнительном ключе фактический материал, содержащийся в созданных при его участии ста пятидесяти восьми описаниях греческих и «варварских» конституций, заложив их сравнительным анализом в «Политике» основу современной политической компаративистики. Именно он создал одну из первых типологий форм политического устройства, которая благодаря ее логической стройности и классической простоте до сих пор служит компаративистам образцом для подражания.

Древнегреческий историк *Полибий* в своей «Всемирной истории» прибегает к сравнению политического устройства ряда городов-государств (Афины, Спарта, Карфаген, Рим) и отмечает, что все формы организации государства неустойчивы, а их изменение носит циклический характер. Однако Рим, согласно Полибию, доказал, что возможен непрерывный рост размеров и мощи государства при сохранении политической стабильности. Причину этого он увидел в смешанной форме государственного правления Рима.

Средневековая политическая мысль, как известно, питалась мудростью древних. *Плутарх*, *Цицерон* и *Полибий* в период господства схоластики, как и вновь открытый в XIII в. Аристотель и его «Политика», были непрекаемыми авторитетами, отсюда постоянные исторические параллели и сравнения наличного политического настоящего с античным прошлым.

Одним из первых эмпирически ориентированных мыслителей может быть по праву назван *Никколло Макиавелли*, построивший свое описание модели эффективного государства и стиля политического лидерства на основе наблюдения и историко-сравнительного анализа материалов по политическому развитию государств Апеннинского полуострова и Западной Европы в целом. Сравнение исторических фактов позволило Макиавелли не только проанализировать причины возникновения и упадка политических институтов, но и обосновать свой важнейший тезис о не-

изменной природе человека, согласно которому «люди не умеют быть ни достойно преступными, ни совершенно хорошими».

Значительным вкладом в становление этой новой научной традиции явилось и учение другого выдающегося политического мыслителя Возрождения — французского юриста, публициста и политического деятеля *Жана Бодена* (1530—1596). В своем главном произведении «Шесть книг о государстве» (1577) он первым в истории политической мысли дал толкование суверенитета как важнейшего признака государства.

Отвергая аристотелевскую концепцию возникновения государства путем постепенного объединения нескольких семей в селение, а селений — в полис, Боден утверждает, что государство произошло из насилия: сильнейшие, победив слабейших, стали господами. Сходство между семьей и государством состоит лишь в обладании авторитетом: если в семье это — власть отца семейства, возникшая изначально из почитания старших, то в государстве авторитет, основанный не на инстинкте, а на силе, называется суверенитетом.

Суверенитет — это высшая власть над обществом, не ограниченная законом.

Суверенитет вечен и неделим, а его существенными признаками является власть издавать и изменять законы без чьего-либо согласия; а также право суда в последней инстанции; право войны и мира; право чеканки монеты и др. Будучи постоянным атрибутом власти, суверенитет принадлежит правящей в данный момент королевской семье и должен передаваться по праву наследования. Поэтому узурпатор или бунтарь не могут стать легитимными суверенами и требовать подчинения у общества. Таким образом, ратуя за твердый порядок престолонаследия, французский политический мыслитель разрабатывал теорию законного лидерства, опирающегося на традицию. Человеческий закон, по Бодену, основывается на универсальных принципах — принципах справедливости, которые вместе с тем не могут применяться непосредственно. Законы, как и политические учреждения, должны сообразовываться с различием народов, разнообразием природы, нравов и общественного быта людей. Тем самым Ж. Боден явился предшественником не только *Ш.-Л. Монтескье* и *Э. Берка*, но и исторической школы права.

Несколько позднее метод исторического сравнения используется для сравнительного описания политических режимов Англии и Франции XV в. и обоснования необходимости превращения парламента в средство усиления королевской власти английским политическим деятелем

Дж. Фортескью, а в XVIII в. — французским мыслителем Ш.-Л. Монтескье, отметившим, в частности, преимущества английской монархии перед более архаичной — французской. Автор труда «О духе законов», поставивший в образец всем народам, ищущим свободы, политические порядки Англии, в то же время издает трактат «О величии и падении Рима», в котором сравнивает римский политический строй с современными ему европейскими и делает вывод о том, что именно соперничество и баланс интересов социальных классов позволяют сформировать политический порядок, которому присуща свобода. Монтескье защищает тезис, согласно которому невозможно выделить наилучшую форму государства вообще, ибо защищать преимущества республики перед монархией бесполезно без предварительного ответа на вопросы: когда, где и для кого? По его мнению, на выбор формы правления и характер законов оказывает влияние целый ряд факторов: физические свойства страны, географические и климатические условия, а также образ жизни, нравы, религия и др. Так, Монтескье полагал, что небольшие государства должны быть республиками, государства средней величины — монархиями, а большие государства — деспотиями.

Он различает три формы правления: монархия, республика (демократическая или аристократическая) и деспотия (правление, где отсутствуют политическая свобода и законы), подчеркивая, что государства следует различать не только по внешним проявлениям, но прежде всего в соответствии с доминирующим принципом (т.е. нравственным началом), который они выражают и разрушение которого ведет к гибели государства.

Можно вспомнить, что в XVIII в. формируется интеллектуальная традиция, ставшая основой популярной в современных сравнительных исследованиях теории рационального выбора. Речь идет о шотландской философии нравственности *Д. Юма*, *А. Смита* и *А. Фергюссона*, впервые предложившей последовательно индивидуалистическую концепцию рационального поведения и подтвердившей ее плодотворность в объяснении общественных явлений¹.

Качественный сравнительный анализ уже очень широко применяется в XIX в., когда появляются работы *А. де Токвиля* «Демократия в

¹ Так, в эссе «О независимости парламента» Д. Юм писал: «Политические авторы утвердили в качестве максимы, что, задумывая любую систему правления и наделяя ее конституционными сдержками и ограничениями, следует исходить из того, что каждый человек — негодяй и **во всех своих действиях не преследует никаких других целей, кроме личного интереса** (выделено мной. — *Авт.*) Мы должны управлять человеком, используя этот интерес, и с помощью этого интереса, вопреки ненасытной алчности и тщеславию, привести его к сотрудничеству для достижения общего блага... К этому можно до-

Америке», Дж. С. Милля «Система логики», К. Маркса «Капитал» и др. В этих трудах широко используется эмпирический материал (проводятся параллели и сравнения между европейскими государствами, формами правления в Старом и Новом Свете, осуществляются кросстемпоральные сравнения и т.д.). Отмечая эти обстоятельства, Раймон Арон писал, что «Токвиль выступает по преимуществу как социолог-компаративист, стремящийся путем сопоставления разных обществ, принадлежащих к одному и тому же типу, выявить в них значительное», а В. И. Ленин замечал, по поводу Марксова «Капитала», что тот построен на анализе «Монблана фактов».

Значение сравнительного метода хорошо осознавали «отцы-основатели» социологии: О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Дж. С. Милль, рассматривая его в качестве наилучшей замены экспериментального метода в социально-политических науках. Так, Э. Дюркгейм писал в работе «Принципы социологического метода»:

«Когда... создание фактов от нас не зависит и мы можем сравнивать лишь факты, возникшие самопроизвольно, тогда употребляемый метод является косвенно экспериментальным или сравнительным... так как социальные явления, очевидно, ускользают от влияния исследователя, то сравнительный метод — единственно пригодный для социологии».

При этом он особенно выделяет метод сопутствующих изменений. «У нас существует единственное средство показать, что одно явление является причиной другого, — пишет Дюркгейм, — а именно сравнить те ситуации, где они оба одновременно присутствуют или отсутствуют». При этом достаточно часто совпадение изменений зависит не от того, что между двумя явлениями есть причинно-следственная связь, а от того, что они оба — следствие третьей причины или между ними есть опосредующее звено (как следствие первого явления и причина второго).

В этой же работе Дюркгейм вводит категорию «социального вида» (которую многие считают аналогичной веберовской категории «идеального типа») как особого исследовательского инструмента, преодолевающего односторонность и крайней описательности, и крайнего абстрагирования:

«Понятие о социальном виде имеет то огромное преимущество, что занимает среднее место между двумя противоположными представления-

бавить только то, что каждый суд или парламент принимает решения большинством голосов, так что если большинство руководствуется только своей выгодой (как всегда и бывает), то и весь парламент следует соблазнам этого отдельного интереса и действует так, будто ни один из его членов не заботится об общественном интересе и свободе».

ми о коллективной жизни, долгое время разделявшими мыслителей; я имею в виду номинализм (описательность и “ползучий” эмпиризм. — *Прим. авт.*) историков и крайний реализм (абстрактность и умозрительность. — *Прим. авт.*) — философов. ...Но можно избежать этой альтернативы, если признать, что между беспорядочным множеством исторических обществ и единственным, но идеальным понятием о человечестве существуют посредники — социальные виды».

Не случайно многие из этих работ вошли в «классику» сравнительной политологии. Так, одно из самых распространенных и авторитетных пособий по сравнительной политике под редакцией *Роя Макридиса* начинается с главы «Как нам сравнивать?» из книги Дж. С. Милля «Система логики», в которой обосновываются основные принципы сравнительного подхода: соединения индукции и дедукции; выявления сходства и различия; сопоставления изменений и их причин и др. Именно Милль сформулировал так называемый метод сходства, применяемый компаративистами и сегодня. Так, он утверждал, что некоторую переменную можно считать одной из причин, вызывающих определенный результат, только тогда, когда эта переменная фигурирует во всех рассматриваемых случаях.

Классики современной политической науки *М. Вебер*, *Г. Моска*, *В. Парето*, *Р. Михельс*, *М. Острогорский* и др. опираются в построении своих теоретических выводов на интерпретации обширного эмпирического материала, и их работы носят явно выраженный сравнительный и эмпирический характер. Хотя при этом ими еще не проводились специальные эмпирические исследования, направленные на сбор достоверных фактов с помощью социологического инструментария. Главным методом по-прежнему оставался институциональный и сравнительно-исторический качественный анализ. Вот что пишет по поводу методологии *М. Вебера* современный исследователь:

«Его сравнительно-историческая социология состоит из пересекающихся стратегий и процедур, все они служат одной всеобъемлющей цели: дать казуальное объяснение уникальным случаям и развитиям ситуаций».

Именно Вебер вводит в научный оборот категорию «идеального типа» как основного инструмента сравнения. Выдающийся немецкий исследователь следующим образом характеризует это понятие:

«Это — мысленный образ, *не являющийся* ни исторической, ни тем более “подлинной” реальностью. Еще менее он пригоден для того, чтобы служить схемой, в которую явление действительности может быть введено в качестве частного случая. По своему значению это чисто идеальное *пограничное* понятие, с которым действительность *сопоставляется, сравнивает-*

ся, для того чтобы сделать отчетливыми определенные значимые компоненты ее эмпирического содержания».

В целом специфику веберовской методологии видят, во-первых, в интерпретативном понимании социального действия, включающем в себя как объективные, так и субъективные компоненты. Во-вторых, в концепции идеальных типов, которая снимает оппозицию теории интерпретации и позитивизма и, в-третьих, в концепции мультикаузальности объяснения политико-социальных явлений.

Можно даже утверждать, что основными методами возникающей в 80-е годы XIX в. в США политической науки как самостоятельной дисциплины (в рамках которой к 1914 г. оформляется в качестве ведущей субдисциплины «сравнительно-правление») становится сравнительно-исторический и сравнительно-правовой анализ политических институтов (работы Э. Фримена, Г. Адамса, Д. Бэрджеса, Д. Брайса, Ф. Либера, А. Л. Лоуэлла, В. Вильсона и др.), те же методы используются в этот период в Европе (О. Гирке, Л. Дюги, Г. Ласки, Д. Коул) и в России (Б. Н. Чичерин, М. М. Ковалевский и др.).

Однако для нас важно отметить, что М. М. Ковалевский в отличие от большинства своих современников обращался и к проблемам методологии сравнения. Так, в работе «Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права» (1880) он писал, что «из факта случайного сходства или не менее возможного различия нельзя выводить ровно никаких научных заключений». Ковалевский различает два способа сравнений: поверхностные сопоставления и строгое научное исследование. Он писал: «При просто сравнительном методе, который для меня то же, что метод сопоставительный, сравнение делается между двумя или более произвольно взятыми законодательствами». Этому методу он противопоставляет две разновидности историко-сравнительного метода:

- **генетический**, включающий традиционные сравнительно-исторические исследования политических систем и народов, которые «происходят от общего ствола, а следовательно, и способны... вынести из общей родины общие юридические убеждения и институты»;
- **стадиальный**, предполагающий сравнение институтов и норм, находящихся на одинаковых ступенях общественного развития.

К числу научных достижений Ковалевского относится и установление функции компаративистики как посредника между теорией и эмпирическими разысканиями. «Значение сравнительного метода, — пи-

сал ученый, — состоит вовсе не в открытии новых фактов, а в научном объяснении уже найденных».

В целом же, как отмечают М. В. Ильин и Л. В. Сморгунов, «труды в области сравнительной политологии, а чаще всего одной ее отрасли — сравнительного правления, фактически сводились к так называемым конфигуративным исследованиям, т.е. к описанию основных политических институтов некоторых ведущих стран мира (как правило, США, Великобритании, Германии, Франции и России), а затем этот материал объединялся под общим названием (что до сей поры делают юристы — специалисты по конституционному праву зарубежных стран. — *Прим. авт.*). Из поля зрения выпадали многие регионы мира, при этом развитые страны (США, Великобритания) рассматривались в качестве образцов, с которыми сравнивались другие. Особо следует отметить атеоретическую предубежденность и методологическое безразличие»¹.

Традиционный историко-сравнительный и институциональный, качественный анализ наряду с достоинствами имел и значительные недостатки. Вот как их описал один из лидеров движения за сравнительную политологию Р. Макридис:

1. Он фокусирует внимание на формальных институтах государственного управления в ущерб современному анализу неформальных структур общества и их роли в принятии решений и осуществлении власти.
2. Пренебрегая неформальными структурами, традиционный подход не смог воспринять неполитические детерминанты политического поведения и тем самым — неполитические основы государственных институтов.
3. Сравнение велось с точки зрения формальных конституционных аспектов западных систем, т.е. парламентов, главных исполнительных органов, гражданских служб, административного права и т.д., которые могут быть отнюдь не самыми адекватными аспектами подлинного сравнительного исследования.
4. За исключением нескольких работ в области пропорционального представительства, законодательства и избирательных систем, традиционализм оказался невосприимчив к гипотезам и их верификации.
5. Даже в простом описании политических систем традиционализм не сумел воспользоваться методами антропологии культуры,

¹ Ильин М. В., Сморгунов Л. В. Сравнительная политология // Политическая наука. 2001. № 2; Зарубежная политология в XX столетии. М., 2001. С. 121.

- эффективными в отношении как общих понятий, так и обобщенных гипотез.
6. Описание в сравнительном анализе государственного управления не дает возможности обоснования гипотез, компиляции фактов в отношении отдельного политического феномена (или класса таких феноменов) в нескольких обществах.
 7. Бессистемное описание не позволяет выдвигать гипотезы относительно однообразия в политическом поведении и формулировать на сравнительной основе теории политической динамики (т.е. изменений, революций, условий стабильности и т.д.).

Поэтому собственная история сравнительной политологии как отрасли политической науки начинается конечно же в середине XX в. И само становление, и институализация субдисциплины связаны прежде всего с приходом в политическую науку *бихевиоризма*. «Бихевиористская революция» привела к радикальным изменениям в методологии исследований, связываемых с применением целого набора новых эмпирических и количественных методов сбора достоверных фактов, заимствованных как из арсенала пограничных с политологией дисциплин — социологии, психологии, экономики, так и, казалось бы, далеких от нее — математики, кибернетики, географии и др. В частности, из математики в политическую науку приходят методы статистического корреляционного и факторного анализа (уже в 1928 г. в США выходит книга С. Райса «Количественные методы в политике», в которой математические методы впервые применяются в изучении политического процесса). Вместо традиционных методологических приемов философов (логической индукции и дедукции) и институционалистов (сравнительно-историческое и сравнительно-правовое описание) все чаще применяются новые бихевиоралистские методы: сбора и анализа «достоверных данных об эмпирически наблюдаемом политическом поведении», которые широко применяются и сегодня. Из психологии в политическую науку пришли тесты и лабораторный эксперимент; из социологии — процедуры анкетирования, интервьюирования и наблюдения; из математики и статистики — регрессивный, корреляционный, факторный и другие виды анализа, а также математическое моделирование, методы теории игр и т.д.

Наиболее значительную роль в подготовке «бихевиористской революции» в политической науке сыграла «*Чикагская школа*», основанная Ч. Мерриамом в 20-е годы XX столетия (Г. Госнелл, Г. Лассуэл, К. Райт, Л. Уайт), которая сделала большой шаг вперед в повышении требовательности к точности эмпирических исследований, убедительности вы-

водов при изучении политических проблем и во введении институционального измерения. Первая крупная исследовательская программа, работа над которой началась в Чикагском университете и велась под руководством *Г. Госнелла*, ученика *Ч. Мерриам*, касалась изучения установок шести тысяч избирателей во время выборов мэра Чикаго в 1923 г. Их отбор был проведен еще до появления техники вероятностной выборки на основе контрольного квотирования, которое позволило изучить демографические характеристики основных групп населения Чикаго. Госнелл продолжил это исследование, в ходе которого был проведен первый в истории политической науки эксперимент. Он выяснял воздействие на исход голосования направленной агитации, чтобы выявить различия между национальными и местными выборами. Техника проведения эксперимента, примененная Госнеллом, была достаточно строгой, полученные результаты анализировались на основе самых передовых для того времени статистических методологий. После этого Госнелл продолжил аналогичные исследования в Англии, Франции, Германии, Бельгии и Швейцарии, получив огромный эмпирический материал для политических сравнений. По воспоминаниям *Г. Алмонда*, в этот период (в 1930-е годы) в Чикагском университете читался целый набор курсов по сравнительной политологии: *Л. Уайт* читал общий курс по сравнительному правлению, *Г. Госнелл* — по сравнительному анализу политических партий, *Г. Лассуэл* — по общественному мнению с привлечением эмпирического материала из Европы.

Один из первых проектов по исследованию психологических и социальных аспектов политического поведения был организован и проведен самим *Ч. Мерриамом* в период 1928–1938 гг. в виде серии сравнительных исследований в ряде стран того, что позже *Г. Алмонд* и *С. Верба* назвали политической культурой. Эти исследования проводились под общим названием «Формирование граждан». В результате Мерриам проанализировал силу и влияние национализма на массовое политическое поведение, а также этнические, языковые и религиозные причины его возникновения и распространения в странах, участвовавших в Первой мировой войне. Гипотезы, которые проверялись в проекте, затем широко обсуждались в общественно-научной литературе того периода. Очевидность того, что значение различий в национальном поведении и морали было сильно преувеличено в период Первой мировой войны, заставила Мерриам и его коллег поставить вопрос о реальном значении и объяснении выявленных различий.

Вторая мировая война стала своего рода лабораторией и важнейшим источником опыта для многих ученых, которые позднее приняли

участие в осуществлении «поведенческой революции», поскольку требования военного времени привели к резкому увеличению потребности в гуманитарной экспертизе, что в свою очередь обусловило бурное развитие академических институтов США в послевоенные десятилетия. В то же время в годы войны массовый приток «мозгов» из Европы обогатил американскую науку европейской культурной традицией и избавил ее от комплекса провинциализма. Такие ученые, как *П. Лазарфельд*, *К. Левин*, *В. Кёлер*, *К. Дойч*, *Г. Моргентхау*, *Л. Лоуэнталь*, *Ф. Нойманн*, *О. Кирххаймер*, *Г. Маркузе*, внесли весомый вклад как в «поведенческую революцию» в американской политологии, так и в ее критику.

Разграничивая бихевиористский и традиционный подходы к политическим исследованиям, *Д. Истон* следующим образом сформулировал основные положения «*бихевиористского кредо*»:

- регулярность, или проявление единообразия в политическом поведении, которое может быть выражено в виде обобщений или теории;
- верификация, или проверка истинности таких обобщений или теории;
- приемы изыскания и интерпретации данных;
- квантификация, или измерение полученной информации;
- разграничение между ценностями, относящимися к суждениям этического порядка, и суждениями, которые можно объяснить эмпирически;
- систематизация исследований;
- чистая наука, или поиск понимания и объяснения поведения до применения знаний для решения общественных проблем;
- интеграция политических исследований с исследованиями, проводимыми в рамках других социальных наук.

Однако непосредственно возникновение сравнительной политологии как особой субдисциплины (со своей методологией и системой концептов) в рамках политической науки приходится на 50-е годы XX в. Ядром ее кристаллизации становится Эванстонский семинар в Северо-Западном университете США (1952 г.), председателем и научным лидером которого был *Рой Макридис*. В Заявлении, опубликованном в 1953 г., участники семинара обвинили американскую политическую науку в провинциализме, описательности, в неадекватности ее инструментария задачам изучения быстротекущего политического процесса. Они же показали выход из такого положения — развитие научного сравнительного метода. Сама эта идея не была революционной, выше мы отметили, что сравнение широко применялось в политических исследо-

ваниях и ранее. Новым было то, что теперь объектами сравнения должны были стать не формально-юридические институты, а поддающиеся изучению с помощью бихевиористских методов политические явления (случаи). *Сидней Верба* следующим образом оценил произошедшие перемены:

«Революция в сравнительной политологии началась с некоторых смелых принципов: видеть за одним фактом — сравнение многих фактов; видеть за формальными институтами управления — политические процессы и политические функции; и видеть за странами Западной Европы — новые государства Азии, Африки и Латинской Америки».

Патриарх американской политической компаративистики *Габриэль Алмонд* подчеркивает также значение в становлении новой субдисциплины политической науки деятельности «Комитета по сравнительной политологии» при Совете по общественным исследованиям, который был создан в 1954 г. Этот комитет систематически организовывал крупные сравнительные политические исследования, причем его стратегия состояла не только в том, чтобы объединить исследователей, изучающих политические системы разных стран мира, но главное — убедить их «...в принадлежности к общей для них научной дисциплине, занимающейся одними и теми же теоретическими проблемами и предоставляя им одну и ту же методологию исследования».

§ 2. Специфика и границы сравнительной политической науки

Попытки определить *специфику* и очертить *границы* компаративной политологии предпринимались неоднократно, но к общему знаменателю прийти пока так и не удалось.

Объясняется это во многом тем, что «сравнительные политические исследования — по широте предметного охвата и многообразию методологических подходов — занимают совершенно особое место в современной политической науке. Их предметная область включает все формы политической деятельности: как государственные, так и негосударственные, как институциональные, так и внеинституциональные» (*В. Лапкин*). Не случайно некоторые исследователи выражают сомнение по поводу того, что политические сравнительные исследования являются «особой разновидностью социальных исследований» и что анализ явлений «в заведомо непохожих сообществах создает какие-либо специфические методологические проблемы» (*Н. Смелзер, А. Гримшоу и др.*).

Существует также позиция, согласно которой сравнительная политология — это внутринаучное **движение**, вызванное к жизни в значительной мере в результате формирования «социального заказа» на такого рода знание (Г. Алмонд).

Однако большинство политологов-компаративистов разделяют по этой проблеме точку зрения, сформулированную *А. Лейнхартом*:

«Сравнительная политология — это единственная дисциплина в политической науке, которая выделяется среди других не по принципу сферы исследований, но по принципу **метода**».

Поэтому важнейшим условием сохранения субдисциплинарной специфики сравнительной политологии является органичное сочетание сравнительного метода с многообразием объектов исследования.

Достаточно условно можно вычленить три основных подхода к решению проблем специфики и границ сравнительной политологии.

1. В соответствии с остроумным замечанием известного американского политолога С. М. Липсета «Если вы знаете одну страну, то не знаете ни одной» чаще всего сравнительное исследование определяют как исследование, в котором используются **сопоставимые данные** — по двум и более кросснациональным/кроссрегиональным политическим системам. Такой подход акцентирует специфику используемых данных, их кроссоциетальный характер. Базовой единицей анализа здесь считается национальное государство («случай»). Так, Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром и Р. Далтон — авторы известного учебника «Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор» (М., 2002) — определяют сравнительную политологию как «...изучение политических систем, в ходе которого мы пытаемся понять эти системы не как изолированные случаи, а через обобщение и сопоставление».

Однако, несмотря на широкую распространенность этого определения, оно является довольно узким, так как исключает из числа компаративистских «сравнительно ориентированные исследования единичных случаев» (одной страны/региона), такие как «Демократия в Америке» *А. де Токвиля* или «Первая новая нация» *С. М. Липсета*, которые тем не менее считаются классическими в сравнительной политологии. Как замечает американский политолог-компаративист *Д. Антер*, одним из стимулов к проведению «сравнительно ориентированных исследований единичных случаев» является то, что они дают новую пищу для сравнительных теорий, которые быстро устаревают и/или становятся банальными.

Важно отметить, что наряду с национальным государством базовой единицей сравнительного политического анализа сегодня становится политический регион. При этом региональный «срез» обладает важным

преимуществом, поскольку серьезно увеличивает число исследуемых случаев.

«Более того, кросснациональные сравнения не дают исследователю исчерпывающего представления о политических процессах, поскольку эти процессы трансформируются от региона к региону, особенно в государствах с обширной территорией и существенным объемом компетенций, находящихся в распоряжении регионов, — отмечает И. Бусыгина. — Соответственно и последствия политических процессов будут неодинаковыми в разных регионах. Компаративный политический анализ должен, таким образом, обязательно включать как кросснациональное, так и кроссрегиональное измерение».

2. В то же время некоторые ученые определяют специфику сравнительных политических исследований, подчеркивая их *многоуровневый характер* (Ст. Роккан, А. Пржеворский, Г. Тьюн и др.). Согласно их подходу работа компаративиста ведется одновременно на двух уровнях — макросоциальном (т.е. политической системы в целом) и внутрисистемном. Исследование, принимающее во внимание только сходства и различия на макросоциальном уровне, не является в полном смысле сравнительным, даже если оно включает анализ совокупностей внутрисистемных характеристик. Например, если макросоциальные данные (например, уровень национального дохода на душу населения) используются для объяснения вариаций зависимой переменной, представляющей собой совокупность внутрисистемных характеристик (например, уровень стабильности демократии), то такая работа не может считаться в полной мере сравнительной. Однако лишь немногие из работ, традиционно считающихся компаративистскими, удовлетворяют требованиям данного определения, т.е. определение Пржеворского и Тьюна является еще более узким, чем предыдущее.

3. Сторонники третьего подхода видят специфику сравнительных исследований в *специфике целей*, для достижения которых используются кросснациональные единицы анализа. Отличительной чертой сравнительной политологии в этом случае считается использование выявленных свойств макросоциальных единиц для выработки суждений объяснительного характера, что тесно связано с двумя целями сравнительных исследований — объяснением и интерпретацией макросоциальных сходств и различий (Ч. Регин и др.). Именно в сочетании содержания целей и метода видит специфику сравнительной политологии британский исследователь П. Мэр. В свою очередь А. Д. Анмер подчеркивает, что сравнительную политологию можно рассматривать «в качестве эмпирической стороны политической философии и политической теории».

Таким образом, в самом общем виде можно сказать, что компаративистов-политологов прежде всего интересуют сходство и различия между кросснациональными и кроссрегиональными единицами. Знание такого рода позволяет понимать, объяснять и интерпретировать разнообразные исторические исходы и политические процессы, а также определять их значение для политического институционального устройства. Для большинства компаративистов важно интерпретировать специфический опыт и пути политического развития как отдельных стран, так и групп стран. Так, *Дж. Б. Мангейм* и *Р. К. Рич* считают, что сравнительный анализ «позволяет делать обобщения поверх подчас узких рамок отдельной культуры, а также осуществлять проверку некоторых системных свойств». Иными словами, предметом интереса компаративистов являются случаи как таковые, разнообразие исторического опыта, а не только выявление взаимоотношений между переменными, характеризующими большие группы случаев. Налицо тенденция использовать кросснациональные единицы анализа как элементы объяснения для интерпретации (прогноза) возможных исторических исходов.

§ 3. Основные стратегии преодоления методологических сложностей в сравнительных исследованиях

Занимаясь поиском причинных связей между исследуемыми политическими явлениями и интерпретацией выявленных различий, компаративисты сталкиваются с несколькими серьезными препятствиями. Прежде всего это *проблема относительно ограниченного числа конкретных примеров, которыми они располагают при огромном количестве параметров, которые необходимо учесть для их адекватного описания (дилемма «мало случаев — много переменных»)*, и *проблема сравнимости случаев*.

Начнем, однако, с краткого определения новых для нас понятий.

Полученная в ходе сравнительного эмпирического исследования информация подвергается *качественному* или *количественному* анализу. Качественный анализ распространяется на общие положения и иногда на неточные определения, а количественный — на конкретику и точные определения, хотя их критерии часто преувеличиваются.

Сравнительная политология имеет тенденцию объединять качественные и количественные приемы исследования. Однако при проведении сравнения должны выполняться два правила:

- до количественного (основанного на математико-статистических методах) различения необходимо провести качественное отождествление;
- сопоставлять сравниваемые явления нужно вначале по наиболее существенным признакам.

Переменные величины — это измерения объектов анализа, имеющих количественные и качественные атрибуты. Числовые параметры, например, возраст или размер (численность) электората, могут использоваться с количественными переменными, а нечисловые применяются с качественными переменными.

Переменная — признак явления, принимающий разные значения¹ для различных случаев или для различных моментов времени в рамках одного случая.

Организация переменных в исследовании предполагает разбиение их на группы в зависимости от поставленных целей и гипотез² исследования. Выбор переменных также определяется общей концептуальной схемой исследования и опирается на основные ее понятия. Совокупность изучаемых переменных определяют обычно как *оперативные переменные*. В исследованиях встречаются два типа переменных:

- 1) *зависимая переменная* — это переменная, меняющая свое значение в соответствии с изменением значения другой переменной;
- 2) *независимая переменная* — переменная, изменение значений которой влияет на значение некоторой другой переменной.

Таким образом, между зависимыми и независимыми переменными существует некая связь, которая и подвергается исследованию. При изучении характера этой связи следует иметь в виду, что кроме выделенных для исследования зависимых и независимых переменных необходимо учитывать влияние и других условий, оставшихся за рамками данного исследования, т.е. контролировать условия. В отношении оперативных переменных это означает, что на взаимосвязь зависимой и независимой переменных может влиять некая третья переменная, которая получает статус *вмешивающейся*, ее влияние необходимо контролировать. Иногда в процессе исследования, когда обнаруживается большее влияние

¹ *Значение* — характеристика или оценка определенного признака в пределах данной переменной.

² *Гипотеза* — утверждение, предсказывающее существование некоторой зависимости между переменными.

вмешивающейся переменной, чем независимой, происходит своеобразная рокировка, и она получает статус независимой.

Наряду с оперативными переменными выделяются изменяемые качества объекта, которые в данном исследовании берутся в качестве постоянных (константных). Они получили название параметров. Как раз при выборе стран/случаев в компаративном исследовании одной из наиболее сложных проблем является определение параметров, т.е. той группы характеристик, по которым изучаемые страны/регионы наименее всего различаются. Между зависимыми и независимыми переменными могут устанавливаться количественные и качественные связи.

Например, мы выдвигаем рабочую гипотезу о том, что во всех депрессивных регионах России будет наиболее высокой поддержка КПРФ, и наоборот. В этом случае степень экономического упадка региона — это независимая переменная, а уровень поддержки КПРФ — зависимая переменная. Поставлена задача подтвердить эту причинную связь на примере выбранных для сравнительного исследования регионов. Все остальные характеристики региональных политических систем и мотивы голосования мы «выводим за скобки» и рассматриваем как неизменные или как заданные параметры объекта исследования. Однако ясно, что голосование за КПРФ может определяться и другими переменными, например, популярностью регионального лидера, являющегося членом КПРФ (губернатор Кемеровской области *А. Тулеев* в 1990-е годы), а также громким политическим скандалом, который дискредитировал правящую региональную элиту экономически благополучного региона, — это пример вмешивающихся переменных, которые в ходе исследования надо контролировать.

Или другой, более современный пример: гипотеза нашего предполагаемого исследования может быть сформулирована так: «По мере роста иммиграции из исламских стран будет расти электоральная поддержка праворадикальных партий государств Западной Европы». В этом примере рост иммиграции из исламских стран — независимая переменная, а рост электоральной поддержки крайне правых популистских партий — зависимая. Задача исследования — подтвердить гипотезу на примере, скажем, Франции, Нидерландов, Бельгии и Италии. В результате проведенного сравнительного исследования мы выясняем, что наша гипотеза «работает» во Франции и Нидерландах, где уровень корреляции между зависимой и независимой переменными высок. В то же время данная гипотеза требует значительного уточнения в отношении Бельгии и Италии, где уровень электоральной поддержки правых популистов объясняется не столько наплывом иммигрантов, сколько нараста-

нием противоречий между валлонами и фламандцами в Бельгии и севером и югом страны в Италии, — это еще один пример вмешивающихся переменных.

Так как понятие переменных является одним из центральных при организации сравнительного исследования, то и определения собственно сравнительного метода зачастую даются с учетом специфики контроля над переменными. Так, *А. Лейнхарт* пишет, что границы сравнительного метода определяются стратегией, в рамках которой случаи «выбираются таким образом, чтобы максимизировать дисперсию¹ контролируемых переменных». В свою очередь *Спенсер Веллхофер* определяет сравнительный метод как «стратегию выбора среди небольшого числа случаев, для того чтобы включить контролируемые переменные в поиски казуальных или функциональных взаимоотношений внутри политических систем».

Итак, в чем суть дилеммы «мало случаев — много переменных»?

С одной стороны, поскольку политическая жизнь чрезвычайно многообразна и сложна, бесконечно велико и количество поддающихся выделению переменных, ее характеризующих («много переменных»). При этом исследователи не могут произвольно отбросить некоторые из них как несущественные, поскольку в различных социокультурных контекстах эти переменные могут играть и различные по значимости роли.

С другой стороны, несмотря на то что сегодня в мире более 200 независимых государств, компаративисты-политологи постоянно сталкиваются с проблемой «мало случаев», т.е. они не могут рассчитывать на достаточно представительную выборку среди национальных государств для адекватного исследования политических проблем. Во-первых, по многим из стран просто нет достоверных и репрезентативных данных. Во многих странах публикация точных и своевременных политических, экономических и социальных данных по-прежнему дорогостоящая и потому недоступная роскошь (особенно это касается данных по регионам). Те же, которые публикуют достаточно такой информации, очень часто используют совершенно несопоставимые методы получения и регистрации данных, в результате чего опубликованная информация оказывается непригодной для сравнительного исследования. Во-вторых, число релевантных случаев могут снижать и теоретические ограничения. Так, исходная гипотеза может оказаться теоретически значимой только для ограниченной группы государств и не работающей в других. И наконец, в-третьих, многие из них радикально отличаются друг от

¹ *Дисперсия* — мера рассеяния, отклонения от среднего значения.

друга практически по всем параметрам, в связи с чем возникает резонный вопрос — о смысле сравнения молодого и бедного африканского государства Габон с богатой и имеющей многовековую историю Швецией. Можно ли получить достоверное знание и провести убедительное сравнение бюрократии в странах Западной Европы, где исполнительная власть воплощена в высокоразвитой и специализированной бюрократической машине, и государствах Центральной Африки, которые не имеют такого рода институтов? Понятно, что способы политического самовыражения, равно как и обеспечение граждан значимыми ресурсами, принимают в этих регионах совершенно несопоставимые формы.

Каждое из обществ по-своему неповторимо, и поэтому выделение в них сопоставимых элементов ведет к упрощению реальности, что в значительной степени обесценивает теоретические выводы кросснационального сравнения.

Следует добавить, что эта дилемма значима не только в кросснациональных, но и в кроссрегиональных исследованиях. Количество регионов в рамках даже самых крупных государств (Россия, США, Индия, Китай) уступает числу независимых национальных государств. А число поддающихся выделению объяснительных переменных на региональном уровне так же бесконечно, как и на общенациональном.

Для разрешения этой дилеммы используется ряд стратегий. В сущности, все они направлены либо *на увеличение числа включаемых в сферу исследования случаев*, либо *на сокращение числа переменных*.

Группа стратегий, прямо предполагающих увеличение числа случаев, — это статистические исследования. В таких исследованиях случай предстает в виде группы точных статистических переменных, которые могут быть подвергнуты количественному анализу. Наиболее распространенная из них — корреляционный анализ¹. При этом каждому из случаев приписывается числовое значение или ряд числовых значений, а затем путем несложной процедуры (связанной с применением формулы расчета коэффициента корреляции между переменными) выявляются корреляции этих рядов между собой либо отсутствие таковых. В результате можно делать заключения о наличии или отсутствии значимых взаимосвязей — к примеру, между динамикой социально-экономического развития группы стран/регионов и уровнями электоральной поддержки тех или иных политических сил. Основная проблема с применением этой исследовательской стратегии в кросснациональных исследованиях связана с тем, что, позволяя фиксировать устойчивые

¹ *Корреляция* — взаимная связь, взаимозависимость, вероятностная или статистическая зависимость.

корреляции, она ничего не говорит об их причинах. Так, давно установлено, что существует устойчивая зависимость между уровнем экономического развития и процессами демократизации. Наиболее экономически развитые государства мира в то же время являются консолидированными либеральными демократиями. Однако что первично — «яйцо или курица»? Экономическое развитие создает предпосылки демократизации либо переход к демократии создает условия для экономического роста? Дать ответ на подобные вопросы корреляционный анализ, конечно, не может. Другой недостаток статистических исследований в том, что они предполагают использование предельно обобщенных количественных индикаторов, а любое обобщение сложных социальных данных — особенно связанное с их квантификацией¹ — чревато серьезными потерями информации. В результате корреляции, которые можно установить с помощью статистических исследований, зачастую оказываются банальными и/или тривиальными (Г. В. Голосов).

Вторая стратегия этой группы состоит в увеличении числа исследуемых случаев за счет исторических примеров — *асинхронное сравнение* (А. Лейнхарт). Например, можно сравнивать процессы формирования национальных государств в современной Африке и позднесредневековой Европе или идеологические процессы в той же Африке в конце XX в. и пореформенной России XIX в., тем более что при сравнении исследователи выявили «поразительный параллелизм» в этих процессах. Кроме того, сравнительному анализу может подвергаться один и тот же «случай», но в разные временные отрезки, т.е. возможен кросстемпоральный анализ политической системы одного государства либо даже политического института. Однако такое асинхронное сравнение может дать ошибочное представление о сравниваемых случаях и о перспективах их развития: во-первых, это связано с фрагментарностью и неполнотой исторической информации о политических институтах и процессах минувших исторических эпох разных стран и народов; во-вторых, по той банальной причине, что «история никогда не повторяется». История вносит существенные искажения в развитие политических явлений за счет появления принципиально новых факторов на каждом следующем витке общественного развития. Так, современная информационная революция открывает принципиально иные перспективы в процессе становления и развития политических феноменов, чем те исторические условия, которые существовали несколько десятилетий или столетий назад.

Третья стратегия сводится к выработке общих понятий, охватывающих несколько слабо различающихся между собой ситуаций, или, ина-

¹ *Квантификация* — количественное выражение, измерение качественных признаков.

че говоря, речь идет о придании концептуальной однородности неоднородным объектам исследования. В этом случае мы можем проводить сравнение, скажем, целой категории однопартийных систем с многопартийными, абстрагируясь от различий, которые реально существуют как между многопартийными, так и между однопартийными системами; мы сможем сравнивать также унитарные государства с федеративными, государства с рыночной экономикой и плановым хозяйством и др. В результате число случаев, входящих в каждую категорию, возрастает, однако имеет место упрощение реальности и резко снижаются четкость и адекватность понятий, которые мы используем.

Как уже отмечено, целая группа стратегий исследования направлена **на минимизацию числа переменных**. Как отмечает Г. Голосов,

«Центральным для этих стратегий является вопрос о том, можно ли отделить эффекты интересующей нас независимой переменной от эффектов, обусловленных контекстом. Удовлетворительное решение этого вопроса означало бы, что сравнительный метод способен играть в социальных науках ту же роль, какую в естествознании выполняет эксперимент. Такое решение пока не найдено. Но ряд интересных предложений уже высказан в методологической литературе по кросснациональному анализу».

Так, часто используемая и популярная стратегия такого рода заключается в сравнении подобных по целому ряду ключевых характеристик стран/регионов (например, «западные» демократии, Скандинавские страны либо северокавказские республики РФ). Эта стратегия, иногда называемая *«региональным исследованием»* (*area studies*), позволяет исследователю считать некоторые сходные для стран/регионов переменные неизменными (в силу географической или культурной близости стран по многим параметрам их бывает довольно много) и даже игнорировать их, считая, что причины имеющихся расхождений заключены не в них. Это делается для того, чтобы внимательно проанализировать динамику других, избранных оперативных переменных. Иными словами, сравнительный анализ призван выявить, чем вызваны все же имеющиеся между ними различия.

Представим, что мы исследуем причины различий в масштабах социально-экономической правительственной деятельности в нескольких странах. Объяснения, почему в одних странах правительства играют большую роль в экономике и социальной сфере, чем в других, могут быть самыми разнообразными — от различий в уровне экономического развития и идеологической «окраске» правительства до различий в политической культуре. Однако понятие «политическая культура» очень многозначно и неуловимо, ее трудно измерить. Поэтому есть резон от-

сечь ее как фактор, влияющий на различия в масштабах правительственной экономической и социальной деятельности. Для этого выберем для анализа страны со сходными политическими культурами, например Великобританию, США и Канаду. В этом случае все те различия, которые мы обнаружим в масштабах экономической и социальной деятельности их правительств, нельзя будет отнести на счет политико-культурных факторов, поскольку эти факторы в грубом приближении константны в нашем исследовании. То есть отбор стран по принципу максимального сходства позволяет при объяснении обнаруженных различий исключать сходные черты из рассмотрения.

Главный недостаток этого подхода в том, что исследователь, выбирая культурно и географически близкие страны, абстрагируется от фактора их взаимного влияния (или влияния одной страны — лидера региона), а это иногда в решающей степени определяет их подобие.

Явление, при котором события в какой-то одной стране (группе стран) влияют на жизнь какой-то другой страны, называется *диффузией*¹, а проверка его воздействия на результаты сравнительного исследования получила название *проблемы Гельтона*. Она заключается в том, что исследователи могут усмотреть сильную причинную связь между двумя переменными (например, между достижением определенного уровня экономического развития и происходящими изменениями в руководстве и политическом курсе в европейских социалистических странах на рубеже 1980–1990-х годов) там, где в действительности ее не существует, — исключительно потому, что некоторые или все страны в выборке² находятся под общим для них влиянием какой-то другой страны, которая к тому же может оказаться и за рамками выборки (СССР). В этом случае увеличение объема выборки не имеет смысла, так как дополнительные наблюдения реально не дают никакой новой информации.

На самом деле довольно трудно создать такую выборку, в которой все данные были бы совершенно независимыми (особенно это касается сравнительного анализа регионов одной страны). Некоторая степень диффузии будет присутствовать всегда, поэтому исследователями разработаны методы ослабления ее воздействия. Один из таких методов состоит в том, чтобы выявлять в выборке все явные признаки влияния одной страны на другую, после чего исключать последнюю из анализа. Однако многие исследователи считают, что недостатки этого метода,

¹ *Диффузия* — распространение, проникновение, смешивание.

² *Выборка* — подгруппа случаев, представляющая более крупную группу, из которой они взяты.

связанные также с проблемой «сверхдетерминации»¹ (А. Пшеворский, Г. Тьюн), во многом уравниваются преимуществами «глубоких контекстуализированных аналогий».

Другой способ/стратегия преодоления проблем диффузии и сверхдетерминации состоит в использовании стратегии **«контрастного сравнения»**, или **«наибольшего различия»**, когда сравниваются страны/регионы, существенно отличающиеся друг от друга по целому ряду параметров (например, страны с тоталитарными и либерально- демократическими режимами или СНГ и ЕС, которые можно сравнивать как две политические системы сходных масштабов, которые имеют, по крайней мере, одну важную общую политическую черту — использование в практике наднационального управления принципа управления «элитным картелем» (М. В. Стрежнева). Если учесть, что действие диффузии с расстоянием, как правило, ослабевает, то такая стратегия увеличивает шансы на то, чтобы данные выборки были независимыми. В этом случае в ходе предварительной теоретической работы фиксируется большая группа характеристик, которые в сравниваемых случаях контрастируют друг с другом.

Когда мы находим среди стран выборки какие-либо общие особенности, то сосредотачиваем внимание на исследовании переменных, «ответственных» за сходство, а различия между странами исключаем из объяснения. Эта стратегия позволяет получить серьезные обобщения. Если выясняется, что какой-то фактор одинаково действует в совершенно различных контекстах и ведет к сходным последствиям, то это действительно фундаментальный фактор. При сравнении двух и более максимально различающихся политических систем цель исследователя логичным образом заключена в том, чтобы объяснить наличие у них сходных черт. Принцип максимального различия систем позволяет лучше контролировать факторы, способные исказить результаты, и потому он обеспечивает и большую надежность полученных результатов.

В качестве примера приведем уже рассмотренный ранее — о государственной социальной политике (об объеме социального обеспечения). Так, можно отобрать ряд стран/регионов с разными уровнями экономического развития и с разными типами политической системы и,

¹ Суть проблемы свехдетерминации в том, что, отвлекаясь от контекста, стратегия «наибольшего сходства» игнорирует и то обстоятельство, что интересующая нас независимая переменная только в этом контексте (под воздействием переменных, которые мы вывели за скобки исследования) и может принимать определенный диапазон значений. В результате наши выводы не являются общезначимыми: мы не можем распространить их на случаи, не включенные в первоначальную выборку.

прилагая к каждой из них эквивалентную меру, обнаружить, что они вкладывают в социальное обеспечение приблизительно равные доли государственных средств. А раз дело обстоит так, то из этого следует, что различия, существующие между ними, не влияют на размеры государственной помощи нуждающимся согражданам.

Однако главный недостаток такой стратегии — большая потеря информации, что может привести, в частности, к преувеличению реальных различий или, наоборот, к нивелированию сходства. Следует также заметить, что стратегия «наибольшего различия» смягчает «проблему сверхдетерминации», но не устраняет ее полностью, переводя в другую плоскость. Действительно, и здесь приходится исходить из сильного допущения, что абсолютно различные контексты позволяют выделить интересующую нас независимую переменную в «чистом виде».

Более того, существует группа стратегий, основанных на представлении о том, что сама процедура изоляции от контекста чревата недопустимыми информационными потерями. Отсюда делается вывод о том, что контекст необходимо в максимальной степени включать в поле анализа. Сформулировавший эту идею известный норвежский политолог *Стейн Роккан* рекомендовал поэтому использовать сравнения «второго порядка», т.е. выделять для сравнения не отдельные оперативные переменные, полностью изолированные от внутрисистемного контекста, а целые иерархии, «цепочки» взаимосвязанных переменных. Понятно, что сравнения «второго порядка» возможны лишь при ограничении числа случаев, находящихся в поле внимания исследователя-компаративиста, и при максимально пристальном отслеживании причинных связей внутри каждой из такого рода «цепочек». Такую исследовательскую стратегию *Нейл Селзер* назвал «систематической сравнительной иллюстрацией», а *Клиффорд Гиртц* — «толстым описанием». Однако и в этом случае возникает опасность соскользнуть в плоскость дискриптивного подхода, когда, давая большие массивы фактического материала, исследования ограничиваются достаточно бедными и/или тривиальными сравнительно ориентированными заключениями.

В то же время подавляющее большинство сравнительных исследований, подпадающих под рубрику «толстых описаний», относится к категории «*case study*», или «углубленных исследований отдельного случая на сравнительном фоне», классическим примером которого является книга *А. де Токвиля* «Демократия в Америке». Вспоминая о методе, который он применял, Токвиль писал: «Хотя в своей книге я крайне редко говорю о Франции, мне было бы очень трудно написать хотя бы страницу, если бы эта страна, так сказать, постоянно не стояла у меня перед

глазами». Имея в виду сравнительный метод в целом, он тонко подметил: «Разум, не имеющий почвы для сравнений, пребывает в растерянности». Действительно, *мы лучше сможем понять общее и особенное* в политическом развитии любой страны, только введя его анализ в сравнительный контекст, сформированный мировым опытом политологических исследований. В свою очередь в подобном сравнительном контексте углубленное изучение национальной политики становится не только целью, но и средством познания мира политического в самых разных его проявлениях.

Однако не всякий анализ отдельного случая относится к предметному полю сравнительной политологии. Сугубо описательные исследования случаев А. Лейпхарт, предложивший классификацию «*case study*», называет «атеоретичными». Ненамного более теоретически продуктивными являются «интерпретативные» исследования, в которых устоявшаяся теория используется для интерпретации эмпирических данных. Теоретическому развитию такие исследования не способствуют. Только отдельные «сравнительно ориентированные изучения случаев» позволяют формулировать общезначимые гипотезы или высказывать суждения, уточняющие существующие теории в том или ином частном аспекте.

Одной из наиболее продуктивных разновидностей данной исследовательской стратегии является сегодня так называемый *анализ отклоняющегося случая* (*deviant case analysis*) (А. Лейпхарт). Суть его состоит в том, чтобы уточнить существующую теорию либо даже пересмотреть ее, введя в традиционные объяснения не учтенные ранее важные факторы, и получить приращение достоверного знания путем углубленного изучения отдельного случая, явно отклоняющегося от сделанных на основе данной теории прогнозов. Под уточнением теории понимается введение ограничений на ее истинность для всех случаев (например, введение ограничений на действие «законов Дюверже» — см. главу 13).

Однако полностью опровергнуть теорию или разработать новую «сравнительно ориентированное изучение случаев» не позволяет.

Множество сравнительных эмпирических данных, приобретенных в 1960–1970-е годы с помощью изощренной математической техники, поставили перед исследователями ряд вопросов, главный из которых — «Можно ли рассматривать отдельную страну или национальное государство как независимую единицу анализа?».

В качестве решения этой проблемы формируется так называемый *холлистский подход*, реализованный в большей или меньшей степени в исследованиях Л. Силвермана, А. Пшеворского, Г. Тьюна и др. Холлист-

ский подход предполагает рассмотрение различных пространственных образований (т.е. национальных государств, регионов) как некоторых взаимосвязанных частей целого, описанного теорией.

Какая из стратегий является предпочтительной? Ответ в значительной степени зависит от степени разработанности теории, которой мы руководствуемся в исследовании. Скажем, принцип максимального сходства систем является более выигрышным тогда, когда исследователь в состоянии:

- установить все основные факторы, способные повлиять на результаты;
- определить страны/регионы, в которых они действуют.

Но поскольку в такое прокрустово ложе обычно укладывается немного стран, то проще найти примеры государств, сильно различающихся по целому ряду параметров, т.е. более подходит принцип максимального различия систем и т.д.

Устранение, или — точнее — частичная нейтрализация, проблемы сравнимости случаев достигается, как отмечают Р. Макридис и др., благодаря соблюдению ряда **правил компаративистики**:

- 1) необходимо удостовериться, что вопросы, которые мы ставим, реально допускают проведение сравнительного анализа, т.е. они приложимы к разным странам, понятны и вполне политически корректны в отношении разных государств;
- 2) каждая переменная величина, используемая нами, должна быть эквивалентной мерой понятий, которые соответствуют каждой культуре в нашей выборке стран. Другими словами, при сравнении объектов исследования в разных странах необходимо пользоваться одними и теми же терминами (либо выбирать понятия, специфические для каждой исследуемой страны, но означающие по существу одно и то же);
- 3) сбор и описание фактов происходит по какой-либо классификационной схеме;
- 4) выявленные единообразия и различия выясняются и объясняются;
- 5) формулируются предварительные гипотезы о взаимоотношениях в исследуемом политическом процессе;
- 6) эти предварительные гипотезы проверяются в ходе тщательного эмпирического наблюдения;
- 7) полученные данные излагаются в надлежащей теоретической форме.

«Сравнение включает в себя абстрагирование, конкретные ситуации и процессы как таковые не могут сравниваться друг с другом. Таким образом, сравнивать — значит выделять определенные типы и концепты, и делается это за счет искажения уникального и конкретного». Иными словами, объектами сравнения те или иные феномены становятся, пройдя сквозь призму той или иной теоретической концепции. Отсюда — колоссальная важность для сравнительной политологии теоретических парадигм, позволяющих осуществлять *концептуальную гомогенизацию* (М. Доган, Д. Пеласси) разнородных случаев. Потеря информации при этом не избежать, но компенсацией является возможность выявить и интерпретировать некие общие тенденции в функционировании и эволюции различных политических систем. Важнейшими теоретическими парадигмами для современной политической компаративистики стали **структурно-функциональный подход, теория рационального выбора и неинституционализм**.

Глава 2

ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ

1. Роль теории политических систем в сравнительном анализе
 2. Теория политических систем Д. Истона: проблема политической стабильности
-

§ 1. Роль теории политических систем в сравнительном анализе

Теория политических систем была создана в 50-е годы XX в. прежде всего усилиями американских политологов — компаративистов *Д. Истона*, *Г. Алмонда*, *Р. Даля*, *К. Дойча* и др. В выступлении на ежегодном собрании Американской ассоциации политических наук в 1962 г. ее тогдашний президент Г. Алмонд противопоставил теорию систем теории разделения властей, отметив, что «парадигма систем» идет на смену «господствовавшей в XVIII–XIX вв. в политических науках парадигме разделения властей».

Одной из причин возникновения и распространения теории политических систем именно в это время явилась общая неудовлетворенность применявшимися методами политического анализа.

«Бихевиористские подходы позволяли анализировать политические явления лишь в отдельных, часто довольно незначительных фрагментах» (*Р. Голдмэн*).

Сформировалась вполне осознанная потребность в обобщающей теории. И она появилась, причем ее создателям в целом удалось избежать как сверхфактологичности «эмпириков», «из-за деревьев не видящих леса», так и больших потерь информации, неизбежных при абстрактных философских умозаключениях «теоретиков». В результате удалось дать удовлетворительный ответ на вопрос «Как вооружить политическую науку теорией (общей, но не нормативной, как философское мышление) явлений, наблюдаемых в данной сфере?» (*Ф. Бро*).

В основу концепции были положены заимствованные из культурной антропологии, экономики, социологии и кибернетики идеи системного подхода. Исходные постулаты общей теории систем просты. Любой системный объект должен отвечать некоторым неперменным правилам системности, а именно: состоять из нескольких взаимосвязанных элементов, иметь относительную обособленность от других объектов, т.е. определенную автономию, и, наконец, обладать минимальной внутренней целостностью (это означает, что целое не сводимо к сумме элементов; напомним: слово «система» производно от греческого — «целое», или составленное из частей, «соединение»). Политическая сфера имеет эти элементарные качества. Специально отметим, что единство сложной системы (каковой, без сомнения, является система политическая) понимается не как ее имманентная целостность и гармония, а как комплекс разнонаправленных действий, решающих задачу регулирования, упорядочивания и самосохранения в условиях постоянной неопределенности и риска разрушения. Поставив в центр внимания взаимосвязи между целым (системой) и ее частями, приверженцы системного анализа исследуют также, каким образом конкретные составляющие системы воздействуют друг на друга и на систему в целом.

Образцом для создателей теории послужила концепция «социальной системы» Т. Парсонса, который рассматривал системы человеческого действия любого уровня в терминах функциональных подсистем, специализированных на решении своих специфических проблем.

«Социальные системы, — по Т. Парсонсу, — это системы, образуемые состояниями и процессами социального взаимодействия между субъектами... Все основные типы их структурных компонентов (ценности, нормы, коллективы, роли) являются по отношению друг к другу независимыми переменными».

На уровне социальной системы функцию адаптации обеспечивает экономическая подсистема, функцию интеграции — правовые институты и обычаи, функцию воспроизводства структуры, которая составляет «анатомию» социума, — система верований, мораль и институты социализации (семья, система образования и т.д.), функцию целедостижения — политическая подсистема. Каждая из подсистем общества, обладая свойством открытости, зависит от результатов деятельности остальных. При этом взаимообмен в сложных системах осуществляется не прямо, а с помощью «символических посредников», каковыми на уровне социальной системы являются деньги, влияние, ценностные приверженности и власть. Власть, прежде всего, «обобщенный посред-

ник» в политической подсистеме, в то время как деньги являются «обобщенным посредником» экономического процесса и т.д.

Между политической и экономической системами происходит обмен власти и денег, политических решений и потребления денежных ресурсов (например, инвестиций). Финансовые ресурсы инвестируются, в частности, в политические программы, что уже само по себе является фактором входа. В свою очередь, политическая система обладает «входом» в экономическую через установление правовых рамок процесса производства богатств. Главным звеном социальной системы является политическая система, поскольку именно в ней происходит целеполагание (спецификация) и она играет ключевую роль в процессе достижения значимых целей. Кроме того, именно политическая система обладает функцией интеграции членов общества во властные отношения.

Суть системного анализа (или структурного функционализма)¹ — это выявление структуры системного объекта и последующее изучение функций, выполняемых его элементами, значимых для самосохранения системы в целом. Таким образом решалась проблема изучения политики как системного феномена. Как писал еще Т. Парсонс, структура составляет «анатомию» социальной системы, а функции — ее «физиологию», при этом единицы структуры не связаны однозначно с конкретными индивидами, но являются позициями индивидов в системе, а функции — это то, что выполняется структурными элементами.

Теория политических систем возникла и как альтернатива традиционному институциональному подходу в политической науке. Она претендовала не только на обобщение огромного эмпирического материала, полученного бихевиористами, но и на преобразование политической науки в более точную дисциплину.

«Понятие “политическая система”, — пишет известный немецкий политолог *К. фон Бейме*, — появилось для того, чтобы заполнить “теоретический вакуум”, который оставляло понятие “государство”». Этот термин свободен от правоведческих сопутствующих значений, ассоциируемых с государством, и легче поддается определению в категориях наблюдаемого

¹ В научной литературе пишут о двух типах системных исследований. Первый восходит к позитивизму XIX в. и в настоящее время может быть назван функционализмом, его главным теоретиком является Т. Парсонс. Второй тип, известный под названием системного анализа, обращает особое внимание на проблемы принятия решений и после Второй мировой войны использовал операционные исследования и математические методы. Некоторые авторы выделяют и третий тип системных исследований — марксистское понимание теории систем, ориентированное на создание альтернативной глобальной теории (Р. Чилкот). Для простоты мы употребляем понятия «системный анализ» и «структурный функционализм» как тождественные.

поведения. «Концептуальная широта термина делает его полезным средством анализа при исследовании неформальных политических структур, тогда как “управление” часто тесно отождествляется с формальными институтами».

В результате категории государства, а также правового и институционального аппарата, используемые в традиционной политологии, были заменены понятием «политическая система». «Место власти заняла функция, место учреждения — роль, место института — структура» (*Р. Чилкот*). Эти категории были нужны, в частности, для того, чтобы показать, что все политические системы имеют некоторый набор общих характеристик.

§ 2. Теория политических систем Д. Истона: проблема политической стабильности

Считая важнейшим свойством политической системы способность к сохранению ее качественной определенности при изменении структуры и функций элементов, или, иначе говоря, ее стабильность, Д. Истон выдвигает в качестве первоочередной задачи анализ условий, необходимых для сохранения устойчивости системы и ее выживания (не случайно структурно-функциональный анализ называют «макросоциологией социальной стабильности»). Для этого, по его мнению, следует рассматривать четыре основные категории: «политическую систему», «окружающую социальную среду», «реакцию» и «обратную связь», так как именно данные категории связаны с «...мобилизацией ресурсов и выработкой решений, направленных на достижение стоящих перед обществом целей».

Единицей исследования политической системы Д. Истон считает взаимодействие. Он пишет:

«В более широком контексте исследование политической жизни... может быть описано как совокупность социальных взаимодействий между индивидами и группами. Взаимодействие является основной единицей анализа. То, что прежде всего отличает политические взаимодействия от всех других родов социальных взаимодействий — это их ориентация прежде всего на авторитарное распределение ценностей в обществе».

Отсюда политическая система трактуется как совокупность взаимодействий, осуществляемых индивидами и группами в пределах признанных ими ролей, направленных на авторитарное распределение ценностей в обществе. Власть в данной трактовке политической системы высту-

пает как ее главный атрибут. Стремясь подчеркнуть властный характер политической системы и ее направленность на принятие авторитарных решений, некоторые последователи Д. Истона называют политическую систему даже «машиной по выработке решений».

Однако такая трактовка политической системы не единственная. Так, с точки зрения *Р. Даля*, можно считать политической системой любой устойчивый тип человеческих отношений, который включает в себя в качестве главных компонентов власть, нормы и правила, авторитет. Таким образом, политические системы могут различаться уровнем политической институализации и политического участия. В качестве политической системы может рассматриваться та внутригрупповая структура, которая осуществляет принятие решений в субсоциетальных группах (т.е. группах ниже уровня общества как целого), таких как семья, церковь, профсоюз или коммерческая организация. В то же время, отмечает Р. Даль, ни одно объединение людей не бывает политическим во всех аспектах. Политическая система, состоящая из полномочных представителей населения данной страны и ее правительства, представляет собой государство. В свою очередь можно говорить и о международной политической системе с географической организацией и национальными подсистемами. Такое понимание политической системы можно назвать расширительным, однако оно не противостоит истоновскому подходу.

В целом только в политической науке США насчитывается более двадцати определений политической системы. Так, М. Каплан определяет политическую систему как «совокупность переменных величин, связанных между собой одной или несколькими функциями», для Т. Мадрона политическая система — «совокупность объектов и их признаков, скрепленных сетью отношений», и т.д. Однако они принципиально не отличаются друг от друга, являясь во многом взаимодополняющими.

Будучи «открытой», иерархичной, саморегулирующейся, динамически неравновесной системой поведения, политическая система испытывает на себе влияние окружающей среды. С помощью механизмов саморегуляции она вырабатывает ответные реакции, адаптируясь к внешним условиям. Посредством этих механизмов политическая система регулирует свое поведение, преобразует и изменяет свою внутреннюю структуру (под структурой понимается стандартизация взаимодействий) или изменяет функции структурных элементов.

«Самодостаточность (системы) в отношении среды означает стабильность отношений взаимобмена в интересах собственного функционирования и способность контролировать взаимобмен в интересах собственного функционирования. Этот контроль может варьироваться от способ-

ности предотвратить или “пресечь” какие-то нарушения до способности благоприятным для себя образом формировать отношения со средой», — отмечал Т. Парсонс.

Постоянный поиск динамической устойчивости есть норма функционирования политической системы. Для того чтобы справиться с возникающими в политической системе стрессовыми ситуациями, она должна обладать, по мнению *М. Каплана*, «способностью к ослаблению напряжений, исходящих из окружающей среды, способностью к реорганизации самой себя и внешнего окружения таким образом, чтобы положить конец возникновению напряжений вообще или по крайней мере их появлению в прежних формах, а также хотя бы ограниченной независимостью от постоянных колебаний внешних условий». Если же она не обладает подобными «способностями поддержания системы» и не предпринимает мер по предотвращению разрушительного влияния окружающей среды, а также если напряжения внутри нее настолько велики, что власти не могут осуществлять свои решения в качестве обязательных, то политическая система может быть разрушена.

Таким образом, долговечность любой политической системы зависит от способности изменяться и адаптироваться к окружающей обстановке, т.е. восстанавливать динамическое равновесие. Причем стабильность той или иной из них на протяжении какого-либо периода времени говорит не об отсутствии изменений, а о наличии системной способности к ненасильственным изменениям в целях и в руководстве. По мнению *С. Хантингтона*, в условиях возрастания политического участия для сохранения политической стабильности необходимо увеличение сложности, автономии, приспособляемости и согласованности политических институтов общества.

Обмен и взаимодействие политической системы с социальной средой осуществляется по принципу «входа»—«выхода»¹ (понятия заимствованы из кибернетики). «Вход» — это любое событие, которое по отношению к системе является внешним и влияет на нее любым способом. «Выход» представляет собой ответную реакцию политической системы на это воздействие в форме политических решений, заявлений, законов, различных мероприятий, символических актов и т.д.

«Вход» осуществляется либо в форме «требований», либо в форме «поддержки».

¹ В рамках системной теории политическая система может быть определена и как совокупность отношений политической системы и окружающей среды через механизмы «входов» (внешних импульсов, переработанных политической системой) и «выходов» (обратная связь или реакция системы в форме политических действий).

Требование — это обращенное к властным органам мнение по поводу желательного или нежелательного распределения ценностей в обществе.

Речь идет о таких ценностях, как безопасность, самостоятельность личности, политическое участие, потребительские блага, статус и престиж, равноправие и др. Так, Д. Истон, приводя различные определения политической системы, образно сравнивал ее с гигантской фабрикой, в которой сырые материалы (потребности) перерабатываются в первичный материал, именуемый требованиями, которые имеют две основные формы. Первая — это собственные требования системы к окружающей среде, что оборачивается решениями властных органов. Вторая — требования, демонстрирующие настроения групп людей, входящих со своими потребностями в политическую систему.

Однако все это не означает, что политическая система должна удовлетворить все обращенные к ней требования, тем более что это и невозможно практически. Политическая система может действовать весьма самостоятельно при принятии решений, выбирать между теми или иными требованиями, решать те или иные вопросы по своему усмотрению.

В таких случаях она обращается к так называемому резерву поддержки, где

поддержка — это такое политическое отношение, когда «А действует на стороне В или ориентирует себя благосклонно по отношению к В, где А — люди, а В — политическая система как определенным образом взаимосвязанная и взаимодействующая совокупность политических институтов и политических руководителей, преследующих соответствующие политические цели и руководствующихся определенными политическими установками и ценностями» (Д. Истон).

Поддержка проявляется в двух видах: внутренняя поддержка (или потенциальная), выражающаяся в настроениях приверженности данной политической системе, толерантности, патриотизме и др., и внешняя поддержка, предполагающая не только принятие ценностей данной системы, но и практические действия на ее стороне. Именно поддержка обеспечивает стабильность системе правления и органам власти, которые преобразуют требования окружающей среды в соответствующие политические решения, а также создает необходимые предпосылки для применения средств и методов, с помощью которых осуществляются эти преобразования. Кроме того, «вход» политической систе-

мы призваны разгружать «привратники» политической системы — политические партии и организованные группы интересов, которые осуществляют функцию отбора, так что далеко не все требования достигают политической системы.

Поскольку именно поддержка обеспечивает стабильное функционирование политической системы, постольку каждая система стремится создать и внедрить в сознание своих граждан через каналы политической социализации так называемые рабочие ценности, т.е. укрепляющую ее легитимность идеологию.

Не случайно в западной традиции **легитимность** принято определять прежде всего как «способность системы породить и поддержать веру народа в то, что ее политические институты в наибольшей степени отвечают интересам данного общества» (С. М. Лунцем).

В то же время легитимность означает и соответствие действий политической власти ценностям, на которых основана политическая система, и признание людьми справедливости законов и норм, создаваемых и применяемых политической властью.

Как уже отмечено, Д. Истон и его последователи постоянно ставили во главу угла вопрос о «самосохранении», поддержании стабильности и «самовывживании» политической системы в условиях непрерывно меняющейся окружающей среды, поэтому понятия «политическая стабильность» и «политические изменения» становятся ключевыми для теорий политических систем и политической модернизации.

Политическая стабильность в самом общем виде определяется как «регулярность потока политических обменов», в свою очередь регулярность политического взаимодействия — это «соответствие общепринятому образу политического поведения» (Д. Истон).

По мнению американского политолога А. Лейнхарта, политическая стабильность включает в себя такие понятия, как: а) поддержание системы; б) гражданский порядок; в) легитимность и г) эффективность. К важнейшим характеристикам стабильной демократической системы относится то, что она, во-первых, обладает высокой вероятностью сохранения качества демократичности и, во-вторых, отличается низким уровнем насилия, применяемого или способного быть примененным к сообществу.

Для стабильной политической системы, отмечает М. Мизи, характерны «...всеобщее осознание статуса самостоятельного государства, преемственность, неизменность формы правления и постепенная, организованная, планомерная циркуляция элит».

Еще одно условие политической стабильности — социокультурная гомогенность. Считается также, что стабильность более вероятна, «если политические институты данной системы способны быстро реагировать на требования граждан. В результате реагирования на требования создается “специфическая конкретная поддержка” режиму и его полномочным представителям, а в перспективе и “широкая поддержка”, т.е. поддержка режиму и стране, не обусловленная удовлетворением требований. Высокий уровень широкой поддержки помогает сохранить стабильность в случае, когда система не имеет возможности удовлетворить непосредственные требования граждан».

Среди наиболее характерных и ярко выраженных — требования граждан о материальном благосостоянии и социальном обеспечении. Американский социолог Т. Р. Гарр считает, что

«люди проявляют неповиновение, когда испытывают относительную депривацию (относительные лишения); т.е. волнения и беспорядки возникают в тех случаях, когда люди считают, что их экономическое положение хуже, чем должно быть».

В свою очередь **политические изменения** определяются как трансформация структур, процессов или целей, затрагивающих распределение или отправление властных полномочий по управлению данным обществом. Политические изменения могут происходить либо в результате приспособления системы к новым требованиям и к меняющейся окружающей среде, либо же в силу того, что одну систему, не способную сохранить себя, заменяет другая. Варианты политических изменений: а) революция; б) политический переворот; в) политическая реформа. Выбор же варианта зависит от эффективности деятельности политической системы, поскольку в любом обществе удовлетворенные группы предпочитают ненасильственные изменения, недовольные же более склонны во имя изменений прибегать к насилию.

В государствах, испытывающих радикальные экономические и политические трансформации, значительные категории граждан переживают нисходящую социальную мобильность, однако уровень социальных ожиданий (особенно в постсоциалистических странах) растет, поэтому люди переживают быстрое разочарование, если новый режим не может удовлетворить эти ожидания. Если же рост ожиданий сопровождается активным включением населения в политику, то результа-

том почти наверняка будет политическая нестабильность и рост насилия. Широкое политическое участие в этой ситуации усиливает социальные конфликты, поднимая требования на новый уровень и порождая еще большее разочарование, когда и они не удовлетворяются.

Нестабильность, как правило, усугубляется и отсутствием или неразвитостью гражданской политической культуры.

Однако политические институты (понимаемые как «...установленный порядок нормативного и стандартизированного поведения») способны оказывать воздействие на дестабилизирующие социальные и культурные факторы. Если деятельность этих институтов направлена на удовлетворение наиболее насущных требований граждан, особенно обусловленных их экономическими потребностями, то политическую дестабилизацию можно предотвратить. Проблема, однако, заключается в том, насколько способны институты эффективно реагировать на требования граждан.

С. Хантингтон считает, что угрозу политической стабильности, которую создает высокий уровень политического участия, можно нивелировать посредством обладающих реальной властью и эффективных политических институтов. Когда же институты слабы и неэффективны, высокий уровень политической активности населения может привести к дестабилизации системы. С. Хантингтон отмечает в своей известной книге конца 1960-х «Политический порядок в меняющихся обществах» (М., 2004), что в «третьем мире» социальная неудовлетворенность ведет к выдвижению требований к правительству и расширению участия в политике ради осуществления этих требований. Более того, неразвитость институтов, особенно на «входе» политической системы, затрудняет или не позволяет высказывать эти требования к правительству через легитимные каналы, придавать им более умеренную и агрегированную форму. Поэтому скачок в политической активности повышает политическую нестабильность.

Отсюда такое внимание западных исследователей к институализации политики как «процессу развития и усвоения различными социальными образованиями требуемых норм и ролей». При этом

институализация — «...это процесс и результат процесса, в рамках которого социальное действие начинает регулироваться и приобретать стабильные черты социальной структуры. Возможно поэтому, — пишет С. Хантингтон, — ради поддержания стабильности следует ограничивать политическое участие, пока политические институты не окрепнут настолько, что смогут выдерживать более высокий уровень политической активности населения».

По Хантингтону, политическую нестабильность следует отнести в первую очередь на счет слабости государственных институтов, их не-

способности эффективно выполнять свои функции. Отсюда возникает проблема институциональной эффективности.

В частности, законодательные органы играют важную, но противоречивую роль в деле поддержания политической стабильности. Они могут усилить требования и тем самым обострить конфликт системы с окружающей средой, а при президентской форме правления, когда законодательные органы независимы от исполнительных, обструкционистская позиция парламента может привести к тупиковой ситуации и уменьшить вероятность того, что правительство сумеет принять эффективные меры. Вместе с тем законодательные органы могут способствовать стабильности, удерживая президента или правительство от достижения тех или иных целей репрессивными методами. Представительская работа отдельных парламентариев (особенно представляющих в парламенте территории или те или иные меньшинства) может повысить легитимность режима, способствуя удовлетворению требований или же создавая у граждан представление, что их требования услышаны (*М. Мизи*).

«Функция законодателя состоит в том, чтобы свидетельствовать о существовании каналов коммуникации между народом и исполнительной ветвью, в результате чего требования людей могут быть “заложены” в машину принятия решений, а решения исполнительной ветви власти могут быть проконтролированы в том случае, если они порождают трудности, проблемы и несправедливости» (*Ж. Блондель*).

Однако, отмечает Майкл Мизи, «хотя одни институты могут смягчить, а другие усилить нестабильность, в целом институты государства не способны придать стабильность обществу, нестабильному в своей основе».

Процесс ввода требований и поддержки осуществляется через две основные стадии: артикуляцию и агрегацию интересов. *Артикуляция* — это процесс осознания и формирования интересов индивидами и малыми группами. *Агрегация* — это уже обобщение и согласование близких артикулированных интересов, перевод их на уровень программ, политических деклараций, проектов законов, это корректировка проводимой политики и предложение ее альтернатив. Основным субъектом артикуляции являются группы интересов. Агрегация же — одна из целей деятельности политических партий, средств массовой коммуникации и государства. На другой стороне политической системы находится «выход» — то, что «измеряет ее производство». Это и есть государственная политика, т.е. указы главы государства и постановления правительства, законы, принятые парламентом, судебные решения. Кроме того, это производство символов, знаков и сообщений, которые также

адресуются окружающей среде. Эти исходящие являются, таким образом, ответом на требования окружающей социальной среды, которые тем самым удовлетворяются, отвергаются, оспариваются или частично выполняются. Наконец, властные решения, воздействуя на окружающую среду, неизбежно вызывают к жизни новые требования и поддержку. А это и есть обратная связь.

В результате **политическая система** может быть определена как «устойчивая форма человеческих отношений, с помощью которой принимаются и проводятся в жизнь авторитетно-властные решения для данного общества. Политическая система отличается от других систем общества четырьмя характеристиками: она является **универсальной** по охвату данного общества своим воздействием, распространяясь на всех его членов; она претендует на конечный контроль над применением физического **принуждения**; ее право выносить обязывающие решения принимается в качестве **легитимного**; и ее решения являются **авторитетно-властными**, несущими в себе силу легитимности и существенную вероятность того, что им подчиняются» (Словарь политического анализа, 1982).

Глава 3

СТРУКТУРНЫЙ ФУНКЦИОНАЛИЗМ И ПРИНЦИП ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

1. Структура и функции политической системы
 2. Принцип функциональной эквивалентности в сравнительных исследованиях
-

§ 1. Структура и функции политической системы

Поскольку политическая система — это сложное, иерархическое образование, постольку неизбежно встает вопрос о ее подсистемах и структурных элементах. Отвечая на него, Г. Алмонд, в частности, выделяет в качестве таких подсистем

«... три широких класса объектов: 1) специфические роли и структуры, такие как законодательные и исполнительные органы или бюрократии; 2) носители ролей, такие как отдельные монархи, законодатели и администраторы; 3) конкретные публичные мероприятия, решения или исполнение решений».

Эти структуры, носители и решения могут быть в свою очередь более подробно классифицированы в зависимости от того, включены они в политический процесс (или «вход») или в административный процесс (или «выход»).

Таким образом, Г. Алмонд включает в число элементов политической системы, с одной стороны, элементы, возникающие и функционирующие на основе действующего права: «...структуры типа парламентов, исполнительно-распорядительных органов, бюрократии, судов, партий, групп давления и средств коммуникации», а с другой стороны, неразличимые или едва различимые «структуры» наподобие статуса граждан и организаций, кастовых групп, возникающих в обществе беспорядков, демонстраций и т.п. В то же время, анализируя внутреннее строение политической системы, Г. Алмонд выдвигает на передний план не столько структуры, сколько существующие между ними связи и взаимодействия, выполняемые ими в политической системе роли. В результате он опреде-

лял политическую систему как «...набор взаимодействующих ролей или ролевую структуру», понимая под структурой «стандартизацию взаимодействий». Исходя из этого он уже определял политическую систему как «стандартизированное взаимодействие ролей, влияющих на решения, подкрепленные угрозой физического принуждения».

Динамическая характеристика политической системы дается через понятие «политический процесс». Описания политического процесса в западной политической науке, как правило, сильно формализованы, поскольку они должны отвечать двум главным требованиям: быть операциональными и верифицируемыми, для того чтобы сделать возможным переход от содержательного описания процесса к созданию формальной модели (схемы) процесса в математической или таблично-графической форме. Отсюда

политический процесс — это «процесс преобразования информации, перевода ее с “входа” на “выход”» (Д. Истон).

Таким образом, речь идет практически о сведении политического процесса к «передаче смыслов, значимых для функционирования политической системы», т.е. к политической коммуникации. Согласно мнению К. Дойча, политическая коммуникация могла бы стать средоточием политической науки, тогда политические системы трактовались бы как обширные коммуникационные сети. В книге «Нервы управления: модели политической коммуникации и контроля» он предлагает информационно-кибернетическую модель политической системы, в рамках которой выделяет четыре блока, связанных с различными фазами прохождения информационно-коммуникативных потоков. Это:

- получение и отбор информации на «входе» системы (посредством внешних и внутренних рецепторов);
- обработка и оценка информации;
- принятие решений;
- осуществление решений и обратная связь от «выхода» системы к «входу».

На первой фазе политическая система принимает информацию посредством внешнеполитических и внутривнутриполитических «рецепторов», к которым отнесены информационные службы (государственные и частные), центры изучения общественного мнения и др. В этом блоке происходит селекция, систематизация и первичный анализ поступающих данных.

Вторая фаза обеспечивает дальнейшую обработку уже отобранной информации, которая поступает в блок «памяти и ценностей». Тут она, с одной стороны, сравнивается с уже имеющимися данными, а с другой, оценивается сквозь призму норм, стереотипов и ценностей, господствующих в данной политической системе.

На третьей фазе правительство, как «центр принятия решений», принимает соответствующее решение по регулированию текущего состояния системы. Решение принимается после получения итоговой оценки степени соответствия текущей политической ситуации основным приоритетам и целям политической системы.

Четвертая фаза предполагает, что «эффекторы» (исполнительные органы — внутривнутриполитические и внешнеполитические) реализуют принятые правительством решения. При этом результаты деятельности «эффекторов» порождают на «выходе» из системы новую информацию (внутриполитическую и внешнеполитическую), которая через «обратную связь» вновь попадает на «вход» и выводит всю систему на новый цикл функционирования.

К. Дойч выделяет три основных типа коммуникаций, осуществляемых в политической системе:

- 1) личные неформальные коммуникации, например персональные контакты кандидата в депутаты с избирателями в непринужденной обстановке;
- 2) коммуникации через организации и группы давления, например, когда контакт с правительством осуществляется посредством политических партий, профсоюзов и т.п.;
- 3) коммуникации через средства массовой информации (печатные и электронные).

Однако такой крайний подход был подвергнут критике за заимствование основных элементов концепции у тех, кто разрабатывает компьютерные системы, за «механическое перенесение терминологии, принципов деятельности и важнейших положений кибернетики в сферу политики» (Р. Кан).

Общепринятой стала трактовка, предложенная Г. Алмондом:

«Говоря о **политическом процессе**, или “входе”, мы имеем в виду поток требований от общества к государству и конверсию этих требований в авторитетные политические мероприятия. К числу структур, вовлеченных преимущественно в процесс “входа”, относятся политические партии, группы интересов и средства коммуникации».

При этом «выход» трактуется в западной политологии как «административный процесс», говоря о нем, имеют в виду «...процесс реализации или навязывания авторитетных политических решений. Структуры, вовлеченные преимущественно в этот процесс, включают бюрократию и суды».

Итак, политический процесс складывается из следующих основных циклов:

- поступление информации из окружающей среды в рецепторы политической системы;
- циркуляция ее в системе;
- преобразование политической системы;
- решение системы по авторитетному распределению ценностей (Р. Даль).

Исходя из вышесказанного, мы можем определить политический процесс как совокупную деятельность всех акторов¹ политических отношений, связанную с формированием, изменением, преобразованием и функционированием политической системы.

Поскольку любая политическая система стремится к самосохранению и адаптации к требованиям своего окружения, приверженцы структурного функционализма утверждают, что можно вычленить конечное число процессов, благодаря которым эти цели станут выполнимыми. По их мнению, во всех политических системах прошлого и настоящего обеспечивались одни и те же «функции»², менялись лишь состав и сложность государственных и иных политических структур. Именно на этой почве возникла общая теория функций политической системы Г. Алмонда. Он включил в свою концепцию истонианскую структуру «входов», «выходов» и «обратной связи», но, считая ее недостаточной, разработал собственный вариант теории политических

¹ «*Политический актор*» — лицо или общественная группа, воздействующие на процесс принятия и осуществления решений в данной политической системе. В политике субъект действия (актор), как и в театре, играет роль... Варианты поведения, когда ряд людей придерживается сходных убеждений в отношении того, как следует вести себя в той или иной ситуации, называют ролями (Р. Даль). Роль — это «организованная часть ориентаций» актора, которая составляет и определяет его участие в процессе политического взаимодействия.

² Г. Алмонд и его последователи разделяли многие представления известного антрополога А. Радклифф-Брауна, в частности его понимание категории «функция». По Радклифф-Брауну, это «вклад деятельности части в деятельность целого, частью которого она является ...вклад, который она вносит в совокупную социальную жизнь, в функционирование всей совокупной социальной системы».

систем, добавив понятия «структуры»/«роли» и «функции», снабдив тем самым упрощенный «черный ящик» Истона функциональными и структурными категориями.

Например, в работе Г. Алмонда и Б. Пауэлла «Сравнительная политика» функции, направленные на самовоспроизводство системы и ее адаптацию к окружению, подразделяются на три группы.

1. Функции *преобразования, конверсии*. Их цель — обеспечить превращение требований и поддержки в политические решения или действия. Г. Алмонд и Б. Пауэлл выделяют здесь шесть функций. Две из них осуществляются на уровне «входа» и должны обеспечить регулирование всего, что питает политическую систему: речь идет о выявлении интересов и требований и их гармонизации.

Три следующие функции находятся на «выходе», это:

- разработка обязательных правил;
- проведение их в жизнь;
- судебная функция.

Шестая функция — политическая связь/коммуникация (движение или сдерживание информации, передача смыслов, значимых для функционирования политической системы) — касается и «входа», и «выхода» системы.

2. Функция *адаптации, приспособления*. Давление, оказываемое на политическую систему требованиями всякого рода, создает постоянный фактор несбалансированности. Противостоят этой перегрузке две функции системы:

- набор политического специализированного персонала, принимающего требования и проводящего их оптимальную обработку;
- функция политической социализации, т.е. распространение политической культуры, совместимой с требованиями выживания и адаптации системы к своему окружению.

3. *Способности*. Они касаются отношений между политической системой и ее окружением:

- способность мобилизации материальных и человеческих ресурсов для нормального функционирования системы;
- способность регулировать, т.е. устанавливать контроль над людьми, находящимися на территории, управляемой системой;
- способность распределять, т.е. предоставление услуг, статуса, вознаграждения и др.;
- способность поддерживать символику, т.е. проведение действий по приданию чему-либо законной силы, празднование героических дат или событий, связанных с общественными ценностями и способствующих достижению согласия;

- способность слушать, т.е. умение принять требования до того, как они породят серьезное напряжение в обществе.

Представление о том, что любая политическая система обязательно выполняет некоторые основные задачи, позволило продвинуться на очень важную ступень в разработке оснований, по которым в принципиально различных политических системах выделялись бы сопоставимые элементы. Согласно Г. Алмонду идеальное разделение функций на практике недостижимо. Властные сектора, политические партии, группы интересов и др. почти неизбежно выполняют не одну, а несколько функций. «Любая политическая структура, какой бы узкоспециализированной она ни была, является многофункциональной».

§ 2. Принцип функциональной эквивалентности в сравнительных исследованиях

Важная для сравнительного политического анализа категория «**функциональная эквивалентность**» выводится непосредственно из этих представлений. Выявление функциональных эквивалентностей осуществляется путем аналитического разделения политических ролей и функций. Один и тот же вид деятельности может выполняться в разных странах различными органами; и в то же время одинаковые или подобные институты в разных странах могут выполнять различные задачи. Так, в одних государствах функция привлечения политических сторонников (мобилизация) выполняется кланами и корпоративными структурами, тогда как в других эту функцию выполняет партийная система. Нередко то, что называют «партией», является лишь номинально эквивалентом того, что партия представляет собой в общепринятом смысле (КПСС и западные парламентские партии), заметно различается и набор функций, которые они выполняют. Функцию рекрутирования политической элиты, ключевую для партий, выполняют, например, и британские тред-юнионы, и в недавнем прошлом организация «Католического действия» в Италии, и др.

Высшая администрация не только выполняет предписанную ей функцию исполнительной власти, но и активно вмешивается в законодательный процесс, хотя и в различной степени. Это вмешательство особенно сильно проявляется во Франции, в Австрии, Швеции, Норвегии, но значительно слабее оно в Бельгии, Италии или Нидерландах. Можно сказать, что президент Французской республики в качестве высшего государственного чиновника выполняет сразу три политические функ-

ции: первую — символическую, как олицетворение высшей государственной власти; вторую — исполнительную, как глава исполнительной власти, и третью — политическую, в качестве главы коалиции большинства (в условиях, когда он опирается на парламентское большинство). Если поставить вопрос, кто выполняет эти три функции в Великобритании, то можно назвать два высших должностных лица: монарха — исполняющего символическую функцию, и премьер-министра — исполняющего две остальные. В Италии и Германии эти три функции бывают распределены между тремя лицами: символическая принадлежит президенту республики, исполнительная — председателю кабинета министров/канцлеру и политическая — генеральному секретарю/руководителю правящей партии. Как только компаративист определит актора, выполняющего различные функции, он может приступить к исследованию, ставя перед собой одинаковые вопросы по поводу самых различных политических систем.

Для компаративиста функциональный анализ начинается с выявления эквивалентностей, что является составной частью сравнительного анализа.

Существует широкое согласие по поводу того, что все политические системы на «выходе» производят значимые политические решения. Однако возникает вопрос — кто их принимает? Парламент, как это было в период Третьей и Четвертой республик во Франции, партийная верхушка ХДП и ее союзников, как это было до недавнего времени в Италии, военная хунта, как в Аргентине до 1982 г., клики и корпоративные группировки, как сегодня в России, или глава диктаторского режима? Определить эти центры принятия решений во всем разнообразии ситуаций — первостепенная задача компаративного анализа. Определив структуру, где принимаются политические решения, компаративист не только установит различия между политическими системами, но также выявит специфический характер некоторых проблем, в частности, объяснит эволюцию политических институтов и процессов.

Функциональная эквивалентность не является эквивалентностью в обычном ее понимании (подобие), элементы сходства между системами не должны определяться поиском традиционного подобия. Функциональная эквивалентность предполагает создание определенной концептуальной модели исследования, т.е. она проявляется только после глубинного анализа политических процессов. Кому адресуются требования в сравниваемых системах? По каким каналам передается информация? Какой степени независимости пользуются суды и другие государственные органы? Функциональная эквивалентность позволяет

провести такой сравнительный анализ, который проливает свет на то, каким образом конкретная политическая система функционирует в целом и в отдельных своих секторах. Разработка такой концептуальной модели требует определенных обобщений. Поскольку каждая функция рассматривается как органическая часть некоего целого, то даже самые эмпирически ориентированные исследования в конечном счете питают теорию. Накопление знаний, очевидно, может быть обеспечено таким подходом, который не признает существования «функции» вне организующей теоретической модели «системы» (*М. Доган, Д. Пелассу*).

Среди универсальных и фундаментальных функций особое внимание компаративиста привлекают две функции, поскольку именно на их основе можно установить принципиальное различие между политическими системами.

К ним относятся:

- формулирование (артикуляция) интересов, которое состоит в переводе расплывчатых заявлений в более четко оформленные требования;
- агрегирование интересов, которое заключается в преобразовании этих требований во всеобъемлющие и логически последовательные альтернативы (партийные программы, платформы съездов, позиции парламентского большинства и др.).

Например, интересы той или иной профессиональной группы (шахтеры) могут быть выражены их организационными объединениями (профсоюзы) или же спонтанно возникшими группировками, которые могут организовать демонстрации или блокаду железных дорог, чтобы разбудить общественное мнение и оказать давление на правительство. Их требования могут достичь коридоров власти как с помощью средств массовой информации, так и путем непосредственных контактов. И это не одно и то же, поскольку сильные посреднические структуры («призрачники» политической системы) могут значительно смягчить давление, оказываемое на правительство. Если обратиться, например, к странам Западной Европы, то можно заметить не только ряд объединяющих их тенденций, но также и различия между ними в осуществлении этой функции.

После того как интересы четко артикулированы, они должны быть агрегированы в единое целое или же включены в более широкие программы, способные обеспечить победу большинству, выступающему с различными, но идеально совпадающими целями. Институтами, которые выполняют эту функцию, могут стать профсоюзы, политические партии или партийные коалиции.

Далее — даже в тех странах, где эффективно выполняется функция артикулирования интересов, эти интересы не будут одинаково агрегированы в многопартийную, двухпартийную или же в систему с одной правящей партией. В первом случае возможно одновременное существование нескольких приоритетных требований. Обычно какой-то партии будет принадлежать инициатива защиты того или иного приоритетного интереса, но тогда ее позиция, как правило, остающаяся в меньшинстве в многопартийной системе, толкает ее на поиск союзников путем ведения переговоров и поиска компромисса. Процесс агрегирования интересов завершится окончательно на парламентском уровне или же в процессе переговоров между лидерами различных партий, составляющих там фактическое большинство.

В двухпартийной системе, напротив, центр агрегирования будет обычно определяться лидерством партии, находящейся у власти, после проведения серии дебатов и даже борьбы между ее фракциями. В системе с одной правящей партией процесс агрегирования интересов, как правило, осуществляется в ее рамках, но иногда на него оказывают сильное воздействие правительство, церковь или армия. В условиях политического режима с сильной личной властью сам лидер может выступить в качестве интегратора и примирителя интересов. Это означает, что в зависимости от институционального контекста одну и ту же функцию могут выполнять различные политические акторы.

Применение принципа функциональной эквивалентности особенно полезно при компаративном анализе значительно различающихся между собой стран. Функционалисты целенаправленно разработали этот принцип, чтобы получить возможность сравнения таких стран, где в одной формирование государственных структур находится еще в зачаточном состоянии, а другая уже достигла высокого уровня структурной дифференциации. Так, например, сравнить Германию и Австрию можно и не прибегая к этому принципу. Сравнить Нигерию и США без его помощи уже гораздо сложнее.

Несомненно, что чем больше политическая система развивается, тем более дифференцированной она становится; специализация ее структур будет продолжаться до тех пор, пока каждая функция не будет выполняться соответствующим социальным институтом. Так, в современных демократических специализированных системах существуют структуры, отмечает Г. Алмонд, «функции которых четко определены и которые стремятся играть регулирующую роль в выполнении данной функции в рамках политической системы в целом». Системы с более развитой структурной специализацией обладают, как правило, и большими ресурсами (финансами, информацией, техническим персоналом,

сложными организационными структурами), эффективными политическими организациями, а также массовыми ценностными ориентациями, необходимыми для обеспечения серьезных социальных преобразований. И наоборот, менее специализированным системам недостает этих ресурсов для эффективной адаптации к потрясениям, нарушающим равновесие системы. Одна из задач сравнительного анализа — показать, каким образом исторически сформировались различные специализированные политические учреждения — органы исполнительной власти, парламенты, бюрократический аппарат, суды — и каковы те функции, которые могли бы выполняться сходными структурами в различных исторических, культурных и системных контекстах.

Значение принципа функциональной эквивалентности очевидно: его применение позволило понять важность некоторых политических структур, выявить их скрытые задачи, их побочные роли, однако не менее очевидна опасность использования концепции функционализма, приводящего к размыванию содержания понятий и к «концептуальным натяжкам» (Дж. Сартори), если они будут распространены на слишком большое число самых различных политических режимов или если ранее оправдавшие себя теоретические модели будут неадекватно применены для решения новых познавательных задач. В частности, Дж. Сартори выражает сомнение по поводу полезности применения таких понятий, как «политическое участие», к системам, в которых оно в действительности не реализуется. Кроме того, компаративисты, используя этот принцип, отвечают на вопрос «как выполняется та или иная функция в системе?», но не отвечают на вопрос «почему?».

Однако функциональная эквивалентность в качестве аналитического инструмента, созданного западными учеными для изучения западных политических систем, имела и еще одно важное следствие. Она способствовала преодолению западоцентризма политологов.

Структурно-функциональный подход вызвал огромный интерес политологов еще и тем, что, казалось бы, позволял моделировать политические отношения, давал возможность «разворачивать» политическую ситуацию в направлении, обратном реальному течению времени, т.е. от следствия к причине, что и вело к выяснению факторов и действий, способствовавших возникновению политических кризисов и конфликтов. Предполагалось, что полученные в результате такой проверки модели можно будет использовать для «разворачивания» ситуации в будущее время и обнаруживать кризисные факторы заранее. Казалось, что наконец найдено средство, которое позволит политической науке выполнять в полном объеме прогностическую функцию.

3. Структурный функционализм и принцип функциональной эквивалентности

В рамках структурно-функционального анализа были достигнуты и явные успехи. Приверженцы этого подхода привнесли в политическую науку богатый, строгий и политически нейтральный язык системного анализа. Понятие «политическая система» позволило более четко очертить границы политической власти и выделить властные отношения на всех уровнях. Структурный функционализм позволил включить в поле сравнительного политического анализа страны «третьего мира», что привело, в частности, к выдвижению в политической науке на первый план (с 1960-х годов) теорий политической модернизации, а это в свою очередь позволило осуществить прорыв в изучении новых независимых государств. Весьма важным был и поворот к изучению неформальных механизмов принятия политических решений и функционирования государства.

Глава 4

ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО/ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ

1. Методологический кризис сравнительной политологии 1960 — 1970-х годов и пути его преодоления
 2. Принцип методологического индивидуализма и теория рационального выбора
 3. Стратегии политического поведения (теория игр)
-

§ 1. Методологический кризис сравнительной политологии 1960–1970-х годов и пути его преодоления

Во второй половине 1960-х годов сравнительная политология сталкивается с серьезным кризисом, поскольку, помимо огромного интереса, идеи системного анализа политики породили и большие разочарования. Так, исследователи столкнулись с четырьмя «проклятыми» проблемами: субъективности, многомерности, неопределенности и размытости критериев политического поведения. Это была цена, которую пришлось платить за применение системного подхода (как оказалось, не универсального) к познанию политических реалий.

Согласно данной теории место индивида, группы или института в политической системе, с одной стороны, и выполняемые ими функции — с другой, определяют их поведенческие установки, ориентации и цели деятельности. Поэтому изучение ролей и их изменения в рамках данной политической системы позволяет раскрыть процесс принятия решений, т.е. понять механизм функционирования политической власти в данном обществе. Таким образом, целое — система — довлеет над единичным. Однако «если поведение человека в политической системе есть просто реакция на воздействие тех или иных факторов, то откуда возникает способность думать, планировать, ставить цели?» — ставит вопрос Д. Истон. Отсюда, в частности, небезоснова-

тельные обвинения в бессубъектности политического процесса. Попытка определения универсальных функций политических систем, по мнению американского политолога *Г. Тьюна*, не слишком помогла дать ответ на вопросы «как разные страны могут решать политические проблемы?» и «почему эти проблемы возникают?». Другими словами, объяснительная способность сравнительного анализа с помощью структурно-функциональной методологии часто оказывалась достаточно ограниченной.

Наиболее серьезный упрек критиков структурного функционализма состоял в том, что он представляет собой «макросоциологию политической стабильности». Любое общественное установление (институт) считается функциональным, если способствует стабильности определенной системы, и, напротив, — дисфункциональным, если ведет к утрате системой устойчивости. Интерпретации процессов изменения сводятся в этом случае к тому, что политическая система возвращается после периода нестабильности в прежнее состояние либо происходит установление некоего нового равновесия. «Ни в коем случае мы не можем считать теорию Истона теорией политических изменений, — писал, в частности, социолог *Томас Торсон*, — теорией, которая давала бы ответы на вопросы о том, почему происходят те или иные конкретные политические изменения». Рассматривая это как проявление исходно идеологической, консервативной установки, критики заявляли, что в рамках структурного функционализма невозможно описать и проанализировать конфликты и переходные политические процессы.

Отмечалось также, что сосредоточение внимания на требованиях групп интересов к политической системе может привести к ошибочным представлениям о реальных политических ситуациях, поскольку на практике требования политической системы к обществу могут быть гораздо весомее. Утверждали также, что с точки зрения сравнительных политических исследований в теории политических систем недостает учета эмпирических последствий.

Американский социолог *Дон Мартиндейл* следующим образом суммировал недостатки структурного функционализма: консервативное идеологизированное пристрастие и предпочтение статус-кво; отсутствие методологической ясности; чрезмерный акцент на роли закрытых систем в социальной жизни; неспособность к изучению социальных изменений. Таким образом, в ходе научных дебатов вокруг структурного функционализма обнаружилось методологические изъяны, преодолеть которые, оставаясь в рамках этого подхода, невозможно:

- механицизм и «бессубъектность» — рассмотрение политического взаимодействия в отвлечении от смыслов, которыми индивиды наделяют свою деятельность;
- телеологизм: социальная и политическая деятельность объясняется через ее последствия;
- неспособность объяснить феномены нестабильности и конфликта — последние предстают лишь как патология, болезнь, грозящая стабильности системы.

Еще более разгромной критике подверглась теория политической модернизации. В качестве основных пороков данной концепции называли западоцентризм и телеологизм, поскольку процесс модернизации понимался подавляющим большинством адептов данной теории в 1950-е годы как процесс вестернизации мировой периферии.

В качестве альтернативы господствовавшей теоретической парадигме рядом молодых исследователей предлагается обновленный марксистский подход, с чем связан кратковременный период «марксистского ренессанса» на Западе в конце 1960-х годов. Альтернативой теории модернизации на некоторое время становится *теория зависимости* (Ф. Э. Кардозо, Э. Фалето и др.), приверженцы которой утверждали, что взаимодействие богатого и промышленно развитого «Севера» и бедного, преимущественно аграрного «Юга» не идет последнему на пользу. Скорее наоборот: создавая модернизированные анклав экономики в тех ее отраслях, которые необходимы для обеспечения международной торговли, «Север» тем самым на практике консервирует отсталость и блокирует развитие других отраслей экономики развивающихся стран. В результате страны «третьего мира» становятся «сырьевым придатком» и источником дешевой рабочей силы и попадают в долговую зависимость от транснациональных финансовых структур, контролируемых развитыми странами.

В условиях «глубокого разочарования в системном анализе» происходит и возвращение концепции государства. В частности, Дж. Розенау утверждал, что «государство глубоко укоренено в нашей терминологии и вряд ли увенчаются успехом попытки его заменить». «Возвращению государства» в немалой степени способствовало появление в 1960–1970-х годах авторитарно-бюрократических режимов в Латинской Америке и Африке. Проблемы государственного корпоративизма, кризисов политического развития, живучести авторитарных систем стали темой известных исследований С. Хантингтона, Ф. Шмиттера, Г. О’Доннелла, Г. Виарды и др. Окончательно оформила эту тенденцию книга П. Эванса и Т. Скочпол с весьма символическим названием

«Возвращение государства» (1985). Государство, писала Т. Скочпол, «возвращается назад, и неформальные институты покидают временно занятое ими место в политике».

Однако теперь государство рассматривается не как пассивный центр пересечения социальных сил, а как относительно автономный актор, способный выдвигать цели, реализовывать их, разрабатывать стратегии и т.п. Этот актор играет активную самостоятельную роль, например, при выработке и реализации социальной политики, поэтому в предмет анализа инкорпорируются моральные суждения и компоненты (Д. Истон).

Кризис методологических оснований сравнительной политологии продлился почти полтора десятка лет. Однако эти годы не были «черной дырой» в истории дисциплины. Именно в это время компаративисты обратились к разработке методических и технических аспектов применения сравнительного метода к политике, чему ранее уделялось недостаточно внимания. В 1960-е годы исследователи вновь сосредотачивают внимание на Европейском континенте, бурными темпами идет процесс накопления и систематизации эмпирической информации. В 1962 г. в США создается мировой архив баз данных Межуниверситетского консорциума политических и социальных исследований при Мичиганском университете. В то же время начинается работа над тремя глобальными проектами сравнительного анализа политических систем мира:

- 1) «Сравнительный анализ государств» (Массачусетский технологический институт США);
- 2) «Измеримость наций» (Северо-Западный университет США);
- 3) «Йельская программа сбора политических данных» (Йельский университет США).

И наконец, именно в 1970–1980-е годы на первый план выходят две взаимосвязанные теории, являющиеся сегодня лидерами в сфере методологии компаративных политических исследований, — *теория рационального выбора* и *неоинституционализм*.

§ 2. Принцип методологического индивидуализма и теория рационального выбора

Как и структурный функционализм, теория рационального выбора пришла в политическую науку извне — из экономики, где она возникла в начале 1950-х годов. **В политической науке она чаще называется теорией общественного выбора** (*public choice*). В политической науке интерес к

теории рационального выбора впервые возник после опубликования в 1951 г. книги *Кеннета Эрроу* «Социальный выбор и индивидуальные ценности» (см. гл. 13) и книги *Энтони Даунса* «Экономическая теория демократии», вышедшей в 1957 г. Так, разработанная Э. Даунсом теоретическая модель описывала политическую борьбу между преследующими свои эгоистические интересы партиями и избирателями¹. Фундаментальное для теории рационального выбора положение сформулировано Э. Даунсом следующим образом: «Каждый гражданин голосует за ту партию, которая, как он верит, предоставит ему больше выгод, чем любая другая». Эти книги стали первым шагом данной теории в область политических наук. Затем последовали работы *У. Райкера*, *П. Ордешиука*, *Д. Блэка*, *Дж. Бьюкенена*, *М. Олсона*, *Г. Таллока*, *Дж. Стиглера*, *Э. Шатинайдера*, *П. Херринга* и др. (характерно, что большинство из них экономисты). В соответствии с этим подходом выдвигалась перспектива создания единой, всеобъемлющей политической теории как части единой формальной теории социальной науки, основанной на общих аксиомах или положениях, заимствованных главным образом из экономики.

Однако достаточно долгое время данная теоретическая концепция оставалась достоянием американских исследователей в рамках таких субдисциплин, как политическая теория, американская национальная политика и теория международных отношений. Экспансия теории общественного выбора в область сравнительной политологии была затруднена принципиальными различиями в исходных теоретических постулатах этой концепции и структурного функционализма. Если в последнем система довлеет над политическими акторами и во многом определяет их действия, а потому главная задача исследователя — понять логику развития целого (не случайно приверженцев структурного функционализма обвиняли в бессубъектности описываемого ими политического процесса), то теория рационального выбора в принципе не ставит задачу целостного и развернутого описания политической системы. Напротив, все внимание она сосредоточивает на отдельном участнике политических взаимодействий (акторе). Более того, одно из ключевых положений так называемого методологического индивидуализма гласит: «Структуры никогда и ничего не делают; в реальных ситуациях

¹ В частности, созданная Э. Даунсом формальная модель предсказывает, что любая политическая партия в условиях альтернативных выборов будет подбирать своих кандидатов и формулировать платформу так, чтобы привлечь с их помощью как можно большее число избирателей. Это приводит его к заключению, что существует тенденция, в соответствии с которой политические партии должны получать примерно равное число голосов (особенно в условиях двухпартийной системы). Именно такой результат обычно и наблюдается на выборах в США.

действуют только отдельные индивиды» (*Р. Коллинс*). Сердцевиной же концепции рационального выбора является идея о том, что сами общественные структуры можно понимать как результат взаимодействий **эгоистически** и **рационально** действующих индивидуальных акторов (так называемых *homo economicus*), озабоченных прежде всего текущими личными проблемами. Первое означает, что актор рассматривается как *максимизатор собственной выгоды*, т.е. «...не только как лицо, поступки которого в определенном смысле являются для него самого оптимальными, но и как субъект, обладающий системой предпочтений, образующих согласующуюся с аксиомами рационального выбора функцию полезности, и действующий таким образом, чтобы максимизировать величину этой функции» (*М. Фармер*), ему безразличны потери других, пока они не имеют для него отрицательных последствий, второе — что при этом он заботится о *минимизации усилий*, затрачиваемых на достижение цели. Стремление максимизировать собственную выгоду не означает, что человек обязательно будет вести себя как эгоист, но если даже он будет вести себя как альтруист, то этот способ скорее всего является для него более выгодным, чем другие.

Основные черты парадигмы рационального выбора, по мнению известного американского политолога *У. Райкера*, состоят в следующем:

- всегда наличествует опознаваемый ряд возможных действий, ведущих к желаемым результатам;
- участники политического процесса способны упорядочивать свои предпочтения с целью достижения желаемых результатов;
- акторы, как правило, выбирают среди альтернативных действий, руководствуясь задачами максимизации ожидаемой пользы от полученных результатов.

Здесь возникает первая теоретическая проблема, поскольку нет однозначного понимания рациональности. Как писал известный британский политический философ *Майкд Оукиот*,

«Слово “разум” и соответствующие ему определения — разумный и рациональный — имеют длинную историю, наградившую эти понятия неоднозначностью и сбивчивостью. Они, подобно зеркалам, служили отражением изменяющихся представлений о мире и о человеческих возможностях — представлений, буквально наводнивших нашу цивилизацию в последние два тысячелетия; в результате бесконечного взаимоналожения этих понятий и представлений в наших головах образовался полный сумбур. Вопрос о том, какой смысл имеют данные слова в сфере человеческих отношений, а также в области политики, способен кого угодно поставить в тупик...»

Теоретики рационального выбора и в этой ситуации находят выход из положения, выдвигая тезис об «ограниченной рациональности индивида» (*Г. Саймон*) и понимая рациональность поведения акторов аксиоматически. Так, в наиболее общем виде **рациональность** определяется ими следующим образом:

«Субъект никогда не выберет альтернативу X, если в то же самое время доступна альтернатива Y, которая, с его точки зрения, предпочтительнее X» (*Р. Шверу*).

При этом подчеркиваются три главные характеристики этого понятия: субъективность, индивидуальный характер, ограниченность¹. В частности, американский экономист Герберт Саймон поставил под сомнение способность индивида контролировать ситуацию, включающую большой объем информации и предполагающую участие многих акторов отношений. В результате вместо модели «человека экономического» он предложил модель «административного человека», который на основе известной и по определению неполной информации выбирает не оптимальное, а лишь удовлетворительное (субоптимальное) решение проблемы. Такой подход более реалистичен, так как администратор вынужден упрощать ситуацию, ограничивать рациональность за счет неизбежных случайностей, непредвиденных обстоятельств и т.п. Вот почему он довольствуется принятием не наилучших, а только удовлетворительных решений. Большой опыт, накопленный в практике управления, свидетельствует о том, что наибольших успехов в принятии решений достигают те специалисты, которые руководствуются в первую очередь содержанием своих моделей, их адекватностью реальности, а не изяществом их математической формы.

Вторая трудность касается набора результатов и альтернатив: в этой связи встает вопрос — включает ли их набор все возможные варианты

¹ Так, Э. Даунс поясняет, что его определение «рационального человека» относится только к человеку, который движется к достижению своих целей таким путем, который, на его взгляд, требует наименьших возможных затрат редких ресурсов на единицу получаемого результата». При этом цели индивидов принимаются как заданные и, следовательно, не поддающиеся анализу. Даунс иллюстрирует это положение следующим примером: «Допустим, монах сознательно выбрал в качестве своей цели достижение состояния мистического созерцания Бога. Для этого ему необходимо освободить свое сознание от всех логических мыслей и осознанного целеполагания. С точки зрения экономики такое освобождение сознания вполне рационально, даже если его можно расценить как иррациональное или, по крайней мере, нерациональное с позиции неэкономических определений рациональности».

или только те, которые зависят от акторов? В результате делается допущение, что этот набор включает в себя лишь те альтернативы и результаты, о которых известно участникам взаимодействий.

Именно эти обстоятельства, и прежде всего ограниченность информации о возможных альтернативах и способах достижения целей, которой располагают акторы, а также то, что человек не способен точно предсказать будущие события и реакцию других на его действия, приводят к ошибкам. Иногда же цена такой информации превышает ценность для актора самого результата. Поэтому рационально действующие акторы могут получать и нерациональные результаты. Как пишет американский исследователь Дж. Марч:

«Неспособность индивида к оптимальному выбору обусловлена ...невозможностью объять весь спектр потенциальных выборов. Рациональность (в этом случае) заключается в поиске не оптимального, а удовлетворительного решения».

Так, благодаря сравнительным исследованиям известно, что модели политического участия в различных странах в значительной степени определяются существующим в обществе социальным неравенством; для различных социальных групп характерны «свои» виды политического участия, однако на вершине «пирамиды участия» оказываются те, кто и по остальным социально-экономическим показателям стоят на первых местах.

Как и почему это происходит, можно объяснить при помощи положений теории рационального выбора. Так, согласно этой теории, человек выбирает формы участия в политике исходя из соотношения имеющихся у него ресурсов (а это прежде всего деньги, свободное время и информация), затрат на участие и потенциального выигрыша от этой деятельности.

Люди с более высоким социально-экономическим статусом предпочитают те формы политического участия, которые хотя и требуют больших затрат ресурсов, но зато обещают и больший выигрыш. Однако именно из-за высокой (и все более возрастающей) «цены» такой деятельности, как активное участие в избирательной кампании в качестве кандидата на тот или иной выборный пост или членство в партии или общественных организациях, они менее доступны тем индивидам и социальным группам, которые располагают более скромными ресурсами.

В то же время, согласно утверждению известного американского исследователя *М. Олсона*, преследующий собственный интерес рациональный индивид, входящий в большую социальную группу, не будет добровольно жертвовать собственными ресурсами (время, деньги, ин-

формация и др.) ради достижения целей общности, не имея каких-либо дополнительных стимулов. Во-первых, он знает, что его усилия не окажут заметного воздействия на достижение цели, во-вторых, он в любом случае разделит выгоду, достигнутую другими, являясь членом группы (так называемый эффект безбилетника). Следовательно, в рамках крупных групповых образований (любого типа) индивидуальные усилия участников в меньшей степени влияют на конечный результат, но в то же время все участники получают возможность пользования коллективными выгодами независимо от затраченных ими усилий для вклада в общее дело. Исключение составляют участие в голосовании и подписание петиций, т.е. случаи, когда издержки оказываются ниже гипотетического критического порога.

Действительно, даже для тех, кто не занимает высокого положения в обществе, доступно участие в голосовании, не требующее особых затрат. Впрочем, с точки зрения теории рационального выбора и эта форма политического участия не слишком «прибыльна», следствием чего является достаточно высокий уровень абсентеизма во многих демократических странах. Правда, уровень электоральной активности зависит еще от целого ряда факторов, таких как цена невыгодного исхода выборов, зависящая от объема властных полномочий избираемого института, доверие к власти (политическому классу) и институту выборов и др.

Лежащая в основе данной теории модель рационального человека, поведение которого определяется просчетом издержек, связанных с достижением той или иной избранной цели, имеет два важных недостатка. Первый — до сих пор не доказано, что человек всегда и во всем ведет себя как рациональный эгоист. Так, согласно утверждению известного американского социолога *А. Этциони*:

«...Индивиды постоянно находятся под воздействием двух факторов: полезности и моральных обязательств (причем оба этих фактора являются продуктами социализации). Относительная значимость данных детерминантов поведения определена историческими и социальными условиями, а в заданных исторических и социальных условиях она может зависеть от личностных характеристик индивида».

В этой связи другой, не менее известный британский социолог — *Э. Геллнер* вполне резонно пишет:

«Практика реальной жизни колеблется между рационалистически-бюрократическим стилем и тем, который Макс Вебер назвал “харизматическим”... и под которым подразумевается страстная, вплоть до безумия, претензия на абсолютную власть, выражающаяся в иррациональной или антирациональной форме и не затрудняющая себя даже видимостью логического обоснования. Смешение этих стилей может быть вполне жизнеспособным,

приводя к усилению их сильных сторон: власть Наполеона имела харизматический характер, однако модель общества, обладающего сводом четко сформулированных законов и работающей административной системой, носит его имя».

В свою очередь Д. Истон замечает, что социальное поведение регулируется нормами, усвоенными индивидом в процессе социализации. Эти нормы очень часто формируют «общественно ориентированные действия» в интересах «социальной солидарности». Таким образом, ответ на этот вопрос лежит за пределами модели рационального выбора.

Второй аргумент — прагматический: модель не дает возможности объяснить, как человек определяет и понимает собственное благо, а это значит, что для адекватного анализа поведения человека изначально необходимо знать его реальные, фактические цели.

Так, теоретики рационального выбора сталкиваются с необходимостью ответа на ряд трудных вопросов. Один из них сформулировал в названии своей статьи американский ученый *Поль Стерн*: «Почему люди жертвуют во имя своих наций?» — ради группового блага, но в ущерб собственному? По мнению Стерна, эмоциональные связи с первичной группой, а также социально передаваемые нормы и правила (институты) могут оказаться сильнее соображений личного интереса, поскольку «легче следовать правилам, чем делать утилитарные расчеты». Однако такой ответ неполон и оставляет открытым вопрос — чем можно объяснить альтруизм «рационального максимизатора личной выгоды» по отношению к нации или этнической общности в ущерб интересам группы, с которой он связан непосредственно (семья, община)? Ответ на этот вопрос, видимо, не в представлении о деформации естественного эгоизма, а в том, что человек постоянно делает выбор из множества ценностей, предпочтений и стратегий поведения и руководствуется различными принципами выбора. На этот выбор влияют различные факторы, в том числе культурная и личная история индивида, социальные условия (контекст), внешние психологические давления (навязывание определенного выбора), а также способность и возможность самой личности оценить последствия предлагаемого выбора и соотнести их с другими возможными стратегиями. Так, если в обществе господствуют представления, что у каждого обязательно должна быть этническая идентичность, и только одна (иначе ты — «Иван, не помнящий родства», «манкурт»), и люди соответствующим образом ценностно ориентированы, то выбор в пользу этнической лояльности вплоть до жертвенности предопределен в большей степени, чем при других условиях и ценностях. И дело здесь не в свойствах определенных личностей или этни-

ческих групп («гиперэтничности»), а в том же недостатке информации, а значит — и доступности выбора рационального поведения (тем более что рациональность носит субъективный характер). Если люди не знают другого варианта улучшения условий жизни в мультиэтничном обществе, кроме «национально-освободительной борьбы» и «национального самоопределения», то их жертвенный альтруизм во имя вооруженной борьбы за интересы нации — это наиболее доступный выбор. Особенно в ситуации, когда времени на обучение, получение альтернативной информации и рациональный расчет у человека нет, так как под окнами его дома режут моторы танков со своим собственным вариантом альтруизма и эгоизма.

«Психология интересов, которую развивали сперва французские аристократы XVIII в., а потом английские утилитаристы, очень полезна во всех тех случаях, когда речь идет о калькуляции, измерении и взвешивании, — отмечает немецкий историк Э. Нольте. — Однако человек по своей сути не есть калькулирующее существо. Он опасается за свое существование, боится будущего, ощущает ненависть к врагам, он готов пожертвовать жизнью ради великого дела. Когда мощные эмоции такого рода определяют поведение крупных групп людей, следует говорить об основных эмоциях. Такой основной эмоцией было возмущение многочисленных рабочих и безработных, вызываемое несправедливостями и неравенством в капиталистической системе. Но основной эмоцией был и страстный гнев множества французов против бошей, которые отобрали у их родины в 1871 г. две ее красивейшие провинции (и наложили контрибуцию в размере 5 млрд франков. — *Прим. авт.*). Повседневная политика может строиться на калькуляции интересов и балансе интересов; но как только речь заходит о необычном и угрожающем, для очень многих людей эмоции перевешивают интересы. Имеются в виду такие эмоции, как возмущение, гнев, скорбь, ненависть, презрение, страх, но также энтузиазм, вера в великую задачу».

Отсюда особая ответственность политических элит, которые призваны сделать за других этот политический выбор. Так, выбор групповой этнической идентичности — это, конечно, не всеобщий выбор, а момент согласия только части политически активного населения, для которого участие в этом выборе важно по каким-то причинам. Как точно отметил российский этнолог *В. Тишков*:

«Подавляющее число членов этнической группы ложится спать и встает не с вопросом “Кто мы?” (русские, татары, чуваша, чеченцы и т.д.), если, конечно, на их дома не падают бомбы именно в связи с подобными вопросами».

Доминировать же в гражданских ориентациях и представлениях людей этнополитические установки могут лишь кратковременно, как

правило, в период обострения межгрупповых отношений. Даже в случае массовой этнической мобилизации выступление «всего народа» против чего-то или за что-то есть лишь один из самых распространенных политических мифов. Зачастую же имеет место принуждение ко всеобщему выступлению или поспешное к нему присоединение на этапе близкой победы, сулящей уже не гибель, а определенные дивиденды (вспомним «эффект безбилетника»).

§ 3. Стратегии политического поведения (теория игр)

Эти кажущиеся бесспорными и даже в чем-то банальными констатации — только первый шаг в теории общественного выбора. Выше уже отмечалось, что ее адептов прежде всего интересуют взаимодействие и обмен, осуществляемые рациональными максимизаторами личной выгоды, отсюда возможность выигрыша или проигрыша для любого из них. Результат же определяет избранная ими стратегия. При этом способность индивидов к координации становится основным условием успеха. Исходя из необходимости координации предлагается наполнить новым смыслом понятие рациональности, которое не сводится больше только к сопоставлению целей и средств (ресурсов). «Важно то, что каждое действие предполагает интерпретацию, которая в свою очередь должна основываться на действии» (*П. Ливе, Л. Тевено*). Отсюда выводится понятие «**интерпретативной рациональности**», согласно которому

реализация поставленных целей ставится в зависимость от способности индивида правильно интерпретировать действия других и создать условия для правильной интерпретации последними своих действий.

При этом различия между экономической и политической деятельностью заключается не в разнице типов ценностей и интересов людей, а в условиях, в которых они реализуют свои интересы.

«Политика (политическая система), — отмечает лауреат Нобелевской премии экономист Дж. Бьюкенен, — есть сложная система обмена между индивидами, в которой последние стремятся к достижению своих частных целей, так как не могут реализовать их путем обычного рыночного обмена... На рынке люди меняют яблоки на апельсины, а в политике — соглашаются платить налоги в обмен на блага, необходимые каждому: от местной пожарной охраны до суда».

В этом смысле демократия предстает как результат сложного выбора процедуры коллективно принимаемых решений по поводу обще-

ственных благ, характеризующихся неисключаемостью и неконкурентностью. Эффективность этой процедуры определяется затратами на заключение договора относительно этих благ, в число которых попадает и демократия. В основе проблемы эффективности политической деятельности лежит ее оценка по транзакционным издержкам. Под **транзакционными издержками** следует понимать совокупность затрат на производство конституционного договора (политического решения). Сюда относятся затраты, связанные с поиском агентов соглашения, предварительными переговорами, информацией, необходимой для взвешивания своей выгоды и стратегии партнера, и т.д. Транзакционные издержки определяются изъятиями политического рынка. В этой связи действует правило: «структура с наименьшими транзакционными издержками более всего приближается к структуре с эффективной деятельностью» (*Л. В. Сморгунов*).

Проблемы сопоставления стратегий, избавления от их взаимоисключающего характера и поиск решения, приемлемого для всех участников, занимают центральное место в теории игр. Поэтому основным достижением теории рационального выбора можно считать то, что она сумела свести все многообразие форм взаимодействия людей к нескольким неизбежно упрощенным теоретическим моделям — *играм*. Игры в рамках «теории игр»¹ — это ситуации, в которых два участника или более делают выбор в отношении своих действий и выигрыш каждого участника зависит от совместного выбора обоих (всех). Примерами такого рода ситуаций могут служить широко распространенные игры — шахматы, футбол, покер и др., поскольку результат их зависит от совокупных действий игроков.

В каждой из игр определяются оптимальные для каждого актора стратегии. Именно это позволяет применять теорию рационального выбора для объяснения социальных и политических явлений, в том числе и для их прогнозирования, поскольку теория игр — «это набор моделей, показывающих, имеют ли (и в какой степени) такие игры решение, т.е. окончательный результат» (*Я. Э. Лэйн*).

Методология теории игр основывается на проигрывании (симуляции) всех возможных ситуаций. Интересы игроков и исходящие из этого возможные способы взаимоотношений (стратегии) рассматриваются как изначально заданные. В простейших случаях рассматриваются два игрока (А и В), которые соответственно обладают двумя различны-

¹ Теория игр была разработана во время Второй мировой войны и изначально рассматривалась как секретное оружие в сфере политики, однако с той поры она давно превратилась в самостоятельную и не секретную отрасль высшей математики.

ми возможностями поведения (стратегии 1 и 2). В этом случае возможны четыре результата ($A1 + B1$, $A1 + B2$, $A2 + B1$, $A2 + B2$). Это позволяет определить, какой результат для какого игрока является наилучшим, имеются ли конфликты интересов и могут ли они быть как-то разрешены (в повторяющейся игре). Результаты абстрактного построения моделей могут быть проверены либо путем изучения конкретных ситуаций (*case study*), либо в лабораторных условиях.

Игры подразделяются на игры *с двумя игроками и числом игроков, обозначенных N*: в первом случае в процессе взаимодействия участвуют два индивида, группы или организации; во втором — более двух акторов.

Выделяют также *игры с нулевой суммой*, когда выигрыш одного актора соответствует проигрышу других, и *без нулевой суммы*, в ходе которой могут выиграть или проиграть все участники взаимодействия (т.е. тот факт, что один игрок выиграл, не означает, что другой столько же проиграл).

Кроме того, игры могут быть *кооперативными и некооперативными*. Кооперативная игра — ситуация, в которой игроки в принципе готовы обменяться информацией и создать коалиции (т.е. сотрудничать). В некооперативных играх кооперация между игроками исключена, поскольку они принципиально не доверяют друг другу.

Теория игр различает четыре вида результатов взаимодействия акторов:

- 1) равновесие (оптимум) по Парето;
- 2) преобладание одного игрока;
- 3) равновесие (эквilibриум) по Нэшу;
- 4) равновесие (эквilibриум) по Стакельбергу.

Равновесие по Парето означает, что улучшение положения одного игрока обязательно приводит к ухудшению положения другого/других. Однако при этом прибыль этого игрока меньше, чем убытки всех остальных игроков, вместе взятых (или, как сформулировал этот принцип Д. Бьюкенен: «...никому не будет хуже, но некоторым будет лучше, поскольку имущие извлекут выгоду из перераспределения»), а это значит, что равновесие по Парето является оптимальным результатом для общности игроков в целом. Поэтому, в частности, достижение равновесия по Парето — главная цель неоклассической экономики.

Результатом ситуации, в которой один игрок способен приумножить свое благо вне зависимости от действий других, является *преобладание одного игрока*.

При *равновесии по Нэшу* игрок может максимизировать собственное благо только в зависимости от действий других.

Если же один из игроков уже до своих действий знает реакцию других, то результат называется *равновесием по Стакельбергу*.

Игры с двумя игроками и нулевой суммой обладают окончательными решениями или результатами и потому могут быть названы устойчивыми. Здесь для каждого игрока существует доминирующая (минимаксная) стратегия, т.е. стратегия, которая оказывается наилучшей для него вне зависимости от стратегии его противника. Игры с двумя игроками и ненулевой суммой могут иметь единственный окончательный результат, или наилучший результат, которого способен добиться со своей стороны каждый игрок. В то же время для многих такого рода игр допустимы несколько результатов, что означает, что они не окончательны. Еще более серьезной проблемой является то, что эквilibриум Нэша не всегда равнозначен оптимуму Парето (оптимумом Парето называется результат, когда невозможно увеличить выигрыш одного игрока, не уменьшив при этом выигрыш другого). Здесь мы уже сталкиваемся с конфликтом между оптимумом Парето, или совместно предпочтительным результатом, и рациональным и эгоистическим выбором, направленным на собственный успех за счет соперника по игре.

Так, политические переговоры уже считаются игрой с двумя игроками без нулевой суммы. Моделью, описывающей такого рода взаимодействия, является игра, называемая «*Семейная ссора*», в которой игроки могут добиться положительного для обоих результата только при условии координации своих действий. В то же время существуют два варианта согласованных стратегий — два эквilibриума Нэша, реализация которых несет игрокам разную выгоду. Набор возможных результатов игры при сотрудничестве показан в табл. 1.

Таблица 1

«Семейная ссора»

Игрок Б \ Игрок А	А 1	А 2
Б 1	3, 2	0, 0
Б 2	0, 0	2, 3

Эта игра в ситуации сотрудничества сторон не имеет окончательно результата, поскольку существует множество вариантов решения возникающей в ходе торга проблемы выбора одного из нескольких возможных оптимумов Парето.

Считается, что при анализе политической жизни более применима теоретическая модель (игра), получившая название «*дилемма узника*».

«Дилемма узника» (табл. 2) описывает ситуацию, когда двух преступников держат порознь, а каждому при этом говорят, что если он «сдаст» своего партнера, то получит свободу (через год). Если один молчит, в то время как его соучастник сознается, его наказывают особо жестоко (25 лет). Молчание обоих гарантирует каждому сравнительно легкое наказание (3 года — такой исход на языке теории рационального выбора называется *положительным эквиполюмом*). Однако не имея возможности договориться, оба заключенных предпочитают признание (10 лет — это точка так называемого *отрицательного эквиполюма*) независимо от того, как поступает партнер. Поскольку рационально каждый ожидает от другого измены, ведь доверие партнеру не является ни эгоистичным, ни рациональным. Таким образом, к несчастью для узников, *совместно предпочтительная стратегия* (обоим не признаваться в содеянном), противоречит *индивидуально предпочтительной* (сознаться первым). В «дилемме узника» важно то, что чем хуже каждая из сторон думает о другой, тем скорее обе они примут стратегию обмана. В этой ситуации пространство выбора сужается до предела, актерам приходится выбирать из худших исходов наилучший (так называемое минимаксное решение), т.е. совместный обман.

Таблица 2

«Дилемма узника»

Узник А \ Узник Б	Признание	Непризнание
Признание	10 лет тюрьмы <i>отрицательный эквиполюм</i>	25 лет тюрьмы
Непризнание	25 лет тюрьмы	3 года тюрьмы <i>положительный эквиполюм</i>

Модификацией «дилеммы узника» является игровая модель «тупик». Здесь условия игры несколько меняются. Предполагается, что за молчание заключенные получают больший срок, чем если бы они оба признались в содеянном. Тогда при сохранении доминантной стратегии одностороннего действия некооперативное поведение было бы наиболее выгодным. Модель «тупика» делает акцент на принципиальной невозможности создания союза между участниками игры даже в той ситуации, когда они имели возможность общаться друг с другом.

Игра «цыпленок» описывает стратегии поведения двух мотоциклистов-«рокеров» в ситуации, когда их взаимная неуступчивость является

наихудшим результатом. Согласно условиям игры два «рокера» мчатся навстречу друг другу с максимальной скоростью. Тот из них, кто первым «увильнет» в сторону, проигрывает игру. Эта игровая модель и названа по презрительному прозвищу, которое получает проигравший: «*chicken*» — «цыпленок», или «слабак». Здесь нет общей для обоих игроков доминантной, выигрышной стратегии, поскольку оба решения — играть до конца и выйти из игры — одинаково пагубны для игрока, но худший вариант «победить» — обоим. Поэтому оптимальной стратегией в «цыпленке» является та, которая выбирается в зависимости от поведения соперника. Если один выбирает стратегию «увиливания», то другой продолжает мчаться вперед, и наоборот.

Наконец, модель «страхования» предполагает, что сотрудничество двух участников является наиболее выгодным и оптимальным, но оптимальным является также и взаимный отказ от кооперативного поведения, хотя подобное поведение может быть связано не с индивидуальным выигрышем, а с попыткой минимизации риска при разнонаправленных действиях.

В отношении «дилеммы узника» наиболее интересным является то обстоятельство, что в реальной практике игроки чаще всего выбирают все-таки сотрудничество, несмотря на то что наиболее соблазнительным для игроков является минимаксное решение. До недавнего времени был неясен механизм выбора стратегии сотрудничества в этих ситуациях.

Ключ к решению данной проблемы, по-видимому, в том, что игра носит интерактивный характер, т.е. повторяется много раз, что позволяет каждому из акторов многократно наказывать другого за обман. В случае повторяемости игр у акторов появляется возможность учиться на опыте прошлых игр и таким образом улучшать свой результат. Эта возможность связана с тем, что в зависимости от совместимости интересов игроков в игре могут возникать разные проблемы.

Например, если игроки имеют взаимоисключающие интересы, то в случае эквilibrium Нэша возникает проблема координации их действий. Никто из игроков не в состоянии достичь своих целей без помощи другого. Один из игроков при этом должен отказаться от осуществления собственного интереса (что невозможно, поскольку речь идет о рациональных максимизаторах личной выгоды). Однако в случае повторяющихся игр повышается возможность нахождения компромисса. При этом каждый игрок реализует свой интерес в ходе одной из игр (по очереди), чтобы избежать возникновения такой ситуации, при которой никто из игроков не может реализовать собственный интерес. В результате подобного компромисса возникают правила, которые способны

улучшить результаты всех участников (см., например, «диллему двух фермеров» Д. Юма).

В серии опытов, проведенных американцем *Робертом Аксельродом* в начале 1980-х годов, было продемонстрировано, что простая стратегия игры (названная Аксельродом «Зуб за зуб»), предполагающая причинение противнику всего того, что он причинил тебе в предыдущем туре игры, оказывается предпочтительной в ситуации, когда в игре занято большое число акторов. В частности, если из двух акторов оба руководствуются стратегией «зуб за зуб» (более удачный русский аналог названия стратегии, пожалуй, «ты — мне, я — тебе»), то, начав игру с сотрудничества, они и далее будут его продолжать. Если же актер, следующий стратегии «ты — мне, я — тебе», сталкивается с актором, склонным к обману, то это (по Аксельроду) скорее всего приведет к их взаимному уничтожению. Следовательно, в реальной действительности наиболее удачливыми окажутся те акторы, которые согласны на сотрудничество по принципу «ты — мне, я — тебе». Таким образом, акторы, не умеющие или не желающие сотрудничать, имеют мало шансов на выживание, а успех будет в конечном счете на стороне того актора, с которым сотрудничать вполне безопасно. Это во многом объясняет то, почему сотрудничество реально существует и в тех ситуациях, когда нет ни принуждения к выполнению обязательств сторон, ни договоренностей между игроками и где противника, пытающегося сотрудничать, выгодно обмануть.

Однако, как показали последующие исследования, при объяснении сотрудничества индивидов повторяемость их действий играет весьма ограниченную роль. Многократная повторяемость действительно может привести к стабильному сотрудничеству между двумя актерами, однако с такой же степенью вероятности она может иметь и обратный результат; теория рационального выбора не в состоянии дать ответ на вопрос о том, почему в одном случае результат — сотрудничество, а в другом — нет. Роль многократной повторяемости при решении проблемы коллективного действия в значительной степени зависит от асимметричного распространения информации среди партнеров, особенно в тех случаях, когда в игре участвует более двух игроков. В игре с двумя актерами получить информацию о том, пойдет ли каждый из них на сотрудничество, не составляет особого труда; однако когда в игре участвует много партнеров, это весьма затруднительно. Печальный результат в такой ситуации может состоять в том, что «участники перехитрят сами себя в погоне за оптимальной выгодой» (*Ф. Шарф*).

Еще одной слабостью данного подхода является, по мнению А. Пшеворского, допущение о «достратегическом» статус-кво. Согласно ему

индивиды могут выбирать между бездействием и действием, нацеленным на общее благо. Но, как заметил еще Сартр, существуют ситуации, когда можно выбирать только между действием «за» и действием «против». Когда королевские солдаты начали обыски с целью изъятия оружия на улице, которая вела к Бастилии, жителям, прятавшим это оружие, оставалось либо самим оказаться в Бастилии, либо ее разрушить. В этих условиях «проблема коллективного действия» не является «дилеммой заключенного».

Как утверждает *Дж. Цибелис*:

«...с позиций теории рационального выбора невозможно осмыслить динамику процесса; с ее помощью нельзя проследить те пути, следуя которыми акторы достигнут необходимого равновесия».

Существует также опасность, что излишний схематизм подхода не позволит в полной мере понять намерения и интересы игроков. Кроме того, возможно, что исследователь припишет игроку ошибочный мотив, а следовательно, будет неверно интерпретировано его поведение. Способность сотрудничества, а в случае повторяющихся игр способность к обучаемости актора должны быть оценены максимально точно, чтобы прийти к верным выводам.

Недостаток теории игр заключается и в том, что ее математически ориентированная методология не в состоянии охватить сложные ситуации, связанные с взаимодействием большого количества игроков. Говорят также об узости трактовки мотивов политического поведения, неспособности адекватно описать понятие общего блага, трудности анализа институциональных рамок действия и т.д. Список критических замечаний можно продолжить.

Однако с помощью теории рационального выбора возможен анализ проблем координации и согласования действий определенного круга людей и в экономике, и в политике. Так, именно в рамках парадигмы рационального выбора возникли модель «медианного избирателя», теории формирования политических коалиций, распределения и разделения власти и др. В свою очередь «дилемма узника», а также и другие игры с ненулевой суммой получили широкое применение прежде всего в теории международных отношений (проблемы обоюдного контроля за вооружениями, принятия решения о начале войны обычного типа, предсказания возможных исходов переговоров и др.).

В частности, в 1970-е годы в научный оборот вводится понятие «международный (региональный) режим», под которым понимались правила, нормы, принципы и процедуры, структурирующие ожидания международных акторов в отношении поведения друг друга в определен-

ных сферах (*С. Хаггард, Б. Симмонс*). В результате представители теории международных режимов все более концентрируют внимание на изучении правил (формальных и неформальных), которыми руководствуются государства и другие международные акторы в своем поведении, а также представлений об этих правилах, которые складываются в сознании людей.

Природу таких режимов трактовали как определенного рода ответ на проблемы, с которыми сталкиваются действующие рациональные акторы — государства, озабоченные максимизацией собственной выгоды, в связи с чем соперничество стало рассматриваться как базовая характеристика международной системы. Считалось, что эгоистически настроенные государства-нации, озабоченные максимизацией собственной выгоды, тем не менее испытывают мощное давление, заставляющее их вступать в обязывающие соглашения ради максимально возможного увеличения собственного благосостояния в долговременной перспективе. Так, по мнению *Фрица Шарфа*, система принятия решений в ЕС не способствует нахождению наиболее оптимальных решений, поскольку вынуждает участников непременно согласовывать свои национальные интересы. В результате выбор сознательно делается в пользу решений несколько менее эффективных, но зато всех устраивающих, т.е. субоптимальных. Однако предполагая близкие интересы и замалчивая интересы, которые разъединяют, понятие «международный режим» не давало возможности изучить, как некоторые режимы способны институализировать неравенство. На протяжении 1990-х годов предпринимались попытки систематизации и уточнения «наследия» теории международных режимов, которые вылились в формирование неолиберального институционализма (неоинституционализма) в рамках теории международных отношений, где понятия «международный режим» и «международный институт» уже употребляются как тождественные и определяются как «...набор правил, определяющих способы сосуществования государств в условиях сотрудничества и конкуренции».

В политической регионалистике при помощи теории игр можно с успехом исследовать взаимоотношения между центром и регионами в федерациях (на материалах конституционного или договорного разграничения предметов ведения и полномочий). Возможен также и анализ роли представителей центральных государственных учреждений в регионе. Теория игр исходит при этом из их двоякой лояльности. С одной стороны, представители должны осуществлять и защищать интересы центра. С другой — они могут отождествлять себя с регионом и добиваться выгоды для региона. Таким образом, в случаях конфликта инте-

ресов центра и региона важно проследить, как реагирует представитель центра и каким результатам он противится.

В ходе исследования причин появления и эволюции современных федеративных систем американский исследователь У. Райкер, опирающийся на теорию рационального выбора, пришел к заключению, что федерализм является результатом институциональной сделки элит. Он не несет в себе никаких особых ценностей и лишен всякого этического измерения. Как отмечает политолог М. Филиппов: «В федералистской теории Райкера как образование, так и функционирование федерализма связано с мотивацией политиков, а также теми факторами, которые на эту мотивацию влияют». Причем условия образования федераций (они, как правило, носят военно-политический характер) не совпадают с условиями, поддерживающими их существование. Этому ученому принадлежат также весьма актуальные размышления относительно «цены» федерализма, т.е. издержек, которые могут приводить к ограничению прав и свобод в федерации при реализации такого демократического принципа, как учет интересов меньшинства, и др.

В гораздо меньшей степени рациональный выбор используется в сравнительном анализе. Тем не менее теория игр широко применяется при исследовании «нерыночного принятия решений, связанных с общественными благами, внешними эффектами и перераспределением доходов», определении стратегии избирательных кампаний, разработке политических платформ, стратегического голосования, переговоров и сделок, распределении власти, формировании коалиций, лоббировании, принятии бюрократических решений и др. Так, постоянно обсуждаемые в сравнительной политологии проблемы условий возникновения и устойчивости демократии теперь связываются не с «объективными» социальными и экономическими предпосылками, а с политическим выбором в пользу тех или иных стратегий поведения и институтов, процессом принятия решений на уровне политических элит, рациональностью их действий. Именно на этих принципах строится теория демократического транзита.

Однако, по мнению критиков, теория рационального выбора слишком упрощает весьма сложные политические ситуации, где значительную роль играют неопределенность и случайность, задачи, стоящие перед политологами-компаративистами, практически всегда многомерны, включают различные переменные и предполагают использование широкого набора возможных стратегий поведения.

Для применения теории игр в компаративных политических исследованиях Дж. Цебелис ввел понятие «*игры в лабиринте*». Главный свой

аргумент он формулирует следующим образом: «Если при наличии адекватной информации выбор действующего лица кажется субоптимальным, это можно объяснить тем, что у наблюдателя нет полной картины. Наблюдатель видит только одну игру, тогда как действующее лицо участвует в целой серии игр» — в том, что Цебелис и называет «играми в лабиринте».

Цебелис проводит различие между двумя типами «игр в лабиринте»: это игры на нескольких аренах одновременно и институциональное строительство. В первом случае акторы вовлечены в одновременную игру не менее чем на двух площадках. Во втором они участвуют не только в игре на основной арене, но и в соревновании по поводу изменения правил этой игры. К примеру, политические баталии в ЕС и СНГ вполне можно представить как два варианта игр, которые политики ведут на двух уровнях — национальном и региональном — в одно и то же время.

Однако сама возможность использования теории рационального выбора в сравнительной политологии обеспечена тем, что она не только содержит описание потенциальных стратегий поведения «игроков», но и предлагает выход из тупика. В частности, в случае с «узниками» необходимо внести некоторое изменение *в правила игры*, которое предусматривало бы неизбежное наказание для игрока за выбор индивидуально предпочтительной стратегии. В случае же с игрой «семейная ссора» критерием справедливости может быть признано равенство сторон, при введении данного ограничения в правила игра тут же приобретает единственное и окончательное решение.

Как отмечает *А. Вендт*:

«Анализ действий (рациональных политических акторов) требует, по крайней мере, подспудного понимания особенностей социальных взаимоотношений (или “правил игры”), в которых действие произведено, — точно так же, как анализ социальных структур требует некоторого понятия о действующих лицах, чьи взаимоотношения составляют социальный контекст».

Возникает вопрос: что определяет правила игры в политике? В условиях демократии это прежде всего конституция, вся законодательная система, а также неформальные нормы политического поведения, которые и находят воплощение в политических институтах. Важный для нас вывод гласит: только институты способны усилить устойчивость за счет ограничения набора возможных исходов.

«Ограниченные способности человека к расчету определяются способностью сознания перерабатывать, организовывать и использовать информацию. Эта ограниченная способность в сочетании с неопределенностями при расшифровке поступающей извне информации порождает правила и

процедуры, призванные упростить данный процесс», — считает известный американский исследователь-институционалист *Дуглас Норт*.

Отсюда, в частности, важность проблемы институализации политической системы для переходных обществ или институализации международных отношений и др.

Британский историк *Д. Ливен* отметил другой недостаток, свойственный приверженцам теории «рационального выбора», — их полнейшее пренебрежение историей:

«Адепты могущественной школы политологии “Рациональный выбор”, которым связь между политикой и историей представляется бессмысленной, рассматривают политику лишь с позитивистских позиций, опираясь на “жесткую” и “научную” экономику. Между тем изучение истории имеет тенденцию к движению в противоположном направлении, в сторону литературных поисков, нарратива и постмодернизма».

В этом смысле весьма характерно, что один из основоположников политической теории рационального выбора — Э. Даунс отказался от моделирования «политического человека» по образу и подобию «человека экономического». В результате он занялся изучением социальных ценностей и демократии, предполагающих большое значение политических институтов при определении политических предпочтений, а также политической социализации элиты и граждан для функционирования и совершенствования политических институтов. Максималистские претензии этого течения на простые и строго логичные (формализованные) объяснения политики, вызвавшие наибольшую критику, определяли до поры пренебрежение к истории и в целом к тематике социальных и культурных институтов.

«Теория игр, — пишет Р. Чилкот, — может изучать логику выбора и его последствия в рамках, ограниченных правилами игры. Однако этот подход неизбежно вызывает осложнения, когда поведение отдельных участников проецируется на общество в целом или когда модели, созданные на основе очень ограниченных критериев, используются для прогнозирования и объяснения поведения реальных лиц в сложных ситуациях. Для преодоления этих и других проблем теории рационального выбора ...стали обращать внимание на культуру, историю и институты, т.е. на контекст, в котором делается выбор».

Несомненно, что структурный/институциональный, ценностный и поведенческий аспекты тесно взаимосвязаны. Как отмечает американский политолог Ч. Эндрейн:

«Мотивы поведения отдельных людей, специфика восприятия ими происходящего, их индивидуальные установки и образ действий становятся

4. Теория рационального/общественного выбора в сравнительной политологии

понятными благодаря изучению микрополитических аспектов процесса проведения политики. Индивиды управляют структурами, дают ту или иную трактовку культурных ценностей и тем самым могут вносить изменения в макрополитические составляющие. Структурные и культурные аспекты не только ограничивают действия отдельно взятых людей, но и способствуют принятию ими решений, ведущих к системным изменениям».

Поэтому доминирующий в современном сравнительном анализе методологический подход и называется *неоинституционализмом*.

Глава 5

НЕОИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ В КОМПАРАТИВНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ

1. Возникновение нового институционализма
 2. основополагающие принципы неоинституционализма
 3. Основные течения в неоинституционализме
-

§ 1. Возникновение нового институционализма

Потребность в эффективно работающих институтах, или «правилах игры», которые регулируют поведение человека в обществе, понималась и признавалась всегда. Эта проблема является одной из центральных для всех социальных наук. «Кто правит?» и «Насколько хорошо/эффективно?» — таковы, по мнению американского политолога *Р. Патнэма*, два основных вопроса для политической науки с момента ее появления. Второй из этих вопросов ставит проблему, центральную для теории политических систем, — эффективного распределения и перераспределения «ценностей» в обществе. «Кто и что получает, по каким каналам и с каким эффектом?» — это ключевая проблема структурно-функционалистской политологии, сформулированная еще *Г. Лассуэлом*. И напротив, о принципиальных оценках институциональной деятельности во второй половине XX в. говорилось редко, несмотря на то что ранее проблема «хорошего правления» была основной в повестке дня политической науки.

Однако в последнее десятилетие XX в. политологи приступили к этим вопросам с удвоенной энергией в рамках так называемого **нового институционализма**. Одним из стимулов для возвращения к изучению институтов стало проведенное американскими экономистами под руководством *Тиффера* и *Ширли* в начале 1990-х годов исследование в 84 странах, целью которого было выяснение того, какие факторы более всего влияют на экономическое развитие (рост доли национального дохода на душу населения). В результате обнаружилось, что такие факторы, которые обычно относят к экономической политике — уровень

инфляции, собираемость налогов, открытость для внешней торговли и др., — влияют очень незначительно. Гораздо сильнее влияют правила, которые действуют в стране: власть закона, риск экспроприации собственности, угроза дефолта и соблюдение/несоблюдение правительством своих контрактных обязательств, уровень коррупции, качество бюрократии, т.е. то, что связано с правилами, влияет в два раза сильнее, чем то, что связано с хорошей экономической политикой. Таким образом получалось, что страна, которая имеет плохую экономическую политику, но простую, ясную и эффективную систему правил поведения (институтов. — *Прим. авт.*), развивается существенно лучше, чем страна, где правительство проводит мудрую экономическую политику (*А. Аузан*).

При этом новыми институционалистами использовались элементы «теории игр», политические институты рассматривались как «экстенсивные формы игры», в которых поведение акторов задается правилами игры. В организационном аспекте исследователи выделяли институциональные роли и установления, символы и обязанности. С исторической точки зрения рассматривался фактор преемственности в управлении и в политике, изучались причинно-следственные механизмы институционального развития. Другими словами, к исследованию институтов вернулись на новом уровне знания. Специфика нового институционализма (по сравнению с традиционным) состоит и в том, что первым политические институты понимаются с точки зрения взаимосвязи формальных норм и неформальных правил игры¹, образующих в итоге сложные организационные отношения, формы взаимодействий и саму кооперативную деятельность людей, поддерживающих (тем или иным способом) стабильность и воспроизводящих установленный порядок в обществе. В результате такой трактовки политические институты приобретают новое значение, выступая и как часть реальной политики, и как контекст, определяющий индивидуальное и групповое поведение. Таким образом, неинституционализм, в отличие от теории рационального выбора, анализирует поведение рационального *индивида* (актера) на мезоуровне, исследуя также общественные нормы и «правила игры».

¹ Так, *В. М. Сергеев* пишет о «двухуровневности» знания, определяющего функционирование социальных институтов: «Помимо формальных правил, обуславливающих и ограничивающих человеческое поведение, существует огромный объем неформального знания, которое и делает реально возможной деятельность видимых социальных структур. Будучи укоренены в глубинах психики, эти неформальные правила (“молчаливое знание”) редко становятся предметом рефлексии, а следовательно, с гораздо большим трудом поддаются социальному изменению, чем правила осознанные».

Новый институционализм появился в американской политологии во многом и как реакция на господство редукционистских подходов (бихевиорализма), сводящих политику к индивидуально-групповому поведению, контекстуалистских подходов (структурного функционализма), относящих политическую жизнь к взаимодействию политической системы и окружающей социальной среды, и, наконец, утилитаристских (рационального выбора), интерпретирующих институты лишь как технические рамки для выбора решений и осуществления «рациональных действий». Классики неoinституционализма *Д. Марч* и *И. Олсен* в работе «Вновь открывая институты» (1989) замечают по этому поводу:

«С бихевиоралистской точки зрения, формально организованные институты должны быть изображены лишь как арены, на которых разворачивается политическое поведение, движимое более фундаментальными факторами. С нормативной же точки зрения, концепты, при помощи которых мораль инкорпорируется в жизнь таких институтов, как право и бюрократия, и которые акцентируют внимание на гражданственности и коллективности как основах политической общности, прокладывают дорогу общим идеям, связанным с индивидуальной моралью и мирными переговорами между конфликтующими сторонами».

Бихевиоралисты и нормативисты, контекстуалисты и сторонники теории рационального выбора, казалось бы, не замечали, что политические институты представляют собой сложнейшие образования и ансамбли отношений между отдельными людьми, качественно не сводимые ни к абстрактным макросхемам, ни к микроповедению индивидов и групп, а занимающие как бы срединное положение между ними. По мнению неoinституционалистов, их подход позволяет преодолеть разрыв между макро- и микроуровнями политической жизни, который образовался в 1950-е годы (разрыв между бихевиоральным и функциональным подходами). Этот разрыв между индивидуальным поведением и институтами человеческих сообществ, по мнению американского социолога *Дж. Коулмена*, должен быть заполнен переходным механизмом так называемого *институционального дизайна*. Иначе говоря, особый инструмент «микро-макро-перехода» позволяет продвинуться от понимания содержания индивидуального политического действия к его осуществлению в структуре совокупного макрополитического процесса. Таким образом, государство рассматривается как совокупность организаций и институтов, каждый из которых обладает собственными интересами. Исходя из этого принимаемые политические решения объясняются скорее интересами институциональных акторов, действующих в институционально дифференцированном пространстве, чем реакцией на давление окружающей среды.

«Моральная и экономическая автономия (индивида. — *Прим. авт.*) предполагает существование системы правил, которые, с одной стороны, позволяют индивиду предвидеть последствия своих собственных действий и противостоять действиям со стороны других людей, с другой — позволяют в известных пределах учитывать поведение последних. Эти правила не только задают индивиду границы его деятельности, но и защищают его от посягательств других индивидов. Автономность действия предполагает существование правил, которые обладают такой степенью всеобщности и универсальности, что открывают простор для индивидуальных действий и решений, но уменьшают возможность негативных влияний и ограничивают ответственность за результаты деятельности. Индивид должен уметь подразделять свои действия в соответствии с правилами, не стремясь к детализации способа и технологии поступка», — резюмирует немецкий социолог *П. Козловски*.

В целом для новых институционалистов характерны отказ от описательности в пользу теории, изучение результатов публичной политики, а не организации или процессов внутри политических структур, широкое использование количественных методов. Их занимает «весь круг государственных и социетальных институтов, которые формируют способы выражения политическими акторами своих интересов и структурирования их отношений по поводу власти с другими группами», — отмечают в книге «Структурируя политику» *С. Стеймо* и *К. Теллен*. «Таким образом, в определение (нового институционализма) вполне можно включить такие черты институционального контекста, как правила избирательной борьбы, структура партийных систем, отношения между различными органами государства и организация таких экономических акторов, как профсоюзы», следует отметить также особое внимание данного направления к социокультурным символам и ценностям, стереотипам и регламентам, оказывающим значительное влияние на структурирование макрополитики.

Из вышесказанного можно понять, что имеется в виду под «институциональной деятельностью». Для институционалиста это прежде всего институциональная инженерия, «конструирование институтов». Однако что такое институт?

Ряд исследователей видят в политических институтах прежде всего «правила игры», процедуры, определяющие порядок коллективного принятия решений, те пределы, в рамках которых конфликты выражают себя и — иногда — разрешаются. Однако при определении института разные авторы акцентируют различные аспекты данного сложного феномена.

Политический институт в самом общем виде это:

- установленный порядок нормативного и стандартизированного поведения (смотри определение *С. Хантингтона*: «Институты —

это устойчивые, значимые и воспроизводящиеся формы поведения»);

- «сообщество индивидов, чье поведение регулируется нормами и ролями» (смотри определение политических институтов *М. Дюверже* — «модели человеческих отношений, с которых копируются конкретные отношения, приобретая, таким образом, характер стабильных, устойчивых и сплоченных»);
- функциональные органы управления и регулирования, обеспечивающие кодификацию социальных норм и контроль за их соблюдением, формулирующие общественные цели и потребности и организующие процесс их реализации (это прежде всего государственные институты).

Один из создателей теории институтов французский ученый *М. Ориу* считал, что институт — это еще и определенная идея, осуществляемая в конкретной социальной среде. Любой политический институт, по Ориу, состоит из структуры (организации) и коллективных представлений, которые обслуживают данную структуру. И если термин «культура» понимать как «способ объяснения мира, помещения себя в определенную систему координат, конструирования реальности», то институт предстает носителем, производителем и передатчиком культуры, которая материализуется посредством института (*А. Турме*). Или, как пишет современный российский социолог *Б. Дубин*:

«Идеи и символы, вопреки расхожему мнению, не “витают в воздухе”, а выступают... фокусом объединения заинтересованных групп и сообществ, закрепляются в подобном качестве, повторяясь в совместных действиях и давая этим начало обособленным от отдельных лиц, относительно устойчивым и воспроизводимым во времени социальным формам — институтам».

Такое толкование институтов позволяет понять их относительную стабильность во времени, относительную независимость от произвольного вмешательства людей, способность к воспроизводству и сопротивляемость переменам.

Вслед за *Д. Норт* мы будем понимать под социальным институтом прежде всего «правила игры в обществе, или, выражаясь более формально, это ограничения, сконструированные людьми, чтобы придать форму человеческому взаимодействию», помня о том, что в понятие института включаются также «опривыченные действия» (*П. Бергер, Т. Лукман*), «рутинизированные практики» (*П. Ди Маджио, В. Пауэлл*), «устойчивая конфигурация постоянно повторяющихся циклов деятельности» (*Б. Ротстайн*) и т.д. Главная функция институтов — уменьшение неопределенности во взаимодействиях акторов, снижение

транзакционных издержек, «установление устойчивой (хотя не обязательно эффективной) структуры взаимодействия между людьми».

Д. Норт обращает также внимание на принципиальное отличие институтов от организаций: институты — это «правила игры», они задают систему положительных и отрицательных стимулов, направляя поведение людей в определенное русло и тем самым делая социальную среду более определенной. Организации же — это субъекты социальной жизни, однако они к общепринятым «правилам игры» добавляют собственные внутренние ограничения, соблюдать которые обязаны их члены. Таким образом, политическое образование с точки зрения действующих в нем правил является институтом, а во взаимоотношениях с другими — политической организацией.

Можно заметить, что институт в политике как бы фиксирует некий сложившийся во властных отношениях и процессе политического общения статус-кво между индивидами, группами и обществом в целом. В то же время *Р. Даль* особо подчеркивает, что термин «институты» предполагает «правила игры», рассчитанные на длительный период и передаваемые из поколения в поколение как бы по наследству.

В число политических институтов обычно включаются:

- общепринятые признанные политические нормы и ценности;
- общепринятые модели политического поведения;
- формы организации политических отношений;
- контроль за соблюдением правил и норм.

К политическим институтам относятся государственные органы власти (парламент, правительство, суд), структуры, осуществляющие представительство интересов (политические партии, группы интересов, лоббизм), способы избрания должностных лиц (избирательные системы) и др. Каждый политический институт специализируется на выполнении специфических функций.

Следует также проводить различие между *формальными и неформальными* институтами. Формальные институты — это конституции, законы, уставы и нормы государственного управления. Они детерминируют формальные структуры политической системы и формы ее легитимной власти. Неформальные «правила игры», как правило, складываются спонтанно, без чьего-либо сознательного замысла, как побочный продукт взаимодействия множества людей, преследующих собственные интересы. Формальные институты и механизмы их защиты устанавливаются и поддерживаются сознательно, чаще всего силой государства. В результате функционирование формальных институтов гарантируется государством средствами убеждения, угрозой и применением санк-

ций (в том числе легитимного насилия). Их универсальность определяется тем, что сфера их конкретного применения предельно неопределена (задана формально), а требования могут быть реализованы каждым индивидом в любой ситуации. Неформальные институты, напротив, проявляют себя в качестве традиций, обычаев, моральных ценностей или взаимных соглашений, их соблюдение контролируется исключительно самими акторами, в них заинтересованными, они, как правило, не универсальны, а партикулярны. Формальные процессы принятия решений протекают в бюрократизированных инстанциях и в соответствии с установленными процедурами. Неформальные — перемещаются из этих инстанций в параллельные структуры и осуществляются в виде «системы переговоров» участвующих акторов (*В. Меркель*). В то время как формальные правила возникают, изменяются и внедряются извне через сознательное насаждение правил, неформальные правила возникают спонтанно на основе самоорганизующейся динамики социального взаимодействия.

Типология взаимодействия формальных и неформальных институтов предложена *Г. Хельмке* и *С. Левитски*, в основе их типологии лежат два критерия:

- 1) степень, в которой совпадают впоследствии действия формальных и неформальных институтов;
- 2) эффективность соответствующих формальных институтов, т.е. насколько формальные «правила игры» выполняются акторами и осуществляется ли контроль за их соблюдением.

В результате исследователи выделяют четыре способа взаимодействия между формальными и неформальными институтами: дополняющий (*complementary*), согласующий (*accommodating*), конкурентный (*competing*) и замещающий (*substitutive*) (табл. 3).

Таблица 3

Типология взаимодействия формальных и неформальных институтов

Последствия	Формальный институт	
	эффективный	не эффективный
Совпадающие	Дополняющий	Замещающий
Несовпадающие	Согласующий	Конкурентный

Неформальные правила политической игры могут существовать внутри или вне формальных институтов. Общность неформальных правил и формальных (письменно кодифицированных) институтов обра-

зуют рамки политического взаимодействия. Они, как правило, известны заинтересованным акторам и поэтому ими принимаемы (по крайней мере временно).

«Неформальные персональные связи могут быть родственными (основанные на них социальные сети в литературе называют парентеллой), дружескими (на них основаны амикальные группы) или союзническими (на последних основаны всевозможные “политические” альянсы). Однако в современном обществе мы чаще всего имеем дело с ситуациями, когда ресурсы власти и влияния распределены неравномерно среди действующих лиц (акторов), а родственные или дружеские отношения отсутствуют. Такие основанные на разнице потенциалов социальной мощи отношения воспроизводят хорошо знакомые роли патрона и клиента. Они противоречиво соединяют в себе солидарность и личную зависимость, стремление к установлению доверительных, квазиродственных отношений и обмен ресурсами, нужными для повышения или подтверждения социального статуса» (В. Я. Гельман).

Однако отношения «патрон—клиент» «...включают в себя межличностный обмен и взаимные обязательства, но обмен этот носит вертикальный характер, а обязательства асимметричны. *Питс-Риверс* называет клиентелизм «однобокой дружбой»...

Вертикальные узы клиентелы «подрывают горизонтальные связи солидарности как среди патронов, так и среди клиентов в особенности... В вертикальных связях “патрон—клиент”, характеризуемых не взаимностью, но зависимостью, “изменничество” отличает как патрона (эксплуатация), так и клиента (уклонизм)...». Тем не менее «клиентарные отношения могут формировать обширные социальные сети, иерархически организуя социальное пространство. Так, например, в модернизирующихся полициях Востока за современным институциональным дизайном проступают традиционные пирамидально выстроенные патронаты» (М. Н. Афанасьев).

В либеральных, конституционных демократиях обе формы институтов дополняют друг друга в том смысле, что не противоречат друг другу. В результате формальные институты приобретают гибкость и адаптивность, которые необходимы для того, чтобы выжить в условиях кризиса и повышения потока требований, идущих из общества. Неформальные правила здесь подкрепляют демократические институты и повышают их эффективность.

«В дефектных демократиях неформальные образцы и правила подрывают и ограничивают порядок функционирования формальных, демократически легитимированных институтов. Первыми дают трещину функциональные коды формальных институтов, если они деформируются или вытесняются как значимые способы и сферы принятия решений. Неформальные институты внедряются в оболочку формальных институтов и за-

полняют ее в соответствии со своей функциональной логикой. На уровне принятия решений демократия функционирует в соответствии с нелегитимированными неформальными институтами и правилами, которые находятся в противоречии с принципами демократического правового государства. Подобное вытеснение и ограничение формальных и демократически легитимированных институтов неформальными правилами действий может осуществляться как сверху, так и снизу:

- они исходят сверху, когда выбранная демократическим путем исполнительная власть расширяет свои прерогативы за счет конституционных сдержек и противовесов;
- они исходят снизу, когда слабое гражданское общество со слабо аккумулированным “социальным капиталом” (*Р. Патнем*), но высоким авторитарным потенциалом, взаимным недоверием и широким распространением коррупции и традиций клиентелизма пренебрегает институциональными правилами, лишает институты их влияния или “колонирует” их в частных интересах...».

В результате «...конституционно предписанные механизмы представительства оказываются выхолощенными и частично либо временно утрачивают силу. Неформализация принятия политических решений лишает тогда демос суверенитета, гарантированного представительством» (*В. Меркель, А. Круассан*).

Справедливость данных выводов можно проиллюстрировать примерами фрагментации (как «горизонтальной», так и «вертикальной») российского государства в 1990-е годы. В их числе — «захват государства» экономическими группами интересов, спонтанное «перетекание» полномочий от федерального центра к регионам, зачастую управляемым на манер феодальных вотчин, замена денежных взаиморасчетов бартером, обеспечение порядка и выполнения обязательств силами криминальных «крыш» и т.д.

В условиях «упадка государства» неформальные институты выполняют функцию минимизации транзакционных издержек, они позволяют нейтрализовать резкий рост неопределенности и хотя бы как-то адаптироваться к меняющейся институциональной среде. Таким образом, неформальные «правила игры» являются важным ресурсом агентов взаимодействия в условиях, когда государство не способно обеспечить функционирование формальных институтов. Однако восстановление административного потенциала государства не обеспечивает «по умолчанию» восстановление верховенства права. Наоборот, есть немало примеров того, что «сильное» государство становилось ничуть не меньшим препятствием для укоренения принципа верховенства права, нежели «слабое», особенно в ситуации, когда административный потенциал

сочетается с низким уровнем автономии политических акторов. В этом случае формальные институты становятся не более чем орудием в руках правительства и бюрократии, инструментом селективного поощрения лояльных и наказания нелояльных.

Неинституционализм видит как в формальных, так и неформальных правилах результат осознанного, рационального выбора людей. Таким образом, решается (по крайней мере формально) противоречие между моделью рационального человека и его следованием правилам. Более того, формальные правила, имеющие высший юридический статус — конституции, имеют, по мнению институционалистов, над собой некие неформальные институты — это так называемые надконституционные правила, т.е. некие ценности высочайшего порядка, которые задают многие параметры поведения членов каждой данной государственной общности.

В свою очередь, *институализация* — это «...процесс образования, развития и усвоения индивидами и различными социальными общностями требуемых норм и ролей, ценностей и эталонов политического поведения, способов контроля за их соблюдением, а также результат процесса, в рамках которого политическое действие начинает регулироваться и приобретать стабильные черты политической структуры». Уровень институализации какой-либо политической системы определяется адаптивностью, сложностью, автономией и согласованностью ее организаций и процедур.

Равным образом уровень институализации какой-либо отдельной организации или процедуры измеряется ее адаптивностью, сложностью, автономией и внутренней целостностью. «Если есть возможность выделить и измерить эти критерии, то можно сравнивать политические системы по уровню институализации. Можно также оценивать возрастание и снижение уровня институализации отдельных организаций и процедур в составе политической системы» (С. Хантингтон).

«Институализация — когнитивный в своей основе процесс, — пишут Ди Маджио и Пауэлл. — Не нормы или ценности, а не требующие обоснования сценарии, правила и классификации, рационализированные безличные предписания и обобщенные типификации — вот материал, из которого строится институт».

Результатом процесса институализации является «...специфический набор социальных норм и правил, конструирующих человеческое сосуществование и взаимодействие. Этот канон правил эффективно связывает отношения акторов, предполагает соответствие их ожиданиям и развивает при этом “силу действия”» (М. Р. Ленсуе).

Возникающие институты служат цели установить стабильный порядок, в котором они снизят неопределенность взаимодействия между людьми и тем самым сделают политические и социальные транзакционные издержки в обществе поддающимися учету и минимизации (Д. Норт). Следовательно, политическая институализация — важнейшее условие политической стабильности и эффективности. Она зависит от степени автономности политических структур, их адаптивности, сложности и интегрированности.

Таким образом, устойчивые формы властеотношений между людьми, взаимоотношения контроля управляющих с влиянием (давлением) управляемых приводят к образованию таких организованных макрообщностей, как политические (государственные) институты, где субстанция власти оформляется в сложные иерархические системы, основывающиеся на принципах самоорганизации и саморегуляции, а также негосударственные институты, выступающие в качестве агентов политических отношений. В результате специфическая для каждого общества конфигурация этих политических организаций и институтов образует то, что в неоинституционализме называется *институциональным дизайном*.

Для институтов, понятых подобным образом, успешная деятельность означает предоставление политическим акторам возможностей для эффективного снятия противоречий и разногласий. Не случайно Д. Норт называет самой главной функцией институтов «решение проблем кооперации между людьми», а центральной проблемой политики многие считают проблему координации. При этом **эффективный институт** «...требует, как минимум, значительной меры согласия относительно функциональных границ группы и относительно процедур, необходимых для разрешения конфликтов, возникающих внутри его границ». С. Хантингтон особо подчеркивает:

«Согласие должно охватывать тех, кто активен в системе. От не участвующих или тех, кто участвует в функционировании системы лишь спорадически и маргинально, согласия не требуется, обычно они и не охвачены общим согласием в той же мере, что и активные участники системы».

Несомненно, что понимание политических институтов как регуляторов социального взаимодействия путем снижения неопределенности и, следовательно, транзакционных издержек (издержек взаимодействия) имеет право на существование, но оно не исчерпывает всей их роли в общественной жизни.

Политические институты — это и такие «приспособления», с помощью которых не только преодолеваются конфликты и заключаются соглашения, но и достигаются определенные цели. Так, люди хотят, чтобы

правительство как институт власти не только решало, что надо сделать, но и что-то делало, — обеспечивало возможность получения образования детям, выплату пенсий престарелым, боролось с преступностью, создавало рабочие места, поощряло большую социальную справедливость и т.д. «Функция правительства, — отмечает С. Хантингтон, — править. Слабое правительство, не имеющее авторитета, не в состоянии выполнять свою функцию и аморально в том же смысле, что и продажный судья, трусливый солдат или невежественный учитель». Практически все согласны с тем, что главное для государственных институтов — это способность к эффективному действию (однако эффективность конечно же может оцениваться по-разному).

Однако институты — не только правила игры и инструмент достижения определенных целей, они также воздействуют на бытующие в обществе ценности, такие как справедливость, коллективная идентичность, доверие, солидарность, свобода. Более того, как утверждает П. Козловски:

«Свобода требует типизации форм поведения согласно неким правилам, возможности для индивида ориентироваться на эти модели и одновременно способности дистанцироваться и создавать индивидуальные формы их осуществления».

Отношения между культурой общества и политическими институтами носит диалектический характер.

«Сообщество, — замечает *Жувель*, — основывается на “институционализации доверия”, и важнейшая функция органов власти состоит в том, чтобы “повышать уровень взаимного доверия внутри общественного целого”. И наоборот, отсутствие доверия в культуре общества ставит серьезные препятствия на пути формирования общественных институтов. В таких обществах, лишенных устойчивой и эффективной системы управления, отсутствует и взаимное доверие между гражданами, недостаточно развиты национальная и общественная солидарность».

Однако, как показали *С. Н. Айзенштадт* и *Л. Ронигер*, неформальные персональные связи не только обеспечивают контрагентов необходимыми и желаемыми ресурсами, не только замещают неработающие или отсутствующие формальные институты, но и — главное — **удовлетворяют их потребность в доверии**. Дефицит доверия ощущается в сложно организованном обществе всегда, а при институциональных кризисах особенно остро. Поэтому неправильно рассматривать неформальные личные связи как некое маргинальное явление — они являются ответом на сущностное противоречие общественной жизни, попыткой (пусть и негодными средствами) преодолеть или компенсировать социальное отчуждение.

Следовательно, политические институты — формальные и неформальные — являются образованиями двойственной природы, как эмпирической, так и нормативной. Они также влияют на формирование политических интересов различных социальных групп.

В прошлом внимание ученых (в рамках формально-юридического институционализма) привлекали в основном правовые аспекты государственного устройства. Неоинституционализм же рассматривает парламенты, правительства, партийные системы как те «связывающие ограничения», в пределах которых протекает активное взаимодействие политических акторов. Главными задачами при этом оказываются определение точек положительного и отрицательного эквilibriumа в рамках каждого из институтов, соответствующее объяснение и прогнозирование поведения субъектов, а также выявление условий, при которых они избирали бы совместно предпочтительные стратегии. При этом считается, что модель взаимодействия, включенная в знаменитую «дилемму узника», чаще всего встречается в политической жизни. (При решении своих задач неоинституционалисты активно используют пространственное и математическое моделирование политического процесса.)

Одним из достоинств нового институционализма является то, что благодаря ему можно вести речь об институтах с более широких компаративистских позиций. В каждой стране среди политологов существует тенденция рассматривать политику своего государства как особый случай, а политику других стран — как некий случай для сравнений (*Б. Г. Питер*). При этом неоинституционалисты ставят перед собой три взаимосвязанных вопроса о политических институтах. Первый — нормативный: «Какие общественные институты в наибольшей степени подходят для создания “правильного” правительства и общественных отношений?» Вторые два носят эмпирический характер: «Чем объясняется столь значительное разнообразие институциональных отношений?» и «Какое воздействие оказывают эти различия на политическое поведение, политическую власть и результат политического процесса?»

В 1990-е годы институционализм переживает ренессанс, причина которого очевидна: «третья волна демократизации». Появление значительного числа новых демократических государств вновь сделало актуальной задачу «конструирования» политических институтов.

«Сегодня общепринятая мудрость гласит, — пишет Фр. Фукуяма уже в 2004 г., — что институты являются определяющей переменной процесса развития, и на протяжении последних нескольких лет множество различных экспериментальных исследований полностью подтвердили это».

§ 2. Основополагающие принципы неинституционализма

Новые институционалисты расходятся между собой по множеству пунктов как теоретического, так и методологического плана. Но тем не менее по ряду фундаментальных позиций они едины.

1. Институты формируют политику (политические правила игры). Правила и типичные операциональные процедуры, составляющие основу институтов, накладывают свой отпечаток на политику, структурируя политическое поведение. Последствия такого влияния нельзя сводить к взаимодействию индивидов по типу бильярдных шаров. Как пишут Р. Джекман и К. Миллер:

«...Институты (политические, социальные, экономические) структурируют распределение мотивов к совершению индивидуального действия, а сами индивиды оптимизируют свое поведение под воздействием этих ограничений. Институциональные изменения меняют возможности, предоставляемые политическим акторам... и тем самым модифицируют поведение самих акторов.

В отличие от культурологических аргументов о заданности мотивационных структур с точки зрения институционализма институциональная перспектива направляет наше внимание в сторону структуры возможностей, в рамках которой ключевыми политическими акторами и делается стратегический выбор».

Таким образом, институты определяют политику, влияя на самоидентификацию акторов, их представления о власти и стратегию достижения власти и других значимых целей. Для того чтобы узнать, какой тип деятельности индивид скорее всего сочтет соответствующим его интересам, необходимо хорошо себе представлять структуры, в которые данный индивид вписан. Как писал американский политолог *Ст. Краснер*, «набор альтернатив, доступных политике в любой конкретный период времени, является функцией институциональных возможностей, возникших в какой-то период до этого».

Так, экспериментальные исследования показали, что при наличии институциональной структуры, создающей возможность для обмена мнениями, у тех, кто входит в ее состав, возрастают стремление к сотрудничеству и степень солидарности поведения. Признание, что индивиды взаимодействуют в рамках неких правил, которые в их нынешней форме сами являются плодом предшествующих «игровых» интеракций, равнозначно признанию того, что исследователи должны заниматься не только акторами, но и институтами и взаимодействием между теми и другими.

Достижения в рамках теории рационального выбора и неинституционализма все больше ставят под сомнение либеральные концепции выбора, свободы (негативной свободы от...), рациональности и даже индивида (атомизированного). Можно вспомнить в этой связи «парадокс свободы», сформулированный известным британским философом К. Поппером: «Свобода сама себя упраздняет, если она не ограничена. Неограниченная свобода означает, что сильный человек свободен запугать того, кто слабее, и лишить его свободы». Все больше признается, что индивиды существуют и делают выбор в рамках социально структурированной среды и что характер этих структур (и то, как они осознаются) оказывает воздействие как на принимаемые индивидами решения, так и на последствия данных решений. Американский экономист *Тодд Сэндлер* утверждает:

«Институциональная среда означает “правила игры” и включает в себя структуру стимулов, законы, контракты и имущественные правила... Измените правила, характеризующие данный институт, и рациональные игроки среагируют быстро и предсказуемо».

Именно поэтому внимание исследователей все больше фокусируется на проблемах институциональной встроенности индивидуального и коллективного действия. Одним из важнейших стимулов, давших толчок к такому переосмыслению традиционных либеральных идей относительно, например, рынков, стали проблемы, неожиданно возникшие при попытке привнести в экономику бывших социалистических стран «рыночные отношения».

2. Институты сами формируются историей. Какие бы факторы ни воздействовали на их форму, институтам присуща определенная инерционная устойчивость, в отечественной литературе это называют институциональной матрицей¹. В эволюции институтов фиксируются исто-

¹ *Институциональная матрица* (от англ. *institutional matrix*) — категория для обозначения базового института общества, определенного исторического инварианта, задающего объективные рамки социальной эволюции региона, культуры, цивилизации. Это исторически относительно стабильный комплекс социальных практик, обеспечивающий воспроизводство социальных связей и отношений в разных типах обществ. Это устойчивая исторически сложившаяся система базовых институтов, регулирующих взаимосвязанное функционирование основных общественных сфер.

По мнению авторов данной теории *О. Э. Бессоновой* и *С. Г. Курдиной*, на основе различий в экономической, политической и идеологической подсистемах общества в истории сложились две институциональные матрицы — «западная» и «восточная».

Западная институциональная матрица включает в себя институты рыночной экономики, институты федеративной политической системы, идеологический институт субсидарности или приоритета Я над Мы. Для восточных институциональных матриц

рические судьбы и поворотные пункты данного социума. История имеет смысл только потому, что это «цепочка зависимостей»: происходящее вначале, даже если оно кажется случайным, обуславливает то, что происходит потом. Люди «выбирают» свои институты, но делают это отнюдь не по собственному произволу. Согласно представлениям известного британского экономиста *Ф. фон Хайека*, человеческие характеристики формируются под воздействием унаследованной традиции, и соответственно тип рациональности людей, цели, к которым они стремятся, их понимание того, как этих целей можно добиться, и т.д. находятся в зависимости от исторического и социального контекста. Традиция, как «чужое знание», программирует людей, сужая их пространство выбора. В свою очередь сделанный ими выбор определяет правила, по которым предстоит выбирать и действовать их потомкам. «Социальная реальность... наследуется... скорее как традиция. Первоначальный смысл института (бывает) недоступен последующим поколениям в терминах индивидуальной памяти... Поэтому его нужно истолковывать в формулах легитимаций, т.е. способов “объяснения” и “обоснования мира”» (*П. Бергер, Т. Лукман*).

Именно поэтому *Ф. фон Хайек* предостерегал от вмешательства в развитие общественных институтов извне. Наши знания о различных последствиях произвольных социальных преобразований слишком ограничены, поэтому слишком велик риск совершения ошибок, ведущих к неожиданным, противоречивым результатам и даже противоположным желаемым. По мнению *Хайека*, институты не конструируются, но, скорее, эволюционируют¹. Знания, которыми мы обладаем в настоящее время, не позволяют нам не только точно рассчитывать, но даже приблизительно оценить различия между локальными и глобальными, краткосрочными и долговременными, частными и общими последствиями институциональных изменений. *Хайек* считал увлечение «рациональным конструктивизмом» отклонением от генерального пути человеческой эволюции в стадии культурогенеза.

характерны институты нерыночной, «раздаточной» (по *О. Бессоновой*) экономики, в политической сфере — институты унитарно-централизованного государственного устройства, в идеологической сфере — доминирование коллективных, надличностных ценностей, приоритет Мы над Я, обозначенный в русском языке понятием «соборность», а в мировой научной литературе — понятием «коммунитарность».

¹ Знаменитый русский юрист *Ф. В. Плевако* говорил в этой связи о «юридических инстинктах», живущих в традициях, опыте. «Эти инстинкты, разумно понятые и собранные, дадут основание для разумного понимания потребностей общества... И точно так же, как не химики создали законы химии, не юристы должны придумывать новые правовые институты».

3. Практическая деятельность институтов (их эффективность или неэффективность) также определяется социальным контекстом, внутри которого они функционируют.

Подобно тому как различные индивиды могут определять свои цели и добиваться их осуществления различным способом в разных институциональных контекстах, сами институты столь же разнообразно работают в отличающихся друг от друга социальных средах. Например, конституции вестминстерского образца, оставленные англичанами в разных уголках земного шара, после распада британской империи имели самые разные судьбы. Это обобщение позволяет сделать заключение, что «вопрос контекста» возникает в тех случаях, когда нужно найти наиболее значимые для институциональной деятельности особенности социальной жизни.

К числу базовых принципов неинституционализма также нужно отнести:

- идею транзакционных издержек в условиях неопределенности. По утверждению Т. Сэндлера, «представители неинституционализма заинтересованы в двух вещах: выборе лучшей институциональной структуры из набора альтернатив и разработке идеальной структуры. Оба выбора должны основываться на одной и той же цели — минимизации транзакционных издержек»;
- понимание института прежде всего как «правил игры» и как регулятора взаимодействия в обществе посредством нормализации поведения;
- тезис о стремлении институтов к стабилизации и самосохранению.

При этом неопределенность означает дефицит информации, транзакционные издержки — затраты на ее получение; нормализация поведения подразумевает знание правил и навыков их применения. Получение и интерпретация информации, усвоение формальных и неформальных правил представляют собой, по сути, когнитивную работу, совершаемую каждым участником института.

§ 3. Основные течения в неинституционализме

Нередко к неинституционализму относятся как к некой цельной концепции, однако в действительности он представляет собой сегодня несколько относительно самостоятельных направлений. Так, *Г. Питерс* выделяет пять таких направлений.

1. Нормативный (культурный) институционализм

Выражение «новый институционализм» было пушено в оборот *Дж. Марчем* и *Й. Олсеном* в 1984 г. в одноименной статье. И хотя их основной интерес был связан с организационными факторами политической жизни, авторы подчеркивали особое значение норм и ценностей при определении того, как политические организации должны будут функционировать. Если следовать данной точке зрения, то наиболее важным элементом при определении института являются не формальные структуры, правила и процедуры, а набор неких ценностей, на основе которых члены организаций принимают решения и строят свое поведение. Таким образом, ценности, по мнению приверженцев данного подхода, занимают центральное место в институциональном анализе, и именно поэтому он не может применяться при описании организаций рыночного типа.

По мнению приверженцев данного подхода, при создании институтов следует руководствоваться определенными моральными принципами и ценностями, например, понятиями о справедливости, равенстве и человеческом достоинстве. «Институты являются поведенческим выражением морального согласия и общих интересов» (С. Хантингтон). А чувство справедливости становится мерилom, по отношению к которому оцениваются любые их инициативы и действия.

Так, для обеспечения стабильности правления недавно образовавшихся демократических правительств новые политические институты должны давать стоявшим ранее у власти представителям авторитарных режимов справедливую возможность отстаивать свои интересы, принимая участие в деятельности новых демократических институтов, или даже возможность вернуть себе в будущем политическую власть через механизм выборов (*А. Пиеворский*). В этом случае, если силы, осуществляющие демократические преобразования, создают новые институты (избирательную систему), для того чтобы навсегда предотвратить возвращение к власти представителей старых элит, т.е. если они будут действовать как рациональные политические максимизаторы личной выгоды, дело может закончиться тем, что к власти вернуться те самые авторитарные силы, которых они стремились от власти отстранить. Поэтому при создании новых политических институтов следует руководствоваться и политическими традициями, и принципами справедливости, а не только инструментальной рациональности, поскольку в рамках «культурной интерпретации» институтам приписывается функция определения ценностей и значений совершаемых действий, функция производителей предпочтений и смыслов (*Дж. Марч, Й. Олсен*), это и по-

зволяет рассматривать институт не только в качестве «суммы практик, конкретных задач, ритуалов и правил поведения», но и как «сумму верований и представлений, которые неразрывно связаны с этими практиками, определяют их значение и обосновывают их существование» (*Дж. Лакруа*). В свою очередь, преломление правил и практик в сознании индивидов в обоснованные и осмысленные объективно существующие и внешне заданные условия называют легитимацией институтов, которую следует понимать в смысле данности института как такового, естественной закономерности его существования.

2. Социальный институционализм

Выясняется, что институциональный анализ можно применять и при изучении взаимоотношений между государством и обществом, наиболее важные из них — корпоративизм и система социальных связей — имеют много характеристик, которые вполне уместно характеризовать как структурные или институциональные. Так, анализ корпоративизма, предпринятый *Ф. Шмиттером*, показал, что эта система управляется на основе определенных правил, в основном неформального свойства. Точно так же исследование систем социальных связей, проведенное *Д. Маршем* и *Р. Родсом*, указывает на важную роль разделяемых индивидами ценностей и обмена при формировании отношений между отдельными социальными группами.

3. Структурный институционализм

Данное направление тяготеет к проблематике старого институционализма (как отмечал *Т. Кун*, научные парадигмы меняются, в частности, для того, чтобы компенсировать как сильные, так и слабые аспекты парадигм, существовавших ранее), однако применяет при этом существенно более усовершенствованную методологию. В центре внимания структурного институционализма находятся различия между президентскими и парламентскими режимами, а также между федеральной и унитарной системами государственного устройства, моделями избирательных систем и др. Вместе с тем этот подход отражает те изменения, которые накопились в политической теории за последние полвека. Здесь институты рассматриваются в качестве комплекса взаимосвязанных узловых точек (ограничений), на которых действие политических акторов может быть заблокировано.

В политической науке доминирующие позиции занимают две версии нового институционального подхода: трактовка институтов с точки зрения теории рационального выбора (теория общественного выбо-

ра) и исторический институционализм. Обе версии начинались с попытки понять, как правила и организация правительств влияли на результаты правления.

4. Трактовка институтов с точки зрения теории рационального выбора (теория общественного выбора)

Политологи, приверженцы теории рационального выбора (известный американский экономист *Дж. Бьюкенен* — классик этого подхода), разработали собственную версию институционального анализа. Своим предшественником Джеймс Бьюкенен считает шведского экономиста Кнута Векселя, в диссертации которого впервые были сформулированы еще в 1896 г. три важнейших принципа теории рационального выбора: методологический индивидуализм (согласно которому именно индивидам отводится решающая роль в экономической и политической жизни общества. Социальные же институты являются вторичными, ибо они создаются и изменяются реально действующими индивидами); концепция экономического человека (*homo economicus*); подход к политике как обмену.

Такой подход к политике не означает господства личных экономических интересов над всеми другими, так же как и отрицания общественных идеалов. Но подобные идеалы должны возникнуть из взаимодействия людей в обществе, их свободного согласия и единодушия, а не «из трансцендентных идей, которые им даровал Бог или Карл Маркс» (*Дж. Бьюкенен*). Чтобы рациональный (общественный) выбор способствовал достижению благосостояния социума, Бьюкенен предлагает реформировать общество на началах конституционного и контрактного подходов. Если конституция определяет основные правила поведения всех граждан, рассчитанные на длительный период существования, то контрактный подход устанавливает правила игры для небольшого числа участников договора на сравнительно короткий период времени и по тем или иным частным вопросам.

Институционализм с их точки зрения можно рассматривать как решение одной из важнейших проблем применения экономического подхода к изучению политики. Эта проблема связана с трудностями достижения равновесия в мире, в котором действуют рациональные индивидуалисты — максимизаторы личной выгоды. Правила, определяемые институтами, ограничивают возможности максимизации индивидуальной выгоды за счет других, помогают разрешать дилеммы коллективного действия и позволяют принимать стабильные и предсказуемые решения.

Таким образом, приверженцы этого подхода изучают прежде всего формальные правила, отражающие результаты политического процесса, фиксируемые в законодательстве. Для анализа политического процесса используется неоклассическая модель экономического рынка. С этой точки зрения политика — «это сложный институциональный процесс, на основе которого люди выбирают различные альтернативы, сопоставляя их со своими ценностями, подобно тому, как они на рынке выбирают товар, руководствуясь лишь собственными предпочтениями».

Само возникновение и существование государства современная институциональная теория связывает с возникновением и существованием круга вопросов, по которым принятию политических решений сопутствуют более низкие транзакционные издержки (издержки взаимодействия) по сравнению с издержками добровольных переговоров заинтересованных участников и величиной отрицательных внешних эффектов индивидуальных решений (*Дж. Бьюкенен*).

«Отвергнув органическую концепцию государства, а также идею классового господства, — пишут Дж. Бьюкенен и Г. Таллок, — мы остались с чисто индивидуалистической концепцией коллективной организации. Коллективные действия рассматриваются в ней как действия индивидов, решивших достичь некоторой цели в составе коллектива, а не индивидуально, а государство — как простой набор приемов, машина, которая делает возможным осуществление таких действий. В свете нашего подхода государство превращается в нечто, созданное людьми, артефакт».

Целью любой социальной организации, по Бьюкенену, должно быть максимальное снижение транзакционных издержек (внешних расходов и расходов по принятию решения, связанных с коллективным действием) для каждой социальной группы. Консенсус при этом мог бы стать идеальным решением проблемы взаимозависимости, если сам консенсус не представляет затрат на поиск и формулировку решения. Размышляя над тем, какие правила решения следует принять, рациональный индивид должен учитывать ожидаемые внешние затраты, а также затраты на принятие решений. Его «калькуляция согласия» зависит во многом от ожидаемых затрат на социальную взаимозависимость. Эти внешние затраты будут тем выше, чем меньше защищено меньшинство. Наоборот, по мере укрепления согласованности правил принятия решения (конституции) они уменьшаются. Ожидаемые внешние затраты для индивида являются функцией применения правил принятия решения. Если решение должен принимать индивид, затраты очень велики. Из ситуации диктата вытекает, что индивид должен осуществить нежелательные с его точки зрения действия. При наличии правил принятия

решений можно свести на нет негативные последствия, внешние эффекты, поскольку индивид поддерживает только те решения, которые принесут ему позитивную пользу.

В частности, происходящее сегодня развитие принципиально новых видов электронных коммуникаций приводит к стремительному снижению транзакционных издержек, и потому исследователи, придерживающиеся этой парадигмы, предсказывают значительную трансформацию существующих политических институтов.

Однако такой подход к институтам включает в себя несколько альтернативных точек зрения. Так, *Элинор Остром* разработала подход к изучению институтов, основанный на представлении о них как правилах, которые «позволяют, предписывают и запрещают» членам определенной общности те или иные действия.

К. Шенсл и *Б. Вейнгафт* предлагают иную точку зрения на роль теории рационального выбора в институциональном анализе. Они считают, что институты следует понимать как средство объединения предпочтений индивидов, каждый из которых стремится достигнуть собственных целей. В качестве таковых институты становятся своего рода формой ограничения, по крайней мере для первого поколения членов организации. Кроме того, их можно рассматривать как способ избежать ошибок при использовании индивидуалистических моделей принятия решений.

Тем не менее согласно теории общественного выбора политический процесс определяется не идеалами и политическими программами, а прежде всего интересами рациональных эгоистов. Политики хотят оставаться у власти, в условиях демократии это означает, что они должны получить голоса избирателей, на это им нужны деньги. Предприниматели в свою очередь хотят приумножать свои доходы. Это означает, что они в обмен на денежную поддержку стараются получать от политиков госзаказы, субсидии, льготы и т.д.

Классическая тема теории общественного выбора — взаимодействие между политиками, экономической элитой и чиновниками в демократической системе, которые рассматриваются как акторы, максимизирующие усилия для достижения некой цели в рамках одного или более ограничений в поведении. При этом ограничения могут быть связаны как с нехваткой ресурсов, так и с институциональным влиянием. К примеру, политикам нужны предприниматели для финансирования предвыборных батальи. Предприниматели в свою очередь ожидают государственных привилегий как ответной услуги. Однако большие уступки экономической элите могут сделать политика непопулярным среди избирателей. Поэтому политикам необходимо найти грань, удерживаясь

на которой они смогут при помощи фондов на проведение избирательной кампании получить большее количество голосов избирателей, чем потерять в связи с исполнением политических обещаний предпринимателям. Бюрократы хотят продвигаться по карьерной лестнице, повышая свое влияние и влияние своей организации.

Согласно концепту *логики коллективного действия*, разработанному Мансуром Олсоном, конкретные интересы, которые представлены относительно малыми группами, например, кругом крупных предпринимателей одной отрасли, могут быть объединены намного проще, чем интересы массовых общественных групп (рабочих в профсоюзе). Только малое число участников позволяет обеспечить необходимую поддержку и санкционировать эгоистическое поведение. Только в этом случае вклад каждого отдельного актора имеет влияние на общий результат и потому представляет интерес для соответствующего актора.

Формирование больших групп, напротив, страдает от проблемы непостоянства и слабой вовлеченности участников. Каждый отдельный актор рационален, когда он передает задачу реализации общего интереса другим, так как он сам, независимо от личного вклада, в равной степени воспользуется достижениями группы («эффект безбилетника»). Так, например, государства, которые игнорируют общие соглашения и продолжают наращивать свои вооружения, не только не могут быть лишены выгод всеобщего разоружения, но и оказываются в более выигрышной позиции, получая дополнительные преимущества. Таким образом, некоторые из выявленных М. Олсоном общих закономерностей коллективной деятельности позволяют установить прямую связь между размером группы (организации) и ее эффективностью, а также между ее величиной и оптимальными механизмами (институтами) регулирования внутригрупповых отношений.

Из-за эгоистического поведения «безбилетников» частные интересы, по Олсону, лучше организованы, располагают большими резервами давления, чем ориентированные на общее благо, поэтому они с большей результативностью реализуются в политическом процессе. Таким образом, организованный частный интерес получает выгоду за счет всеобщего блага, так как обеспечение его поддержки из госбюджета финансируется всеми налогоплательщиками. Этим, в частности, Олсон объясняет замедление темпов экономического роста и даже стагнацию в тех странах, где частные интересы хорошо организованы и обладают мощными ресурсами давления на государство. В результате Олсон выдвинул три главных принципа или правила поведения для коллективных действий, которые он представил как всеобщие истины:

1. Чем больше коллектив, тем неэффективнее исход и менее вероятно, что любые коллективные действия будут доведены до конца.
2. Чем разнообразнее вклады членов коллектива, тем вероятнее, что богатые члены общества будут брать на себя бремя оплаты за коллективный товар, в том числе и за бедных. Кроме того, большее многообразие членов способствует достижению некоторых коллективных целей.
3. Коллективные действия могут поощряться с помощью изменения институциональных установлений и предоставления индивидуальных стимулов.

«Хотя каждое из этих утверждений является правильным для многих важных сценариев, — отмечает Т. Сэндлер, — они не универсальны, если не действует ряд неявных ограничивающих допущений».

Несмотря на то что теория общественного выбора ставит всех людей в условия неограниченного эгоизма, сами ее представители пытаются найти решение в интересах всех, т.е. общего блага. Их цель — разработать такие правила, которые привели бы к тому, что эгоистические взаимодействия всех акторов приносили бы всему обществу в целом оптимальные результаты.

Понимание институтов прежде всего как свода правил ставит ряд концептуальных проблем, главная из которых может быть сформулирована следующим образом: «Когда правило является правилом?» Ответ вроде бы очевиден: «Правило — это нечто такое, что обязательно для выполнения». Но тогда как быть с формальными и особенно неформальными институциональными правилами, которые не выполняются или одними выполняются, а другими нет? Означает ли это, что данный институт реально существует?

Проблема стабильности институтов. При экономическом подходе институциональный анализ проводится прежде всего исходя из посылки, что институты представляют собой точки равновесия, поскольку никто не заинтересован в том, чтобы изменять их. Можно даже сказать, что они обладают способностью к самоусилению. Это объясняется по-разному. В частности, существует аргумент «потраченных денег». Так, поскольку на обучение действующих в данных институциональных рамках агентов уже затрачено так много средств, понесенные расходы препятствуют проведению разного рода преобразований, хотя теоретически можно было бы найти более эффективные решения. Возможен и такой вариант, что, даже если изменения могли бы дать заинтересованным лицам некоторые выгоды краткосрочного плана, неопределенность долгосрочной перспективы удерживает их от изменения существующих

институтов. Кроме того, стабильность основных институтов объясняется тем, что сам процесс проведения преобразований требует очень больших затрат. Даже в том случае, если каждый рациональный актер убедится в том, что определенные изменения соответствуют его интересам, то сам по себе факт проведения заведомо дорогостоящего процесса институциональных преобразований неизбежно приведет к возникновению очередной проблемы коллективного действия.

5. Исторический институционализм

Сторонники этого подхода (*Д. Норт* и др.) заостряют внимание на роли институционального выбора, совершенного в историческом прошлом в целях развития отдельного элемента или политической системы в целом. По их мнению, такой первоначальный выбор будет оказывать глубокое воздействие на все последующие политические решения. В рамках данного направления рассматриваются основные принципы институционализма и подчеркивается важность структурного выбора, принятого в самом начале выработки курса данного института. Это означает, что, даже если проведено несколько последующих структурных изменений института, первоначальные решения продолжают оказывать воздействие на политический процесс.

У исторического институционализма тоже есть предтечи (*М. Вебер*, *Г. Моска* и др.), так, *Г. Моска* утверждал, что исторический метод имеет структурно-институциональный характер. «Допустим, — писал он, — что курьезы и биографические частности могут повлиять на историю наций, однако неоспоримо, что они не очень помогают открытию больших психологических законов, которые проявляются в жизни самих наций». Действие этих законов «раскрывается скорее в административных и правовых институтах, в религии, во всех моральных и политических нравах и привычках разных народов, и, следовательно, именно на их изучении нужно сконцентрировать внимание». По сути дела, отмечает *Н. Боббио*, Моска различает микро- и макроисторию, т.е. историю индивидов и историю институтов. По его убеждению, «только последняя способна обеспечить достаточно материала для выявления общих тенденций или законов, открытие которых как раз и входит в задачу политической науки».

Исторический подход, объясняя *проблему стабильности институтов*, предполагает, что в большинстве случаев институты выбирать не приходится, ни один агент, ни группа агентов не могут изменить институт в целом. Институты создавались на месте уже существующей институциональной системы в разные периоды времени разными актора-

ми, руководствовавшимися различными интересами. Индивиды не выбирают подходящие им институты, напротив, институты выбирают подходящих людей. В каждый данный период времени можно преобразовать лишь немногие отдельные переменные характеристики существующих институтов, в целом определяемых исторической традицией.

В отличие, например, от *Адама Смита*, считавшего, что рынок — это структура, неотъемлемым свойством которой является увеличение благосостояния всех включенных в рыночные отношения, большинство неоинституционалистов считают, что данным свойством обладают не все структуры, вырастающие из взаимодействия рациональных индивидов. Как раз наиболее показательной в этом смысле является «дилемма узника» — модель взаимодействия, при которой каждый участник, действуя эгоистически рациональным образом, способствует результату, невыгодному для всех. «Модели такого рода в высшей степени полезны для объяснения того, каким образом насквозь рациональные люди при определенных обстоятельствах могут создавать совершенно нерациональные ситуации», — пишет *Элинор Остром*.

В рамках этой дилеммы возможны два типа социального равновесия, исходя из которых все общества решают проблемы коллективного политического действия и которые, укоренившись, оказываются самодостаточными. Это игра с двумя стабильными эквilibриумами:

- 1) «если каждый ожидает со стороны другого обмана, то все будут обманывать» (индивидуально предпочтительная стратегия);
- 2) «если каждый ожидает, что другой будет честным, то все оказываются честными» (совместно предпочтительная стратегия).

Существование этих стабильных эквilibриумов не исключает существования иных стабильных эквilibриумов, поскольку некоторые исследователи говорят об относительности различий между эгоистическим и альтруистическим поведением. Человек, рассматриваемый в рамках теории рационального выбора как «максимизатор личной выгоды», может, например, заботиться об окружающих, поскольку это тоже может приносить выгоду.

1. Стратегия **«никому не помогай»** (индивидуально предпочтительная стратегия), базирующаяся на «вертикальном» негражданском клиентелизме и взаимной изоляции, представляет собой стабильное равновесие (отрицательный эквilibриум), и причины этого разобраны в различных вариантах «дилеммы узника». Оказавшись в ловушке этой ситуации, любой участник считает неразумным поиск альтернатив, нацеленных на сотрудничество, которое выходит за пределы семьи (например, «аморальная семейственность», отмеченная *Бэнфилдом* на ита-

льянском Юге, — неспособность горожан действовать совместно ради общего блага или преодолевать ради какой бы то ни было цели сиюминутные интересы нуклеарной семьи). С точки зрения неoinституционализма это — единственно рациональная стратегия выживания в имеющемся социальном контексте. «Аморальная семейственность» отсталого общества, по Бэнфилду, находит аналог в аморальной клановости, аморальной групповщине, аморальной классовости. Мораль нуждается в доверии; доверие предполагает предсказуемость, а предсказуемость требует регуляризованных и институционализированных форм поведения. В отсутствие эффективных политических институтов у общества недостает средств для определения и реализации общих интересов (С. Хантингтон). Персонажи этой социальной системы вполне могут осознавать, что они живут хуже, чем могли бы, но выход из этого круга находится за пределами их возможностей, поскольку «совместному действию должно предшествовать не только ваше доверие к другим, но и убеждение в том, что другие также вам доверяют... Глубокое недоверие очень сложно преодолеть опытным путем, ибо оно либо блокирует соответствующие формы социального опыта, либо же, что хуже, влечет за собой формы поведения, поддерживающие недоверие... После того как недоверие утвердилось, очень трудно разобраться, было ли оно оправданным, поскольку оно также способно к самовоспроизводству» (Д. Гамбетта).

В таких условиях можно ожидать торжества идеи *гоббсовского властного государства* (К. Маркс и др.), которое есть прежде всего монополия аппарата на насильственное разрешение социальных конфликтов. В XX в. этот подход развивал М. Вебер и его последователи: «Принудительная политическая ассоциация может быть названа государством в той степени, в которой ее административный штаб успешно осуществляет монополию легитимного насилия». Этот подход фиксирует необходимость авторитарного вмешательства «третьей силы». Если обе не доверяющие друг другу стороны наделяют Левиафана полномочиями регулировать их взаимоотношения, то в награду государство заставляет своих подданных делать то, чего они не делают добровольно, — действовать сообща. «Каждый за себя, и только государство за всех» — так «отец» русского анархизма *Петр Кропоткин* охарактеризовал главный общественный принцип.

То, что государство является гарантом осуществления постулата «*pacta sunt servanda*» («договоры должны соблюдаться»), являлось самоочевидным уже для Т. Гоббса. Однако неизбежно возникает вопрос: как заставить участников общения соблюдать правила и ими же выработанные нормы, если каждый стремится стать «безбилетником»? Эта

формулировка «дилеммы заключенных» напоминает положение Гоббса о естественной потребности, стремлении к собственности и власти и естественном разуме, сознании того, что, только объединившись с остальными, человек может улучшить свое положение. Другими словами, человек знает, что единство необходимо и выгодно, но одновременно хочет использовать это единство в своих собственных целях. «Указанная дилемма, — пишет П. Козловски, — не является констатацией того факта, что индивид как член буржуазного общества особенно плох или зол; она просто напоминает об известном уже Платону несовпадении эгоизма и всеобщей воли (или, говоря словами Августина, *amor sui u amor Dei*) как следствии индивидуализации человека». Ответ Гоббса на этот вопрос известен — наделение Левиафана исключительным правом принуждать к выполнению установленных правил.

Однако «вмешательство “третьей силы” (государства) нуждается в нейтральной инстанции, способной безвозмездно выработать контракты и столь же безвозмездно следить за тем, чтобы обидчик всегда воздавал пострадавшей стороне в той мере, которая делает нарушение контрактов невыгодным. В реальном мире идеальные условия такого рода встречаются крайне редко», — констатирует *Д. Норт*. Поэтому верх возьмет иерархическое решение дилемм коллективного действия, т.е. насилие, эксплуатация и зависимость (патрон-клиентные отношения). При этом «общества, систематически обращающиеся к насилию, оказываются менее эффективными, более дорогостоящими и неприятными в сопоставлении с теми, где доверие утверждают иными средствами» (*Гамбетта*). Но еще более важным является ответ на следующий вопрос: «Для того чтобы вмешательство “третьей силы” работало, ей самой должны доверять, но где гарантия от “порчи” самого суверена?» «Проще говоря, не станут ли люди, управляющие государством, использовать насилие в собственных интересах в ущерб остальному обществу» (*Д. Норт*). Ведь еще средневековый арабский мыслитель *Ибн-Хальдун* замечал: «Государство — институт, пресекающий любую несправедливость, кроме той, которую оно творит само». Подобное положение вещей ущербно еще и потому, что обрекает общество на самовоспроизводящую отсталость.

Тем не менее это все же лучше, чем «естественная» «война всех против всех», известная на различных этапах исторической эволюции всем обществам. В намеченном *Гоббсом* решении дилеммы есть по меньшей мере один плюс — эта институциональная система годится для тех, кто не способен доверять ближним. Минимальная безопасность оказывается вполне достойной наградой для безвластных: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца».

При этом, как отмечает *Дуглас Норт*, «в сложных обществах издержки оппортунизма, обмана и увливания резко возрастают». Иными словами, значимость социального капитала (развитых институтов сотрудничества гражданского общества, предотвращающих оппортунизм, увливание и обман, т.е. применение стратегии «никому не помогай») по мере экономического развития неуклонно растет. Это обстоятельство помогает понять, почему пропасть между «гражданственным» Севером и «негражданственным» Югом Италии в последние сто лет постоянно углублялась, несмотря на значительные государственные усилия по экономическому и социальному развитию Юга. Этим можно объяснить и постепенное, но неуклонное отставание стран «реального социализма» от стран Запада.

Авторитарные методы правления, пара «патрон — клиент», незаконные методы принуждения представляют собой второсортное, неполноценное решение, хотя с его помощью рационально действующие индивиды получают хоть какую-то защиту в войне «всех против всех», в роли примитивных заменителей гражданского общества здесь выступают насилие и семья. На языке теории игр принуждение со стороны «третьей силы» не создает стабильного равновесия, т.е. положения вещей, при котором ни один из игроков не имеет побуждений действовать по-другому. Напротив, в «дилемме узника» измена оказывается стабильной стратегией для всех действующих сторон.

2. Однако при наличии адекватных ресурсов социального капитала можно достичь и более удачного равновесия. С учетом того, что «дилеммы узника» в любом обществе многочисленны и воспроизводятся постоянно, «**храбрая взаимность**» (совместно предпочтительная стратегия) также может стать стабильной стратегией равновесия и привести к формированию эффективных институтов. Причем добровольное сотрудничество легче в тех сообществах, которым удалось унаследовать значительный социальный капитал в виде норм взаимности и структур гражданской вовлеченности (важность социального контекста в выборе стратегии поведения): «В мире, где существуют “дилеммы узника”, кооперативные сообщества позволяют рациональным индивидам преодолевать коллективные дилеммы» (*Роберт Бейтс*). В основном разнообразные формы социального капитала представляют то, что *Альберт Хишман* назвал «моральными ресурсами», т.е. ресурсами, объемы которых в процессе использования не столько сокращаются, сколько нарастают, а исчерпание наступает только в том случае, если ими не пользуются». *Роберт Сагден* сформулировал эту стратегию так: «**Помогайте людям, которые помогают вам, и никогда не уходите в сторону первыми**» (опирающаяся на «горизонтальную» гражданскую солидарность и вза-

имное доверие). *Сагден* утверждает, что в процессе «игры во взаимопомощь» (это формализация неявного торга, лежащего в основе обществ взаимопомощи, кооперативов, ассоциаций взаимного кредита, описанной *Д. Юмом* коллизии двух фермеров¹ и других групп интересов) сотрудничество можно поддерживать бесконечно. Важной предпосылкой продолжения сотрудничества является «рутинизация» доверия, которая проявляется в том, что традиционный личный критерий доверия, основанный на опыте положительного взаимодействия, личной репутации или принадлежности к группе «своих», дополняется безличным «стандартизированным» критерием, который выражается в знании человеком «правил игры», готовности их выполнять, а значит, предсказуемости его поведения. В то же время, как утверждает *С. Хантингтон*, «способность создавать политические институты есть способность создавать общественные интересы».

Разумеется, что в постоянно воспроизводимой «игре во взаимопомощь» стратегию «всегда обманывай» тоже можно считать устойчивым равновесием. Тот же *Сагден* считает, что стратегия «всегда обманывай» также представляет собой устойчивый эквilibrium в бесконечно повторяемой игре, потому что игроки время от времени могут делать ошибки, т.е. уходить в сторону, на деле искренне намереваясь сотрудничать, и наоборот. Однако в обществе, отличающемся плотной сетью гражданской вовлеченности, «паршивую овцу» значительно легче обнаружить и наказать, поэтому эта стратегия оказывается рискованной и непривлекательной.

Стратегии «всегда помогай» соответствует *либеральное конституционное государство* (*Дж. Локк, И. Кант*). Его цель — в ограничении, обуз-

¹ *Д. Юм* в «Трактате о человеческой природе» описал историю, отражающую важнейшие дилеммы коллективного действия (иной вариант «дилеммы узника»). «Ваша рожь поспела сегодня; моя будет готова завтра; для нас обоих выгодно, чтобы я работал с вами сегодня и чтобы вы помогли мне завтра. Но у меня нет расположения к вам, я знаю, что вы также мало расположены ко мне. Поэтому ради вас я не возьму на себя лишние работы, а если бы я стал помогать вам ради себя самого в ожидании ответной услуги, то знаю, что меня постигло бы разочарование и что я напрасно стал бы рассчитывать на вашу благодарность. Итак, я предоставляю вам работать одному; вы отвечаете мне тем же; погода меняется — и мы оба лишаемся урожая вследствие недостатка во взаимном доверии и невозможности рассчитывать друг на друга».

По мнению *Е. Остром*, «дилемма фермеров», как и «дилемма узника», демонстрирует ситуации, в которых каждому из партнеров стало бы лучше в случае взаимного сотрудничества. Вместе с тем при отсутствии доверия... рационально каждый ожидает от партнера измены... (и идет на нее сам). Модели такого рода... полезны для объяснения того, каким образом насквозь рациональные люди при определенных обстоятельствах могут создавать совершенно нерациональные ситуации».

дании властного государства посредством правовой системы. Посмотрим, например, на дефиницию *Г. Кельзена* «государство есть относительно централизованный правопорядок». Этот подход фиксирует правовой аспект современного государства. С точки зрения *И. Канта* люди постоянно сталкиваются с альтернативой: личная автономия или гетерономия (подчинение извне приходящим нормам). Автономии соответствует правовое государство, гетерономии — патерналистское. *И. Кант* противопоставляет модель правового государства, граждане которого — «совершеннолетние» и ответственные личности, патерналистскому, где власть «отечески» заботится о благе подданных. Интересно, что *Кант* обозначает патерналистское государство термином «государство благосостояния», который в XX в. используется в ином контексте. Главная цель такого государства — счастье людей. Однако эта принципиальная установка на счастье неизбежно приводит к государственному деспотизму, поскольку лишь властителям дано знать, в чем истинное благо подданных.

Итак, обе стратегии — и «**всегда обманывай**», и «**всегда помогай**» — представляют собой ситуационные правила, возникающие в конкретных обществах и после своего появления оказывающиеся вполне устойчивыми. Обе пары: и «взаимность—доверие», и «зависимость—эксплуатация» — способны скреплять общество, хотя происходит это на различных уровнях эффективности и институциональной деятельности. Оказавшись в той или иной среде, действующие лица обязаны подчиняться правилам. А история (контекст) решает, какой из двух типов равновесия восторжествует в данном обществе.

Последствия исторических катаклизмов живут очень долго. Как подчеркивают «новые институционалисты», институты и социальные установления, обеспечивающие их деятельность (традиции), возникают и развиваются в истории, но отнюдь не они обеспечивают уникальный и эффективный тип равновесия. История (традиция) не всегда эффективна — иной раз она руководствуется социальной практикой, тормозящей прогресс и стимулирующей коллективное неразумие. Но такую инерцию нельзя приписывать индивидуальной иррациональности. Напротив, индивиды вполне рационально откликаются на социальный контекст, завещанный им историей. Как считает *Эдвард Шилз*, «хотя люди зачастую не удовлетворены своими традициями, но без них они не могут выжить».

Исследователи назвали эту особенность социальных систем «*past dependency problem*» (*зависимость от пути развития*), или «**тропой зависимости**»: конечный пункт вашего маршрута зависит от того, откуда вы

начинаете свой путь, некоторые точки отсюда просто недостижимы (*Д. Норт*). «Тропа зависимости» способна рождать устойчивые различия в институциональной деятельности двух обществ, причем даже в тех случаях, когда формальные институты, ресурсы, индивидуальные предпочтения и там, и здесь совпадают. *Д. Норт* отмечает, что социальные институты способны к самовоспроизводству даже в том случае, если они неэффективны. Существование сложившихся исторически «ментальных конструкций», с помощью которых индивиды перерабатывают информацию, интерпретируют окружающий мир и делают выбор, может «приводить акторов к выбору устойчиво неэффективных решений». Потому что, во-первых, для индивидуального участника этой игры всегда легче принять действующие правила, нежели пытаться изменить их («в чужой монастырь со своим уставом не лезь» и др.). Во-вторых, эти правила обычно способствуют возникновению организаций и групп, которые извлекают выгоду из их неэффективности. В-третьих, после того как развитие пошло в определенном направлении, организационные навыки, обычаи и привычки, интеллектуальные установки следуют этой же траектории. Сотрудничество или эксплуатация укореняются. Неформальные нормы и стереотипы культуры меняются медленнее, чем формальные правила, поэтому внешнее навязывание новых формальных установок способно привести к совершенно неоднозначным результатам («хотели как лучше, а вышло как всегда»).

Социальный контекст и история глубочайшим образом обуславливают эффективность или неэффективность институтов. Все это имеет глубочайшие экономические и политические следствия: «Если процесс, посредством которого мы достигли нынешнего состояния общественных институтов, ограничивает возможные варианты будущего, тогда дурное функционирование общества становится неизбежным и история все дальше и дальше уклоняется от общего корня». Так, *Д. Норт* иллюстрирует это положение, обращаясь к постколониальному опыту Северной и Южной Америки. После достижения независимости и Соединенные Штаты, и латиноамериканские республики имели сходные конституционные формы, богатые ресурсы и примерно одинаковые международные возможности («равенство старта»), но североамериканцы пользовались благами английского опыта децентрализации и парламентаризма (гражданские традиции), в то время как латиноамериканцы несли доставшееся от средневековой Испании бремя авторитаризма, семейственности и клиентелы (традиции вертикальной зависимости и эксплуатации). Как отмечал еще известный мексиканский писатель *Октавио Пас*, «североамериканская англоязычная культура — дочь

традиции, от которой пошел современный мир, т.е. Реформация с ее социальными и политическими последствиями, демократией и капитализмом. Южноамериканская же культура, испано- и португалоязычная, — дитя универсалистской католической монархии и Контрреформации». И дело не в том, что предпочтения и склонности жителей Северной и Южной Америки различались — просто исторически сформировавшийся социальный контекст предлагал им различные варианты возможностей и обязанностей.

То же самое можно сказать о контрасте между Югом и Севером Италии. *Р. Патнэм* писал в этой связи еще в 1993 г.:

«Многие бывшие коммунистические страны почти не имели гражданских традиций и до пришествия коммунизма, а тоталитарное правление выкосило даже ту незначительную поросль, которая была. При отсутствии взаимности и структур гражданской вовлеченности вариант итальянского Юга — аморальная семейственность, клиентела, беззаконие, неэффективное управление и экономическая стагнация — представляется более вероятным исходом, чем успешная демократизация и экономический прогресс. В Палермо просматривается будущее Москвы».

Действительно, существование особой взаимозависимости между принятыми официальными нормами, легальными законами, с одной стороны, и неофициальными «правилами игры», определяемыми политической традицией и культурой, — с другой, вносило значительные коррективы в процесс политической трансформации современной России. Вместо сбалансированной с точки зрения плюралистического представительства интересов политической системы с сильными демократическими институтами мы получили нечто иное: вместо партий их функции выполняют корпоративные группировки (да и сами партии зачастую представляют собой клиентельные группы); вместо нормальных парламентских форм выражения и согласования разнообразных интересов — квазикорпоративистские ассамблеи, не отягощенные заботой о нуждах рядовых избирателей; вместо «прозрачного» процесса принятия решений административными органами — полностью закрытый от контроля процесс бюрократического торга за перераспределение общественных ресурсов. То есть там, где не работают формальные институты, их замещают (выполняют их функции) институты неформальные.

«Там, где не работают суды и налоговая инспекция, уплата налогов и возврат долгов осуществляются с помощью силового предпринимательства; там, где правительство не подотчетно парламенту, главные решения принимаются не выбранными представителями граждан, а в узком кругу “семьи”; там, где политические партии не способны осуществлять политическую взаимосвязь элит и масс, их функции выполняют основанные на мас-

совом клиентелизме “политические машины” и т.д. Современная постсоветская политика дает немало примеров такого рода замещений формальных институтов неформальными...» (В. Я. Гельман).

Поэтому сложившаяся в России институциональная система, степень ее эффективности/неэффективности никак не может быть понята лишь в нормативно-правовом ракурсе, без учета доминирующих корпоративно-бюрократических неформальных правил игры. Планомерное воспроизводство этих «правил» существенно модифицировало социальный характер российской политической системы, придало ей авторитарно-олигархическую и бюрократическую доминанту.

Проблема изменения самих институтов — наиболее уязвимое и сложное звено институционального анализа. Преимущественное рассмотрение институтов в качестве ограничителей, которые принуждают индивидов делать определенный выбор, затрудняет исследование институциональных изменений в рамках институционального анализа. «Такой подход помогает понять потребность в институтах, но не объясняет, почему они удовлетворяются», — пишет Р. Бейтс. В рамках неинституционализма трудно ответить на вопрос: «Если выбор правил поведения является предметом рациональной оценки, то как объяснить массовую поддержку революционных трансформаций, ведущих к столь же массовому ухудшению социальных условий существования?»

Согласно представлениям Д. Норта в обществе формальные и неформальные правила должны дополнять, а не противоречить друг другу. В то время как неформальные правила возникают и закрепляются исторически медленно, формальные могут очень быстро меняться в результате политических революций. В подобной ситуации возникают проблемы, поскольку неформальные правила, обладая большой инерцией, не могут измениться автоматически. Если формальные и неформальные правила противоречат друг другу, это приводит к конфликту совести у заинтересованных акторов и к неэффективности и ненадежности права (так называемому правовому нигилизму). Формальные правила в таких обстоятельствах полностью признаваться не будут.

Государство может реагировать на конфликт между формальными и неформальными правилами двумя способами. В первом случае оно может попытаться перевоспитать население, в том числе с помощью насилия. Во втором случае государство может пойти на компромисс и перенести часть неформальных правил в систему формальных (отсюда, в частности, такое внимание к выбору институционального дизайна в транзитологии).

Как полагает Р. Гудин, институты могут меняться по трем причинам. Первая из них — чистая случайность или непредвиденные обстоя-

ательства: взаимодействие различных институтов может привести к возникновению совершенно непредвиденного нового их типа. Вторая — эволюционные изменения: институты, оптимально удовлетворяющие требованиям определенного этапа исторического развития, просто выживают в результате действия некоего механизма отбора. Третьей причиной изменения институтов могут стать намеренные стратегические действия агентов политического процесса. Поскольку обычно политические системы жестко структурированы институтами, изменения в них могут происходить лишь в определенные периоды времени. Политические акторы способны изменять институциональные параметры (правила игры) лишь в решающие формообразующие моменты истории, которые сопровождаются таким явлением, как неспособность существующих политических институтов справиться с новым положением вещей. В таких ситуациях политические акторы не только участвуют в большой игре, но и могут изменить сами правила игры. Как пишет *В. Ротштейн*, «в такие эпохи они могут формировать политические институты будущего, причем иногда им удается устанавливать правила, которые выгодны им самим».

В итоге оказывается, что прошлое влияет на настоящее. Полное изменение формальных и неформальных правил — и вместе с тем всего общества — в пределах короткого отрезка времени, по мнению Норта, невозможно:

«Революционные изменения, однако, никогда не бывают такими революционными, как убеждает нас риторика, и дело не только в том, что мощь идеологической риторики ослабевает при происходящем в мысленных моделях избирателей столкновении утопических идеалов с грубой послереволюционной реальностью. Формальные правила можно заменить за день, неформальные ограничения — нет. Несовместимость формальных правил и неформальных ограничений (что может быть результатом глубины культурного наследия, в рамках которого были выработаны традиционные способы разрешения основных проблем обмена) порождает трения, которые могут быть ослаблены путем перестройки всех ограничений в обоих направлениях, и тогда будет достигнуто новое равновесие, значительно менее революционное, чем риторика перемен».

Таким образом, изменение общественных правил происходит эволюционно, в течение длительного срока, это означает зависимость институтов от исторических условий (см. «тропа зависимости»).

Однако ***трансформация институтов способна менять политическую практику (формальные перемены порождают и неформальные изменения)***. Так, тот же Д. Норт, который определяет институты как систему формальных правил, неформальных норм (традиций) и их реализующих

механизмов общения людей, ставит вопрос о последствиях исторически случайного выбора различных направлений институциональных изменений в двух ведущих европейских державах XVI в. — Испании и Англии. Вначале наблюдается сходство социальных, экономических проблем и политических структур в этих странах: с одной стороны, укрепляется королевская власть и бюрократия, а рядом с ней возникают сословно-представительные органы — парламент в Англии и кортесы в Испании, и там, и там идет борьба представительного органа и короля за распределение прав. Принципиальных различий в религии тогда еще не было. В XVI в. англиканство отличается от католицизма только тем, что король возглавляет (со времен Генриха VIII) церковь. Тем не менее в этих странах формируются различные «правила игры». В Великобритании XVII в., при Тюдорах, между короной, парламентом и купцами была достигнута трехсторонняя договоренность, по которой парламент расширял свои права в обмен на введение новых налогов.

В Испании в это же время политические изменения проходят иным путем: закрываются каналы выражения интересов и выдвижения проблем, ограничиваются средства представительства различных групп населения и тем самым выхолащиваются механизмы саморегуляции социального общения.

«На языке нашей модели институционального развития, — делает вывод Д. Норт, — это означает, что в противостоянии между короной и кортесами верх брала корона, что соответственно означало постепенный упадок кортесов. Управленческая структура превратилась в громоздкий и сложный бюрократический аппарат, и короне приходилось предпринимать бесконечные попытки сохранить контроль над своими разбросанными по всему миру агентами».

Самым важным здесь является то, что в результате в целом исторически случайного стечения обстоятельств вопрос о налогах в Англии попал в руки парламента, а в Испании остался в ведении короля. Дальше возникла цепочка следствий: огромные сокровища, полученные Испанией из колоний, сыграли с ней скверную шутку: во-первых, они препятствовали формированию мотивации к упорному труду и у представителей аристократии, и у подвластного населения, во-вторых, поскольку размер налогов определял монарх, не спрашивая согласия налогоплательщика, а государственная казна всегда, как правило, пуста, то не возникало мотива к накоплению, сокровища рациональнее было немедленно тратить. В Англии же сформировались условия для накопления. В результате, говоря языком теории социального контракта, в Англии и Испании возникли два разных типа контракта. В Испании —

так называемый вертикальный контракт, когда власть может забирать права и ценности и перераспределять их без участия общества. В Англии — так называемый горизонтальный контракт, когда власть не может решать вопросы распределения без участия институтов гражданского общества. Таким образом, «случайный выбор, закрепленный затем специальными интересами, а потом еще и обстоятельствами развития, традициями, сложившимися правилами, различиями в ценностях, в формальных и неформальных правилах, приводит к тому, что страна начинает двигаться по определенной траектории» (А. Аузан), сойти с которой чрезвычайно трудно.

Джеймс Марч и Йохан Олсен следующим образом обобщают сформулированный выше вывод:

«Организация политической жизни влияет на ход истории... Действия, предпринимаемые политическими институтами, перераспределяют политические интересы и ресурсы, а также меняют правила политической игры. Происходит это через внедрение новых критериев успеха и неудачи, введение новых правил политического поведения, наделение одних людей большей властью по сравнению с другими. Институты определяют те способы, с помощью которых индивиды и группы активизируются как в политике, так и за ее пределами, влияют на степень доверия граждан к их лидерам, формируют в политическом сообществе чувства и настроения, а также единый для всех смысл таких понятий, как демократия, справедливость, свобода и равенство».

При этом связь актор — институт двусторонняя: с одной стороны, институты структурируют взаимодействие между людьми и оказывают влияние на «цену» их действий, регулируют свободу индивидов делать выбор на основе собственных идей и идеологий, с другой — институты сами воплощают в жизнь эти идеи и идеологии.

«Поэтому, например, — отмечает М. Фармер, — допустить стихийное развитие рыночных отношений (стратегия так называемых молодых реформаторов во главе с Е. Гайдаром) и расширение границ эгоистического поведения, свободного от социальных ограничителей (институтов), — значит накликать беду». Ведь еще полвека назад Карл Поланьи доказал, что система «laissez-faire» («не мешайте делать». — Прим. авт.) всегда возникала в результате планирования и создания государством соответствующих юридических и институциональных рамок. Он писал, в частности, что «...рыночная экономика — это институциональная структура, которая — о чем все мы слишком склонны забывать — возникла только в наше время». В ней нет ничего естественного. Если бы все шло своим чередом, без всякого вмешательства, свободные рынки просто не смогли бы появиться. «Позволить рыночному механизму быть единственным вершителем судеб людей и их природного окружения или хотя бы даже единственным судьей надлежа-

шего объема и методов использования покупательной способности значило бы в конечном счете уничтожить человеческое общество».

Действительно, что если в любой ситуации, требующей принятия решений, люди будут озабочены лишь тем, как добиться выгоды для себя (своей семьи, друзей), не имея каких-либо ограничений, способных удержать их как участников рыночного обмена от попытки обмануть своих партнеров, продать им недоброкачественный товар или иным образом надуть их? Что удержит их как рабочих от стремления прикладывать за свою зарплату как можно меньше усилий («работать как у нас, но получать как у них»)? Что удержит их как должностных лиц от использования большей части бюджета своих организаций на обеспечение личного комфорта? Только институты, формирующие новые внутренние мотивы поведения (ориентация на совместно предпочтительную стратегию «всегда помогай»).

Теоретики неоинституционализма признают необходимость обращения к определению степени обусловленности нормального функционирования общественных институтов как внешними ограничителями (юридическими рамками, организационными правилами и т.д.), так и внутренне принятыми нормативными предписаниями. Так, важная линия исследования получила развитие в работах экономиста *Оливера Вильямсона*, который подчеркивает роль формальных институтов в минимизации «издержек взаимодействия» (т.е. трансакционных затрат на мониторинг и заключение сделок), что позволяет партнерам более успешно преодолевать ситуации оппортунизма и увиливания. По мнению *Л. Остром* для решения дилеммы коллективного действия:

- границы института должны быть четко очерчены;
- взаимодействующие стороны должны участвовать в разработке правил;
- нарушителей надо подвергать санкциям;
- необходимы простые механизмы разрешения конфликтов и т.д.

(Правда, здесь остается открытым вопрос: как и почему появляются формальные институты, помогающие преодолеть проблемы коллективного действия? Имеются в виду проблемы учета социального контекста.)

Таким образом, не только неформальные практики способствуют становлению формальных институциональных правил, но и существующие институты постоянно производят и поддерживают неформальные практики. Так, неудачная конституционная структура способна блокировать «расширенное воспроизводство» демократического «неформального знания», демонстрируя «зависимость от пути» развития.

Но институализированная история развивается медленно и не гарантирует успех. «В результате возникает “парадокс изменений” — рациональные (т.е. осознанные) модификации социальных институтов не затрагивают глубинного “молчаливого знания” (неформальных правил. — *Прим. авт.*), составляющего их основу. Вместе с тем без модификации формальных правил не может образоваться та конструкция “молчаливого знания”, которая должна такие изменения поддерживать» (*В. М. Сергеев*). Д. Норт писал в связи с этим:

«“Тропа зависимости” подчеркивает значимость истории. Мы не сможем понять смысл современного исторического выбора, не проследив поэтапную историю институтов... Необходимо больше узнать о культурно стимулируемых нормах поведения и об их взаимодействии с бытующими в обществе формальными правилами. Мы лишь на пороге серьезного изучения институтов».

Так, предметом давнего спора в общественных науках является вопрос об отношении между культурным контекстом и институциональными переменами. Суть спора сводится к дилемме: можно ли преодолеть препятствия, порожденные спецификой культуры, введением радикальных институциональных перемен, или же, напротив, невозможно введение новых институтов в культурно неподготовленном обществе. Посткоммунистическая трансформация предоставила исследователям уникальную возможность анализа этой проблемы на конкретном материале. Однако разрешить эту дилемму не удалось и в рамках неинституционализма.

В связи с этим можно сказать, что одной из самых насущных проблем политической науки является сегодня выработка четких представлений о последствиях институциональных изменений. Этот вопрос возник в связи с так называемой «третьей волной демократизации», когда многие страны Восточной Европы, Латинской Америки и Азии вступили на путь перехода от авторитаризма к демократии. В связи с этим перед политологами встал другой, не менее важный вопрос о том, известен ли науке наиболее подходящий тип институционального устройства, который мог бы обеспечить новым государствам устойчивое демократическое правление. Ответы на него даются в рамках транзитологии (см. главу 10), но они отнюдь не однозначны.

Представители направления институциональных изменений утверждают, что правила могут различаться и в пределах государства. Отличия могут иметь место как между различными социальными группами, так и между различными регионами. Исходя из этого теория институциональных изменений применяется и для регионального политического анализа. Так, фактическое принятие формальных правил, прежде

всего федеральных законов, значительно различается в российских регионах. А отличие между неформальными правилами в регионах еще больше. Отличаются регионы и по преобладающему типу институтов (формальных или неформальных). Теория институциональных изменений предлагает подход к объяснению различий в зависимости от возможного пути развития. В то же время она предоставляет инструментарий, при помощи которого можно проанализировать последствия этих различий — различий региональных политических режимов и выработать рекомендации.

Федерализм в качестве политического института также можно исследовать при помощи данной теории, поскольку, как отмечает Д. Элазар, «суть федерализма следует искать не в определенном наборе институтов, но в институализации определенного типа отношений, складывающегося между участниками политической жизни». Действительно, если усматривать в федерализме лишь **юридическую формулу**, которая позволяет упорядочить взаимоотношения региональных элит и федерального центра, оптимально разделив между ними власть и контроль над собственностью, то невозможно объяснить, почему федерации, живущие по одним и тем же юридическим правилам, функционируют по-разному и с разной степенью эффективности. Это позволяет предположить, что в практике федерализма значим не столько институционально-правовой каркас (т.е. формальные институты), сколько его культурное наполнение (т.е. доминирующие неформальные «правила игры»).

«В своей хрестоматийной трактовке федеративная система предполагает комбинацию трех взаимосвязанных условий. Во-первых, одна и та же территория государства и проживающие на ней граждане одновременно пребывают под юрисдикцией двух (или более) уровней власти. Во-вторых, каждый из этих уровней располагает самостоятельной компетенцией. В-третьих, ни один из упомянутых уровней не имеет права упразднить другой. ...Перечисленные политико-правовые принципы демонстрируют довольно жесткую корреляцию с определенным типом культуры. ...Его определяющей чертой выступает межличностное доверие, строящееся на умении убеждать и договариваться, на стремлении делить власть, а не узурпировать ее, на приоритете полицентрической организации социума над моноцентрическими способами его упорядочивания. Именно эти особенности имеются в виду, когда федерализм называют “территориальным выражением демократии”» (А. Захаров).

Однако в СССР не существовало этого «федералистского» поведенческого этоса и потому имело место серьезное расхождение между формальными и неформальными правилами отношений центра и субъектов Федерации. Лишь формально СССР был Федерацией, на деле же

действовали неформальные правила полного подчинения республик Москве. Как отмечает К. С. Гаджиев, СССР представлял собой страну, созданную «из отдельных этнополитических образований, некий псевдофедеративный союз, где, с одной стороны, этнонациональные группы были лишены фактического политического суверенитета, а с другой — им были гарантированы территориальная идентичность, образовательные и культурные институты на собственных национальных языках, стимулирование местных кадров». В постсоветской России трудно шел процесс становления федерализма, в частности потому, что для многих он по-прежнему остается фикцией. Сочетание сугубо элитарного подхода к выработке важнейших направлений государственной политики с общей слабостью гражданского общества определило поверхностный, инструментальный характер российского федерализма. По данным социологических опросов, сторонниками такой бесспорно федералистской ценности, как «самостоятельность регионов страны», в 1998 г. были 9,5% россиян, а в 2001 г. — только 8,3%. Поэтому и институты российского федерализма не столько определяются конституционными положениями, сколько формируются спонтанно протекающими политическими процессами, в которых доминируют предпочтения и ресурсы вовлеченных политических элит (центра и регионов), взаимодействующих по принципу «кто кого». На чьей стороне перевес во властных ресурсах, тот и диктует «правила игры». При этом федеральный центр заинтересован в «продвижении идеи крайне централизованной федеративной системы», а региональные элиты — в сохранении ее «договорного характера». По данным Л. Иванченко, всего в 1990-е годы было заключено 46 такого рода двусторонних договоров и около 300 соглашений — цифра впечатляющая.

«Сложившийся (в 1990-е годы) в России “переговорный федерализм” находится в очевидном противоречии с центральной идеей федерального государства — разделением властных функций и сфер деятельности между правительствами двух уровней, каждое из которых независимо функционирует в своей сфере полномочий. Симптоматично само восприятие региональных лидеров как партнеров (неважно, лояльных или враждебных) федеральных властей, тогда как нормой является разделение труда между центром и регионами... Возможность “выкраивания” в конституционном поле индивидуальных уложений ...превращает конституцию из гаранта целостности общества в сферу конкуренции групповых интересов», — констатирует, в частности, Л. Полищук.

В результате сложившаяся неформальная «система персонифицированных обменов» (*П. Панов*) «позволяет элитным группам вести торг по ключевым вопросам национальной политики: а) не обращая особо-

го внимания на Конституцию Российской Федерации; б) отодвинув на задний план представительные органы власти; в) не испытывая ни малейшего давления со стороны общественного мнения» (А. Захаров).

Именно поэтому российский федерализм испытывает сильное воздействие политической и экономической конъюнктуры, а преимущественно неформальные отношения центральных и региональных властей приобретают циклическую, «маятниковую» форму (централизации — децентрализации).

В своей методологии неоинституциональные подходы во многом сходны. Важнейшим инструментом анализа является моделирование (симуляция) на основе различных гипотез поведения отдельных акторов в рамках признанных правил. Для подтверждения этого используются или репрезентативные (сравнительные) данные социологических исследований (опросы, статистика, эконометрический анализ), или изучение конкретных случаев (*case studies*). Исследователь может в полной мере использовать потенциал сравнительного институционального (в том числе сравнительно-исторического) анализа, что предполагает: (1) разработку теоретической модели/моделей среднего уровня абстракций; (2) контекстуализацию анализа и связанное с ней ограничение числа изучаемых переменных; (3) выбор стратегий сравнения по принципу «максимального различия с одинаковым исходом» и/или «максимального сходства с различным исходом» (Ч. Рэйджин). В результате появляется возможность решить проблему сверхдетерминации, когда различные независимые переменные предстают в качестве конкурирующих объяснений исследуемого феномена.

Особое внимание к абстрактному моделированию является одновременно и существенным плюсом, и существенным минусом неоинституциональных подходов. С одной стороны, это позволяет абстрагировать и схематизировать определенные взаимосвязи и отчетливо указывать механизмы взаимодействия. С другой — это абстрагирование зачастую приводит к тому, что существенные аспекты действительности не учитываются.

Как остроумно заметили по поводу *завышенных претензий институционализма Г. Экиштейн и Д. Антер*, «институционалисты полагали, что совершенствование политической структуры способно заменить удачу». А в книге 2004 г. «Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке» Френсис Фукуяма уже доказывает, что «...не существует универсально удовлетворительных правил создания организационных структур, а стало быть, “публик администрейшн” — это, скорее, искусство, нежели наука».

Глава 6

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ

1. Проблемы типологизации политических режимов
 2. Тоталитарный режим — теоретическая концепция или идеологический конструкт
 3. Типологии авторитарных режимов
-

§ 1. Проблемы типологизации политических режимов

Среди базовых для сравнительной политической науки понятий концепт «политического режима» занимает важное место. Оно появилось «как антитеза формально-правовым определениям государства в классической позитивистской юриспруденции. Эвристический потенциал данного понятия состоит в раскрытии реального механизма власти в противоположность формальному его определению» (*А. Н. Медушевский*).

Существует множество дефиниций этого понятия. Так, в рамках теории рационального выбора акцент делается на то, что политика — это форма игры-соперничества и понятия «политический режим» и «политическая игра» часто употребляются как тождественные. Но между ними есть и существенное различие. Подразумевается, что политическую игру ведут максимизаторы собственной выгоды, тогда как разговор о политическом режиме предполагает акцентирование установленного сочетания правил приемлемого социального поведения и институтов, в контексте которых социальная логика, которой следуют участвующие акторы, может быть различной.

Прежде всего понятие «политический режим» традиционно используется для обозначения совокупности приемов и методов осуществления власти. Для определения сущности политического режима принято обращать внимание на следующие индикаторы:

- процедуры и способы формирования институтов власти;
- стиль принятия политических решений;
- взаимосвязь власти и граждан.

Одним из наиболее признанных (в рамках этого подхода) является определение, данное известным французским политологом М. Дюверже:

политический режим — это «определенное сочетание системы партий, способа голосования, одного или нескольких типов принятия решений, одной или нескольких структур групп давления».

Более современную дефиницию предложили американские политологи Г. О’Донелл и Ф. Шмиттер:

«Политический режим — это вся совокупность явных и неявных моделей, определяющих формы и каналы доступа к важнейшим управленческим позициям, характеристика субъектов, имеющих такой доступ или лишенных его, а также доступные субъектам стратегии борьбы за него».

Достоинство такого определения в том, что оно максимально широкое, т.е. носит «зонтичный» характер и под него могут быть подведены все исследуемые случаи. Кроме того, оно легко операционализируется при построении классификаций политических режимов, что является главным способом их изучения.

Однако такой «инструментальный» подход не указывает на то, кто и как использует эти методы. Тем не менее имплицитно предполагается, что это лидер или правящая группа. Следует отметить, что приведенные выше признаки являются постоянными индикаторами, дающими возможность легко различать консолидированные автократии или демократии, однако они не совсем подходят для определения переходных режимов.

Альтернативный взгляд на определение сущности политического режима можно найти у представителей неинституционального подхода (Р. Фишман, Р. Макридис, Г. Мунк, Э. Свенд и др.). Здесь политический режим определяется как совокупность формальных и неформальных правил, которые требуют, разрешают или запрещают определенные действия. Эти правила определяют тех, кто находится у власти, т.е. владеет правом принятия решений. Вместе с тем правила определяют и ограничивают посредством характера разделения властей отношения в центре политической власти (горизонтальные отношения между ветвями власти), а также их отношения с остальной частью общества (вертикальные отношения). Признание правил всеми главными политическими игроками является условием консолидации режима.

Поэтому, анализируя политические режимы, необходимо иметь в виду, что смена правительства или главных лиц при власти не обязательно ведет к смене режима. И наоборот, смена режима (хотя это случается значительно реже) может произойти без смены правительства (переход от парламентского к премьерскому правлению во время премьерства М. Тэтчер) или формы правления (приход к власти нацистов в Германии в январе 1933 г.).

В качестве рабочего определения мы будем использовать следующее:

Политический режим — это институционализованный совокупность формальных и неформальных правил, определяющая горизонтальные и вертикальные ограничения в приемах осуществления власти, во взаимодействии носителей власти между собой и остальной частью общества.

Неизбежно возникает еще один вопрос — как соотносятся понятия «политическая система» и «политический режим»? Американская школа сравнительной политологии вместо «политического режима» обычно использует более широкое понятие — «политическая система». Однако, по мнению *Р. Макридиса*, «политическая система» есть понятие обобщающее, аналитическое, играющее в осмыслении политической реальности роль концептуального ядра, в то время как «политический режим» способствует эмпирическому описанию этих реальностей. Если системная теория имела целью выявление общих функций политической системы, то политический режим, по мнению того же автора, «обозначает специфические пути и средства, какими эти функции могут быть структурированы и встроены в институты и процедуры, а также возникающие в ходе этого специфические взаимоотношения». Иногда, для того чтобы подчеркнуть это различие, отмечают, что политический режим представляет собой *функциональную подсистему* политической системы. Одна и та же политическая система в зависимости от исторического контекста может функционировать в различных режимах. Так, с 1993–1994 гг., после принятия нового избирательного закона, приведшего к радикальной перестройке партийной системы и «очищению» политической элиты, Италия перешла к новому политическому режиму в рамках той же демократической политической системы. Как писал М. Дюверже более двадцати лет назад: «Любая конституция рисует не одну, а множество схем правления, построение которых зависит от расстановки сил в данный момент. Различные политические режимы могут... функционировать в одних и тех же конституционных рамках». Тем более что нередко наблюдается диссонанс между конституцией и ее реа-

лизацией в политической жизни. Складывающиеся на практике фактические правила, которым следуют акторы, могут существенно менять облик режима. Дж. Сартори верно подмечает, что в ряде случаев «материальная» конституция приобретает превосходство над «формальной». Так, в политике постсоветских государств велика неформальная составляющая, которая оказывается более значимой и весомой по сравнению с писаными законами. Следовательно, анализируя те или иные формы правления, мы, согласно М. Дюверже, должны прежде всего принимать во внимание не конституцию, а практику ее функционирования. Вместе с тем французский исследователь отмечает, что политолог не может игнорировать конституцию при конструировании аналитических моделей так же, как наблюдающий за игрой в футбол или бридж не может не принимать во внимание правила игры. Эти правила образуют фундаментальный аспект стратегии и тактики игроков.

Поэтому представляется разумным проводить различия между юридическими и политическими аспектами правления, т.е. между формой организации власти, предусмотренной конституцией (конструкция *de jure*), и фактическими отношениями между ветвями власти (конструкция *de facto*). При оценке существующей в той или иной стране формы правления следует принимать во внимание и конституционную форму, и политическую практику ее воплощения в жизнь. Такой комплексный подход позволит получить адекватную картину правления (О. И. Зазнаев).

Кроме того, подобная концептуализация позволяет говорить о сменяющих друг друга режимах (режим или правление Б. Ельцина и т.д.) при сохранении одной и той же конституции. Политическая же система представляет собой совокупность всех политических институтов, объединенных структурно-функциональными связями в целостное единство, которое противостоит своей окружающей социальной среде — или другой политической системе (российская — американской и др.).

Задачей политической науки является не столько определение оптимального политического режима, сколько сравнительный анализ их общих и особенных характеристик. И в этом случае самым удобным и распространенным методом анализа является типологизация. Типология используется в целях сравнительного изучения существенных признаков, связей, функций, отношений, уровней организации объектов. Причем она предполагает классификацию «идеальных типов» в понимании Макса Вебера. Напомним, что для него «идеальный» не означает «совершенный» — идеальный это — «чистый, простой». «Они есть возникающая вновь и вновь в различных исторических обстоятельствах модель поведения отдельных групп, культурных общностей или даже целых обществ», — писал М. Вебер. Социология, с его точки зрения,

есть рациональная дисциплина, стремящаяся к «интерпретативному пониманию социального поведения при помощи *типологических методов*». Задача типологизации состоит в классификации различных форм проведения политики, т.е. различных политических режимов. Этот подход, таким образом, создает аналитическую рамку для сравнительного анализа политических режимов. Типологизация — это сознательное упрощение политической действительности, но данный метод позволяет систематизировать и наиболее значимо объединить полученное знание о мире политики. Говоря о типологизации, необходимо выделить три ее основные разновидности:

- 1) **классификация**, которая представляет собой распределение объектов по взаимоисключающим классам, создающимся на основе принципа или критерия, выбранного для такой классификации;
- 2) **типология**, являющаяся более сложным предметом: это распределение по совокупности признаков, т.е. распределение на базе более чем одного критерия (при этом под «типом» понимается «конкретный сложный признак» (*П. А. Лазарфельд, А. Х. Бартон*));
- 3) **таксономия** — способ классификации и систематизации сложноорганизованных сфер действительности, имеющих обычно иерархическое (соподчиненное) строение. Сегодня таксономию обычно определяют как раздел систематики, учение о системе таксономических категорий, обозначающих соподчиненные группы объектов — таксоны. Таксономия является чем-то средним между классификацией и типологией.

Интерес к типологии политических режимов так же стар, как и само изучение политики. Поскольку задача типологии — не только описывать, но и объяснять политическую реальность, политические режимы, постольку типологии должны отвечать двум основным исходным требованиям: с одной стороны, быть внутренне связными, *логически последовательными*, с другой — максимально соответствовать эмпирическим фактам, быть *эмпирически адекватными*. Главная сложность создания адекватной типологии — сочетание в ней этих двух требований, во многом противоречащих друг другу. Так, хорошо известные типологии государств Платона и Аристотеля, не потерявшие своей значимости и сегодня, полностью отвечают первому требованию, но не выдерживают испытания вторым. Поэтому основная цель современных типологий политических режимов (систем) — достижение эмпирической адекватности.

Первый шаг в классификации политических режимов — разделение их на «открытые» (*демократические*) и «закрытые» (*недемократические*) — по *Д. Истону*.

«Открытая» политическая система характеризуется высокой степенью «отзывчивости» по отношению к требованиям, выдвигаемым «окружающей средой». При этом открытость может достигать такой степени, когда даже протестные движения кооптируются в существующие властные структуры и их требования так или иначе усваиваются политическими институтами.

Для «закрытых» политических систем, напротив, характерны репрессивные меры по отношению к инициативам и несанкционированным коллективным действиям любого рода.

В литературе обычно выделяются следующие показатели степени открытости политических систем:

1. Число политических партий, фракций и организованных групп интересов, которые способны переводить требования различных социальных групп на язык официальной политики. Считается, что чем их больше, тем менее вероятно формирование общественных движений, требования которых не вписались бы в спектр политических требований, выдвигаемых политическими партиями.

2. Разделение исполнительной и законодательной властей. Поскольку законодательная власть (в отличие от исполнительной) непосредственно подотчетна избирателям, постольку она более чувствительна к требованиям населения, а значит, и общественных движений, групп интересов и др.

3. Характер взаимодействия исполнительной власти и организованных групп интересов. Считается, что там, где между этими социальными институтами складываются относительно свободные неформальные связи, облегчается доступ новых требований к центру принятия решений, а это значит, что вероятность возникновения радикальных протестных движений невелика.

4. Наличие механизма агрегации требований, выдвигаемых различными социальными и политическими акторами. Считается, что открытость системы уменьшается, если в ней отсутствуют механизмы формирования политических компромиссов и поиска консенсуса.

5. В закрытой системе, в которой контроль (над властью) сведен до минимума, подход к власти как к достоянию (собственности) неоспоримо реализуется партией, группой или главенствующим деятелем. В открытой системе подход к власти как достоянию практикуется более широким кругом политиков. Круг политических «собственников» власти расширяется, но не исчезает (*Д. Валадес*).

Исходя из подобных критериев один из лидеров «движения за сравнительную политологию» *Г. Алмонд* предложил следующую классификацию политических систем:

- англо-американская (наиболее открытая);
- континентально-европейская (относительно закрытая, ассоциируется с «иммобильностью» и «непреходящей угрозой того, что часто называют “цезаристским переворотом”»);
- тоталитарная;
- доиндустриальная.

Первые две — это типы демократических режимов; они отличаются характером политической культуры и ролевых структур. Англо-американские системы отличаются «однородной светской политической культурой» и «высокоспециализированной ролевой структурой», тогда как континентальным европейским системам присущи «раздробленность политической культуры», т.е. существование автономных, мало соприкасающихся друг с другом политических субкультур, и ролевая структура, в которой «роли задаются субкультурами и имеют тенденцию к формированию собственных подсистем распределения ролей». Великобритания и США являются классическими примерами первого типа, Веймарская Германия, Франция и послевоенная Италия — второго. Политические системы стран Скандинавии и Бенилюкса «сочетают в себе некоторые черты и европейского континентального, и англо-американского типов». Третья и четвертая системы — закрытые, однако тоталитарная, в отличие от доиндустриальной, относится к современному типу политических систем. Признать эту типологию логически последовательной достаточно трудно, она только описывает определенный круг политических феноменов, но не слишком помогает в объяснении реальности, поэтому появилось великое множество других классификаций.

§ 2. Тоталитарный режим — теоретическая концепция или идеологический конструкт

Еще в 1950-е годы усилиями таких ученых, как *К. Фридрих*, *З. Бжезинский*, *Х. Арндт*, *И. А. Ильин*, *Р. Такер*, и др. появилась аналитическая концепция тоталитаризма¹, обобщающая политическую практику на-

¹ Само понятие «тоталитарное государство» широко применяется уже в 20–30-е годы XX в. сначала итальянскими, а затем и немецкими юристами, причем в положительном смысле. Тогда же появляется краткое и емкое определение тоталитаризма, принадлежащее Б. Муссолини: «Все в государстве, ничего вне государства и ничего против государства». Затем (в 1930-е годы) оно начинает использоваться либеральными противниками фашизма для его негативной идентификации.

цистской Германии, фашистской Италии и СССР времен И. Сталина и жестко противопоставляющая ее западной демократии.

Так, К. Фридрих и З. Бжезинский в книге «Тоталитарная диктатура и автократия» дали следующую характеристику тоталитарного режима:

- 1) есть массовая партия, которая осуществляет власть;
- 2) власть организована недемократическим способом, она выстраивается в жесткую иерархию и замыкается на лидера режима. В нацистской Германии это называлось «фюрер-принципом», который формулировался так: «Приказы — сверху вниз, отчет об исполнении — снизу вверх» (в СССР существовала та же модель организации власти, но она прикрывалась «самой демократической конституцией» и системой формальных выборов);

3) доминирующую роль в политической мобилизации масс играет официальная идеология, приобретающая в связи с этим сакральные черты. Тоталитарный режим — обязательно идеологический режим. Причем роль главного идеолога играет сам лидер режима, только ему принадлежит право менять положения «священной идеологии». Весь огромный идеологический и пропагандистский аппарат лишь комментирует, разъясняет и «несет в массы» идеологические постулаты. От населения при этом требуется активное проявление поддержки официальной идеологии и режима, контролируемое властью. Не случайно знаменитый французский антрополог *К. Леви-Стросс* писал: «В отличие от тирании классического типа современный тоталитарный режим обладает технологией и идеологией».

Многие исследователи особо акцентируют специфику тоталитарной идеологии — ее **универсализм**, т.е. стремление распространить идеи «единственно верного» учения в планетарном масштабе. Отсюда вытекает и стремление к мировому господству, выражающееся в невероятном развитии военной машины и в подготовке к войне. Кроме того, идеология, навязываемая тоталитарными режимами, не просто входит в противоречие с положениями идеологий-конкурентов. Она противоречит базовым представлениям о человечности. Принятие этой идеологии означает отказ от привычных норм поведения и мышления. Тоталитаризм стремится к формированию «нового человека» (в советском варианте путем индоктринации — «воспитания нового человека»; в нацистском варианте — «выращивания истинных арийцев»), радикально порвавшего с традиционными моральными ценностями;

4) тоталитаризм — это политический режим, беспредельно расширяющий свое вмешательство в жизнь граждан, включающий всю их деятельность (в том числе экономическую) в объем своего управления и

принудительного регулирования. Тоталитарное государство — это всеобъемлющее государство¹. Оно исходит из того, что самодеятельность граждан не нужна и даже вредна, а свобода граждан опасна и нетерпима, от граждан же требуется абсолютная лояльность;

5) тоталитаризм — это и всеобъемлющий террористический полицейский контроль над обществом, призванный пресекать любые проявления даже потенциального инакомыслия и инакодействия. Отсюда — шестой признак;

6) государственный монопольный контроль над СМИ.

К. Фридрих назвал эти характеристики «синдромами тоталитаризма». Только наличие всех этих признаков позволяет, по его мнению, считать ту или иную систему тоталитарной. Четыре признака из шести не могли существовать в промышленно неразвитых обществах, т.е. условия для тоталитарной диктатуры появились в результате промышленных революций. Поэтому Фридрих и Бжезинский определяют тоталитарный режим как «автократию, основанную на современной технологии и массовой легитимизации».

В концепции Фридриха и Бжезинского были достаточно скоро выявлены и существенные изъяны. Так, первоначально противоположность между понятиями «демократия» и «тоталитаризм» воспринималась исследователями как констатация очевидного. Но потребовалось не слишком много времени, чтобы понять поверхностность и упрощенность этих понятий. Объединение воедино нацизма и сталинизма часто представляется компаративисту противоречащим здравому смыслу, поскольку не учитывает, в частности, коренных отличий коммунистических режимов от фашистских:

■ тоталитаризм и модернизация, по Э. Нольте: «Самое существенное в национал-социализме — это его отношение к марксизму и в особенности коммунизму в том виде, который он приобрел вследствие по-

¹ Однако Х. Арендт утверждала, что в тоталитарных режимах все функции были дублированы и распределены между враждующими сегментами власти; намеренно поддерживалась смутность, неопределенность порядка, так как основной обязанностью чиновников было исполнять волю лидера; «перемещающиеся центры власти вращались вокруг загадки воли лидера». На фоне постоянных изменений во власти неуверенность и нестабильность стали правилом, те же настроения разделяло и население. Огромное количество передаточных ремней власти и запутанность иерархии разрушали всякое чувство ответственности. Постоянные увольнения, повышения и понижения по службе затрудняли слаженное выполнение совместной работы и накопление опыта, а значит, и крайне затрудняли построение бюрократической организации. В этом «чудовищном безумии», основанном на первенстве движения перед государством, государственная машина была не более чем инструментом достижения целей движения.

беды большевиков в русской революции». В этой связи он оценивает тоталитаризм сталинского СССР как неизбежный эффект ускоренной модернизации, а тоталитаризм гитлеровской Германии — как «тоталитаризм, которого могло и не быть»;

- коренная ломка отношений собственности, тотальное регулирующее вмешательство государства в экономику и перестройка социальной структуры общества (фашизм не посягал на принцип частной собственности и на классовую структуру общества);

- происходящая в связи с этим полная замена старых и радикальная трансформация новых политических элит, поскольку воспроизводство на новой основе феномена «власти-собственности» приводит к формированию монолитной элиты коммунистического общества — «номенклатуры», ставшей единственным «распорядителем» всей государственной собственности, не только узурпировавшей власть, но и переродившейся в господствующий класс, который эксплуатирует трудящиеся массы (*М. Джилас, М. Восленский*). Фашисты же и национал-социалисты боролись не против тех, кто сосредоточил в своих руках реальную власть, а за вхождение в состав правящей элиты. «Они следовали, — пишет немецкий исследователь *Л. Люкс*, — двойственной тактике: подобострастно “легалистской” по отношению к правящей верхушке и бескомпромиссно-насильственной — к марксистам»;

- радикальные отличия в ценностных, идеологических ориентациях: если большевизм унаследовал от русской интеллигенции убеждение, что «истинная» революционная партия должна бороться за социальную справедливость, против самого иерархического принципа, то фашизм ставил иерархию и неравенство — социальное, расовое и этническое — превыше всего; если большевики были страстными приверженцами веры в прогресс и науку, то у национал-социалистов эта вера могла вызвать лишь насмешку, поскольку они не только хотели «остановить историю», но и обратить ее вспять; если фашистская идеология прямо признавала государство как самоцель и постулировала, что оно представляет ценность само по себе, то коммунистическая идеология исповедовала этатизм, поскольку государство рассматривалось как средство разрешения классовых противоречий и построения коммунистического общества (хотя на практике все оказалось, разумеется, несколько иначе), и др.

С учетом этого *М. А. Чешков* предложил различать тоталитаризм как *политическую организацию*, где тотальное государство допускает «общество» (в нацистской Германии и фашистской Италии), и как *социальную организацию*, где нет места ни обществу, ни, строго говоря, государству (в странах «реального» социализма).

Более того, была поставлена под сомнение оправданность другого общего понятия — «фашизм», применение которого приводит к недооценке специфики каждого конкретного режима и особенно к затушевыванию различий между создавшими их движениями, которые в большей или меньшей степени можно отнести к революционным или реакционным (*К. Брейхер*). Так, многие исследователи считают, что режим, созданный Б. Муссолини, вряд ли можно считать тоталитарным — ему не удалось устранить автономию общества, полностью подчинив его государству. Муссолини, даже находясь в апогее власти, не помышлял об устранении монархии и не шел на обострение отношений с католической церковью, интенсивность и массовость террора в Италии несопоставима с нацистской Германией и тем более со сталинской Россией.

По Фридриху и Бжезинскому, главное в тоталитаризме — небывалые возможности и степень контроля со стороны тоталитарного государства, которые и отличают его от традиционных и современных автократий (в то же время подчеркивается преемственность авторитарной политической культуры в соответствующих странах). Такая постановка вопроса чревата спором о том, является ли контроль над индивидами со стороны того или иного политического режима тотальным. Например, если советские рабочие пили на работе и крали все подряд, если в «народном хозяйстве» все добывается и обменивается «по благу», то можно ли послесталинский СССР считать тоталитарным?

Далее, создатели концепции утверждали, что тоталитарная система не может изменяться изнутри, и потому ее можно разрушить только извне. (Пример умозаключения по недостаточным эмпирическим основаниям, в данном случае статус всеобщей закономерности придается историческому опыту падения европейских фашистских диктатур.) Однако известный американский социолог Т. Парсонс еще в 1960-е годы обосновал неотвратимое поражение советской общественной формации исходя именно из особенностей ее внутренней конструкции. Согласно Парсонсу, коммунистический общественный строй не сможет длительное время соперничать с политическим и интегративным потенциалом рыночных демократий: «Фактически я прогнозирую то, — писал Парсонс, — что коммунистическая общественная формация окажется нестабильной, и она будет либо приспосабливаться к демократии, основанной на избирательном праве, либо “деградировать” в малоразвитые и политически малоэффективные организационные формы; ...это может лишь означать, что в конечном итоге монолитная единая партия должна будет, в конце концов, отказаться от монополии на политическую ответственность». Историческая практика показала пра-

вильность прогноза американского социолога. Выяснилось, что тоталитаризм способен эволюционировать, при этом он как бы разлагается изнутри, размывается, теряя часть своих «родовых» признаков. Наиболее яркий пример такой эволюции — СССР времен Н. Хрущева и Л. Брежнева. В связи с этим принято наряду с тоталитарными выделять и *посттоталитарные* режимы.

В частности, Стивен Хоу писал в 1970-е годы по поводу коммунистических режимов в Восточной Европе:

«Тоталитарных систем более не существует, остались лишь “посттоталитарные”, у которых не сохранилось ничего, кроме догматической оболочки. От населения требовалось уже не согласие, а повиновение, не хор одобрения слов вождя, а тишина. Даже там, где установление коммунистического правления было следствием не только ввода советских войск, этот режим уже давно утратил свою легитимность».

Поэтому с начала 1970-х годов в политической науке (советологии) доминировала так называемая ревизионистская школа, в основном преодолевшая крайности концепции тоталитаризма. «Ревизионисты» стремились вместо статичной картины «монолитного режима» увидеть в истории «советских» обществ противостояние идей и корпоративных сил, многоуровневые конфликты социально-политического, религиозного и этнонационального характера. Посттоталитарные режимы описывались как сложные феномены, включающие в себя разнообразные способы представительства интересов (бюрократический корпоративизм) и целый набор связей и взаимоотношений между элитой и массами, а также способов политического участия. Большое внимание уделялось сравнительному изучению коммунистических режимов.

В частности, некоторые западные исследователи отмечали, что советское общество могло выжить лишь за счет включенности его членов в социальные самовоспроизводящиеся сети личных взаимоотношений. В широком значении термин «социальная сеть» отображает «структуру преимущественно неформальных связей между акторами социальной системы». Соответственно теория социальных сетей исходит из предположения, что все социальные действия должны объясняться на основе социальных диспозиций (взаимоотношений) акторов, а не только их индивидуальных мотивов. Элементом этих социальных диспозиций являются, в частности, ожидания по поводу поведения других. Таким образом, социальные сети порождают наборы нормативных, символических и культурных стандартов, определяющих индивидуальное поведение (*Р. Барт*). Кроме того, социальные сети задают объемы информации, необходимые и доступные индивидам при принятии решений.

Чем «гуще» социальная сеть, тем более однородны политически принадлежащие к ней индивиды. И наоборот, разреженные сети (признаком которых служит то, что друзья одного человека, как правило, не знают друг друга) более разнородны в социальном и политическом отношении. В них легче находят прибежище нестандартные политические взгляды и нормы поведения.

В советском обществе эти сети были как горизонтальными (объединявшими носителей примерно равных ресурсов и статуса), так и вертикальными (т.е. сетями патронажа и клиентелы). Включенность в социальные сети заставляла советских людей прислушиваться к общему мнению и подчиняться существующим нормам (коллективизма — формальным и неформальным), причем в процессе социализации такие нормы воспринимались индивидами настолько глубоко, что уже не казались навязанными извне. Чем плотнее были социальные сети, тем сильнее они поощряли конформизм, а значит, способствовали индоктринации марксизмом-ленинизмом. При этом происходила своеобразная консервация советских ценностей и норм. Густые сети, построенные на отношениях клиентелы, несовместимы с инакомыслием.

Разумеется, горизонтальные связи в меньшей степени способствовали утверждению официальных норм и стандартов поведения. Как полагает *Р. Патнем*, если бы на базе таких связей возникли различные добровольные формы самоорганизации — ассоциации по месту жительства, кооперативы, общества потребителей, массовые политические партии и т.д., они постепенно могли бы трансформироваться в структуры гражданского общества. Но в СССР такого рода организации либо отсутствовали, либо контролировались властью. Поэтому есть основания, в частности, полагать, что горизонтальные связи вовсе не стимулировали распространение демократических установок, а, напротив, поощряли конформизм, который имел своим источником не только официальную пропаганду, но и социальную практику советского периода. В сравнительном плане важно то, что регионы Советского Союза и, следовательно, России различались и различаются по степени включенности населения в социальные сети. Сегодня уже проверено эмпирически, что социальные сети различной плотности по-разному воздействуют на политическое поведение в целом и на электоральное поведение и процессы формирования политических партий в частности. Так, по мере возрастания плотности сетей увеличивается вероятность того, что успеха на выборах будет добиваться начальство или «независимые» кандидаты, поддерживаемые начальством, что подрывает развитие идеологических общенациональных партий.

Напротив, разреженные политические сети способствуют развитию партий (*Г. Голосов, Г. Ю. Шевченко*).

Однако, несмотря на плодотворность такого подхода, и «ревизионисты» не смогли предвидеть «обвала» коммунистической системы на рубеже 80–90-х годов XX в. Сегодня данная категория режимов немногочисленна (Северная Корея, Куба и др.), большинство из них постепенно эволюционируют в различные формы авторитаризма.

§ 3. Типологии авторитарных режимов

Дихотомическое противопоставление демократии и тоталитаризма утрачивает большую часть смысла гораздо раньше, когда в 1950–1960-е годы появляется большое число так называемых «гибридных стран». Знание, приобретенное на основе сравнения, позволило открыть новые контрасты в рамках «недемократического мира». Так, компаративисты, изучающие новые независимые государства «третьего мира», быстро заметили, что понятие «тоталитаризм» не отражает их политической сущности.

По предложению американского политолога *Хуана Линца* все закрытые, недемократические режимы стали делить на два основных типа: **тоталитарные** и **авторитарные**. Отталкиваясь от работ З. Бжезинского, К. Фридриха и других, Линц вычленяет следующие наиболее характерные черты тоталитарных режимов:

- сильно централизованная, монистическая структура власти, в которой господствующая группа «не несет ответственности ни перед каким выборным органом и не может быть лишена власти институциональными мирными средствами»;
- монополярная детализированная идеология, легитимирующая режим и пронизывающая его неким величием исторической миссии;
- активная мобилизация населения на выполнение политических и социальных задач с помощью целого ряда монополистических институтов.

Внимательно проанализировав «недемократические режимы», Х. Линц показал, что отличает авторитарные режимы от тоталитарных. По его мнению, авторитарные режимы не располагают, как правило, четко разработанной руководящей идеологией. Они допускают некоторый ограниченный и контролируемый плюрализм в политическом мышлении, мнениях и даже мирятся с наличием некоей «полуоппози-

ции». Руководство жизнью подданных в таких системах не столь тотально: нет строго организованного контроля над социальной и экономической инфраструктурой гражданского общества, над производственными единицами, профсоюзами, учебными заведениями, массовыми организациями, средствами массовой информации, церковью. Условием существования тоталитарных режимов является массовый энтузиазм, тогда как залог авторитарного правления — пассивность масс. Тоталитаризм требует массовой поддержки и порождает ее, он не может без нее обойтись. Авторитаризм, напротив, потому и довольствуется формальной лояльностью, что пассивность населения — условие его существования. Но в то же время авторитарная система непримирима к реальной политической конкуренции за власть, к фактическому и широкому участию масс в принятии решений по важным общественным проблемам, будь то выборы или иные формы. Она препятствует также реализации гражданских прав даже на элементарном уровне. Подход Х. Линца был признан образцовым в компаративистике, поскольку он определяет специфику недемократических систем, соотнося их с позитивными характеристиками демократий и противопоставляя авторитарные режимы тоталитарным.

Большинство существовавших и существующих ныне недемократических режимов носят *авторитарный* характер. Специфику авторитарных режимов определить трудно, «...потому что, в отличие от тоталитаризма, автократия — это категория, которая включает в себя многое из того, что не является ни демократией, ни тоталитаризмом» (Е. Вятр). Как с иронией пишет Э. Я. Баталов, это режим «с размытыми границами, четко фиксирующий лишь то, что это — не демократия и не тоталитаризм и что власть при нем принадлежит либо одному человеку, либо ограниченной группе лиц. А в остальном — оставляющий широкое поле для игры воображения и допускающий, что это может быть и военная диктатура, и деспотия, и монархия». Поэтому большинство определений авторитаризма не позволяет зафиксировать специфику данного типа политических режимов. Например, философ русского зарубежья И. Ильин писал: «Всякое государство, управляемое властью, независимо от народного избрания и контроля, является авторитарным». Однако этот признак не схватывает специфики авторитарных систем и вполне приложим к тоталитарным режимам. Определение Х. Линца включает целый ряд отрицательных критериев: ограниченный плюрализм, отсутствие тщательно разработанной идеологии, запрещение активного политического участия широких масс и др.

Одно время для характеристики различий между авторитарными режимами развивающихся стран и экономически развитыми демокра-

тиями была популярна антитеза «слабое развитие — сверхсильная власть» (*over — power*) и «сверхразвитие — слабая власть» (*under — power*). Считалось, что раскрытие содержания данной антитезы позволяет представить все крайние и наиболее значимые ситуации, присущие каждому виду обществ. Однако дальнейшие исследования показали, насколько вводящим в заблуждение оказывается понятие «сверхсильная власть» применительно к большинству государств «третьего мира». «Несмотря на внешнюю видимость, африканские страны в действительности не управляются; они страдают не от избытка власти, но от ее недостатка — отчасти из-за слабости, даже отсутствия политических партий. Африканское государство в действительности является слабым государством» (т.е. сильная власть отождествлялась с властью насильственной). Могущество африканского политического лидера опирается на политическую пустоту. Слабость промежуточных структур, которая вроде бы и придает величие и безграничность его власти, в то же время значительно сокращает средства его влияния на общество. Не случайно многие авторы приходят сегодня к заключению о неприменимости и неэффективности западных государственных институтов в большинстве стран мира. Так, испанский исследователь Ж. Коломер считает, что в мире насчитывается только три десятка суверенных национальных государств (помимо империй), остальные проекты государственного строительства, по его мнению, закончились неудачей, поскольку «не удалось добиться ни внутренней монополии на власть, ни внешнего суверенитета».

В то же время для того, чтобы объяснить «недостаток власти» в развитых государствах и продемонстрировать неэффективность механизмов принятия решений, необходимо показать, что они блокируются слишком большим потоком требований, исходящих из общества. Другими словами, политика в современных демократиях носит центростремительный характер, поэтому центральная власть оказывается не в состоянии должным образом управлять, поскольку все социальные ожидания здесь выражаются в политических терминах. Таким образом, власть зачастую оказывается жертвой собственного успеха в развитых обществах, где различие между частной и государственными сферами все больше стирается.

И тоталитарный и авторитарный типы режимов являются неконкурентными и не терпят существования оппозиции. Однако в характере, целях и степени участия между авторитарными и тоталитарными формами правления наблюдаются существенные различия. В тоталитарных системах степень участия высокая, подкрепляемая идеологией максимального слияния государства и общества и их взаимного проникнове-

ния. Так как тоталитарные системы нацелены на масштабные изменения социального порядка, они используют по отношению к обществу сочетание тактики «социальной хирургии» и патерналистского покровительства наряду с легитимирующим «демонстрационным» участием масс в политике. Никаких требований «снизу», но обязательная поддержка и полный контроль за любыми, в том числе общественными, инициативами в обмен на социальную поддержку населения. Авторитарные режимы, имеющие проблемы легитимности (военные диктатуры) или не имеющие таковых (традиционные общества), заинтересованы в минимальном уровне общественного участия в политическом процессе. Общественные организации могут существовать, лишь будучи включенными в систему патрон-клиентских отношений. Власти используют стратегии манипулирования и имитации участия, которое выступает компонентом легитимации власти. Учет требований здесь минимальный при минимальном уровне поддержки и минимальном уровне реализации социальных программ.

Неопределенность и широта понятия «авторитаризм», а также большое разнообразие новых независимых государств породили многочисленные типологии. Одной из первых стала типология Э. Шилза. Он выделил два промежуточных типа режимов, находящихся между крайними полюсами — демократией и тоталитаризмом: это «*опекающая демократия*», характеризующаяся гипертрофией исполнительной власти, и «*модернизирующаяся олигархия*», которой свойственно доминирование военной или бюрократической клики, безразличной к проблемам демократизации страны. Позднее Шилз добавил еще один, ныне исчезающий тип режима — «*традиционную олигархию*». Л. Даймонд исходя из логики «третьей волны демократизации» наряду с авторитарными режимами и либеральными демократиями выделяет два промежуточных типа: псевдодемократии и электоральные демократии. Д. Антер на основе сравнения выделял следующие типы авторитарных режимов:

- диктаторские;
- олигархические;
- не прямо представительные;
- прямо представительные и т.д.

Такое разнообразие типологий определяется следующими причинами:

- типологии режимов конструируются в контексте теоретических парадигм, приверженцами которых являются их авторы, а они значительно отличаются друг от друга;

- построение типологии редко является самостоятельной задачей, характер основной проблемы накладывает отпечаток на типологию;
- классифицировать политические режимы способом, удовлетворяющим всех, по-видимому, невыполнимая задача;
- само многообразие форм авторитарных режимов ведет к созданию новых, все более дифференцированных типологий (удачный пример такой типологии предложен Г. В. Голосовым в его учебнике) и к попыткам выделения важнейших черт авторитаризма.

А. П. Цыганков предлагает в этой связи следующий перечень:

- стремление исключить политическую оппозицию (если таковая существует) из процесса артикуляции политических позиций и принятия решений;
- стремление использовать силу в разрешении конфликтных ситуаций и отсутствие демократических механизмов контроля над осуществлением власти;
- стремление поставить под свой контроль все потенциально оппозиционные общественные институты — семью, традиции, группы интересов, средства массовой информации и коммуникации и пр.;
- относительно слабая укорененность власти в обществе и вытекающие отсюда желание и одновременно неспособность режима подчинить общество всеобъемлющему контролю;
- перманентные, но чаще всего не слишком результативные поиски режимом новых источников власти (традиции, харизма лидера) и новой, способной сплотить элиту и общество идеологии;
- относительная закрытость правящей элиты, которая сочетается с наличием внутри нее разногласий и борющихся за власть группировок.

Однако, как представляется, главное отличие авторитаризма от тоталитаризма в том, что автократия не имеет тоталитарных амбиций (точнее, не обладает технологическими возможностями для их реализации). Если не идти на открытую конфронтацию с таким режимом, то можно даже иметь определенную свободу действий, например, в экономической и интеллектуальной сферах. Не обязательно также активно демонстрировать поддержку режима, достаточно его терпеть. Если принцип функционирования тоталитарного режима — «Разрешено все, что при-

казано», то авторитарного — «Разрешено все, кроме политики», поскольку в условиях этого режима государство представляет собой организм, отделенный от общества, и требует от людей лояльности и службы, не давая им взамен обязательства получать согласие на свои действия. Таким образом, такой режим может быть авторитарным в одной области и более либеральным в другой. Фридриху Великому, королю Пруссии, приписывают следующую «формулу авторитаризма»: «Я пребываю в согласии с моим народом — он может говорить что хочет, а я могу делать что хочу».

Авторитарные режимы не имеют, как правило, «священной идеологии», навязываемой всему обществу. Чаще всего они опираются на размытую концепцию «национального интереса» и популизм. Главная цель режима — не формирование «нового человека» с помощью массовой идеологической обработки населения и государственного террора (СССР) или селекции новой расы господ (нацистская Германия), а сохранение политической власти любыми средствами. Не обязательно и существование массовой «государственной партии», которая может быть заменена политической кликой или опорой на армию, и др.

По мнению *А. Медушевского*,

современные авторитарные режимы при всех их различиях «характеризуются системой мнимого конституционализма. Последний (в отличие от номинального варианта) теоретически рассматривает конституцию как определенное ограничение власти. Однако механизм реализации права выводит принятие политических решений из сферы конституционного контроля. Это достигается путем, во-первых, конституционного закрепления очень больших правовых прерогатив главы государства (иногда граничащих с абсолютной властью); во-вторых, сохранения пробелов, или лакун, в конституции; в-третьих, такой практики их заполнения, которая в данном режиме всегда проводится в пользу власти. В этой системе мнимого конституционализма... власть оказывается способной активно действовать вне конституционного поля, принимая конституционные нормы лишь постольку, поскольку они не мешают проведению властных решений».

В тех случаях, когда авторитарные режимы добивались значительных экономических успехов, это им, как правило, удавалось потому, что они в экономике предоставляли своим гражданам свободу, отнятую у них в политической сфере. «Одна свобода не может гарантировать экономического успеха. Но репрессии наверняка гарантируют экономическое поражение», — писал *М. Эбрэм*. Более того, этот успех обычно не способствовал длительному укреплению режима, а, наоборот, был прологом к его падению (Чили, Южная Корея и др.), поскольку народ, как правило, требовал политической свободы, соразмерной со свободой

экономической¹. Как отмечает немецкий политолог П. Меркель, в авторитарных системах «навязывание политических предпочтений и целей должно осуществляться, как правило, иерархически-репрессивно, следствием этого в большинстве случаев является одновременная утрата обоих важнейших источников легитимации, необходимых для стабилизации политической системы, а именно: “селективной и диффузной поддержки” населения». Поэтому одна из важнейших проблем всех авторитарных режимов — проблема легитимности, актуализация которой связана с растущим отчуждением общества от власти.

¹ Схематическая последовательность событий здесь такая: авторитарный режим проводит эффективную политику, обеспечивающую быстрый экономический рост; в обществе появляется «средний класс» — слой образованных, сравнительно материально обеспеченных и независимых людей; «среднему классу» становится «тесно» в политических рамках авторитаризма, и он принуждает властные структуры к демократизации. По такой схеме в последние десятилетия развивались, например, Южная Корея и Тайвань.

ИЗУЧЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ

1. Критерии современной либеральной демократии
 2. Современные концепции и типологии демократии
-

§ 1. Критерии современной либеральной демократии

Как и авторитарные, демократические режимы достаточно существенно отличаются друг от друга по многим параметрам. Однако прежде чем приступить к рассмотрению типологий демократических режимов, необходимо решить проблему определения: что такое демократия, каковы ее критерии? Понятие «демократия» с большим трудом поддается однозначному толкованию. О демократии говорят как:

- о политическом **идеале** и реальной действительности;
- об особой **форме** функционирования властных структур;
- о **системе прав**, обеспечивающей широкое участие масс в управлении делами общества;
- о **методе** регулирования отношений между управляющими и управляемыми;
- о **механизме** удовлетворения разнородных социальных интересов и мирного разрешения межгрупповых конфликтов, не случайно демократию называют «способом институализации конфликта» (см. парадоксальное определение демократии А. Пшеворского: «Демократия — это всего лишь система урегулирования конфликтов, обходящаяся без убийств»);
- о **способе** получения властных полномочий и их ротации;
- об институализированной **системе переговоров** между социальными группами, обеспечивающей легитимность режима (*В. М. Сергеев*), и др.

Известный британский публицист и ученый *Джордж Оруэлл* говорил в середине XX в. по этому поводу:

«... Когда речь идет о таких понятиях, как демократия, то не только обнаруживается отсутствие его общепринятого определения, но и любые попытки дать такое определение встречают сопротивление со всех сторон... Сторонники любого политического режима провозглашают его демократией и боятся утратить возможность пользоваться этим словом в том случае, если за ним будет закреплено какое-то одно значение».

Эта проблема усугубляется тем, что, с одной стороны, существовало несколько отличающихся друг от друга исторических форм демократии и в разные эпохи слово «демократия» имело разное содержание, с другой — создано множество теоретических (идеальных) моделей демократии — это классическая либеральная, идентитарная и плюралистическая, партисипаторная и плебисцитарная, марксистская и др.

«За последние 25 столетий, — пишет *Р. Даль*, — в течение которых демократия истолковывалась, оспаривалась, одобрялась, порицалась, замалчивалась, устанавливалась, существовала, уничтожалась, а потом порой воцарялась вновь, так и не удалось... прийти к согласию по наиболее фундаментальным вопросам, касающимся самой сути явления».

В результате он образно сравнивает огромное количество дефиниций демократии с «предметами кухонной утвари», накопившейся «почти за 25 столетий использования». Однако при всем разнообразии подобного рода толкований западные исследователи готовы признать политический режим демократическим, если тот удовлетворяет минимальному набору формальных признаков (критериев), более того, достигнут консенсус по поводу того, каким этот набор должен быть.

В свое время *Йозеф Шумпетер* первым сформулировал концепцию обязательного нормативного минимума и предложил определение демократии как «такого институционального устройства, предназначенного для принятия политических решений, в котором индивиды приобретают властные полномочия посредством конкурентной борьбы за голоса избирателей». Таким образом, он придавал демократии чисто техническое значение. Это метод конкурентного отбора наиболее эффективной властвующей элиты, способной взять на себя ответственность как за исполнительную, так и за законодательную власть. Кроме того, демократия должна препятствовать узурпации всей полноты власти какой-либо элитной группой. Массам отводится самая незначительная роль — участие в выборах. Выигравшая выборы элитная группа должна быть полностью свободна в своих действиях от изменчивых настроений и желаний масс, следуя которым можно прийти к авторитаризму. Таким образом, по Шумпетеру, демократическая политика осуществляется не в соответствии с абсолютными принципами всеобщего блага

и воли народа — она выстраивается в соответствии с теми программами политического действия, которыми руководствуются индивиды, сумевшие получить политическую власть в ходе свободной конкуренции за голоса избирателей. Поэтому политику в условиях демократии можно сравнить со свободным рынком, где каждый волен купить то, что ему хочется. При этом свобода продавцов политических товаров также ничем не ограничивается, политики действуют в условиях свободной и честной конкуренции.

Такая интерпретация демократии предоставляет целый ряд преимуществ по сравнению с классической теорией.

1. Политическая соревновательность, согласно взглядам Шумпетера, является главным критерием, который позволяет отличать демократическую форму политики от других ее форм.

2. Эта модель дает возможность реалистично оценивать феномен политического лидерства в демократической политике, поскольку в реальности политическая и социальная инициатива в любом сообществе принадлежит активному меньшинству. Действия рядовых граждан сводятся только к выбору или присоединению к той или иной политической элите.

3. Эта теория позволяет включить в демократическую политику отдельные группы граждан, волеизъявление которых не совпадает с позицией большинства. Они могут оказывать политическое влияние посредством активности лидеров, способных выразить и осуществить их интересы.

4. Теория Шумпетера более реалистично описывает связь индивидуальной свободы и демократической политики. Демократическое общество, закрепляя принцип свободной конкуренции, предоставляет индивидам и наибольшую свободу, возможную в сфере политики, поэтому Сцилла и Харибда демократии — чрезмерная свобода и равенство. Чрезмерная свобода разрушает основы для сотрудничества и взаимопонимания в обществе, чрезмерное равенство грозит индивидуальной инициативе и творчеству.

5. Наконец, Шумпетер акцентировал то, что стремление руководствоваться единой и неделимой волей народа далеко уводит от подлинно демократической политики. Воля народа — отвлеченное понятие. На практике это мозаика, состоящая из огромного многообразия индивидуальных и групповых интересов.

6. Однако многие исследователи, особенно левые, отрицают право такого «соревновательного элитизма» называться моделью демократии.

Поэтому позднее ряд авторов дополнили шумпетеровскую формулу, отметив необходимость всеобщего избирательного права, обеспече-

ния честной и справедливой конкурентной борьбы на выборах, возможность участия в ней представителей всех существующих в обществе социальных групп и интересов. С точки зрения приверженцев этого подхода к пониманию демократии (его иногда называют «минималистски процедурным») этому политическому режиму свойственны «неопределенность результатов при определенности процедур» в отличие от авторитаризма, где «результаты предопределены, несмотря на неопределенность процедур». Однако «определенность процедур» в условиях «консолидированной демократии» ведет к значительному ограничению «неопределенности результатов», иначе говоря, практически исключает возможность «недемократических результатов».

Базовой для Запада сегодня является опирающаяся на теоретический и практически-политический опыт нескольких веков плюралистическая модель либеральной демократии — «политическая власть народа, отправляемая свободно выражающим себя большинством, уважающим право меньшинства проявлять свое несогласие» (*Ж. Л. Кермонн*). В связи с этим предлагаются обычно следующие критерии демократического режима (*Ф. Шмунтер, Т. Карл*)¹:

- всеобщее избирательное право граждан;
- возможность для граждан претендовать на занятие выборных должностей;
- регулярное проведение свободных, конкурентных и справедливых выборов;
- наделение избранных должностных лиц конституционным правом контроля над правительственными решениями;
- отсутствие притеснений по отношению к политической оппозиции (включая независимые политические партии и группы интересов) и возможность присоединяться к ним;
- свободный доступ граждан к источникам альтернативной информации.

Формой существования демократии является правовое государство, в которое не только включены все демократические процессы — в нем все они контролируются правом и подчинены ему. Принцип функцио-

¹ В частности, В. Меркель выделяет следующие пять критериев демократии: 1) честная система выборов; 2) политические свободы (мнений, информации, союзов); 3) соблюдение интересов государства во взаимоотношениях с негосударственными группами; 4) функционирующее разделение властей; 5) правовое государство, которое гарантировало бы всем гражданам равные права. В зависимости от того, какой из этих аспектов и насколько будет реализован, определяются различные типы режимов.

нирования демократического режима — «разрешено все, что не запрещено законом». Как отмечает известный немецкий политолог К. фон Бейме, современные демократии определяются наряду с господством принципа большинства еще и компромиссами. Само применение принципа большинства невозможно без основополагающего компромисса, на котором основывается конституция. Этот консенсус включает как «соглашение о возможности не соглашаться», так и готовность меньшинства считать решения большинства обязательными. «Согласие по основным вопросам» в демократической стране означает, согласно часто цитируемому высказыванию *А. Дж. Бальфура*, следующее: условием политической деятельности является народ, обнаруживающий такое единство в фундаментальных вопросах, что он может безо всякого риска позволить себе дискуссии... В свою очередь «многообразие интересов вынуждает создавать коалиции и укрепляет готовность к компромиссам отдельных групп».

Данные критерии представляют собой некоторые «эталоны», с которыми можно сопоставить деятельность существующих политических образований, провозглашающих себя демократическими. Политические режимы, не прошедшие «тест» по всем признакам процедурной демократии, причисляются либо к авторитарным, либо к смешанным или гибридным политическим режимам.

Конечно же наряду с общими характеристиками реально существующие демократии имеют и заметные отличия. Так, если для европейских стран характерен симбиоз либеральной модели демократии с активной ролью государства в качестве «социального арбитра» (так называемая германская модель), то в Соединенных Штатах как бы «законсервирована» классическая либеральная модель, правда, претерпевшая определенные мутации во времена «нового курса» президента Ф. Д. Рузвельта и в годы построения «общества всеобщего благоденствия» (так называемая атлантическая модель). Сегодня общепризнано, что, для того чтобы добиться стабильной демократии, надо найти своего рода «золотую середину» между двумя необходимыми условиями: с одной стороны, созданием институтов, которые делали бы правительство подотчетным гражданскому обществу, а с другой — отсутствием у граждан возможности непосредственного, прямого влияния на принятие политических решений. В каждом конкретном случае по-разному ищут эту «золотую середину».

Наиболее существенно скорректировал концепцию Й. Шумпетера известный американский политолог *Роберт Даль*. В начале 1970-х годов он ввел в научный оборот понятие «полиархия», более точно, по его

мнению, отражающее суть современной плюралистической демократии. Позднее он несколько по-иному сформулировал и набор «минимально необходимых критериев» современной плюралистической (процедурной) демократии:

- эффективное политическое участие граждан;
- их равенство по отношению к процессу принятия решений;
- возможность получать достоверную информацию и, значит, делать выбор самостоятельно и со знанием дела;
- механизм контроля граждан над «политической повесткой дня»;
- участие совершеннолетних.

Любую политическую систему, отвечающую этим критериям, можно, по его мнению, назвать «*полиархией*» (многовластием). Для стабильности такой «системы соперничества» требуется немалый запас взаимного доверия между претендентами на власть и их избирателями (так называемого социального капитала), а также уважения и соблюдения «правил игры», которые Р. Даль назвал «системой взаимной безопасности».

§ 2. Современные концепции и типологии демократии

Демократия в форме «правления народа, посредством народа» (прямая демократия) или в виде «управления народом посредством его представителей» (представительная демократия) означает теоретические установки, которые лишь отчасти были реализованы в практике современных обществ и в организации их политических систем. До настоящего времени не было народа, который научился бы собой управлять, и в ближайшей перспективе вряд ли это возможно. Всякое правление в этом смысле является олигархичным и, следовательно, предполагает господство немногих над большинством. Представление, согласно которому люди могут быть активными и постоянными политическими деятелями, не является убедительным. Настроения и деятельность большинства людей ограничиваются личными или групповыми интересами. Народу не свойственна рефлексия по поводу власти, которая определяет рациональные или иные действия и взаимоотношения в обществе. Он выполняет решения правительства по инерции, и даже сопротивление им чаще всего вызывается не обоснованным желанием добиться альтернативных решений, а неясным, непросветленным возмущением.

Всякое управление предполагает необходимость подчиниться определенному правилу, что требует соответствующей дисциплины. Дис-

циплина же привносится извне. Когда человек появляется в обществе, там уже есть институты, находящиеся в большей степени вне индивидуального контроля. Он узнает, что эти институты обязательно определяют по крайней мере общие направления того, с чем он может встретиться в своей жизни. Организационные попытки некоторых групп людей могут изменить характер этих институтов, но маловероятно, что индивид, который находится в стороне от этих групп или даже состоит в ней, будет ее руководителем, тем более получит возможность постоянно оказывать влияние на всю политическую систему. Концепция олиархии исходит из того, что и в условиях демократии принятие значимых политических решений является прерогативой узкого круга лиц (их число не превышает 5% населения) — конкурирующих элит и лидеров. Элиты и лидерство сохраняются и при демократии в силу требований разделения труда. Как отмечал известный французский социолог П. Бурдьё, в политике, как и в других видах деятельности (науке, культуре, социальных отношениях), своеобразная экспроприация прав большинства на данную область является следствием концентрации соответственно властных ресурсов в руках профессионалов, которые могут рассчитывать на успех только при условии, если обладают политической компетентностью, что предполагает специальную подготовку. Профессионализация управленческого труда и связанные с этим концентрации средств по производству выступлений и действий, общественно признанных в качестве политических, непрерывно возрастала по мере того, как политическая идеология получала автономию в результате появления крупных бюрократий, освобожденных профессионалов в сфере управления, а также появления специальных учебных заведений, в чьи обязанности входит селекция и подготовка профессионалов в области осмысления социального мира — чиновников, политических журналистов, политиков. Статус профессионала в структурах управления требует соответствующих знаний и специальной подготовки. Политическая, юридическая и другие социально-гуманитарные науки, преподаваемые в специальных учебных учреждениях, рационализируют компетентность, которую требует область политики и которой профессионалы владеют на практике.

Их существование соответствует потребностям «рядового» человека, поскольку освобождает его от обременительной обязанности слишком активно и часто участвовать в политике. Это отнюдь не ведет к игнорированию интересов масс, поскольку свобода ассоциаций позволяет гражданам объединяться для отстаивания своих интересов в политических партиях, создавать группы давления и выбирать лидеров, способных

делать это наиболее эффективно, с наименьшими затратами времени и средств.

«Благодаря таким факторам, как соперничество различных партий, влияние “групп интересов”, выборы, в основе которых лежит принцип состязательности, политические лидеры обычно соглашаются нести ответственность за то, что они проводят в жизнь (или, по крайней мере, пытаются сделать это) программу своей партии и реализуют свои предвыборные обещания. Более того... в странах “старой демократии” они чаще всего и в самом деле действуют именно так», — пишет *Р. Даль*.

Таким образом, мирное сосуществование многообразных интересов, ценностей, взглядов, социальных и политических институтов в обществе называется плюрализмом, а полиархия — это прежде всего процесс конкуренции, переговоров, компромиссов и соглашений между элитами, представляющими многообразные социальные интересы.

В результате «демократия может быть обеспечена не только и не столько путем разделения властей, сколько путем разделения элит и конкуренции различных групп власть имущих, их борьбы за власть и влияние в обществе. Принципу разделения властей при этом отводится весьма важное место, поскольку он способствует институализации различных элитных групп и обеспечивает их взаимный контроль» (*А. Медушевский*).

Неравенство в доступе к политическим ресурсам, наличие издержек распространения и доступа к информации и транзакционных издержек организации групп политического давления во многом объясняет несовершенство современного демократического процесса. Поэтому *Р. Далем* современная представительная система и описывается как «полиархия», или власть многих групп, в отличие от «демократии», которая является целью и идеалом. Отсюда подчеркивание во многих исследованиях того, что

«главным условием демократии является плюралистическое, высокоорганизованное гражданское общество, характеризуемое густой сетью независимых от государственного механизма посреднических групп и добровольных организаций. Такому плюрализму присуще множество форм... Они могут иметь экономические, общественные, культурные или откровенно политические (но не партийные) цели, как, например, защита гражданских прав, контроль над проведением выборов, организация предвыборных кампаний и агитации» (*Л. Даймонд*).

Современная демократия, по мнению известного американского политолога *Дж. Сартори*, должна иметь, во-первых, селективную (основанную на избирательности, отборе, подборе) систему конкурирующих избирательных меньшинств (элит), т.е. демократия должна пред-

ставлять собой селективную полиархию, и, во-вторых, полиархию на основе достоинств.

От демократий прошлого полиархия отличается расширением политических прав индивида как по объему, так и по охвату ими граждан. Многие новые права выступают как своеобразная компенсация или альтернатива прямому участию граждан в политической жизни. Изменяется и целевая направленность прав — они необходимы не только для отстаивания индивидуальных и групповых интересов, но и для достижения консенсуса интересов, их согласования. Легитимность представительных политических режимов должна опираться на веру управляемых в то, что демократия сама по себе соответствует их интересам, а также на их убежденность в том, что она способна быть эффективной в обеспечении некоторых важных интересов масс в обмен на существенное ограничение политического участия. Не случайно Р. Даль особо подчеркивает, что наряду с верой в жизнеспособность демократии уверенность в эффективности демократической власти при решении насущных проблем очень важна для создания жизнеспособного и стабильного демократического режима.

Широкое признание получила двухмерная типология политических систем Р. Даля, которую он положил в основу своего исследования полиархий. Идеальные типы политических систем американский политолог выстраивает на основании двух критериев. Первым критерием является *уровень либерализации* политической системы, который конкретизируется через понятие политической соревновательности, включающее такие характеристики, как степень свободы оппозиции, честность политической конкуренции, открытость политических институтов. Вторым критерием выступает *уровень политического участия*, или так называемые *включенности*, которые определяются исходя из пропорции населения, имеющего право участвовать в системе соперничества за политическую власть.

Исходя из предложенных критериев Р. Даль вычленяет четыре типа политических систем/режимов (табл. 4).

Таблица 4

Типология политических систем Р. Даля

Политическое участие	Соревновательность	
	высокая	низкая
Высокое	Полиархия	Включающая гегемония
Низкое	Конкурентная олигархия	Закрывающая гегемония

«Полиархия», по Далю, представляет собой политическую систему, которая обеспечивает высокую степень политической конкуренции и оппозиционности, а также характеризуется наличием значительной доли населения, имеющей всю полноту возможностей участия в политической деятельности.

«Конкурентная олигархия» — это система со значительной степенью оппозиционности и политической конкуренции в сочетании с малой пропорцией участия населения в политическом процессе.

«Включающая гегемония» — это политическая система с низким уровнем конкуренции, но высокой степенью политического участия населения.

«Закрытой гегемонией» автор называет политическую систему, в которой оппозиция и политическая конкуренция отсутствуют или близки к нулю. В свою очередь степень вовлеченности граждан в политический процесс также крайне низка и не обеспечена даже формальными институциональными возможностями. Действует жесткий запрет на оппозиционную деятельность. В результате население полностью отчуждено от политики и лишено любых каналов контроля над деятельностью власти.

По мнению Р. Даля, полиархия наиболее действенна в обществах с гомогенной политической культурой. Фрагментарность политической культуры, наличие в стране нескольких достаточно отличных друг от друга субкультур не благоприятствуют установлению и консолидации полиархии¹.

Однако историческая практика свидетельствует, что и мультикультурное общество способно стать относительно стабильным и демократическим, если найдены приемлемые формы сосуществования различных субкультур. В этом плане чрезвычайно интересна концепция **консоциативной, или общественной, демократии**, разработанная *Арендом Лейпхартом*.

По мнению А. Лейпхарта, общественная демократия представляет собой одновременно и эмпирическую, и нормативную модель. В той или иной степени она была реализована в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Канаде и даже в ряде стран «третьего мира» (Индии, Нигерии). Подобного рода демократия складывается в многосоставных обществах, глубоко разделенных на устойчивые сегменты по

¹ Еще *К. П. Победоносцев* писал: «Инстинкты национализма служат для нее (демократии) разъединяющим элементом: каждое племя из своей местности высылает представителей — не государственной и народной идеи, но представителей племенных инстинктов, племенного раздражения, племенной ненависти — и к господствующему племени, и к другим племенам, и к связующему все части государства учреждению».

значимым различиям: расовым, этническим, конфессиональным, региональным и т.д. Политический процесс развивается в основном в рамках этих сегментов. Там возникают политические партии и движения, формируются группы интересов, создаются средства массовой коммуникации, которые прежде всего ориентированы на органы власти каждого данного сегмента. В рамках сегментов приемлемыми для субкультуры способами определяются политические лидеры, формируются политические элиты, которые принимают значимые политические решения и осуществляют контакты с другими сегментами многосоставного общества.

Демократия, по А. Лейпхарту, возможна в мультикультурном обществе при выполнении ряда условий.

Во-первых, это принцип коалиционного согласия и осуществление власти правительством большой коалиции; во-вторых, принцип взаимного вето, гарантирующий права меньшинства; в-третьих, пропорциональность, как ключевой принцип политического представительства; в-четвертых, высокая степень автономии каждого сегмента в осуществлении внутренней политики.

Таким образом, общественная демократия опирается на систему заранее спланированного компромисса. Поэтому общественная демократия, по Лейпхарту, подразумевает существование парламентской формы правления.

При этом Лейпхарт не отрицает наличия значительного конфликтного потенциала реализации этих четырех условий общественной демократии. Действенным способом снижения конфликтности он фактически признает достижение гомогенности сегментов — посредством их сепарации. Поэтому можно признать вполне логичным вывод, к которому приходит российский исследователь М. Ноженко: «Определяя, по сути, сегменты многосоставных обществ при общественной форме демократии как квазиации, он считает, что они могут в любой момент потерять свою приставку “квази”. Все это наталкивает на мысль о том, что идеалом для А. Лейпхарта являются “односоставные” общества. Сообщественная же модель представляет собой механизм подготовки к демократическому “разводу” различных групп, оказавшихся в силу разных обстоятельств жителями одного государства». А это неприемлемый сценарий развития для любого из ныне существующих национальных государств.

Кроме того, согласно представлениям А. Лейпхарта, наиболее важными предпосылками существования общественной демократии являются следующие:

- примерный баланс сил между сегментами многосоставного общества;
- существование по меньшей мере трех сегментов, поскольку дуализм побуждает скорее не к поиску компромиссов, а к отделению;
- демократическое внутреннее устройство сегментов;
- наличие наряду с факторами, разделяющими сегменты, факторов, их объединяющих (например, языковые различия при профессиональном единстве).

На основании двух основных критериев: стиля поведения элит (а) сотрудничество, (б) соперничество и особенностей структуры общества (а) гомогенная, (б) многосоставная — А. Лейпхарт выделяет наряду с общественной демократией (табл. 5), также *деполитизированную, центростремительную и центробежную демократии*.

Таблица 5

Типология демократических систем А. Лейпхарта

Стиль поведения элит	Структура общества	
	гомогенная	многосоставная
Сотрудничество	Деполитизированная (Австрия, США в 1960-е годы)	Сообщественная (Бельгия, Швейцария)
Соперничество	Центростремительная (Великобритания, США, Швеция, Дания, Норвегия)	Центробежная (Франция — IV Республика, Италия — I Республика, Веймарская Германия)

Деполитизированные демократии характеризуются однородной общественной структурой и сотрудничеством политических элит. Такие системы могут быть относительно стабильными в силу того, что процесс принятия решений в них не отягощен идеологическими, этнокультурными или религиозными противоречиями. Однако наличие в таких демократиях множества коалиций на всех уровнях политики, по мнению А. Лейпхарта, чревато возникновением новых форм протеста и оппозиции, ориентированных на дестабилизацию системы.

Центростремительные демократии, по мнению А. Лейпхарта, соответствуют выделенному Г. Алмондом англо-американскому типу политических систем. Они существуют в странах с гомогенной социальной структурой и однородной политической культурой, что делает их устойчивыми, несмотря на постоянное соперничество элит.

Центробежные демократии соответствуют европейскому континентальному типу политических систем Г. Алмонда. Сочетание фрагментированной политической культуры и конфликтного поведения политических элит обуславливает их нестабильность и уязвимость, особенно в условиях активизации антисистемных сил.

Даже из этого краткого изложения теоретической модели А. Лейпхарта можно, казалось бы, предположить, что общественная демократия — наиболее приемлемая форма политического режима для мультикультурной России.

Однако вполне очевидно, что консенсусные системы могут успешно работать лишь при наличии целого ряда предварительных условий. Основные из них — «...это высокая степень терпимости; умение улаживать конфликты мирным путем и находить компромиссы; пользующиеся доверием лидеры, способные так разрешать конфликты, чтобы это не вызывало нареканий со стороны их приверженцев; консенсус по вопросам основных целей и ценностей, причем достаточно широкий, чтобы это соглашение оказалось достижимым; национальная самоидентификация, подавляющая откровенно сепаратистские устремления; приверженность демократическим процедурам, исключаяющим насильственные или революционные меры» (*Р. Даль*). Действительно, предложенная им модель «общественной демократии», утверждает американский политолог, позволяет достичь и поддерживать стабильное демократическое правление в условиях многосоставного общества. Однако самой главной предпосылкой создания и устойчивого функционирования общественной демократии является постоянное сотрудничество лидеров и элит различных сегментов общества.

Эти условия на сегодняшний день в нашей стране отсутствуют, поэтому появление здесь консенсусной системы маловероятно даже в долгосрочной перспективе. Сказанное означает, что нет общего, идеального решения для всех мультикультурных стран. Каждая страна в соответствии со своей спецификой вырабатывает это решение под себя.

Теолог *Рейнхольд Нибур* сформулировал в свое время следующий парадокс: «Способность человека быть справедливым делает демократию возможной, но склонность человека к несправедливости делает демократию необходимой». Поэтому не следует идеализировать демократический проект, поскольку реально существующие западные демократии не являются системами власти, полностью воплощающими все демократические идеалы. Однако это системы, которые в достаточной и разной степени к ним приближаются. Демократическая форма правления всегда находится в процессе либо развития, либо разложения. Ее

взлеты и падения зависят от множества факторов и не в последнюю очередь от того, какие люди в ней задействованы и какие ресурсы выделяются на то, чтобы сделать ее эффективной. Стоит разразиться экономическому кризису, как тут же начинают звучать требования изменения или радикального реформирования демократической системы, поскольку в краткосрочной перспективе недемократические системы могут быть более экономически эффективными.

Ряд оптимистически настроенных исследователей считают, что благодаря снижению издержек на получение и передачу информации в результате появления новейших средств электронных коммуникаций, и прежде всего глобальной паутины Интернета, возможно значительное увеличение группы людей, принимающих участие в выработке и принятии значимых политических решений — в идеале до уровня всего политически активного населения. В результате появятся предпосылки к постепенному уменьшению остро ощущаемого неравенства политических возможностей граждан демократических государств, предотвращаемого неравенством в распределении собственности, статуса и доходов. В итоге современная «несовершенная» модель демократии в будущем может значительно измениться, приблизившись к идеалу «власти народа». (Одной из первых теоретических разработок такого рода стала концепция «мировой деревни» канадского социального философа *М. Маклюэна*.) По их мнению, принципиальное изменение характера информационных коммуникаций позволит преодолеть сформулированный еще в начале XX в. немецким социологом *Р. Михельсом* «железный закон олигархии», который постулировал преобладание хорошо организованных властных элит над априори слабо организованным большинством. Однако Интернет — только инструмент, который можно использовать и для расширения политического участия (см. концепцию «демократического участия»), и для организации «пристального» контроля за гражданами (см. концепции «датократии», или «электронного тоталитаризма»).

Кроме того, одной из самых больших проблем современной социально-либеральной демократии стало уменьшение политического интереса и готовности граждан к активному политическому участию.

«Систематическое переструктурирование общества в соответствии с требованиями рынка (ориентация «цель — средства» и максимизация выгоды) выращивает эгоистов, субъектов, лишь ограниченно ориентированных на то, чтобы обсуждать политические проблемы, исходя из универсальной перспективы всеобщего блага» (*М. Пумпер*).

В то же время в нормативной и особенно в партиципаторной теории демократии подчеркивается значение сознательной активности

граждан в сфере политики, расширения социальной базы современной демократии, иначе, по их мнению, основные субъекты политического действия — элиты — сталкиваются с насущной проблемой легитимации своей власти. По М. Веберу, легитимность представительных политических режимов должна опираться на веру управляемых в то, что демократия сама по себе соответствует их интересам, а также на их убежденность в том, что она способна быть эффективной в обеспечении некоторых важных интересов масс в обмен на существенное ограничение политического участия. Не случайно и Р. Даль особо подчеркивает, что наряду с верой в жизнеспособность демократии уверенность в эффективности демократических институтов при решении насущных проблем и ограничение массового политического участия очень важны для создания жизнеспособного и стабильного демократического режима. Современный американский политолог *Р. Инглхарт* формулирует эту идею еще более отчетливо: «Эволюция и выживаемость массовой демократии предполагает появление некоторых поддерживающих ее привычек и ориентаций среди широкой общественности», таких как: межличностное доверие (то, что *А. О. Хиршман* называл «социальным капиталом»), поддержка демократических институтов, признание индивидуальных прав и свобод, политическая терпимость, чувство индивидуальной политической «эффективности», ориентация на политическое участие и т.д., т.е. распространение ценностей и установок, которые ассоциируются с политической культурой гражданственности. Однако такого рода вера и ориентации чрезвычайно неустойчивы.

Все чаще западные исследователи отмечают «углубляющуюся пропасть между теми, кто несет ответственность за принятие решений, и рядовыми гражданами, являющимися источником их легитимности». Причем данный процесс происходит на фоне все большего разрыва между «формально все еще действующими механизмами классической демократии и реальным механизмом современных политических систем». Британский исследователь *Л. Зидентоп* констатирует: «Политические классы Европы... неявным образом признали, что публичная политика стала сегодня делом экспертов, а не народа и его представителей». В свою очередь другой британец, *К. Крауч*, утверждает, что Запад вступает в эпоху «постдемократии», где будут сохраняться все черты демократии: свободные выборы, конкурентные партии, свободные публичные дебаты, права человека, определенная прозрачность в деятельности государства. «Но энергия и жизненная сила политики вернется туда, где она находилась в эпоху, предшествующую демократии, — к немногочисленной элите и состоятельным группам, концентрирующимся вокруг властных

центров и стремящимся получить от них привилегии». Для таких выводов можно найти серьезные эмпирические основания, поскольку современная политическая демократия требует «сочетания явных противоречий» (А. О. Хиршман): с одной стороны, гражданин должен выражать свои взгляды, чтобы политические элиты знали его нужды и могли им соответствовать, но с другой — элиты должны иметь возможность принимать решения. Поэтому гражданин в свою очередь должен быть почтителен и законопослушен.

В то же время демократические общества способны пережить самые яростные разногласия между своими элитами и гражданами — кроме разногласий по поводу законности самой демократии. «Демократия живет спором, но умирает без согласия» (*Г. Панне*). Есть также различные типы демократических режимов (см. выше), однако, исследуя их, надо всегда помнить парадокс, сформулированный *У. Черчиллем*: «Демократия — худшая из систем власти, за исключением всех остальных».

Глава 8

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

1. Концепт политической культуры
 2. Развитие теории политической культуры: проблемы применения для сравнительного анализа
 3. Сравнительное исследование политических субкультур
-

§ 1. Концепт политической культуры

Концепция политической культуры впервые в развернутом виде была представлена в книге американских политологов *Г. Алмонда и С. Вербы* «Гражданская культура» (1963 г.). Выполненная в бихевиористской традиции, эта работа опиралась на большой массив эмпирических данных, полученных в ходе сравнительных исследований 1959–1960 гг. в США, Великобритании, ФРГ, Италии и Мексике. Г. Алмонд следующим образом сформулировал концепт политической культуры:

«Каждая политическая система включена в особый образец ориентаций на политическое действие. Я счел полезным назвать это политической культурой... Когда мы говорим о политической культуре общества, мы имеем в виду политическую систему, интернализованную в знании, чувствах и оценках его членов».

Поэтому, по сути дела, изучение политической культуры есть анализ политической системы на ориентационном уровне.

По мнению соавтора Г. Алмонда — С. Вербы, политическая культура «имеет дело не с тем, что происходит в политике, а с тем, что люди думают об этом». Таким образом, политическая культура — это верования и представления, которые воздействуют на поведение людей в рамках существующих политических институтов. Эти верования в основном вырастают из личного опыта граждан и лишь частично — из «политической памяти» о некоторых исторических событиях (такого ранга, как Великая французская революция или Гражданская война в США, — С. Верба и Н. Ни специально отслеживали «отсроченное психологическое влияние» таких событий). В другом месте Алмонд и Верба опре-

деляют политическую культуру как «субъективный поток политики, который наделяет значением политические решения, упорядочивает институты и придает социальный смысл индивидуальным действиям».

Американский политолог Л. Пай, отметив, что «политическая культура является продуктом, как коллективной истории политической системы, так и историй жизни членов этой системы и тем самым она коренится равном образом в событиях общественной жизни и в частном жизненном опыте», предложил схему сравнительного анализа политических культур. Поскольку, по его мнению, существуют некоторые универсальные проблемы или темы, с которыми все политические культуры так или иначе должны иметь дело. К таким темам он отнес:

- масштабы и функции политики;
- концепции власти и господства;
- политическая интеграция;
- статус политики и политиков;
- оценочные характеристики;
- аффективные измерения политики;
- равновесие между сотрудничеством и соперничеством.

Несколько позднее Г. Алмонд писал:

«Политическая культура нации включает в себя три уровня ориентаций граждан: их отношение а) к политической системе; б) к политическому процессу (в том числе к процессу определения политического курса); в) к результатам и следствиям реализации политического курса. Мы вправе предстать себе ценности как своеобразные “политические блага”, соотносящиеся с каждым из этих уровней анализа, первый из которых по издавна сложившейся традиции особое внимание уделяет трем параметрам — порядку, предсказуемости, стабильности. Граждане являются более свободными и способными поступать рационально, если живут в условиях стабильного и предсказуемого общества. Эти условия мы назовем “системными ценностями”, поскольку в них отражаются функционирование и эффективность целого ряда политических институтов».

Поэтому главным для создателей концепции был вопрос: каким образом достигается и поддерживается политический порядок? Опираясь на определения выделенного ими феномена, авторы поставили следующую цель — выявить тип политической культуры, в наибольшей степени соответствующий выживанию и развитию либеральной демократии. В результате Г. Алмонд и С. Верба вычленили три «идеально чистых типа» политической культуры.

По их мнению, **приходская политическая культура** (или патриархальная) существует в тех обществах, где отсутствует специализация поли-

тических ролей. Знания членов общества относительно государства, эмоции и суждения о присущих ему ценностях близки к нулю. Индифферентность, отсутствие ожиданий, аполитичность наряду с доминированием местной или этнической солидарности и идентификации — главные черты приходской политической культуры. Она может господствовать в молодых государствах, однако сохраняется и в индустриальных странах, когда кругозор значительной части граждан ограничен интересом и приверженностью к своим корням, своему городку, региону при почти полном отсутствии внимания к общегосударственным и международным проблемам.

Подданическая политическая культура (или культура повиновения) существует там, где при наличии специализации политических ролей граждане рассматривают себя скорее как объект воздействия со стороны государства, чем как участников политического процесса. Государственную власть представляют здесь в основном в плане «спускающих сверху» норм, которые нужно соблюдать, и регламента, которому нужно подчиняться. Люди либо боятся наказания, либо ожидают различных благ от патерналистского государства.

В рамках **партиципаторной политической культуры** (или культуры участия) население вполне сознательно относится к политике и стремится активно участвовать в ней, хотя оценка результатов участия может быть и негативной. Центральная власть рассматривается одновременно и в плане «спускаемых сверху» указаний, которым надо подчиняться, и в плане возможности «идущего снизу» участия заинтересованных граждан в процессах выработки политических решений.

В «чистом» виде эти типы политической культуры встречаются крайне редко. На практике скорее возможны устойчивые сочетания этих «идеально чистых типов» политической культуры. По мнению Г. Алмонда и С. Вербы, подобные сочетания были характерны для некоторых периодов политической истории европейских государств как в далеком, так и в недавнем прошлом. Так, сочетание патриархальной и подданической ориентаций было характерно для Оттоманской империи, а также для Пруссии и Англии времен абсолютизма. Сочетание подданничества и политической культуры участия стало характерным для Великобритании XIX в., когда была разрушена патриархальная ориентация на уровне местного самоуправления. Сочетание патриархальной политической культуры с ориентацией на политическое участие, по мнению американских политологов, характеризует политическую культуру стран, освободившихся от колониальной зависимости.

Главный вывод исследователей состоял в том, что наилучшие шансы на достижение стабильной демократии имеют общества, в которых

преобладающая в основном партисипаторная политическая культура включает в себя значительные элементы приходской и подданнической ориентаций. Этот-то особый гибрид и был назван Г. Алмондом и С. Вербой **политической культурой гражданственности**. Преобладающая ее черта — рационально-активное поведение граждан, являющееся главным связующим звеном между уровнями микро- и макрополитики. В рамках такой культуры граждане достаточно сильно вовлечены в политику и активно выражают свои интересы и предпочтения, но все-таки не настолько, чтобы блокировать принимаемые элитой политические решения. Субъективно считая себя вполне способными повлиять на правительство и представительную власть, люди во многих случаях остаются пассивными, предоставляя власть имущим значительную свободу действий, что повышает стабильность и гибкость политической системы и обеспечивает «резервы» политических ресурсов, которые можно бросить в бой в кризисных ситуациях. С другой стороны, власть имущие верят в демократический миф — в то, что обычные граждане должны участвовать в политике, и в то, что они действительно обладают влиянием. Поэтому действовать политические элиты должны таким образом, чтобы удерживать граждан от чрезмерной активности во имя стабильности политической системы. Таким образом, Г. Алмонд и С. Верба связали концепцию «политической культуры» с теорией политической стабильности и демократии.

Из пяти исследованных стран ближе всех к культуре гражданственности, по мнению Г. Алмонда и С. Вербы, находилась Великобритания, за ней следовали США, уступившие бывшей метрополии по удельному весу подданнических ориентаций в политической культуре. ФРГ, Италия и Мексика, располагаясь в такой последовательности в списке, так или иначе отклонялись от культуры гражданственности.

В результате всякая национальная политическая культура, согласно концепции Алмонда и Вербы, представляет собой смешение трех «идеальных типов». Более того, чем сложнее и многограннее политическая культура, тем большими адаптационными возможностями обладает политическая система. В то же время число вариантов далеко не бесконечно. Так, Г. Алмонд особо выделяет три комбинации типов политических культур. В основу классификации им положено «ориентационное измерение» — сколько процентов в данном обществе парохиалов, подданных и участников. Отсюда формула *гражданской культуры*, присущей демократическим индустриальным странам Запада, выглядит так: **60% участников; 30% подданных; 10% парохиалов**. Авторитарную переходную систему он обнаруживает в Португалии начала 1970-х годов. Здесь формула такая: **10% — 60% — 30%**. *Демократическая доинду-*

стриальная, существовавшая (по Алмонду) в Доминиканской Республике в те же годы, имеет формулу: 5% — 40% — 55%.

§ 2. Развитие теории политической культуры: проблемы применения для сравнительного анализа

Признанная ныне классической работа Г. Алмонда и С. Вербы в то же время подвергалась активной критике в течение более четырех десятилетий, прошедших со времени ее выхода в свет. Даже благожелательные критики предъявляли серьезные претензии к творцам «культуры гражданственности». Прежде всего оспаривается тезис о более или менее устойчивой корреляции между типом политической культуры и политическим режимом. Далее, отнюдь не ясно, влияет ли политическая культура на режим, или более важным является обратное воздействие. Не всех удовлетворило определение «политической культуры», данное авторами. У предложенного Алмондом и Вербой подхода есть важное преимущество: эмпирическое наблюдение за политическим поведением граждан позволяет сравнивать по единым критериям разные общества. Однако некоторые исследователи поставили их метод под сомнение, считая, что акцент на политическом участии сужает представление о политической культуре, отражая ее односторонне. Так, по мнению *Джеффри Хана*, при изучении политической культуры лучше исключать из сферы анализа поведение и полагаться на выявленные установки и убеждения. Сходного мнения придерживается и *А. Браун*, призывающий отделять психологические факторы от поведения.

Появилось огромное число новых дефиниций. Этот разноречивый толкование политической культуры в первую очередь связан с неопределенностью общего понятия «культура». Американские исследователи *А. Кребер* и *М. Клакхон* еще в начале 1950-х годов насчитали свыше 200 определений этого понятия. В конце концов, мнения относительно сферы применения понятия «политическая культура» разделились «...между теми, кто хочет ограничить ее субъективными ориентациями на политическую систему, и теми, кто хотел бы включить отчетливо выраженное политическое поведение в политическую культуру как ее часть» (подход Г. Алмонда и С. Вербы). Таким образом, понятие «политическая культура» может быть раскрыто не только через такие категории, как «традиция», «идеология» и т.д., но и через «образцы политического поведения». Последнее из названных понятий может быть оп-

ределено через политический стиль руководства, через устойчивые формы политического участия и политических ориентаций граждан, проявляющиеся в их отношении к собственной роли в политической жизни, а также к основным ее структурным элементам — конституции и системе права, к официальной идеологии, к правительству и его курсу, существующим процедурам и принципам принятия политических решений, к участию в местном самоуправлении и т.д.

Следовательно, политическая культура в целом в большинстве трактовок предстает в качестве некоего универсума. Именно от этого, по мнению исследователей, данное понятие обладает значительной степенью неопределенности: ведь в нем, по сути, содержатся все духовно-культурные пласты отношения общества (человека) к политике. Это же означает, что наряду с теми элементами, которые обусловлены актуально существующей политической системой, универсум не может не включать тех наслоений, которые определяются предшествующей политической историей, а также теми идеологическими версиями, которые существуют в отношении будущего. Однако то же самое можно сказать и о многих других понятиях, которые используют политологи.

Наконец, помимо этих чисто теоретических аргументов, нередко приводились доводы от «практики» сравнительных исследований. В частности, авторов обвиняли в тенденциозности и «западоцентризме», указывали на заикленность понятия «политическая культура» на стабильности систем, характеризуя его как «глубоко консервативное в своих политических предпосылках» (*Л. Диттмер*). Предъявляли претензии и к не строгой методике опросов, не учитывающей специфики национальных особенностей стран, охваченных опросом. Тем более что некоторые прогнозы Г. Алмонда и С. Вербы не оправдались. Так, в США и Великобритании за последние десятилетия политическая культура стала гораздо менее «гражданской», чем в 1963 г.: доверие к правительствам пошло на спад, а само отношение граждан к политике стало носить преимущественно прагматический и инструментальный характер. Значительно сократилось число людей, идентифицирующих себя с той или иной политической партией. Но все это не повлияло на тип политического режима. Сегодня британский политолог К. Крауч даже утверждает, что Алмонд и Верба «строили свое определение демократии так, чтобы оно соответствовало действительной практике в США и Британии, не учитывая изъяны в политическом устройстве этих двух стран. Это была идеология времен холодной войны, а не научный анализ».

В то же время в ФРГ, перспективы демократического развития которой оценивались Алмондом и Вербой как крайне неблагоприятные

(именно из-за отсутствия элементов культуры гражданственности), затем имели место заметные позитивные сдвиги. Действительно, сразу после окончания войны в Западной Германии не произошло решительного разрыва с наследием Третьего рейха.

«Огромное большинство немцев стремилось к материальному и психологическому возрождению, вытесняя из сознания реалии нацистского государства, только-только ставшие прошлым. Нюрнбергские процессы, которые, по замыслу держав-победительниц, должны были сыграть также и воспитательную роль, оставляли немцев равнодушными или вызывали неприятие — населению Германии хотелось достичь хоть какой-то “нормализации”. Осознания преступного характера национал-социализма не произошло. Господствовало мнение, что все происходящее — это просто суд победителей над побежденными. Преступления Третьего рейха в общественном сознании уравнивались с ущербом, нанесенным немецким городам бомбардировками союзников, а признание массовых национал-социалистических организаций преступными воспринималось как огульное коллективное обвинение всего народа. Исключениями стали лишь немногие общественно значимые фигуры и политики, которые, как философ Карл Ясперс, протестантский теолог Карл Барт и первый президент ФРГ Теодор Хейс, заговорили о коллективной вине и коллективном стыде и в конечном итоге — о “коллективной ответственности” немецкого народа за холокост, имея в виду необходимость признания своей вины и обязанность ее искупить» (Ю. Шерер).

В конце 1950-х годов немецкая политическая культура также характеризовалась низким уровнем доверия к правительству, ограниченной политической коммуникацией и негативным отношением к партиям и выборам. Однако в конце 1950-х — начале 1960-х годов в ведущих средствах массовой информации Западной Германии началось обсуждение до тех пор вытеснявшегося из сознания «проклятого» прошлого, что в конечном счете привело к образованию той специфической политической культуры ФРГ, важнейшим элементом которой является моральное неприятие нацизма. К середине 1970-х «немцы больше доверяли правительству и больше поддерживали свою политическую систему, чем общественность Великобритании. Этот процесс способствовал росту включенности народа в политический процесс» (Д. Конрад). В 1980-е годы эта тенденция сохранилась. Так, в ходе опроса общественного мнения, проводившегося в ряде западных стран, выбрали вариант ответа «Я полностью отвергаю законы, нашу систему правления и наше общество и вижу единственное решение в полном социальном изменении» в ФРГ — 3%, в США — 9%, в Великобритании — 24% опрошенных.

С наиболее серьезными трудностями столкнулись исследователи, пытавшиеся применить подход Г. Алмонда и С. Вербы к изучению по-

литических культур СССР и других стран «восточного блока». Была выявлена крайняя внутренняя противоречивость этих политических культур, не позволяющая дать им сколько-нибудь законченную и однозначную характеристику. Знаменательно, что, пытаясь решить эту проблему, западные ученые прибегли к использованию психиатрических терминов, например «раздвоение личности». «Видимая» личность повторяет фразеологию властей и охотно участвует в ритуальных демонстрациях единства, в то время как «скрытая» оказывается носительницей зачастую противоположных ценностей. И при этом невозможно ответить на вопрос, какая из этих личностей подлинная. Британский политолог *Стивен Уайт*, например, писал: «Советскую политическую культуру, видимо, следует описывать как сочетание конформизма и несогласия, подлинной преданности советской системе и гордости за ее достижения со значительным цинизмом по поводу лиц, ныне управляющих». Однако *Р. Хаг* и *М. Харрон* в связи с этим резонно замечают, что в приведенной цитате можно, не погрешив против истины, заменить слово «советский» на «британский». Таким образом, специфика политической культуры и стоящего за ней политического режима теряется. Тем не менее анализ советской политической культуры подвел западных политологов к двум важным выводам.

1. Понятие «гражданская культура» — ценный аналитический инструмент, но только при условии, что его не наполняют ценностным содержанием. Не вполне правильно приписывать этот тип культуры только либеральным демократиям, как это делали Г. Алмонд и С. Верба. Политическое участие можно считать значимым признаком политической культуры, однако адекватно оценить его можно только в контексте соответствующей политической системы (ее институционального устройства).

2. Политическое участие в странах «реального социализма» целесообразно рассматривать в двух измерениях. По отношению к «верхам» оно было либо убежденно-верующим, либо «рациональным», конформистским. На «нижнем» (местном) уровне участие постепенно приобретало некоторые демократические характеристики, позволяющие обнаружить сходство с участием в либеральных демократиях.

Однако еще сложнее оказалось вписать в универсальную типологию Алмонда и Вербы современные переходные и фрагментированные политические культуры России и других посткоммунистических стран. Однако поскольку в политической культуре отражены фундаментальные нормативные ориентации, которые по своей природе достаточно стабильны, то их роль возрастает, когда окружающая действительность противоречива и сложна, а информация о ней настолько скудна, что

другие механизмы интерпретации происходящего и принятия решений не годятся. В этой ситуации, по мнению британского исследователя С. Уайтфилда, люди оказываются в условиях открытого конфликта норм. Поэтому политико-культурный подход способен многое объяснить в посткоммунистических странах, где граждане «весьма склонны рассматривать политику в нормативных категориях».

В принципе сами Алмонд и Верба признали, что сделанные в 1960-х годах выводы нуждаются в серьезной корректировке, более того, внесли эти коррективы в свои последующие работы. Однако разработанные ими типология и инструментарий отнюдь не утратили своего значения и по-прежнему служат основой изучения политической культуры в рамках сравнительного анализа. Так, рассматривая ситуацию в пяти демократических странах (Австрия, Великобритания, Нидерланды, США и ФРГ), С. Барнес и М. Каазе приходят к выводам, частично предугаданным в типологии Г. Алмонда и С. Вербы. Правда, они отмечают, что сегодня политическая активность не всегда проявляется в русле гражданской культуры. Все чаще наряду с типическими формами политического участия используются и новые, нестандартные методы. Таких «активистов», сочетающих различные методы, становится больше, чем «реформистов», ограничивающих свое политическое участие традиционными средствами (участие в выборах), или же «протестующих», которые отвергают всякое участие в рамках легальных форм.

Напомним, что, формулируя общую характеристику гражданской политической культуры, создатели концепта Г. Алмонд и С. Верба особо отмечали:

«Тут налицо политическая активность, но она не столь велика, чтобы подорвать власть правительства, налицо вовлеченность (граждан в политику) и преданность (политической системе), но в умеренной степени, имеются политические разногласия, но их держат под контролем. В то же время политические ориентации, образующие гражданскую политическую культуру, тесно увязаны с общими социальными межличностными ориентациями. В рамках гражданской культуры нормы межличностных отношений, общего доверия и доверительного отношения к своему социальному окружению пронизывают все установки и смягчают их».

Исходя из этой характеристики американец Р. Инглхарт еще в начале 1990-х годов проанализировал роль гражданской культуры в становлении и развитии демократии по трем показателям — межличностное доверие, удовлетворенность жизнью и процентное отношение людей, поддерживающих радикальные революционные изменения. В результате он пришел к следующим заключениям.

Во-первых, существуют устойчивые культурные ценности и установки, сходные для большинства демократических стран.

Во-вторых, государства с высоким уровнем жизни, межличностно-го доверия и терпимости более склонны к тому, чтобы принять и поддержать демократические институты, чем страны с низким уровнем этих показателей.

В-третьих, исследователь не выявил прямой зависимости между уровнем экономического развития и демократией, однако между этими переменными, по его мнению, существуют связующие звенья — социальная структура и политическая культура.

«Различные общества идут по своим траекториям, даже когда они подвержены действию одних и тех же сил экономического характера, частично потому, что на развитие стран также влияют специфические факторы, такие как культурное наследие», — писал американский исследователь уже в начале нового века.

Вместе с тем Инглхарт указывает, что при всей своей значимости влияние культуры не является фатальным. Так, он устанавливает появление в обществах с незападной культурой тенденции формирования аттитудов поддержки демократических и гражданских институтов — например, в таких мусульманских странах, как Азербайджан, Албания, Бангладеш, Египет, Индонезия, Марокко и Турция.

Однако применение концептуальной схемы Р. Инглхарта в отношении так называемых «переходных обществ» имеет свои ограничения. Не случайно его гипотеза о глобальной конвергенции ценностей оспаривается рядом исследователей, обосновывающих тезис о дивергенции ценностей в обществах с разным уровнем социально-экономического развития. Кроме того, как считают многие аналитики, посредством понятия «политическая культура» очень не просто объяснить политические изменения в обществе, в частности процесс демократического транзита. «Обращение к фиксированным культурным паттернам способствовало в большей степени объяснению преемственности в политическом развитии какой-либо нации, чем пониманию причин нарушения такой преемственности» (*В. Б. Межуев*).

Согласно одной из самых распространенных интерпретаций политической культуры, связанной с именем Г. Экстайна, она представляет собой своеобразный психологический «фильтр», т.е. это укорененные с детства в сознании человека представления и установки, оказывающие постоянное влияние на его политическое поведение. Через этот «фильтр» пропускается и «отсеивается» или же «принимается» информация, приходящая извне. Понятно, что принимается только то, что соответствует

базовым установкам и ценностям человека. Как писал американский исследователь:

«Человек воплощает свой опыт восприятия ситуации в конкретное действие с помощью системы общих по своему характеру когнитивных, аффективных и эвалюативных (оценочных. — *Прим. авт.*) predisпозиций; паттерны (стандарты) таких predisпозиций различаются в зависимости от уровня развития общества, от социального слоя, к которому принадлежит тот или иной индивид; различия в ориентациях объясняются отнюдь не отличительными характеристиками объективных социальных ситуаций или структур, они обусловлены процессом социализации личности, в свою очередь детерминированной особенностями культуры; ранняя социализация определяет позднюю социализацию, в целом же они представляют собой процесс достижения целостности в самой системе диспозиций личности.

Такая целостность необходима личности для оперативности принятия решений о действии и обеспечивает ей представление о предсказуемости социального взаимодействия».

Подобная интерпретация политической культуры неизбежно заставляет искать источник изменений в обществе за ее пределами, вынуждая обращаться к иным моделям интерпретации эмпирических данных. Именно в этом видят слабость и нерелевантность теории политической культуры ее критики, тем более что ее адепты не сумели ни предугадать стабилизацию и консолидацию демократических режимов в послевоенной Германии и Японии, ни начало демократических трансформаций в коммунистическом мире. Называя подобную позицию «культуралистским пессимизмом», поскольку ее приверженцы видят «непреодолимое препятствие для демократии в пограничных восточноевропейских регионах в наследии социализма и досоциалистической культурной традиции», немецкий политолог Д. Зегерт называет ее «типичным необоснованным предрассудком»:

«С точки зрения “культуралистов” история — это судьба, которую могут изменить только столетия. Тем самым новое начало представляется абсолютно невозможным».

Справедливости ради надо сказать, что в значительной части исследований социально-политических трансформаций посредством использования концепта «политическая культура», как правило, констатируется не монолитность, а неоднородность, гетерегенность любой культурной традиции, что позволяет разным ее составляющим определять специфику политической системы той или иной страны и политическое поведение ее граждан в условиях социальных перемен. Поэтому «ядро» политической культуры не следует воспринимать как некое монолитное образование, это скорее подвижная комбинация

различных установок и ориентаций, причем их соотношение и «удельный вес» в общей композиции могут видоизменяться с течением времени. Политическую культуру следует рассматривать как набор зачастую конфликтующих позиций и установок, как диапазон многочисленных возможностей, в ином случае культурная трансформация той или иной нации окажется загадочной и непонятной. Политическая культура не сводится только к ценностно определенным, идеологически артикулированным позициям, в ней играет роль еще и ряд других компонентов: психологические установки населения по отношению к политической системе, ее институтам и политическим акторам, их нередко подсознательные ориентации, предрассудки и т.д.

Однако исследователями давно замечена еще одна устойчивая корреляция, свидетельствующая о серьезном влиянии социокультурной сферы, исторического и цивилизационного контекста на характер, темпы и результаты политических трансформаций. Так, С. Хантингтон еще в 1980-е годы указал на связь политической культуры с более широкой системой культурных ценностей, прежде всего традиционных, в свою очередь связанных с доктринальными и структурными характеристиками той или иной мировой религии. В результате он выделил два типа политических культур.

Первый — консамматорные политические культуры, отличающиеся религиозно-мировоззренческой позицией, в соответствии с которой текущие и конечные цели в жизни человека тесно взаимосвязаны. Такие культуры менее восприимчивы к демократическим ценностям. Это политические культуры, основанные на ценностях католицизма, православия, ислама, конфуцианства и т.д.

Второй тип — инструментальные политические культуры, характеризующиеся наличием в системе ценностей значительного набора нормативных религиозных традиций, согласно которым текущие цели в жизни человека обособлены и независимы от конечных целей, так что не оказывают серьезного влияния на каждое его конкретное действие. Инструментальные ценности рассматриваются Хантингтоном как более открытые демократическим ценностям (культуры, связанные с протестантизмом, индуизмом, синтоизмом и т.д.). Инструментальные культуры определяются как системы, для которых характерны более тесные функциональные связи между традиционными и демократическими ценностями и нормами и потому содержащие больше потенциальных возможностей для адаптации и ассимиляции новых демократических норм и институтов.

Недавние исследования, проведенные в Западной Европе, подтвердили, что в протестантских странах и сегодня связь между религиозно-

стью и политической активностью позитивна, т.е. чем выше степень религиозности, тем активнее индивид участвует в политической жизни общества. И наоборот — в католических странах верующие менее активны политически.

§ 3. Сравнительное исследование политических субкультур

Когда политическая культура соответствует политической структуре, а именно когда когнитивные, аффективные и оценочные ориентации усиливают политические институты, такая культура называется «лояльной». Подобная характеристика подразумевает определенную степень соответствия между элитарной и массовой политическими культурами. В случае возникновения между ними сильных разрывов возникает угроза сохранению национальной идентичности. Формирование политической нации включает в себя, следовательно, и процесс относительной унификации политической культуры, т.е. интеграции (и по вертикали, и по горизонтали) масс и элит, «выравнивания» их политических ценностей и ориентаций.

В слаборазвитых обществах, а также обществах, находящихся на стадии трансформации, массовая политическая культура имеет, как правило, фрагментированный, а не гомогенный характер. Расовые, религиозные, племенные, этнические, классовые, географические и другие различия также подпитывают рост многообразных политических субкультур. В демократических, плюралистических обществах, напротив, разрывы проходят внутри относительно гомогенных групп («средний класс» и т.п.), формируя соответствующий тип политической и национальной идентичности.

Как уже отмечено, Г. Алмонд и С. Верба видели свою задачу в изучении основных типов национальных политических культур, т.е. установок и ориентаций, разделяемых подавляющим большинством населения исследуемых стран. В то же время они не могли не отметить то очевидное обстоятельство, что в каждом обществе существуют группы — носители политических ориентаций, явно отличающиеся от ориентаций большинства. Для отображения этого феномена было введено понятие «политическая субкультура». Так, Г. Алмонд писал:

«Наиболее глубокие расколы в *Discordia* заставляют нас говорить о расколе политической культуры на субкультуры. Они отличаются друг от друга несхожими базовыми ценностями, воззрениями, ориентациями и т.д.».

Политические субкультуры могут быть *вертикальными* и *горизонтальными*. Вертикальные субкультуры различаются по социальным и демократическим характеристикам, это различие между *массовой* и *элитистской* субкультурами. Горизонтальные субкультуры — это субкультуры, общие для элиты и масс, основывающиеся на религиозных, этнических, региональных признаках и различиях. Так, исследователи пишут о католической субкультуре Германии или прибалтийской политической субкультуре в бывшем СССР, региональных субкультурах в современной России.

«Фрагментированная политическая культура есть культура, в рамках которой у населения отсутствует прочное согласие относительно путей развития общества». В чем, по мнению исследователей, отличие культуры, расколотой на субкультуры, от фрагментированной? Субкультуры есть мини-культуры, самостоятельные, автономные образования. Культура, состоящая из субкультур, — это культура, образуемая совокупностью данных автономных образований, фрагментированная культура есть сумма фрагментов (сегментов). В последнем случае раскол не столь всеобъемлющ, не столь глубок. Эти два явления не одно и то же, но связаны между собой, близки друг другу, а порою как бы совпадают. Поэтому некоторые исследователи не проводят этого различия.

Сыгравшее в самой концепции «культуры гражданственности» второстепенную роль, это понятие стало затем приобретать все большее значение для исследований. С этой точки зрения показателен опыт американского политолога *Д. Элазара* и его школы. В отличие от *Г. Алмонда* и *С. Вербы*, *Д. Элазар* поставил цель — разработать типологию американской политической культуры, т.е. выявить составляющие ее субкультуры. Политическая культура США, по его мнению,

«...уходит корнями в две контрастирующие концепции американского политического порядка, истоки каждой из которых восходят к периоду первых поселений в стране. В одном случае политический порядок рассматривается как рынок, на котором изначальные общественные отношения выступают как продукты сделки между индивидами и группами, действующими в соответствии со своим эгоистическим интересом. Во втором случае политический порядок выступает как содружество — состояние, при котором весь народ имеет неделимый интерес, вследствие чего граждане объединяют свои усилия в стремлении создать и поддержать наилучшее правление в целях внедрения некоторых, разделяемых всеми принципов».

Вырастая из взаимодействия «рынка» и «содружества», американская политическая культура представляет с этой точки зрения синтез трех основных субкультур.

Это, во-первых, *индивидуалистическая политическая субкультура*. Она уходит корнями в представление, что правительство учреждено из чисто утилитарных соображений, а именно для того, чтобы служить выполнению тех функций, которых требует от него народ. Другими словами, деятельность государства «должна быть ограничена теми сферами, прежде всего в области экономики, которые поощряют частную инициативу и широкий доступ на рынок. Политика с точки зрения этой культуры есть “бизнес”, который, подобно всякому другому бизнесу, ведет соревнование за таланты и успех и вознаграждает тех, кто связывает свою карьеру с политикой».

С точки зрения *моралистической политической субкультуры* политика есть одна из основных форм деятельности человека в поисках хорошего общества, а государство — «позитивный инструмент», в обязанности которого входит служить всеобщему благу. «...Политика рассматривается как дело и даже долг каждого гражданина. Политические партии рассматриваются как полезный политический механизм, но они не имеют “собственной ценности”».

Третий тип — *традиционалистская политическая субкультура* — коренится в амбивалентном отношении к рынку в сочетании с патерналистской и элитаристской концепциями содружества. Идеал этой культуры — «иерархическое общество, где власть находится в руках узкой элитарной группы, связанной тесными узами на протяжении многих поколений. Большинство граждан в политике не участвует, и никто не ориентирует их на такое участие. Политические партии не играют существенной роли, так как все основные решения принимаются правящей элитой, демонстрирующей антибюрократический, антиэлитаристский настрой».

Индивидуалистическая, моралистическая и традиционалистская субкультуры, выявленные на основе сравнения, как утверждает Д. Элазар, распространены на территории всей страны, хотя каждая из них привязана — генетически и функционально — к определенным регионам. Эти субкультуры не только тесно связаны друг с другом — в некоторых аспектах они накладываются друг на друга. Эвристическая ценность этих идеальных типов в том, что моделируемые субкультуры фиксируют некоторые реальные черты американской политической культуры, да и не только американской, так как характеристики данных субкультур обнаруживаются в политических культурах других обществ и не только западных.

В заключение отметим, что проблема политической культуры по своей природе компаративна. Как отмечает российский исследователь И. И. Глебова,

8. Политическая культура в сравнительных исследованиях

«компаративность есть качество, которое внутренне присуще этому понятию. Ведь политико-культурные исследования стремятся обнаружить в каждой политической культуре некие неизменные пласты, константы, составляющие ее ядро. А для этого требуется искать в культуре то, что определяет ее “инаковость”. Цель такого поиска — определить в хаотичном наборе разноплановой информации те блоки (факты, оценки, реакции, поведенческие схемы), которые совершенно непонятны, необъяснимы с точки зрения представителя иной культуры. Выявление этих “странностей” национальной политики предполагает сравнительный анализ, в результате чего исследование поневоле приобретает компаративный контекст».

Глава 9

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ

1. Национализм — поливариантный и амбивалентный феномен
 2. Типологический анализ национализма
-
-

§ 1. Национализм — поливариантный и амбивалентный феномен

«Одно-единственное явление красной нитью проходит через всю новейшую историю — от падения Бастилии до падения Берлинской стены... Имя этому явлению — национализм, и его история является той тонкой нитью, которая связывает и одновременно разделяет народы в современном мире... История развития современного мира, — пишет известный британский исследователь *Энтони Смит*, — это история возникновения и упадка, роста и угасания наций и национализма». Поэтому национализм как социальное явление привлекает внимание исследователей уже более ста лет. За это время появилось множество его определений и интерпретаций.

Так, *В. Коротеева*, формулируя наиболее общую дефиницию, отмечает, что «национализм — это совокупность идеологий и политических движений, использующих в качестве символа понятие “нация”. Преданность нации... объявляется основой личной идентичности и требует, чтобы все действия человека были направлены к высшей цели — служению нации. Национализм это особый взгляд на мир и положение человека в нем». Известна формула *Э. Геллнера*: «Национализм — это прежде всего политический принцип, суть которого состоит в том, что политическая и национальная единицы должны совпадать, а также чтобы управляемые и управляющие в данной политической единице принадлежали к одному этносу».

В свою очередь американский исследователь *Ганс Кон* определяет национализм как «состояние ума, акт сознания преобладающего большинства какого-либо народа, убежденного, что высшей ценностью личности должно быть национальное государство», которое признается «в качестве идеальной формы организации народа, источника всей творческой культуры, энергии и экономического благосостояния» Для Г. Ко-

на националистическое сознание тождественно национализму и включает также веру в то, что человек должен проявлять «высшую преданность» своему народу.

Для ученика Э. Геллнера — Э. Смита национализм — это «идеологическое достижение и установление автономии, сплоченности и индивидуальности социальной группы, часть членов которой видит себя реальной или потенциальной нацией». Близкое по смыслу определение национализма сформулировал К. Янг: национализмом называют политическую идеологию, рассматривающую нацию «как сформировавшееся сообщество, к которому люди испытывают чувство высшей преданности, и оценивающую легитимность политического режима с точки зрения его приверженности этому принципу». Другой, инструментальный аспект оттеняет в своем определении Э. А. Поздняков, отождествляя национализм с политикой в интересах (или от имени интересов) национального государства: «Национализм есть идеология и политика государств, партий и иных политических союзов, которые в качестве главного средства для достижения своих целей используют как национальные, так и просто патриотические чувства того или другого народа». По мнению Хейса Картона, «национализм — современный эмоциональный сплав двух очень старых явлений — этнической принадлежности и патриотизма», т.е. национализм — особая форма связи этничности и государства.

Однако и его определение не может всех удовлетворить, так как оно недостаточно полно характеризует этот феномен. Поскольку национализм меняется стадийно и по направленности акцентуируемых доктрин, по своему характеру и по мере интенсивности он может иметь отличающиеся доминанты у разных народов и изменяться даже у одного и того же народа. Американка Кэтрин Вердери, развивая идею известного исследователя национализма Бенедикта Андерсона о нации как наиболее универсально легитимной ценности политической жизни нашего времени, говорит о нации как о «базовом операторе в системе социальной классификации» и определяет национализм как политическое использование символа нации через дискурс и политическую активность, а также как «эмоции, которые заставляют людей реагировать на использование этого символа». Национализм, таким образом, не сводим к одному из нескольких существующих в каждом обществе политических движений. В подавляющем большинстве случаев все политические акторы, хотя бы они того или нет, вынуждены вступать в борьбу за право утвердить в обществе свою интерпретацию символа нации, который играет ключевую роль в современном политическом мировосприятии, и тем самым становятся участниками националистического дискурса.

«У национализма два основных вектора. Один из них указывает в сторону обретения общественного единства. Это национализм, исходящий от государства. Второй — направлен против государства. Это национализм, исходящий от культурно-этнических групп, стремящихся к политическому суверенитету. ... Таким образом, национализм — идеология, легитимирующая усилия по интеграции или дезинтеграции государства. ... Однако этим функции национализма не исчерпываются. Национализм далеко не всегда непосредственно связан с действиями по укреплению или подрыву национальных государств. Он подпитывается чувствами и ожиданиями людей, которые ищут решение острых проблем собственного существования в национальной солидарности — в консолидации на основе общей истории, языка или культуры. Таким образом, национализм — это идеология политизированной идентичности» — отмечает российский исследователь *В. Малахов*.

Поэтому число определений этого феномена можно множить. В связи с чем в своей книге еще в 1977 г. *Хью Сетон-Уотсон* приходит к выводу, что нет и не может быть никакой научной дефиниции нации и национализма, однако добавляет: «Феномен же существует издавна и будет существовать также и в будущем». Более того, «национализм сегодня, — отмечает Э. Смит в книге “Этнические источники наций”, — представляет собой легитимизирующий принцип политики и создания государств, никакой другой принцип не пользуется сопоставимой лояльностью человечества».

В то же время «...теоретиков национализма, — пишет Б. Андерсон, — часто ставили в тупик... следующие три парадокса: (1) Объективная современность наций в глазах историка, с одной стороны, и субъективная их древность в глазах националиста — с другой. Не случайно еще *К. Понпер* утверждал, “что нация являет собой общность людей, объединенных не своим происхождением, а общим ошибочным взглядом на свое происхождение”. (2) С одной стороны, формальная универсальность национальности как социокультурного понятия (в современном мире каждый человек может, должен и будет “иметь” национальность так же, как он “имеет” пол) и, с другой стороны, непоправимая партикулярность ее конкретных проявлений... (3) С одной стороны, “политическое” могущество национализмов и, с другой, их философская нищета и даже внутренняя несогласованность». Следуя этой логике, можно добавить еще один парадокс: национализм стремится одновременно уничтожить различия внутри нации, добиваясь ее культурной однородности, и умножить число суверенных сущностей.

Привязанность к родной почве, к местной традиции, к установившимся локальным политическим и религиозным авторитетам, т.е. чув-

ства территориальной и конфессиональной идентичности, наивный народный монархизм, существовали и раньше национализма.

Тем не менее с конца XVIII в. именно национализм в современном смысле слова постепенно становится повсеместно пробудившимся у *элитных групп* чувством, которое во все большей мере формирует общественную и частную жизнь. Как отмечает В. Тишков, «национализм — это прежде всего элитный дискурс вокруг категорий народа или нации как суверенов исторического действия». Именно с этого времени национализм стал во все большей мере служить оправданием власти государства, средством легитимации использования его силы как против собственных граждан, так и против других стран. Однако только с конца XIX в. он начал доминировать в чувствах и оценках масс (впрочем, именно тогда и появляется в широком употреблении сам термин «национализм»).

В странах, которые образуют современный Запад, национализм, возникший в XVIII в., веке Просвещения, был в первую очередь политическим движением, направленным на ограничение власти правительства и обеспечение гражданских прав. Его целью было создание либерального и рационального сообщества граждан, представляющих средний класс, живущий в духе философии *Дж. Локка*. Как отмечает *Т. Алексеева*:

«В Западной Европе XVIII столетия национализм как конкретная политическая доктрина означал прежде всего идею самоуправления народа. Это была доктрина, направленная против правления аристократической элиты, которая обвинялась в пренебрежении интересами собственной нации во имя лингво-культурных и родственных связей с элитами других европейских государств».

Эрнст Геллнер считает, что идеология национализма возникла прежде всего как реакция на процесс индустриализации и массовый уход людей из местных общин и сообществ. «Удовлетворение национального чувства не было предварительным условием первого проявления индустриализации, а только продуктом ее распространения», — пишет британский исследователь. Индустриализация вызвала значительные территориальные перемещения, и громадное число людей стали участниками единой экономической (а позднее политической) системы. Идеология, построенная на родстве, и религия уже не могли далее эффективно выполнять функцию мобилизации людей. Кроме того, новая система промышленного производства потребовала создания благоприятных условий для взаимозаменяемости рабочих в широких масштабах, для чего рабочие должны были овладеть одинаковыми навыками и уме-

ниями. Индустриализация предполагала стандартизацию навыков: этот процесс также оборачивается «культурной гомогенизацией». Развитие национального самосознания «вширь и вглубь» и приводит к «превращению крестьян во французов» (Ю. Вебер).

Именно в этом историческом контексте возникает необходимость в идеологии, способной к созданию внутренней связности и лояльности индивидов в рамках широкомасштабных социальных систем. Это на Западе и сделала идеология национализма, став идеологией государства. Последняя постулировала существование «воображаемых сообществ», базирующихся на общей культуре и интегрированных в государство, где индивиды лояльны (идентифицируют себя) к государству и законодательству, а не только к своей родственной группе или родной деревне. В этом смысле идеология национализма выполняет именно государственные функции. Непременным условием данной идеологии выступает ее политическая эффективность, она должна выражать интересы нации, которая обладает государством и результативно управляется... Необходимое условие эффективности национализма — поддержка со стороны народных масс. Однако в эпоху Великой французской революции «принцип национальности» был еще недостаточно авторитетен, «абсолютен», недостаточно интериоризирован массовым политическим сознанием. Ему еще рано претендовать на место главного принципа легитимности государства.

Что предлагает массам национализм, в чем его «притягательная сила»? Ощущение безопасности и стабильности в тот исторический период, когда традиционная картина мира потеряла свою целостность, а люди оторваны от своих корней. Таким образом, задачей идеологии национализма является воссоздание ощущения целостности и исторической непрерывности, связи со своим прошлым, преодоление отчуждения между человеком и меняющимся обществом, которое несет с собой новый общественный порядок.

В свою очередь Б. Андерсон особо подчеркивает роль развития печати при капитализме для становления национализма: распространение информации через доступные массовые издания делает возможным восприятие национальных идей без прямого контакта с теми, кто ее производит. Переводы Библии, ее печатание на широко распространенных носителях создает и цементирует однородность, причем крепче всего там, где Реформация способствовала развитию всеобщей грамотности, и там, где духовенство образует местную бюрократию, а население избавлено от необходимости проявлять лояльность и к папскому престолу, и к своему светскому властителю одновременно. Современные

СМИ (массовая печать) играют решающую роль в распространении и усилении национального чувства. По мнению Андерсона,

«соединение капитализма и техники книгопечатания в точке фатальной разнородности человеческого языка (и утраты к этому времени сакрального статуса языками-посредниками Средневековья) сделало возможной новую форму воображаемого сообщества, базисная морфология которого подготовила почву для современной нации. Потенциальная протяженность этих сообществ была неизбежно ограниченной и в то же время имела не более чем случайную связь с существующими политическими границами (которые, в общем и целом, были предельными достижениями династических экспансионизмов)».

Другими важными видами коммуникационной технологии, создающими огромные возможности для интеграции людей в крупные социальные системы, являются современные транспортные средства (железные дороги). Они также способствуют объединению людей в национальные государства.

Многие исследователи отмечают особую роль в становлении массового национализма такого института, как всеобщая воинская повинность, появившегося в Европе в начале XIX в.

«Судя по многочисленным свидетельствам, в эпоху Реставрации (1815) или Июльской монархии (1830) и даже в более поздние времена, — пишет, в частности, французский исследователь *Жерар де Пуомеж*, — крестьянские массы были лишены патриотического чувства: в действительности им могли похвастаться лишь те крестьяне, что подверглись “промыванию мозгов” в казармах. ... Впрочем, для того чтобы крестьяне, составляющие абсолютное большинство нации, слились в подлинную массу, сельский мир должен избавиться от тех региональных и культурных различий, которые превращают его в бесконечное множество отдельных мирков, знать не знающих о соседях. Следует также очистить сельский мир от тех примет общекрестьянской “культуры”, которые затрудняют его приобщение к современному государству-нации, централизованному и воинственному. Этой аккумуляции способствует не столько школа... сколько армия; именно благодаря воинской повинности мозаика, состоящая из бесконечно разнообразных социальных структур и культурных форм, превращается в компактную массу взаимозаменяемых солдат-землепашцев.

В армии молодой крестьянин проникается сознанием собственной принадлежности к нации, о существовании которой напоминает ему военная эмблематика. Армия для Франции — это обширный тигель, *melting-pot*, где в начале XIX столетия формируются французы, отличающиеся друг от друга одними лишь воинскими званиями»¹.

¹ Особую роль армии в становлении нации подчеркивает полусушутливое определение — «нация это то же племя, только с армией».

Многие авторы подчеркивают роль введения всеобщего избирательного права в «национализации» политики.

Наконец, практически все исследователи отмечают роль системы образования в становлении наций и национального чувства. Всеобщее начальное школьное образование в Западной Европе — феномен XIX в., а в Восточной Европе — начала XX в., что во многом определило асинхронность распространения национализма на континенте.

«Школа — мощнейший механизм массовой индоктринации, причем опыт первого грамотного поколения оказывается особенно важен, потому что с грамотностью общество приобретает новые каналы межпоколенческой трансляции национальных мифов и идентификационных установок» (А. Миллер).

Как отмечает Э. Хобсбаум, «прогресс школ и университетов является мерилем прогресса национализма, равно как именно учебные заведения, особенно университеты, стали наиболее сознательными его защитниками». Это, несомненно, верно как для Европы XIX в., так и для других регионов мира в XX в. Государство-нация во многом порождение процесса культурной энтропии. Поэтому все современные государства институционализируют и развивают школьную систему, «производящую» национальную идентичность.

«Общество имеет единственную возможность стать современным индустриальным обществом... доверив государству — через посредство школы — монополию на легитимную культуру. И необходимость в этом возрастает по мере того, как промышленность из деятельности, имеющей дело с потоками энергии, все более превращается в деятельность по переработке потоков информации», — пишет французский социолог Д. Кола.

При этом национальная идентичность — это ответ на вопрос о том, кто мы, и ответ этот всегда принимает форму исторического повествования. На основании наших историй мы можем определить, кто мы и кто другие, и вместе с восприятием различия наших историй мы воспринимаем в качестве реальности и наше отличие друг от друга. Поэтому следует также отметить происходящие с начала XIX в. знаменательные изменения в историографии и «школьной» истории, в которых нации стали изображаться в качестве главных субъектов истории, а образы выдающихся деятелей далекого прошлого подвергаются соответствующей стилизации, благодаря чему они превращались в национальных героев и национальные символы: у немцев это Арминий, у французов — Хлодвиг, у британцев — король Артур и бароны, вырвавшие «Великую хартию вольностей» у Иоанна Безземельного, у венгров — святой Стефан, у русских — Владимир Красное Солнышко и Александр Невский и т.д. При-

чем возможна и конкуренция между нациями за «обладание» историческим прошлым и за национальных героев.

Тезис, впервые сформулированный американцем *Т. Пейном* еще в XVIII в. и гласивший, что нация и демократическое правление составляют неразрывное единство, долгое время был популярен, особенно в англо-саксонском мире. Однако его не подтверждает уже опыт Французской революции, здесь впервые из идеи национального самоопределения вырастает агрессивный массовый национализм. С середины 1950-х годов среди исследователей распространено мнение, будто национализм — родной брат либерализма и демократии, поначалу шедший с ними рука об руку, а впоследствии от них отделившийся и утративший свой эмансипаторский потенциал. Такой взгляд имеет под собой определенные основания — поскольку одна из первых проблем, возникающих в условиях становления демократии, — определение границ демоса как сообщества граждан, участвующих в политическом процессе, т.е. проблема самоопределения и ценностного базиса консолидации демократического национального государства. В результате складывается, по мнению *Э. Пауна*, гражданский национализм «как комплекс идеологических представлений и политических практик, в которых центральное место занимает стремление к установлению народного (т.е. общественного) суверенитета».

Тем не менее сегодня, по мнению ряда исследователей (*П. Кандель*, *В. Малахов* и др.), «...демократия и национализм суть два несовместимых теоретико-политических принципа. Исторически они, разумеется, могут выступать в качестве временных союзников... но логически они представляют собой противоположные установки». Их общее основание — идея суверенитета народа (нации), но они слишком по-разному эту идею понимают. «Нация» для демократии — продуктивная фикция, необходимая для легитимации нового типа власти (власти «народа»-суверена в отличие от власти суверенного монарха); «нация» для национализма — конкретно переживаемая реальность, чувственно или «духовно» данная целостность. То, чем занимается национализм, — это перетолкование «нации» как формальной инстанции суверенитета и легитимности в «нацию» как конкретное сообщество; перетолкование «нации» как абстрактного политического тела в наполненное содержательными определениями «национальное тело». Для националиста именно национальная принадлежность определяет сознание человека, стиль его жизни, поэтому самореализация человека возможна только в лоне своего народа, а национальные цели имеют безусловный приоритет — как перед личными, так и перед общечеловеческими. В свою очередь признание национальных целей и интересов сверхцелью освобож-

дает от соблюдения этических и моральных норм в отношениях с «другими». Поэтому

«сколь бы умеренными и либеральными ни были адепты национализма на уровне теории, на уровне конкретных социальных практик национализм означает не что иное, как стремление к культурной, по возможности этнической, гомогенности общества. А поскольку последнее практически всегда является гетерогенным, его гомогенизация влечет за собой насилие. Причем насилие тотальное, методичное и довольно часто неоправданное рационально, приносящее экономические и политические интересы общества в жертву абстрактной идее нации» (В. Малахов).

«Используя революцию или религию, всеобщее или, наоборот, особенное, все великие доктрины национализма в конце концов закончили допущением завоеваний, которые в теории противоречат концепции национального суверенитета. Якобинцы несли свободу на концах своих штыков, пангерманисты мечтали объединить всех германцев в одно государство даже до того, как гитлеровцы провозгласили право народа-повелителя поработить низшие народы. Мессианизм Третьего Рима предшествовал идеологии пролетарского освобождения», — отмечал известный французский социолог Раймон Арон.

§ 2. Типологический анализ национализма

В начале XIX в., в результате наполеоновских войн, национализм проникает в страны Центральной и Восточной Европы, в Испанию, Ирландию и Россию, где политическое мышление и структуры общества были преимущественно традиционны и менее развиты, нежели на Западе. Средний класс был в этих странах слаб, уровень урбанизации низок, общества были разделены (или даже расколоты) на правящий класс — феодальную аристократию и бесправное большинство — крестьянство. Поэтому здесь национализм вначале стал **культурным движением**, мечтой и надеждой ученых и поэтов. Этот поднимающийся национализм, как и общественное и интеллектуальное развитие вне Западной Европы, испытывал влияние Запада. Но само это влияние ранило гордость образованных кругов, в которых уже зародилось чувство национального самосознания, это вело к отчуждению от Запада, к сопротивлению «чуждым» примерам, прежде всего западному либеральному и рациональному мировоззрению. Более того, «национализм получает неприкосновенную легитимность там, где он направлен на освобождение от иностранного господства», — подчеркивает У. Альгерматт.

В итоге новый национализм здесь искал свое оправдание в отличие от Запада в наследии прошлого. Нередко «изобретенные» древние тра-

диции превозносились как противовес западному Просвещению. Если британский и американский национализм был порожден концепцией личной свободы и прав человека и представлял народы с четко оформившейся политической жизнью, то национализм народов на востоке Европы, а затем и в других регионах мира, не укорененный в соответствующей политической и социальной традиции, стал проявлением своеобразного комплекса национальной неполноценности. Этот комплекс неполноценности компенсировался самовосхвалением. Германские, российские и индийские интеллектуалы представляли свою национальную традицию как нечто более глубокое, чем западная, более сложное по проблематике и обладающее большим творческим потенциалом. Именно в этом русле немецкими романтиками формулируется противопоставление одухотворенной национальной культуры — бездуховной, рациональной западной цивилизации. Для такого национализма характерно стремление к поискам внутреннего смысла существования нации, размышления о «национальной душе» или «миссии», Запад служит «значимым другим» в процессе формирования национальной идентичности этих стран.

Положение о неравномерном развитии стран мира становится центральным в концепции британского социолога *Т. Нэйрна*. Капиталистическое развитие, по его мнению, приводит к «дилемме, порождающей национализм». Экономическое превосходство центров развития над другими странами несет угрозу для обществ, запаздывающих в развитии, и прежде всего для зарождающихся в них средних классов. Даже те, кто хотел бы имитировать достижения передовых стран и нагнать упущенное, отталкиваются от навязываемого им господства — экономического, а потенциально и политического. Поднимающиеся средние классы отстающих обществ в союзе с интеллигенцией могут мобилизовать для противостояния угрозе тот единственный ресурс, которым они располагают, — народные массы. Целенаправленно формируется межклассовое общество. Народная мобилизация, использующая идеологию межклассового единства, является механизмом действия национализма. Англия, Франция, Испания, Швеция, Голландия в разное время являлись «лидерами» во многом благодаря усилиям их абсолютных монархий. Часть этого превосходства заключалась в их политической и государственной системе. Они изобрели национальное государство в течение столетий эмпирическим путем. Желание заполучить эти институты сделало идеологическое оружие национализма неизбежным и в других обществах (Германия, Япония, Италия).

Однако национализм и на востоке Европы в народ не проник, он оставался (до конца XIX в.) уделом интеллектуалов, да и то не всех. Тем

не менее в результате продолжительных войн и натиска гипертрофированного французского национализма национальные чувства повсюду в Европе набирали силу и в России впервые достигли высшей точки в Отечественной войне 1812 г., чрезвычайно повысившей самоуважение русских, победивших Наполеона.

Национализм здесь (на востоке Европы) нередко рассматривается и в качестве оборонительной реакции на разрушительное воздействие экономической и политической модернизации или как средство компенсации при очевидных провалах такого рода модернизации.

«Если “западный” национализм сопутствовал буржуазным революциям и результативному процессу формирования сильных наций-государств, — подводит итог немецкий исследователь Э. Штольтинг, — то “восточные” формы национализма пышным цветом расцвели в обществах, многие из которых не проходили через данные стадии политической модернизации и идентичность которых заключена в культуре. Если обратиться к государствам Запада, то там национализм возник вследствие успешного преодоления внутренних препятствий, мешающих суверенитету, в первую очередь политики родовой знати. Что же касается Востока, то там национализм являлся идеологическим обоснованием борьбы против чужеземного правления (влияния), примером которого может служить турецкое, габсбургское или российско-советское иго».

В связи с этим большинство западных и отечественных исследователей подчеркивают важность различий между типами национализма.

Так, американский социолог *Лайя Гринфельд* выделяет тип *индивидуалистско-либертарианского* и два типа *коллективистского* национализма: *гражданский* и *этнический*. Первый тип национализма предполагает моральное и политическое первенство индивида перед государством. Принципы, положенные в его основу — свобода и достоинство человека, — воплощаются в политических институтах либеральной демократии США и Великобритании. Для гражданского национализма характерна уверенность в политических и культурных силах и даже превосходство над другими (Франция), этническому присущ комплекс неполноценности нации, он принципиально несовместим с либерализмом. Такой тип Гринфельд видит в немецком и русском национализме.

Социолог *Б. Кэндерер* противопоставляет *иерархический национализм эгалитарному*, Ганс Кон — *западный* (связанный с либерализмом) *восточноевропейскому* (связанному с традиционализмом). Известный немецкий социальный философ *Ю. Хабермас* пишет о двух типах национализма: *дополнительном* (внеполитическом), в котором подчеркивается родовая, примордиальная идентичность на основе этнокультурных признаков; и *гражданском*, в основе которого лежит политическая,

гражданская идентичность, эти два типа национализма, переплетаясь, сосуществуют в реальности.

Ряд исследователей считает, что дихотомические типологии национализма недостаточны для того, чтобы охватить все многообразие его проявлений. Поэтому американец К. Хейс выделяет «национализмы»: *якобинский, традиционный, либеральный, интегральный и экономический*; Э. А. Поздняков пишет *об этническом, державно-государственном и бытовом национализме*. В свою очередь американские политологи А. Белл-Фиалкофф и А. Марковиц на основе двух критериев выделяют четыре формы национализма: *государственнический инклюзивный* — каждый человек как индивид становится членом нации; *государственнический эксклюзивный* — основан на недопущении отдельных индивидов к членству в нации, например, по признакам этнической принадлежности, языка и др.; *негосударственнический инклюзивный* — каждый человек считается членом нации, проживая на определенной «национальной» территории, независимо от ее государственной принадлежности; *негосударственный эксклюзивный* — не каждый, а только человек с определенными (этническими) признаками может считаться членом нации. В результате Россия относится авторами к числу стран с государственническим эксклюзивным национализмом, а Великобритания и Франция — с государственническим инклюзивным. К негосударственническим видам национализма причисляются немецкий, баскский (эксклюзивные) и, например, каталонский (инклюзивный). В свою очередь американец *Рональд Чилкот* отмечает существование уже девяти типов национализма и др.

Конечно же, попытки дать более дифференцированные типологии национализма можно только приветствовать, однако и они вызывают немало вопросов и недоумений. Так, отнесение российского и тем более советского национализма к числу эксклюзивных, т.е. исключающих, представляется не вполне корректным, как и причисление немецкого национализма к негосударственническим. Следует вспомнить, что немецкий национализм пережил несколько трансформаций и существовал в различных исторических обликах, а во времена кайзеровской империи и национал-социализма он был, несомненно, государственническим.

Кроме того, как отмечают многие исследователи, в неевропейском национализме в редких случаях решающую роль играют такие признаки, как общая этническая принадлежность и язык. Так, индийский национализм никогда не был привязан к этносу и языку, как и мусульманский культурный национализм с явными оттенками мессианства, который стал движущей силой создания Пакистана. По понятным причинам язык и общая этническая принадлежность не могли сыграть

решающей роли и в формировании национализма в странах Северной и Южной Америки.

Многие авторы вкладывают в понятие «национализм» изначально негативный смысл. Так, уже для *Ф. Ницше* национализм — это особая форма оглупления, поскольку он отсекает от себя широкий и плодотворный поток европейской культуры, ее, несмотря на весь декаданс, поразительного и очаровывающего богатства. *Карл Поннер* однажды заметил, что национализм — это «смесь злобности и глупости. Всякий националист — трус. И ему, как трусу, нужна всегда поддержка толпы. Он боится остаться один. И он дурак, потому что верит, что он и ему подобные выше, чем другие».

Поэтому многие считают фундаментальным различие «между национальной идентификацией и национализмом. Национализм, — по мнению американца *Дж. Кина*, — это патологическая форма национальной идентификации, ее негативная форма, форма национального самопоклонения». Антрополог *Дж. Борнеман* не столь категоричен: национализм он определяет как осознанное чувство, для которого нация является объектом активной привязанности, в то время как национальную идентичность относит к повседневным практикам и взаимодействиям, которые порождают глубокое и часто не артикулированное ощущение принадлежности, ощущение того, что ты «дома». Как полагают немецкие социологи В. Артс и Л. Халман, «...национальная идентичность может иметь несколько измерений, в зависимости от контекста она может предстать как патриотизм или национализм». Однако нередко национализм противопоставляют патриотизму, вкладывая в первое понятие негативный, а во второе — позитивный смысл. При этом патриотизм рассматривается как

«совокупность положительных ценностных и аффективных установок в отношении своей страны, ее народа, не совпадающая с какой-либо конкретной политической организацией... Объектом патриотических чувств, ценностей, политических предпочтений является именно эта общность как таковая, национализм же обращен вовне, в нем главное — противопоставление своей нации другой или другим национально-этническим или национально-государственным общностям, синдром “чужого”, “врага”. Во многих ситуациях грань между патриотизмом и национализмом трудноуловима. Но главным критерием их различия всегда остается наличие или отсутствие враждебного, конфронтационного восприятия других наций» (*Г. Г. Дилigenский*).

Таким образом, в патриотизме сочетается любовь к своей стране, нравственный долг перед ней с любовью к свободе и другим общенациональным ценностям. С этой точки зрения патриотизм можно опреде-

лить как промежуточную позицию между идеологией «крови и почвы», с одной стороны, и абстрактным гуманизмом — с другой. Однако, как резонно отмечает известный британский социолог *Зигмунт Бауман*, «патриотизм, в большей степени постулированный, чем эмпирически данный, — это то, чем мог бы быть национализм (если его укротить, придать ему цивилизованную форму и этически облагородить), но чем он не является. Патриотизм описывают через отрицание наиболее неприятных и позорных черт известных форм национализма». В этой связи он приводит афористичную формулу *Бернарда Яка*: «Национализм — это вызывающий неприязнь патриотизм, а патриотизм — это вызывающий приязнь национализм».

Можно также напомнить, что на протяжении большей части XIX в. в Европе национализм ассоциировался не только с национальным освобождением, но и с прогрессивными и даже радикальными идеологиями. Первыми националистами Нового времени, которые сами называли себя патриотами, были французские якобинцы. Во второй половине XX в. представители левых политических сил в странах «третьего мира» по-прежнему считали национализм движущей силой борьбы за освобождение не только от мирового империализма, но и от других форм социального угнетения. Поэтому следовало бы ценностно «разгрузить» понятие «национализм».

В силу указанных обстоятельств трудно определить место идеологии национализма в партийно-политическом спектре. Действительно,

«...национализм сам по себе не принадлежит ни к левому, ни к правому крылу политического спектра. С точки зрения провозглашения равенства прав всех граждан (членов нации) он может быть отнесен к “левой” идеологии, с точки зрения утверждения вертикальной солидарности и призывов к “исключению” всех иностранцев — к “правой”, — отмечает петербургский социолог *Н. Г. Скворцов*.

Он сочетает с любимыми политическими идеологиями. Б. Андерсон даже полагает, что национализм, как, впрочем, и другие этнические идеологии, скорее может быть соотнесен с религией¹ (поскольку построен на вере в избранность именно своей нации, которая трактуется националистами как «священное сообщество» или «коллективная индивидуальность») или системой родства, нежели с фашизмом и либе-

¹ Как говорит персонаж еще недавно модного интеллектуального детектива: «Что есть вера, как не принятие того, что мы просто не в силах доказать?.. В любой религии Бог описывается через метафоры, аллегории и преувеличения разного рода... Метафора есть не что иное, как способ помочь нашему сознанию принять неприемлемое» (Д. Браун «Код да Винчи»). Не случайно национализм достаточно часто именуют «гражданской религией».

рализмом. Он считает, что «для понимания национализма следует связывать его не с принимаемыми на уровне самосознания политическими идеологиями, а с широкими культурными системами, которые ему предшествовали и из которых — а вместе с тем и в противовес которым — он появился». В связи с этим британский исследователь рассматривает две культурные системы, или два «великих воображаемых сообщества», предшествовавших нации, — это религиозные сообщества и династические государства, во многом определившие разнообразие националистического опыта. «Если нации — это современные образования и главным образом плод трудов и идей рационалистов, то постичь их можно только в контексте определенных традиций, в рамках которых религия играла господствующую роль», — пишет в этой связи Э. Д. Смит.

Тот же Э. Смит выделяет три основных националистических лейтмотива — это требования национальной автономии, национального единства и национальной идентичности, причем один из них может играть в конкретном национализме приоритетную роль (так, в России это национальная идентичность). В то же время концепция идентичности каждой националистической идеологии обычно содержит три принципиальных аспекта. Во-первых, в ней определено, кто является членом нации (нация-согражданство и этнонация). Во-вторых, идеологи национализма стремятся определить «исконные» территориальные границы нации либо по принципу «одно государство — одна нация» (а значит, без включения регионов, где другие нации составляют большинство), либо, согласно имперскому видению нации, с включением земель, населенных иными народами. В-третьих, националистическая идеология указывает, какие именно политические, социальные, экономические и культурные институты больше всего подходят конкретной нации. Комбинация этих трех видов установок и определяет характер данной националистической идеологии: она может быть имперской или неимперской, демократической или авторитарной, либеральной или консервативной, радикально левой или радикально правой.

В работах по теории и истории национализма нередко утверждается, что с либеральной программой совместимы лишь определенные типы национализма («гражданский», а не «этнический»; «включающий», а не «исключающий»; «политический», а не «культурный»; «территориальный», а не «лингвистический» и т.д.). Как правило, все эти классификации отличаются четкой географической привязкой и постулируют возможность развития либеральных версий национализма преимущественно в странах «первичной» модернизации (смотри, например, работы Г. Кона, Х. Сетона-Уотсона, Л. Гринфилд и др.). Кроме того, национализм постоянно переживает серьезные трансформации:

«Когда-то национализм способствовал личной свободе и счастью, теперь он подрывает их и подчиняет целям своего собственного существования, которое уже не представляется оправданным. Когда-то великая жизненная сила, ускорившая развитие человечества, теперь он может стать серьезной угрозой на пути гуманности», — отмечал, в частности, Г. Кон, фиксируя эту историческую эволюцию национализма.

Именно поэтому большинство исследователей фиксируют изменчивость исторических форм и политической роли национализма в типологиях. Так, американский исследователь *Луис Снайдер* различает четыре типа национализма:

1. **Интегрирующий** национализм (1815—1871). В этот период национализм представляет собой объединяющую силу, которая способствовала консолидации феодально-раздробленных народов (Германия, Италия).
2. **Разъединяющий** национализм (1871—1890). Успехи национализма в деле объединения Германии и Италии стимулировали борьбу за национальную независимость народов, входящих в Османскую, Австро-Венгерскую и другие империи, что привело к их распаду.
3. **Агрессивный** национализм (1900—1945). В этот период национализм становится идентичным империализму и повинен в двух мировых войнах.
4. **Современный** национализм (1945—...). Новый национализм заявил о себе главным образом путем антиколониальных революций. Этот период отмечен распространением национализма в глобальном масштабе.

Спустя тридцать лет американский политолог *Джек Снайдер* также выделил четыре типа национализма: **гражданский, революционный, контрреволюционный и этнический**.

В качестве модели «гражданского национализма» он рассматривает британский национализм XVIII и XIX столетий, обеспечивший, по его мнению, относительно спокойный характер исторической эволюции страны.

Остальные три типа в большей или меньшей степени чреватые общественной дестабилизацией, поскольку служат интересам элит, желающих под прикрытием националистической риторики добиваться своих собственных, не имеющих ничего общего с демократизацией целей в борьбе за власть и ресурсы.

Примером «революционного национализма» Снайдер считает тот его вариант, который возобладали во Франции после 1789 г. Попытки различных политических группировок, объявивших себя выразителя-

ми национальных интересов французского народа, взять в свои руки власть в стране, охваченной движением к свободе, открыли путь Наполеону и дали в конечном итоге толчок череде потрясших Европу войн.

Модель «контрреволюционного национализма» нашла воплощение в Германии — первый раз в конце XIX в., а затем в нацистский период. Здесь политические силы, находившиеся у власти, возбуждая шовинистические предрассудки массового сознания и спекулируя на общих ценностях германской культуры и истории, на мифе кровного родства, стремились таким образом воспрепятствовать развитию либеральной демократии и спровоцировали новую серию европейских сражений и две мировые войны.

Классическим проявлением «этнического национализма» Снайдер считает сербский национализм второй половины XIX в.

Для современности также характерны эти четыре типа национализма. Так, тип «революционного национализма» позволяет лучше понять особенности современного развития Ирана, тогда как использование модели «контрреволюционного национализма» позволяет, по мнению Снайдера, более адекватно прогнозировать будущее Китая.

Вместе с тем, отмечает Снайдер, данные типы национализма не всегда существуют в чистом виде, зачастую порождая «гибридные модели». Так, французский национализм в период бонапартистской диктатуры эволюционировал от гражданско-революционной к псевдогражданской контрреволюционной модели. Довольно часто встречается сочетание этнического и контрреволюционного типов национализма. Таковым, по Снайдеру, был сербский национализм при Милошевиче, равно как и некоторые другие «посткоммунистические национализмы».

Более того, по его мнению, современные попытки демократического транзита могут создать благоприятные условия для активизации национализма и этнических конфликтов, которые не только увеличивают «издержки транзита», но и способны надолго направить политическую активность масс в антидемократическое русло и омрачить горизонты международной политики угрозами войн.

Британский историк и политолог Э. Хобсбаум также дает свою типологию развития национализма:

Первый этап. Либеральный, или территориальный, национализм (1789–1870).

Второй этап. Лингвистический, или культурный, национализм (1870–1918).

Третий этап. Пик национализма, или этнический (расовый) национализм (1918–1950).

Четвертый этап. Современный национализм (1950– ...).

Многие исследователи утверждают, что современный национализм — это идеология, апеллирующая к традиции и потому утратившая связь с идеями национального освобождения и социального прогресса. Действительно, современные националисты часто утверждают, что общность, которой кто-либо угрожает, может выжить и даже обрести свою государственность только за счет опоры на свои культурные корни и осознания своей культурной непрерывности. Однако «там, где национализм не выступает средством преодоления традиции, — отмечает П. Кандель, — а, напротив, опирается на нее, его консолидирующая и мобилизующая функции оказываются подчинены целям, далеким от модернизации или вовсе им противоположным». По мнению некоторых авторов, сегодня идеология национализма вполне может быть определена как «...инструмент (символический) в руках правящих классов в обществах, которым угрожает экономическое или политическое разложение».

Однако национализм по-прежнему является главным способом организации идентичности в современном мире, ибо он дает ответ на вопрос о том, что конституирует политическое сообщество (во-первых, этническое происхождение и культурная общность; во-вторых, гражданство и принадлежность к определенному государству).

«Национализм, — пишет известный американский социолог *Иммануил Валлерстайн*, — возможно, является основной статусной идентичностью, поддерживающей современную миросистему, которая в свою очередь опирается на структуру суверенных государств... Если посмотреть повнимательнее, то национализм характерен не только для слабых государств. На самом деле национализм наиболее силен в самых богатых странах, хотя публично к нему взывают гораздо реже, чем в странах послабее».

Более того, как отмечает американский политолог *Крейг Калхун*, «...критики национализма не видят, насколько порожденные им категории существенны как для политической и социальной теории, так и для практических рассуждений о демократии, политической легитимности и природе самого общества». Само устойчивое существование государства невозможно без националистического дискурса, а тотальный отказ от национализма, утверждает *Саймон Дюринг*, ведет к отказу от эффективного политического действия. Таким образом, национализм может быть полезен и может быть опасен, все зависит от ситуации, от того, кто и как формирует и каким содержанием наполняет, для чего использует и насколько уверенно держит под контролем националистические настроения.

Глава 10

ПРОБЛЕМЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ТРАНЗИТА В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

1. «Третья волна демократизации» и структурные (социально-экономические, политические, культурные) предпосылки перехода к демократии
 2. Демократический транзит и типологии переходных политических систем
 3. Элитистские теории демократического транзита
 4. Институциональный подход в транзитологии
-

§ 1. «Третья волна демократизации» и структурные (социально-экономические, политические, культурные) предпосылки перехода к демократии

С середины 1970-х годов стал набирать силу глобальный процесс крушения антидемократических режимов, охвативший практически все континенты и регионы земного шара. Этот процесс *С. Хантингтон* назвал «третьей волной демократизации». Волна демократизации, по Хантингтону, — это группа переходов от недемократических режимов к демократическим, происходящих в определенный период времени, количество которых значительно превышает количество переходов в противоположном направлении в данный период. К этой волне обычно относится также либерализация или частичная демократизация в тех политических системах, которые не становятся полностью демократическими. «Первая волна демократизации», по его мнению, охватывала период более чем в сто лет — с 1820-го по 1926 г. — и коснулась многих стран Европейского и Американского континентов. Важнейшими факторами возникновения демократических систем в этот исторический период *С. Хантингтон* считает следующие: во-первых, не менее 50% взрослых мужчин обладают правом голоса; во-вторых, существует

ответственная исполнительная власть, которая или утверждается поддержкой большинства в избранных законодательных собраниях, или избирается в ходе регулярных выборов. «Первая волна демократизации» привела к становлению 29 демократий, характеризующихся парламентаризмом, конкурентной многопартийной системой и широким избирательным правом.

Однако с 1926 г. — года окончательного утверждения фашистской диктатуры Муссолини в Италии, начинается возвратная, или «реверсивная», волна, характеризующаяся сокращением числа демократий и увеличением числа тоталитарных и авторитарных политических режимов.

С 1942 г., т.е. с переломного момента во Второй мировой войне, начинается «вторая волна демократизации», продолжавшаяся, по мнению Хантингтона, до 1962 г. Дополнительный толчок «второй волне демократизации» был придан процессом деколонизации, набравшим силу в 1950-х — начале 1960-х годов. Затем вновь следует откат, ознаменованный длинной цепью военных переворотов в латиноамериканских, азиатских, африканских и даже европейских (Греция, 1967 г.) странах. Особенно оглушительным был провал процессов демократизации в Африке, где только Ботсване удалось сохранить демократическое устройство. Другие 33 африканских государства, получив независимость между 1956 и 1970 гг., пришли к авторитаризму сразу или почти сразу после ее получения. «Третья волна демократизации» начинается с демократических перемен сначала в странах Южной Европы (Португалия — 1974, Греция — 1974, Испания — 1975 г.), а затем в странах Латинской Америки и Восточной Азии.

Кульминацией «третьей волны демократизации» стало крушение на рубеже 1980—1990-х годов казавшихся незыблемыми коммунистических режимов в Советском Союзе и странах Центральной и Восточной Европы.

С середины 1970-х годов число государств, определявшихся (по выше сформулированным признакам) как демократические, выросло втрое. Если в 1974 г. всего 39 стран (т.е. 27% всех независимых государств) удовлетворяли критериям «процедурной демократии», то к началу 1996 г., по оценке «*Фридом Хаус*», их стало уже 117 (соответственно 61% стран мира). Эти радикальные изменения на политической карте мира сказались на подходе компаративистов к анализу форм современной демократии; понадобилась существенная корректировка представлений о ее многообразных проявлениях.

Если ранее компаративисты изучали подтипы демократических систем преимущественно на материале различий между зрелыми и стабильными либеральными демократиями, то поставоритарные транс-

формации «третьей волны демократизации» породили множество новых политических режимов и выдвинули на первый план две задачи:

- 1) выявления социально-экономических, политических и иных предпосылок перехода к демократии, а также предпосылок стабильного существования и воспроизводства демократического режима;
- 2) изучения демократического транзита и типологизации переходных политических систем еще не утвердившихся демократий, находящихся в процессе становления, и так называемых гибридных режимов.

При этом изучение проблем демократизации и переходов к демократии в сравнительной политологии осуществляется в рамках транзитологического подхода, который возник в результате «неоинституционального поворота» 1980—1990-х годов и экспансии теории рационального выбора из экономической науки в политологию и социальную теорию. Исследования процессов демократических транзитов прежде всего сфокусированы вокруг ответа на самый важный вопрос: почему одни политические режимы успешно трансформируются в конкурентные либеральные демократии, а другие нет?

В современной литературе вывод о взаимосвязи уровня экономического развития и политического режима был наиболее четко и последовательно обоснован *С. М. Липсетом* еще в конце 1950-х годов. В дальнейшем для большинства исследователей аксиоматичным становится утверждение, что «уровень экономического развития оказывает выдающееся воздействие на политическую демократию», а «валовой национальный продукт является главным объясняющим фактором» (*Л. А. Боллен, Р. В. Джекман*). Поэтому сегодня вопрос о влиянии уровня социально-экономического развития страны на осуществление или неосуществление в ней процессов демократизации имеет однозначный ответ для большинства ученых. Иными словами, речь идет об утверждении, что при достижении страной определенного экономического уровня в ней формируются предпосылки демократизации политической системы¹. Исследованы и механизмы такой корреляции.

¹ Р. Даль отмечает также неразрывную связь политической демократии с рыночной экономикой, в частности он пишет: «К концу XX века выявилась следующая закономерность: не во всех странах с рыночной экономикой установлена демократическая форма правления, но во всех странах с демократической формой правления действует рыночная экономика». По его мнению, демократия и рыночный капитализм неизбежно сосуществуют в некоем «антагонистическом симбиозе». В то же время он замечает: «...рыночные экономики необходимы для существования демократических институтов, хотя только их недостаточно».

Во-первых, существенные изменения в экономической динамике стран с авторитарными политическими режимами: экономический кризис приводит к резкому торможению роста благосостояния, что подрывает «общественный договор» между правительством и населением, базирующийся на «обеспечении быстрого роста в обмен на согласие на ограничение политического участия». В то же время значительное ускорение экономического роста, ведущее к резким сдвигам в социальной и экономической структуре страны, может дестабилизировать существующую политическую систему.

Во-вторых, сам по себе высокий уровень экономического развития, даже без резкого изменения темпа его роста, обуславливает не только количественные, но и качественные изменения в социальной структуре данного общества. Так, он ведет к урбанизации социума, а также к росту уровня образования и культуры населения, развитию коммуникационных процессов, что в свою очередь обуславливает усиление влияния мирового политического опыта на взгляды и позиции широких масс, значительные категории которых постепенно оформляются в национальный «средний класс».

В связи с этим и возникает вопрос о том, существуют ли индикаторы, которые свидетельствовали бы о наличии в стране объективных предпосылок, делающих демократизацию вероятной.

Первым таким показателем может быть назван *ВНП/ВВП на душу населения*. Этот индикатор подробно анализируется многими авторами, в частности С. Хантингтон рассмотрел эти вопросы применительно к «третьей волне демократизации». Его рассуждения строятся на фундаменте очевидного рассуждения, согласно которому существование «корреляции между богатством и демократией предполагает, что демократия должна возникать преимущественно в странах со средним уровнем экономического развития. В бедных странах демократизация маловероятна; в богатых она уже существует». В качестве индикатора «готовности к демократии» С. Хантингтон использует показатель ВНП на душу населения. Определенный уровень этого показателя задает «зону перехода», которая, по мнению американского исследователя, составляет 1000–3000 долл. США (в ценах 1976 г.). Если же размер ВВП на душу населения превышает 8 тыс. долл., а уровень безработицы в стране не выше 3%, то это является гарантией того, что опасность антидемократического переворота практически сведена к нулю.

Из этого правила автор выводит одно исключение структурного характера: оно не распространяется на страны, живущие преимущественно за счет доходов от экспорта нефти. Это очень важное замечание,

поскольку оно приоткрывает покров тайны взаимодействия уровня экономического развития и политического режима. В более развитом обществе более развитой, диверсифицированной является и налоговая система, потому стабильность режима все больше начинает зависеть от готовности населения платить налоги. Диверсифицированность налоговой системы означает уменьшение возможностей прямого бюрократического контроля за уплатой налогов всех видов и, следовательно, предполагает возрастающую готовность граждан воспринимать себя как налогоплательщиков, имеющих договор с властью, а не как подданных, выполняющих повинность перед ней. Когда же в госбюджете доминируют нефтяные (или иные связанные с сырьевым экспортом) деньги, налоговая система оказывается весьма простой и доступной для государственного контроля, не требующей общественного одобрения. «Нефтяные доходы... усиливают власть государственной бюрократии, и поскольку они сокращают или вовсе отменяют потребность в налогах, они также сокращают потребность правительства в получении одобрения налогов со стороны подданных». В результате углубляется разрыв между бюрократией и обществом, но до поры стабильности режима это может и не вредить. Поскольку «чем ниже уровень налогов, тем меньше у населения причин требовать представительства». Тезис «нет налогов без представительства» являлся политическим лозунгом (американской революции), тогда как тезис «нет представительства без налогов» отражает политические реалии» (авторитаризма). Другое дело, что кризис бюджета, основанного на таких сырьевых ресурсах, может привести к краху всей системы, когда та перестает выполнять обязательства перед населением.

Отметим, что СССР пострадал от сдвигов именно такого рода. Сначала мировой энергетический кризис 1970-х годов и вызванный им нефтяной бум позволили власти обеспечить определенное повышение уровня жизни населения за счет притока «нефтедолларов». Когда же на рубеже 1970–1980-х годов реальные темпы экономического роста в Советском Союзе сократились по сравнению с шестидесятью годами более чем вдвое, а в середине 1980-х произошло падение мировых цен на нефть в результате расширения нефтедобычи арабскими государствами, разразился кризис советской финансовой системы и начался опасный рост внешней задолженности. В результате разрушилось экономическое основание общественного договора «благополучие в обмен на стабильность». Тем более что примерно в это же время закончился период «разрядки международной напряженности» и Советский Союз был втянут новой американской администрацией Р. Рейгана в очередной виток гонки вооружений, для которого у страны уже не было достаточных ресур-

сов. Бессмысленная десятилетняя война в Афганистане, унесшая тысячи жизней и стоившая стране многие миллиарды рублей, дополнительно истощала советскую экономику, способствуя ее деградации.

Однако в начале нового века мы снова «наступили на эти же грабли». Как грустно шутят сегодня: «При низких ценах на нефть Россия — сырьевой придаток развитого мира, при высоких — энергетическая сверхдержава». Даже в условиях нынешнего глобального экономического кризиса топливно-энергетический комплекс РФ, по данным Президента Д. А. Медведева, дает более трети ВВП страны и 40% налоговых и таможенных поступлений в государственный бюджет.

Помимо исследования корреляции демократии с ВВП на душу населения, предпринимались и другие попытки выявления социально-экономического индикатора, который позволял бы прогнозировать сдвиги демократического характера. Были проведены исследования с использованием «индекса человеческого развития», введенного Программой развития ООН в 1990 г., который включает в себя экономические и социально-культурные параметры (обеспечение прав человека, уровень и продолжительность жизни населения, процент грамотного населения и продолжительность общего курса образования, меры по распределению и перераспределению доходов в зависимости от пола, состояния здоровья и уровня образования и др.).

Корреляция оказалась при этом весьма существенной (0,71), превышающей корреляцию с ВВП на душу населения, что объяснимо, поскольку уровень человеческого развития «является интегрированным показателем, отражающим разнообразные аспекты человеческого развития и благосостояния, которые весьма близко ассоциируются с демократией», тогда как «душевой национальный доход является лишь одной из переменных, которая может надежно и устойчиво предсказывать уровень демократии».

Однако у ВВП на душу населения есть и преимущество перед индексом человеческого развития. Измерения с помощью индекса ООН производятся сравнительно недавно, и потому его можно использовать только в ограниченных временных рамках. Кроме того, вопрос о методике его формирования остается дискуссионным, в то время как ВВП на душу населения является ежегодным интегральным (экономическим и социальным) индикатором с достаточно отработанной методикой расчета и приведения его к сопоставимому по странам виду.

Исследователи отмечают очевидную связь между индексами демократии и различными показателями уровня социально-экономического развития — среднедушевым ВВП, индексом человеческого развития,

а также *индексом экономической свободы*, хотя формально методология определения соответствующих индикаторов различна.

В литературе осуществляются и другие попытки построения искусственных индикаторов, которые более полно несли бы в себе различные характеристики общества, существенные с точки зрения перспектив демократизации, поскольку структурными предпосылками демократии, наряду с относительно высоким **уровнем социально-экономического развития**, считают также обретение **национального единства** и соответствующей идентичности, наличие эффективных **институтов гражданского общества**, массовое распространение таких **культурных норм**, которые предполагают признание демократических принципов, доверие к основным политическим институтам, межличностное доверие, чувство гражданственности и др.

Один из примеров такого рода — набор характеристик государства (индексов) американской неправительственной организации «*Freedom House*» (*Нью-Йорк*), ежегодно исчисляемых и публикуемых с начала 1970-х годов.

«Фридом Хаус» оценивает поведение властей во всем мире, прежде всего, по двум важнейшим критериям: политические права и гражданские свободы. Приведем полный их перечень: Лидер государства и законодатели избраны в ходе всеобщих выборов. Закон о выборах и предвыборная практика обеспечивают равные возможности кандидатов во время избирательной кампании. Партии создаются без всяких препятствий. Политическая система приспособлена как к победе одной из этих партий, так и к ее поражению в результате конкуренции. Граждане свободны от давления со стороны влиятельных политических групп (военных, религиозных и др.), экономической олигархии или какой-либо одной партии. Меньшинства (культурные, этнические, религиозные и иные) имеют право на самоопределение в рамках целостного государства. Власть децентрализована. Местная администрация избирается на свободных выборах. Соблюдаются фундаментальные гражданские свободы (самовыражения, совести, демонстраций, передвижения и др.), равно как свободный доступ к беспристрастному правосудию, уважительность к индивиду со стороны служб безопасности, защита от политического террора, незаконного заключения в тюрьму, ссылки, пыток. Государство, стремящееся к «идеалу», обязано обеспечить свободу предпринимательской и кооперативной деятельности, соблюдение права собственности, права на труд и образование. Никто не может помешать индивиду вступить в брак и расторгнуть его; планирование семьи — частное дело супругов. Государство обязано бороться с коррупцией, ограждать индивида от бюрократии, а также от войн, мятежей и всякой иной смуты.

Каждое из этих измерений оценивается по шкале от 1 (максимум) до 10 (минимум). Соответствие государства этим критериям свидетельству-

ет о том, что оно максимально приблизилось к идеалам свободного общества (1 балл — наивысшая оценка). По результатам подсчета страны мира классифицируются по трем группам: «свободные», «частично свободные» и «несвободные». «Фридом Хаус», собирает данные по ряду источников, включая прессу, неправительственные организации, аналитические работы ученых, иногда проводит полевые социологические исследования. Согласно данным «Фридом Хаус», Россия в 2004 г. перешла в число несвободных государств с баллом 5,25 и с тех пор только ухудшает результат: 5,86 в 2007 г., 5,96 в 2008 г. В 2009 г. балл России — 6,11.

Еще один пример — интегрированный индекс финского политолога *Т. Ванханена*, который кладет в его основу такие характеристики, как соотношение городского и сельского населения, степень диверсификации собственности, грамотность населения, уровень развития высшего образования и др. По Ванханену, более простой «индекс демократизации» вычисляется путем деления на сто произведения «соревновательности» и «участия», где первая переменная — это процент голосов, отданных за потерпевшие поражение партии на президентских или парламентских выборах, вторая переменная — процентная доля избирателей, принявших участие в выборах, от всего населения страны. При этом исключаются страны, по первому показателю не набирающие 30%, а по второму — 10%. Для остальных «индекс демократизации» должен быть не ниже 5.

Усредненные по декадам результаты подсчетов *Т. Ванханена* представлены в табл. 6 (следует учитывать, что исследователь оставил «за скобками» микросоюдаства с населением менее 500 тыс. человек) и позволяют наглядно представить размах «третьей волны демократизации».

Таблица 6

Доля демократических и авторитарных режимов в мире по десятилетиям и в 1994 г.

Годы	Число демократических режимов	Число авторитарных режимов	Всего режимов	Процент демократических режимов
1850–1859	1	36	37	3
1860–1869	2	37	39	5
1870–1879	3	38	41	7
1880–1889	4	38	42	10
1890–1899	6	37	43	14
1900–1909	8	40	48	17
1910–1919	15	36	51	29

Окончание табл. 6

Годы	Число демократических режимов	Число авторитарных режимов	Всего режимов	Процент демократических режимов
1920–1929	22	42	64	34
1930–1939	19	46	65	29
1940–1949	25	50	75	33
1950–1959	36	51	87	41
1960–1969	40	79	119	34
1970–1979	37	84	121	31
1994	98	55	153	64

Источник: Голосов Г. Сравнительная политология. М.; СПб., 2001.

При этом Т. Ванханен утверждает, что ключевым фактором демократизации является углубление диверсификации контроля над редкими ресурсами — как материальными (прежде всего собственностью), так и духовными (отсюда особая роль системы образования). Тем самым повышение уровня диверсификации контроля становится важнейшим индикатором приближающегося краха авторитарной системы.

«Демократия, — пишет Т. Ванханен, — это правление многих, автократия — это правление нескольких. Концентрация властных ресурсов ведет к автократии, распределение ресурсов власти ведет к демократии. Можно выдвинуть гипотезу: демократия возникает при том условии, когда ресурсы, необходимые для осуществления власти, распространены в обществе настолько широко, что ни одна группа более не способна подавлять конкурентов и тем самым обеспечивать свою гегемонию».

Близки к этой позиции и взгляды М. Олсона, по мнению которого

«автократия оказывается отброшенной, и демократия утверждается в истории тогда, когда почему-либо возникает патовая ситуация в балансе власти, т.е. складывается такое распределение сил и ресурсов, которое делает невозможным для одного из лидеров или группы оказаться более мощной, чем все остальные». Развивая эту мысль, М. Олсон писал далее: «Если данная теория верна, тогда верными являются и исследования, согласно которым демократия возникает в определенных исторических условиях и при таком распределении ресурсов, которое делает невозможным присвоение власти каким-то одним лидером или группой».

В начале нового века российскими учеными из МГИМО-У предпринята попытка создания системы комплексных индексов институ-

циональных основ демократии в рамках проекта «Политический атлас современности». Методологически они исходили из того, что существует множественность измерений в сравнительном анализе государств. В результате были разработаны пять комплексных индексов, дающих возможность осуществления количественных замеров и сравнений:

- 1) государственности;
- 2) внешних и внутренних угроз;
- 3) потенциала международного влияния;
- 4) качества жизни;
- 5) национальных основ демократии.

Измерения, осуществленные с использованием этих индексов, достаточно слабо коррелируют с западными.

В целом же современная политическая наука связывает процесс демократизации с определенным уровнем социально-экономического развития и национального единства, наличием институтов гражданского общества и массовым распространением демократических норм и ценностей, а диверсификация контроля над редкими ресурсами формирует механизм, который обеспечивает трансформацию уровня экономического развития в новую политическую форму, каковой является либеральная демократия.

1. Национальное единство и демократия. Еще в XIX в. Дж. Ст. Милль был убежден в том, что «свободные установления почти невозможны в стране, состоящей из различных национальностей». События XX в. достаточно убедительно подтвердили это, и потому сегодня общепризнано, что в странах, население которых разделено по этническим, племенным, религиозным или клановым признакам, демократизация происходит с большими трудностями. Действительно, «отец транзитологии» Д. Растоу называет **национальное единство** «единственным предварительным условием демократии», имея в виду, что границы государства должны быть устойчивыми, состав граждан государства должен быть постоянным, у значительного числа граждан потенциальной демократии не должно быть сомнений в том, к какой именно политической системе они принадлежат, и, наконец, национальное единство должно признаваться как бы на бессознательном уровне. Так, острые этнонациональные разногласия, ведущие к возникновению различных форм национализма и подъему националистических движений, не позволяют достичь демократии в данных общественных условиях.

Тем не менее даже в развитых демократиях могут сохраняться нерешенные национальные проблемы — например, Страны Басков и Каталонии для Испании, Корсики для Франции, Квебека для Канады, Се-

верной Ирландии и Шотландии для Великобритании и т.д. Правда, в большинстве случаев они либо локализованы и не ставят под угрозу территориальную целостность государства и общенациональную идентичность, либо для их решения стороны не применяют насильственные методы в массовом порядке, а опираются на демократические институты и методы разрешения конфликтов (референдум). Однако и в таких обстоятельствах этнонационализм, особенно в острых формах, порожаемый нерешенностью проблем национального и территориального единства и идентичности, несовместим с демократией.

Но в особенности это относится к только начинающим демократизацию странам, в которых данный процесс может не просто застопориться, но и быть кардинально деформированным в силу несовместимого с демократией систематического притеснения каких-либо этнических меньшинств или даже построения, пусть под прикрытием демократической риторики, этнократических государств (многие страны СНГ). При этом ни один из порожденных национализмом конфликтов в посткоммунистическом мире не был, по мнению Д. Снайдера, логическим следствием длительной культурной вражды или военной необходимости. Они возникали в результате использования политическими элитами националистических лозунгов для обретения массовой поддержки на «начальном этапе демократизации, когда институты, регулирующие политическое участие, находились еще в зачаточном состоянии». По мнению Д. Снайдера, вероятность возникновения националистических конфликтов в результате демократизации особенно велика в тех случаях, когда элиты воспринимают быстрые политические перемены как угрозу собственному положению, когда расширение политического участия масс предшествует созданию институциональных структур гражданского общества и когда массовая политическая мобилизация осуществляется на основе дискриминации по этническим признакам. В свою очередь к факторам, которые препятствуют возникновению этнических конфликтов, он относит политику элит, направленную на создание и укрепление либеральных институтов, а также формирование «гражданского национализма». Причем второй фактор способствует успеху демократических трансформаций даже при слабых либеральных институтах. Как представляется, в Восточной Европе национализм не является средством преодоления традиций, а, напротив, всячески старается опереться на них. Поэтому его консолидирующий и мобилизационный потенциал подчинен целям, далеким от модернизации или даже враждебным им.

Символически в этой связи практический вывод Снайдера: вместо того чтобы неосмотрительно подталкивать «сомнительные страны» к скорейшему внедрению атрибутов «электоральной демократии» и «свобо-

ды прессы», международному сообществу следует проводить более осторожную и опосредованную политику, преследуя прежде всего долгосрочные цели — создания социально-экономических условий либерализации и институциональных предпосылок гражданской демократии, что отодвигает мечту о глобальной демократизации и «конце истории» в неопределенно далекое завтра. Однако некоторые исследователи (*С. Фиш, М. Макфол*) ставят под сомнение универсальность этой структурной предпосылки.

2. Демократия и уровень экономического развития. Корреляции между демократией и уровнем социально-экономической модернизации общества сегодня также вызывают немало сомнений.

В теории поставлен закономерный вопрос: правомерно ли вообще трактовать демократию в духе экономического детерминизма — как прямое следствие определенных социально-экономических условий? В такое понимание генезиса демократии не вписываются определенные факты. Не всегда высокий уровень экономического развития и массовый средний класс гарантировали устойчивость и консолидацию демократии (Веймарская Германия). Известны и сегодня недемократические режимы с высоким уровнем экономического развития (Сингапур, Тайвань, Таиланд). Между тем Индия, страна с вполне устойчивыми демократическими институтами, продолжает оставаться одной из беднейших стран мира.

Исследователи трансформаций в Центральной и Восточной Европе могли усмотреть сильную причинную связь между двумя переменными: между достижением определенного уровня экономического развития и происходящими изменениями в руководстве и политическом курсе в европейских социалистических странах на рубеже 1980—1990-х годов, хотя в действительности ее не существовало, потому что некоторые или все страны этого региона находились под общим для них военно-политическим влиянием другой страны — СССР. И начало «бархатных» и не очень революций здесь скорее связано не с проблемой уровня экономического развития, а с вопросом: «Введет или нет Советский Союз танки?»

Правда, исследователи заметили иную зависимость. Экономический спад в ходе трансформаций 1990-х годов пережили все страны Центральной и Восточной Европы, но его глубина варьировалась в зависимости от доли предприятий, созданных в «коммунистический» период, в валовом национальном доходе. Секторам экономики, сложившимся до Второй мировой войны в расчете на мировой рынок, оказалось легче перестроиться в условиях конкуренции, чем промышленным «гигантам социализма», построенным исключительно для нужд экономики стран советского блока. Чехия, Венгрия и Польша, доля промышленности в националь-

ном доходе которых за 1940–1980-е годы увеличилась соответственно на 7,3; 11,3 и 14,3%, в 1994 г. демонстрировали промышленный спад в 8,9–19%. В то же время в Болгарии, Румынии и Словакии — странах, в которых до войны уровень промышленного развития был низким, а при социализме благодаря индустриализации доля промышленности в ВВП возросла соответственно на 32,6; 28,7 и 25,9%, спад достигал от 22,1 до 27,7%. Соответственно варьируются и уровень адаптации политической культуры, и степень остроты этнических проблем.

Эмпирические исследования *А. Пиеворского* и других показывают, что прямой зависимости между демократизацией и уровнем экономического развития нет:

«Утверждение, что демократия не имеет шансов удержаться в ситуации, когда не приносит позитивных результатов в экономической сфере, нельзя трактовать как безусловно обязательный объективный закон, — отмечает исследователь. — Демократизация не является непосредственным продуктом экономической модернизации и может начаться и в экономически неразвитых обществах, хотя более высокая степень экономического развития, несомненно, дает больше шансов для утверждения демократии».

Опыт «третьей волны демократизации» свидетельствует, что основная угроза новым демократиям связана с низким уровнем их эффективности¹. Как правило, новые правительства оказываются не в состоянии решать в сжатые сроки острые экономические и социальные проблемы, вызвавшие ранее смену режимов, и добиться роста уровня жизни населения, вследствие чего они теряют доверие граждан, а демократические институты утрачивают легитимность. Так, по данным исследования «Барометр новых демократий», в первой половине 2000-х годов во всех постсоветских странах (за исключением государств Балтии) советская политическая система оказывалась для респондентов предпочтительнее ныне существующей политической и экономической системы. Армения, Грузия, Кыргызстан и Молдова наиболее позитивно оценили прошлое. В Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине меньше всего надежд на будущее. В России 47% позитивно оценили советскую политическую систему и лишь 20% позитивно оценили будущее. В Грузии 75% выразили позитивное мнение о советском прошлом и лишь 13,8% так же думали о будущем. В результате возникает своего рода порочный круг: низкая легитимность формально демократической системы вытекает из неэффективности политических решений, прини-

¹ Под эффективностью управления Р. Даль понимает «действия правительства, которые направлены на решение проблем, являющихся для граждан самыми главными, и которые воспринимаются гражданами как своевременные и уместные».

маемых руководством страны, а нелегитимность правления не позволяет властям действовать эффективно, избегая популизма (*С. Лунсет*). Решение этой проблемы исследователи связывают с развитием в обществе демократической политической культуры.

3. Демократия и политическая культура. Как отмечал *Р. Даль*: «Возникновение и живучесть демократического правления среди группы людей определенным образом зависит от их убеждений». *Р. Инглхарт* выражает эту идею еще более определенно: «Эволюция и выживаемость массовой демократии предполагают появление некоторых поддерживающих ее привычек и ориентаций среди широкой общественности», таких как: межличностное доверие (то, что *А. Киришман* называл «моральным капиталом»), поддержка демократических институтов, признание индивидуальных прав и свобод, политическая терпимость, чувство индивидуальной политической «эффективности», политическое участие и т.д., т.е. распространение ценностей и установок, которые ассоциируются с политической культурой гражданственности.

Как представляется, большинство граждан бывших социалистических стран и сегодня убеждены, что они не могут воздействовать на принимаемые властями решения и разбираться в хитросплетениях политики и государственных дел (польский социолог Ст. Оссовский назвал этот феномен «синдромом лилипута»). Это означает, что в сознании этого большинства отсутствует одна из важнейших составляющих «гражданской культуры», лежащая в основании заинтересованного отношения граждан к политике в стабильных демократиях, — чувство «политической компетентности». Следовательно, десятилетнее функционирование в них формально демократических институтов (регулярных выборов органов власти всех уровней, многопартийной системы, свободы слова и плюрализма СМИ) не привело к сколько-нибудь заметному распространению политической культуры участия, являющейся обязательным признаком демократии и развитого гражданского общества. Похоже, многие страны Восточной Европы по-прежнему «демократии без демократов», а человек как не был субъектом политики, так и не видит себя в этой роли при нынешнем режиме, тем более что идеальный образ государства сохраняет ярко выраженные патерналистские черты.

Этот вывод подтверждает сравнительное исследование связи экстер-нальности¹ с личностными особенностями граждан в двух культурах:

¹ *Экстернальность* — психологическая характеристика человека — «экстернала», который ищет причины собственного успеха или неудачи во внешних обстоятельствах, в том числе в особенностях качеств других людей, в отличие от «интернала», видящего причины личных успехов и неудач в собственных действиях.

немецкой (в исследовании участвовали 1200 человек) и русскоязычной (600 человек). У русскоязычных участников обследования в отличие от немцев было обнаружено сочетание экстернальности с низким самоконтролем и ориентацией на группу, что означает «...пассивное ожидание изменений во внешнем мире как основу надежды на лучшее будущее. По существу, пишет один из руководителей исследования, это означает готовность к приходу харизматического лидера и созданию нового харизматического мифа взамен утраченных старых».

По данным исследования «Барометр новых демократий», почти во всех постсоветских странах после «десятилетия перемен» крайне низок уровень веры в то, что мнение простых граждан влияет на правительства. Лишь 6–10% опрошенных считают, что у них есть по меньшей мере «некоторое» влияние в вопросах такого рода, 80–90% и более думают, что у них мало влияния или чаще — совсем его нет (67% русских респондентов и 69% украинских). Ощущение беспомощности в отношениях с властью в бывших советских республиках много выше, чем в странах Запада. В Украине и России лишь 8–9% думают, что имеют, как минимум, «некоторую» возможность влиять на правительства, которые выступают от их имени. В Соединенном Королевстве 25% считают, что «как-то влияют» на решения правительства, а в США уже 50% думают, что у них есть некоторое влияние такого рода... Исследование ясно показывает, что русские и другие не только скептически относятся к своей способности влиять на нынешние власти. Они также считают, что сейчас у них *меньше* влияния на власти, чем в советское время, что власти *менее* честны и справедливы к своим гражданам и что граждане *менее* защищены от возможности несправедливого, незаконного ареста. Представляется также вероятным, что конец власти коммунистов среди прочего лишил простых граждан одного из средств политического влияния, ранее имевшегося у них: больше нет органа (правлящей партии. — *Прим. авт.*), к которому они могли бы апеллировать через головы местных чиновников, органа, который мог бы помочь им в решении личных проблем.

Исследователями давно замечена еще одна корреляция. Демократия исторически рождалась прежде всего в протестантских странах, а ее распространение уже в католическом мире было непростым делом. Сегодня же еще не доказано, что демократия может прочно укорениться в православном, мусульманском и конфуцианском мирах. Буддизм же, по мнению некоторых исследователей (*В. М. Сергеев* и др.), имеет ряд функциональных параллелей с «протестантской этикой», которые способствуют демократическому транзиту в «неклассических» культурно-ценностных условиях, однако это требует дополнительных эмпириче-

ских исследований. Эта корреляция в целом подтверждается на сравнительном материале транзитов в Восточной Европе.

Однако наличие таких корреляций — совсем не то же самое, что предварительные структурные условия, без которых было бы невозможно начинать процесс демократического перехода. Во-первых, установленные корреляции указывают не на обязательные предпосылки, а лишь на факторы, благоприятствующие демократизации либо затрудняющие ее. Во-вторых, то, что некоторые считают предпосылками демократии, в реальности может оказаться результатами самого процесса демократизации, «демократия часто сама создает демократов, а не наоборот» (С. Фиш).

В частности, практика демократических транзитов «третьей волны» показала, что обвалы недемократических режимов и попытки строительства новых заимствованных демократических институтов напрямую не связаны с наличием массового распространения каких-либо демократических ценностей и ориентаций. В частности, А. Пшеворский, отвечая на вопрос: «Почему происходит падение авторитарных режимов?», отмечает, что это происходит, помимо всего прочего, тогда, когда утрачивается легитимность режима, когда появляются конфликты в правящей элите, а также когда растет давление со стороны международного окружения. Как писал еще в начале 1990-х Х. Китчелл:

«Традиционное социологическое мышление придавало особое значение выявлению структурных предпосылок демократизации, таких как экономическое развитие, право собственности, классовый состав, культурный уровень, государственные учреждения. Новый подход фокусируется вместо этого на процессах политических взаимодействий и сделок между столпами существующего недемократического режима, реформаторской элитой и стоящими вне системы борцами за демократию».

...Если традиционное мышление настаивает на важности демократических норм и ориентаций в качестве предпосылок демократии, то «сторонники новых подходов доказывают, что приверженность народа демократическим принципам является результатом, а не предпосылкой демократии. Демократия — возможный результат конфликтов, который зависит от исходного потенциала их участников, а не от разделяемых ими ценностей. Не легитимность, а отсутствие альтернативы демократии... является главным фактором, позволяющим демократическим режимам возникнуть и стабилизироваться».

Это, однако, не означает, что

«высокий уровень благосостояния, относительно равное распределение благ, открытая конкурентная экономика, хорошо образованное население, широкая прослойка среднего класса, готовность демонстрировать толерант-

ное отношение, доверие соперникам и замена конфликтов компромиссами не являются преимуществами; это означает только то, что демократия должна быть выбрана, установлена и укреплена... действующими политическими акторами с их определенными интересами, пристрастиями, воспоминаниями, а также, возможно, судьбой и их достоинствами. Не вызывает сомнений, что они будут поставлены в определенные рамки доминирующими культурными и эволюционными факторами, но тем не менее существует огромное пространство для принятия ими правильного или ошибочного решения. Даже самая неблагоприятная среда может позволить совершить переход к демократии, как это было в Гаити, Монголии, Бенине или Албании, и кто знает, некоторые из них могут быть такими же удачными, как в Индии, Боливии, Коста-Рике, Португалии и Папуа—Новой Гвинее, ни один из которых не имел первоначально больших шансов на успех».

По мнению большинства компаративистов, современные демократические транзиты носили гораздо более разнообразный характер и являются преимущественно результатом определенных решений и выбора политических стратегий и тактик основными политическими акторами — элитами, хотя структурные предпосылки создают для этого более или менее благоприятный фон.

§ 2. Демократический транзит и типологии переходных политических систем

Как известно, в политической науке под термином «транзит» понимается комплексный процесс трансформации общественной среды в совокупности ее социально-экономических, политико-институциональных и культурно-ценностных изменений от одной модели ее фундаментального дизайна к другой. Этот термин представляется более операциональным и менее ценностно нагруженным, чем ранее используемый термин «модернизация», имплицитно предполагающий вектор движения от менее развитых (традиционных) моделей к более развитым (современным). «Транзит» — это категория, обозначающая просто движение (попытку осуществления перехода) от одного качественного состояния социальной макросистемы к другому и не претендующая на выполнение излишней для аналитических построений функции позиционирования начальной и конечной точек этого движения как лучших или худших, более или менее «прогрессивных» и т.п. В то же время добавление прилагательного «демократический» задает вектор этого движения, желаемую цель, но никак не его возможный практический результат, т.е. это «проект с открытым финалом», предполагающий мно-

жественность путей перехода и его результатов. Транзитология в сравнении с теориями модернизации более инструментальна и «технологична». Она прежде всего сосредотачивает внимание на истолковании «траекторий» преобразований так называемых «переходных обществ», что позволяет, по мнению ее приверженцев, оценивать текущий уровень демократичности политической системы в инструментальных категориях (В. Гельман).

Согласно рейтингу «*Фридом Хаус*», который, как уже отмечалось выше, учитывает не только формальные признаки демократии, но и реальное положение дел в сфере гражданских прав и свобод, примерно треть государств, признаваемых демократическими, правильнее было бы классифицировать как «частично свободные». В связи с этим важно подчеркнуть аналитическое различие двух фаз в общей логике демократического транзита:

- 1) **фазы транзита как такового** (включающего либерализацию и демократизацию режима);
- 2) **фазы консолидации демократии.**

Как правило, в случаях успешного осуществления транзита (Испания, ряд стран Латинской Америки) инициатива реформ исходила **сверху**, и они начинаются не с демократизации как таковой, а с предварительной либерализации режима, его своеобразной декомпрессии. В отличие от подлинной и институционально подкрепленной демократизации эта либерализация почти полностью контролировалась верхами и могла быть прервана ими в любой момент. По словам *А. Степана*,

«“Либерализация” отлична от “демократизации”. В авторитарных условиях «либерализация» может включать сочетание политических и социальных изменений, таких как ослабление цензуры в СМИ (“гласность”), несколько больший простор для независимых рабочих организаций, восстановление некоторых индивидуальных юридических гарантий, освобождение большинства политических заключенных, возвращение политических беженцев, быть может, меры по улучшению перераспределения доходов и, самое важное, терпимость в отношении политической оппозиции. “Демократизация” предполагает либерализацию, но является более широким и специфическим политическим понятием. Демократизация предполагает открытую конкуренцию за право контролировать правительство, а это в свою очередь предполагает свободные выборы, в результате которых определяется состав правительства. Либерализация в основном относится к взаимоотношениям государства и гражданского общества. Демократизация в основном относится к взаимоотношениям между государством и политическим сообществом... Либерализация не обязательно предопределяет демократизацию».

Пытаясь более эффективно противостоять консервативным силам режима, реформаторы, изначально занимающие центристские или близкие к ним политические позиции, искали поддержку их действиям извне, обращаясь к силам гражданского общества, оппозиционным движениям и т.д. Балансируя между охранителями режима и его радикальными противниками, реформаторы на протяжении какого-то времени выдерживали политику дозирования реформ. Однако санкционированная ими легализация радикальной оппозиции в качестве нового участника политического процесса, а также вызванная этим контрконсолидация консерваторов неизбежно вели к росту политической напряженности и обострению конфликтов.

В большинстве случаев успешных демократических переходов решение проблемы состояло не в победе одной из противоборствующих сторон, а в оформлении особого рода **пакта**/серии пактов между соперничающими сторонами, устанавливающего «правила игры» на последующих этапах демократизации и определенные гарантии для проигравших, не всегда, впрочем, выполнявшиеся (Польша). За этим следовали первые свободные **учредительные выборы**.

«В процессе переходов, — отмечают *В. Гельман* и *В. Елизаров*, — “учредительные выборы” играют тройную роль: 1) институциональную — они устанавливают систему политических институтов, в рамках которой развивается электоральная конкуренция; 2) бихевиоральную — они формируют “меню” предпочтений и паттерны поведения избирателей и определяют тем самым контуры новой партийной системы; 3) трансформационную — они создают основу легитимации новых политических режимов и существенно ограничивают возможности возврата к старым и/или перехода к новым недемократическим формам правления».

Учредительные выборы, как правило, приводили к власти не ту центристскую группу, которая начала реформы, а лидеров радикальной оппозиции. Торжество последних, как правило, не бывало долгим. Весьма часто, особенно в тех случаях, когда новая демократически избранная власть была вынуждена осуществлять болезненные экономические реформы, негативная массовая реакция приводила к власти в ходе следующих выборов (**выборов разочарования**) уже не радикалов, а выходцев из старой правящей группы, которые, однако, не пытались осуществить реакционную реставрацию. Напротив, они, как подлинный термидорианцы, посредством лишь некоторого отката назад уравнивали и стабилизировали новую политическую систему.

Институционализация демократических процедур, и прежде всего процедуры смены власти, закладывала необходимые основы для возмож-

ной в последующем **консолидации демократии** (которая не является неизбежным результатом начатых демократических преобразований, поскольку известны примеры прерыва процессов демократизации и поворота к недемократической системе: вследствие государственного переворота, например, в 1962 г. в Перу и в 1964 г. в Бразилии и Боливии; или же в результате нарушения или приостановления действия демократических процедур, как в Корею в пятидесятых годах, в Индонезии в 1957 г. или в постсоветских республиках Центральной Азии сегодня).

Причем если сам процесс учреждения демократии проанализирован достаточно полно и концептуализирован в структурных и элитистских моделях, то консолидация демократии во многом остается недостаточно исследованной проблемой. При этом в транзитологии складывается представление о том, что консолидация демократии выходит за рамки внутривнутриполитических проблем и определяется разными (внутренними и внешними) факторами. В частности, к числу важных предпосылок ее консолидации относили наличие благоприятных внешних условий, таких как демократическое окружение страны, экономическая, политическая и моральная помощь со стороны «старых» либеральных демократий и т.д. Однако «международный фактор» стал предметом жарких дискуссий в сравнительной политологии.

Само понятие «консолидированная демократия» не имеет однозначного определения в политологической литературе. Так, «минималистское» определение консолидированной демократии предполагает отсутствие институтов и групп, обладающих возможностью вето по отношению к демократически избранным правителям» (Х. Линц).

В общем виде под **консолидированным режимом** понимается режим, в рамках которого все значимые акторы принимают «правила игры» и в котором отсутствуют внутренние причины для его распада или трансформации в иной тип режима.

А. Пшеворский же, например, обращает внимание на сочетание политических и экономических факторов, он пишет: «Демократия становится консолидированной, когда в данных политических и экономических условиях определенная система институтов становится единственно возможной».

А. Родригес Диас называет три основные черты, которые, по его мнению, характеризуют консолидацию демократии:

- 1) принятие новых правил игры и новых моделей поведения политическими элитами и всем обществом;

- 2) возникновение связей между политическими партиями и иными политическими акторами, которые помогают обществу принять новые способы установления взаимопонимания между правителями и управляемыми;
- 3) соревнование между отдельными политическими субъектами (партии, политические лидеры), которое подтверждает, что элиты приняли такие демократические ценности, как конкуренция и борьба за власть.

По мнению же польского политолога *Е. Вятра*, консолидация демократии предопределяется такими факторами, как внутренний мир, соответствие действий субъектов политики праву, уважение прав человека, прав национальных и религиозных меньшинств, периодичность выборов и фактическая независимость судов. *Б. Берельсон* указывает следующие условия, способствующие консолидации и стабильности демократии:

- 1) интенсивность конфликтов ограничена;
- 2) уровень изменений в обществе невысок;
- 3) поддерживается социальная и экономическая стабильность;
- 4) существует плюралистическая сеть социальных организаций;
- 5) существует фундаментальный консенсус, т.е. принципиальное согласие граждан по поводу основоположений общественной жизни.

Наконец, *Ф. Шмиттер* пишет:

«Консолидацию можно определить как процесс преобразования эпизодических соглашений, половинчатых норм и случайных решений, которые возникали в процессе трансформации, в отношения сотрудничества и конкуренции, прочно усвоенные, постоянно действующие и добровольно принимаемые теми лицами и коллективами (т.е. политиками и гражданами), которые участвуют в демократическом управлении. При консолидации демократического режима происходит институализация неопределенности некоторых ролей и областей политической жизни, но одновременно граждане получают уверенность в том, что борьба за занятие должностей и/или право отправления властных полномочий будет ясной и не выйдет за пределы предсказуемого набора вариантов».

По мнению *Т. Заславской*, «наиболее очевидным результатом трансформационного процесса служит преобразование базовых институтов, совокупность которых разные авторы называют либо “ядром институциональной системы” (*В. М. Сергеев, Н. И. Новиков*), либо “институциональной матрицей”, задающей социальный тип общества (*С. Кирдина*)... Тип современного общества определяется качеством в первую очередь четырех институтов, а именно: власти, собственности, прав человека и гражданского общества». Говоря более конкретно, он зависит от:

- степени легитимности, демократизма и эффективности власти;
- развитости, легитимности и защищенности частной собственности;
- широты и надежности прав и свобод человека;
- многообразия и зрелости структур гражданского общества.

Описанная схема преобразований — вовсе не универсальная модель демократизации. Она всего лишь эмпирически фиксирует сходство и последовательность некоторых фаз в конкретных случаях успешных демократизаций в Южной Европе и Латинской Америке.

Оставалось выяснить, насколько она приложима к весьма разнообразным по исходным характеристикам процессам транзита в посткоммунистическом мире.

Как отметил *Ф. Шмиттер*, в наши дни, когда многие процессы «третьей волны демократизации» стали гораздо яснее, а варианты будущего развития поставторитарных режимов — более предсказуемыми, предвкушение скорого достижения ими общей демократической цели уступило место пониманию того, что «утверждение демократии представляет собой значительно более сложную задачу, чем устранение автократии», и «не все устремившиеся к демократии могут добраться до той цели, которую они намечали». Причем все демократии «третьей волны» — это нечто, отличающееся от западных демократических режимов. Когда формальные демократические институты осваивает все большее число разнородных обществ, «сама демократия становится все более дифференцированной». Поскольку переходные периоды, как показывает опыт Аргентины, Украины и России, могут длиться десятилетиями, постольку типологизация такого рода режимов оказалась необходимой. Концепции и типологии, появившиеся в сравнительной политологии в последнее время, на основе компаративного анализа процессов демократического транзита в странах Латинской Америки, Восточной и Центральной Европы, а также России позволяют глубже осмыслить особенности политических режимов, возникших в русле «третьей волны демократизации».

Первая типология промежуточных форм переходных режимов была осуществлена Г. О’Доннеллом и Ф. Шмиттером. Они выделили две формы «гибридных» режимов — «диктабланда» (либерализация режима без демократизации, предоставление гражданских прав и свобод не сопровождается проведением свободных и честных выборов) и «демократура» (демократизация режима без либерализации, т.е. ограничивается участие в политике определенных партий и групп, не соблюдаются личные права).

Сходная по содержанию классификация была предложена У. Кейсом, определившим гибридные режимы как «*полуавторитарные*» (либеральное участие без состязательных выборов) и «*полудемократические*» (регулярные выборы, в рамках которых невозможен приход к власти оппозиции). В качестве примеров «полудемократий» Кейс приводит современные режимы в Сингапуре и Малайзии.

Американский исследователь Лэрри Даймонд в начале 1990-х годов наряду с демократиями выделил среди латиноамериканских стран значительную группу режимов, образующих четыре «промежуточные» между авторитаризмом и демократией категории:

- «отчасти нелиберальные демократии»;
- «конкурентные полудемократии»;
- полудемократии с ограниченным плюрализмом;
- полуконкурентные, частично плюралистические автократии.

А в 1996 г. уже писал о конце «третьей волны демократизации», свидетельством чего, по его мнению, становится переход ряда стран не к либеральной демократии, а к промежуточным формам политических режимов, хотя, отмечал Даймонд, пока нет оснований говорить о «третьей откатной волне» демократизации, поскольку во многих латиноамериканских неodemократиях, несмотря на отсутствие прогресса в процессе консолидации демократии, существует всеобщее нежелание возвращения авторитаризма.

Другой американец, Лоуренс Уайтхед, также на латиноамериканском материале выделил специфический тип политического режима, который он назвал «нестабильной популистской демократией». Ее отличительную особенность он видит в президентской форме правления, в рамках которой

«яркий лидер появляется чуть ли не неизвестно откуда, завоевывает поддержку большинства избирателей благодаря своим туманным лозунгам и безответственным обещаниям, а затем начинает править по собственному произволу, без каких-либо ограничений со стороны партийных структур и парламента, не считаясь с правовыми нормами, до тех пор пока не утрачивает массовую поддержку и на его место не приходит другой, столь же плохо подготовленный, но яркий и необычный лидер».

Х. Линц также на материалах сравнительных исследований стран Латинской Америки выделил гибридный политический режим, который он обозначил как *авторитарная ситуация*. В этом случае режим функционирует в рамках конституционных, формально-демократических норм, однако исключает из политического процесса отдельных политиков и организации, а также жестко контролирует СМИ. Еще один признак —

доминирование одного политического актора в политическом процессе (как правило, это глава государства). Как полагает Х. Линц, при отсутствии внутривнутриполитических альтернатив «успешные правительства могут управлять обществом и экономикой, сочетая администрирование, манипулирование, произвольные решения и кадровую чехарду, продлевая существование этой ситуации и оставляя политический вакуум в будущем».

Ф. Шмиттер, обобщив типологию альтернативных режимов, предложил рассматривать отдельно гибридные формы режимов и неконсолидированные демократии, в рамках которых «набор правил и институтов не образует... предсказуемых моделей, которые могли бы с течением времени воспроизводить себя и получить поддержку граждан. Такая “демократия”... продолжает действовать *ad hoc* и *ad hominem* в ответ на возникающие проблемы».

Другой подход к проблеме гибридных режимов на том же латиноамериканском материале предложил Г. О’Доннелл. Для его характеристики он предложил термин «делегативная демократия», получивший широкое признание в научном сообществе. Это режим, при котором всенародно избранный президент по своему усмотрению пользуется делегированными ему властными полномочиями. Его не ограничивает ничто, кроме реального соотношения сил в обществе в каждый данный момент и срока пребывания у власти, отведенного ему конституцией. Президент выступает как фигура, которую большинство народа наделило правом в течение определенного срока выступать «воплощением и интерпретатором высших интересов нации». Он — воплощение «отца нации», однако избираемого на законодательно ограниченный срок. В отличие от представительной демократии, также предполагающей делегирование власти, для делегативной демократии характерна атрофия обратных связей между обществом и главой государства. В условиях такого политического режима не действуют механизмы регулярной вертикальной подотчетности высшей, исполнительной власти, т.е. демократические институты (всеобщие выборы, разделение властей и др.) существуют, но не работают. Партии и организованные группы интересов могут подвергаться действиям власти острой критике, однако критиков не уничтожают и не подавляют, как в условиях авторитаризма, а просто игнорируют. Как пишет Г. О’Доннелл, повторяя почти дословно веберовскую характеристику «плебисцитарной вождистской демократии», «делегативная демократия подразумевает, что, выразив свою волю на выборах, избиратели превращаются вплоть до следующих выборов в некую пассивную, но одобрительно внимающую всем действиям президента аудиторию».

Таким образом, к основным чертам делегативной демократии Г. О’Доннелл отнес следующие:

- президент считает себя носителем воли всего общества и потому стоит над партиями;
- парламент и судебная власть занимают скромное подчиненное место в системе власти;
- политическая власть предельно персонифицирована, поскольку сосредоточена в руках президента и его администрации;
- в отличие от консолидированных демократий, где исполнительная власть действует в рамках достаточно жесткой и юридически оформленной системы властных отношений, президент, призванный контролировать деятельность государственной администрации, становится единственным лицом, ответственным за политические успехи и неудачи власти (одним из следствий этого является низкий уровень институализации политики, доминирование неформальных правил и норм отношений).

Общества в странах «делегативной демократии» задерживаются на стадии неконсолидированной демократии, государство находится в состоянии перманентного кризиса, выражающегося прежде всего в неспособности бюрократического аппарата действовать хотя бы с минимальной эффективностью. В таком состоянии государство не в силах осуществлять контроль на всей территории, отчего возникают фактически не подвластные центру, системы местной власти, что создает возможности для возникновения различных региональных политических режимов, в том числе и авторитарного типа.

Под воздействием кризиса государственности складывается особая рода политическая система, в которой смешиваются — функционально и территориально — демократические и авторитарные элементы. В странах такого типа развития сохраняются политические права (относительно свободные и честные выборы, свобода слова и политических объединений и др.). В то же время граждане нередко не могут добиться нормального судебного разбирательства, исполнения решений суда, выполнения государственными службами их функций и защиты от насилия. Иными словами, общедемократические правила более или менее полно соблюдаются, а индивидуальные права человека — нет, т.е. либеральный элемент демократии существенно урезан. Классический пример такого рода политического режима — Бразилия, впрочем, и Россия 1990-х годов также может быть отнесена к «делегативным демократиям». *Г. Г. Диллигенский*, подводя итог дискуссии о природе российского политического режима 90-х годов XX в., определил ее так: «Демократически избираемая и сменяемая авторитарная власть». Не случайно новую форму легитимации демократических институтов — выборы — во многих странах «третьей волны» американский профессор *Ричард*

Эрикссон уподобляет благословию Церкви в Средние века, так как этот институт оказывается уязвим к манипулятивным воздействиям со стороны элит и контролируемых ими СМИ, страхующих власть от каких-либо «неожиданностей». А Х. Линц и А. Степан еще в 1996 г. писали о «выборном заблуждении», когда необходимое условие демократии — свободные выборы — считают также и условием достаточным. О’Доннелл довольно скептически относится к перспективам демократического развития такого рода режимов, полагая, что они скорее «скатятся» к авторитаризму, чем эволюционируют в «консолидированную демократию». Столь же безрадостную оценку перспектив демократии в развивающихся странах дает *Роберт Скалапино*. «Традициям и стадии развития многих возникающих государств более подходит авторитарный плюрализм, чем парламентская демократия», — писал он в начале 90-х годов XX в.

Характеристики «делегативной демократии», несмотря на популярность модели, недостаточны для описания ситуации в России, особенно в 2000-е годы, поскольку зачастую гражданские права и свободы россиян существуют лишь на бумаге. Регулярные выборы — это тоже конечно же не все, особенно в отрыве от мер, обеспечивающих достаточно независимую работу СМИ, ограничения электоральных расходов кандидатов и партий и использования «административного ресурса» в пользу «партии власти». Кроме того, привычная для 1980-х годов типология и последовательность этапов транзита: «либерализация» — «демократизация» — «консолидация демократии» во многих посткоммунистических странах была нарушена. В связи с этим некоторые политологи предсказывали рост числа так называемых «анократий», т.е. режимов, сочетающих элементы анархии и авторитаризма. И действительно, в 90-е годы прошлого столетия на постсоветском пространстве появилось немало политических режимов такого рода.

В то же время применительно к специфике политического процесса в России американец *Ст. Фиш* употреблял термин «административная демократия», а британский политолог *Р. Саква* писал об «авторитарной демократии», чтобы подчеркнуть гибридность и неполноту элементов демократии. Другие определяют современный российский политический режим как «фасадную демократию», «неолиберальную автократию» или «конкурентный авторитаризм». Следует напомнить, что в русском языке содержание понятия сосредоточено в имени прилагательном.

Критика концепции Г. О’Доннелла связана с тем, что «делегативная демократия» не является устойчивой и легко может быть трансформирована в авторитарную форму правления (например, режим *А. Фухимори* в Перу трансформировался в военную диктатуру).

В более поздних работах Г. О’Доннелл предлагает дополнительные измерения для анализа переходных политических режимов. В качестве критерия типологизации режимов он берет характер политической институализации и преобладающий тип институтов (понимая под институтами прежде всего набор общепринятых норм и правил политической деятельности). По его мнению, для «старых» демократий характерно господство формальных институтов, воплощенное в принципе «*rule of law*» (правление закона), в то время как во многих «новых» поставлоритарных режимах преобладают неформальные институты, основанные на клиентелистских отношениях и патримониальном господстве. В таких режимах формальные демократические институты хотя и существуют, но играют скорее роль фасада, скрывающего реальные процессы принятия политических решений на уровне неформальных институтов. Принцип такого господства можно определить как «*arbitrary rule*». Конечно, институты — формальные и неформальные — существуют в любом обществе, взаимно дополняя друг друга, и там, где отсутствует «*rule of law*», регулирование происходит через нормы «*arbitrary rule*» (правление произвола), речь идет о преобладании одного из двух принципов. Преобладание формальных институтов, по Г. О’Доннеллу, создает условия для «горизонтальной подотчетности» власти. «Горизонтальная подотчетность» дополняет механизм «вертикальной подотчетности», реализуемой посредством регулярных свободных и равных выборов. Таким образом, в дополнение к процедурным измерениям политического режима можно говорить и об институциональной составляющей демократии. Наличие либо отсутствие механизмов «вертикальной подотчетности» (электоральной конкуренции) в сочетании с «горизонтальной подотчетностью» (преобладанием формальных или неформальных институтов) дает следующую классификацию идеальных типов политических режимов (табл. 7).

Таблица 7

Классификация идеальных типов политических режимов

Электоральная конкуренция	Преобладающий тип институтов	
	неформальные	формальные
Отсутствие	II — авторитарные и посттоталитарные режимы	I — тоталитарные режимы
Наличие	III — делегативная демократия	IV — либеральная демократия

Следует отметить, что если кросснациональные сравнения демократических режимов сегодня очень представительны, то кроссрегиональные сравнения, включающие в себя сравнения политической динамики регионов одной страны, до сих пор находятся на периферии внимания политологов, но ситуация начинает меняться в лучшую сторону.

§ 3. Элитистские теории демократического транзита

В настоящее время можно выделить два наиболее значимых направления в исследовании демократических «транзитов»: 1) *элитистское*; 2) *институциональное*. Третье направление представляет собой анализ промежуточных или альтернативных форм постпереходных режимов.

Стержнем *элитистских теорий перехода к демократии* можно считать представление о том, что последовательность и взаимообусловленность определенных политических решений и действий, выбор тактик теми акторами, которые иницируют и осуществляют демократизацию, важнее для ее исхода, нежели имеющиеся либо отсутствующие предпосылки демократии. Первоначально здесь было господствующим понимание «демократизации» как однонаправленного движения к некоему идеальному демократическому режиму, характеристики которого идентичны основным признакам западной либеральной демократии. Именно он признавался эталонным, тогда как все другие предстают в качестве отступления от данного образца. Соответственно предполагается, что политическая трансформация происходит в пределах биполярного континуума, включающего широкое разнообразие систем, в том числе «ограниченную демократию», «полудемократию», «псевдodemократию» и др. Элитистское направление акцентирует внимание на выявлении влияния внутриэлитных взаимодействий на характер демократического транзита и обуславливает стабильное демократическое правление фактом *единства элит*. Сторонники элитистского подхода (который называют также *процедурным* или даже *волюнтаристским*) исходят из посылки — никакие «объективные» социальные, экономические, культурные и иные факторы не в состоянии ни объяснить, ни предсказать, кто, какие политические силы в той или иной ситуации будут отстаивать недемократический статус-кво или бороться за его ниспровержение. Они считают, что действия политических акторов, иницирующих и осуществляющих демократический транзит, не определены их «объективным» положением в общественной структуре. Напротив, их «субъективный» выбор сам создает новые политические возможности (В. Я. Гельман).

В этой концептуальной модели есть особый резон именно применительно к «третьей волне демократизации», отличающейся крайним разнообразием отправных точек, политических траекторий, стратегий и программ преобразований.

Первым результатом кросснационального исследования консолидации демократических режимов в различные эпохи стала модель элитной трансформации, предложенная *Дж. Хигли, Р. Гантером и М. Бартоном*.

Во-первых, ее авторы выделяют четыре типа политических элит: элита, единая на основе консенсуса; не совершенно единая элита; идеологически единая элита и расколотая элита.

Во-вторых, считают, что начало политических трансформаций практически неизбежно ведет к расколу элит.

В-третьих, по их мнению, только два типа элит — единая на основе консенсуса и не совершенно единая элита — «в достаточной мере совместимы с демократической политикой» (*Дж. Хигли*).

В-четвертых, рассматривая преодоление раскола элит в качестве важнейшего элемента консолидации новых демократий, они вычленили две формы элитной консолидации:

- «слияние элит», осуществляющееся в результате так называемого «эффекта накопления», что «приводит к созданию основанного на согласии союза элит» (*Великобритания*);
- «сообщество элит», когда после периода конфронтации элиты «внезапно и сознательно реорганизуют свои интересы, договариваясь о компромиссах по основным расхождениям». Данная форма консолидации элит действительно способствовала консолидации демократии в постпереходный период в Испании.

Применяя этот подход к анализу опыта постпереходного периода в посткоммунистических странах Восточной Европы, *Дж. Хигли и Я. Пакульский*, в частности, связывали более успешный переход к демократии в Польше и Венгрии по сравнению с Болгарией или Румынией с более или менее успешным формированием «сообщества элит». В более поздней работе те же авторы выделили три типа межэлитных взаимодействий в ходе переходного периода в Восточной Европе:

- 1) договорное сообщество, создающее элиту на основе консенсуса (Польша, Чехия, Венгрия);
- 2) фрагментированные элиты (Болгария, Словакия);
- 3) расколотые элиты (Румыния, Украина).

Россия была отнесена авторами к особому типу межэлитных взаимодействий, сочетающему характеристики расколотых и фрагментированных элит.

В рамках данной концепции перехода выделяются две основные модели демократизации: «пакт» и «конвергенция» элит.

«Пактом» элит называется вариант перехода, когда элиты внезапно и осознанно перестраивают свои отношения, договариваясь о компромиссах по важнейшим спорным вопросам. Предпосылкой для заключения «пакта» является наличие острого конфликта, в ходе которого все фракции элит несут ощутимый ущерб. Отличительная особенность такого перехода состоит в его краткосрочности: элиты либо быстро находят выход, вырабатывая основные положения соглашения (что не обязательно предполагает достижение полного согласия по всем вопросам), либо не находят его вообще. Другая особенность данного варианта демократизации — негласность и ограниченность круга участников «пакта». Главную роль в нем играют акторы, связанные с прежней элитой (реформаторы), которые стремятся обойтись без политической мобилизации масс (хотя полностью избежать этого обращения к поддержке масс, как правило, не удается).

«Конвергенция» — процесс, происходящий в условиях уже состоявшейся, но неконсолидированной демократии и связанный с необходимостью мобилизации масс оппозиционными фракциями элиты для победы в ходе конкурентных выборов или для успеха коалиционной политики. «Конвергенция» позволяет представителям старых элитарных групп, действующим на поле политической игры, менять роли и открывает пути для введения новых игроков. О завершении этапа «конвергенции» отчетливее всего свидетельствует электоральная победа ранее диссидентской либо периферийной фракции элиты. Как и в случае «пакта», «конвергенция» элит ведет к образованию консенсусно единой демократии, консолидации демократического режима. Ее отличие от «пактовой» модели заключается в привлечении новых акторов за счет массового политического участия (*В. Я. Гельман*).

Следует, однако, отметить, что «конвергенция» может быть только вторым шагом демократизации (после «пакта») и первоначального этапа консолидации и, кроме того, требует неопределенно долгого времени, в частности, авторы рассматриваемой концепции (*С. М. Липсет, Дж. Хигли, Р. Гюнтер, А. Пшеворский, Ф. Шмиттер* и др.) связывают завершение процесса «конвергенции» элит с повышением уровня социально-экономического развития данного социума. Так, Шмиттер отмечает, что если «на первоначальном этапе консолидация демократии зависит от способности “акторов” и “граждан” прийти к разрешению внутренних конфликтов, существующих между ними относительно установленных правил, то в дальнейшем она будет зависеть от той поли-

тики, которую будут проводить в отношении социальных групп. Именно здесь “объективная реальность” уровня развития, позиций в мировой экономике, конфликтов из-за распределения благ, и “субъективные предпочтения” классов, поколений, этнических и статусных групп вновь вступают в противоречие», становясь важным фактором успеха или неудачи демократических трансформаций

Таким образом, «конвергенция» оказывается в результате не самостоятельным путем демократизации, а зависящим от результатов заключенного «пакта» и первоначальной консолидации этапом перехода в универсальной телеологической схеме процесса демократизации.

К очевидным недостаткам данной концепции относятся уже отмеченные западоцентризм, телеологизм и претензии на универсальное объяснение процессов демократического транзита. Критика элитистского направления в транзитологии может быть сведена к нескольким основным положениям.

1. В рамках этого подхода не проясняется, почему консолидация элит непременно несет в себе демократический потенциал, всегда ли она ведет к установлению демократии? Так, *С. Мэйнуоринг* отмечал, что формирование сообщества элит в Мексике в конце 1920-х годов не способствовало, а препятствовало демократизации. *У. Кейс* резонно отмечал: «консолидированные элиты могут преодолевать кризисы, двигаясь и в авторитарном направлении».

2. Элитистский подход не дает представления о тех предпосылках, которые фактически и создают «окно возможностей» для деятельности контрэлит и оппозиции, и том поле альтернатив, в рамках которых могут взаимодействовать политические акторы. Это обстоятельство кратко и точно отметил А. Пшеворский: «Мы знали, как анализировать уже разгоревшиеся конфликты, но не знали условий их возгорания».

3. Утверждается, и не без оснований, что элитистские модели неприменимы к анализу политических процессов в Центральной и Восточной Европе, поскольку здесь решающую роль в ходе «бархатных» и не очень революций сыграли массы, а не элиты.

4. Как отмечает А. Пшеворский и другие, эта модель не учитывает влияния на процессы демократизации в странах **Центральной и Восточной Европы** «советского фактора».

Первоначально проблемы становления демократических режимов в бывших социалистических странах исследовались на основе традиционных для теории политической модернизации и транзитологических

концепций подходов. Перспективы утверждения в посткоммунистических странах новых экономических и политических институтов оценивались исходя из опыта посттоталитарного и поставторитарного развития Германии, Италии, стран Южной Европы, Латинской Америки.

Со временем мнения западных политологов, изучающих посткоммунистические переходные процессы, разделились. Одни, например, такие известные ученые, как А. Лейпхарт, А. Степан и Ф. Шмиттер, считают, что процессы, происходящие сегодня в странах Восточной Европы и на постсоветском пространстве, при всей их специфике являются все же во многом аналогом процессов и событий, имевших место в других регионах, затронутых «третьей волной демократизации».

Сформировалась и иная точка зрения. Так, в статье «Следует ли основываться на транзитологии» Валери Банс утверждает, что теория демократического транзита не дает универсальных моделей демократизации. Напротив, это есть «подход к анализу демократизации, который дает советы, как и что изучать. Однако у транзитологов нет ответов на вопросы: почему в одном случае происходит переход к демократии, а в другом нет, почему процессы демократизации различны в разных странах?» По мнению представителей этого направления, одна из основных особенностей процессов «демократизации» в посткоммунистических странах состоит в том, что характерные для демократического перехода трансформационные процессы в *политике* (демократизация системы принятия политических решений), *экономике* (формирование эффективной экономической системы на основе рыночных принципов) и в *обществе* (создание гражданского общества) идут, как правило, **одновременно**. Это, с одной стороны, осложняет решение встающих перед обществом многообразных проблем, с другой, приводит к тому, что темпы и результаты перемен неодинаковы для стран, вставших на путь демократизации. Протекая успешно, данные процессы могут подкреплять друг друга. Но если хотя бы в одной сфере трансформация оборачивается неудачей, терпит провал «демократический проект» в целом (*К. Оффе*).

Трансформация происходит и во время фазы демократизации, и на этапе консолидации демократии. При этом, как отмечает *В. Меркель*, она осуществляется на нескольких уровнях.

Институциональная трансформация на макроуровне включает в себя формирование центральных государственных институтов: президентской власти, парламента, правительства и судебной системы, а также развитие избирательной системы. Перечисленные институты получают правовое закрепление в конституции (время ее принятия также вли-

яет на успех перехода), производной от которой является, в частности, избирательная система. Обеспечивая «нормативные, структурирующие и ограничивающие импульсы», институциональные преобразования на центральном уровне оказывают воздействие на трансформацию представительной системы (репрезентативную трансформацию).

Репрезентативная трансформация на мезоуровне охватывает территориальное (посредством партий) и функциональное (через различного рода объединения) представительство интересов. От ее успеха зависит консолидация норм и структур центрального уровня, равно как и эффективность поведенческой трансформации.

Об успехе репрезентативной трансформации можно судить прежде всего *по состоянию партийной системы*.

Поведенческая трансформация достигается в том случае, если наиболее влиятельные акторы политического процесса (в России к их числу относятся президент, правительство, военные структуры, службы безопасности, главы исполнительной власти субъектов Федерации, директора крупнейших государственных предприятий, «олигархи» и т.д.) стремятся реализовывать свои интересы через демократические институты макро- и мезоуровней, а не вне их и уж тем более не вопреки им.

Успешное осуществление этих трех трансформаций создает решающие предпосылки для формирования гражданского общества, которое в свою очередь оказывает стабилизирующее воздействие на демократию.

О завершении трансформационных процессов свидетельствует укрепление институтов гражданского общества и соответственно распространение **гражданской политической культуры** как социально-психологической основы демократии. Этот процесс — наиболее продолжительный, иногда даже требующий смены поколений. Хотя молодые демократии способны некоторое время обойтись без гражданской культуры, поскольку «демократия часто сама создает демократов, а не наоборот», следует учитывать, что именно гражданская культура увеличивает сопротивляемость кризисам институтов мезо- и макроуровня.

Демократия консолидируется и обретает устойчивый иммунитет к кризисам только в том случае, если процессы трансформации произошли во всех четырех сферах.

Американский политолог *Сара Терри* считает, что проблемы, стоящие перед посткоммунистическими странами, имеют, как минимум, пять отличий от проблем в странах, ранее осуществивших переход от тоталитаризма и авторитаризма к демократии.

Первое отличие связано с тем, что в посткоммунистических странах пытаются одновременно создать рыночную экономику и плюралисти-

ческую демократию. До сих пор ни одна авторитарная или тоталитарная система не знала такой степени огосударствления экономики, как в коммунистических государствах. Стремление одновременно сформировать рыночное хозяйство и стабильную демократическую систему порождает внутреннюю противоречивость посткоммунистического перехода. Хотя в длительной исторической перспективе демократия и рынок взаимодополняются и укрепляют друг друга, на нынешнем этапе реформирования бывших социалистических государств они вступают между собой в конфликт. Он происходит по следующей схеме: радикальные экономические реформы приводят к серьезному снижению жизненного уровня населения, тяготы начального этапа перехода к рынку порождают политическую нестабильность, которая затрудняет создание правовых и институциональных основ дальнейших экономических реформ, мешает привлечению иностранных инвестиций, способствует продолжению экономического спада, а экономический спад в свою очередь усиливает политическую напряженность в обществе.

Второе отличие также касается социально-экономической сферы. В странах, находившихся на более низком уровне экономического и индустриального развития, при переходе к демократии стояла задача создания новых отраслей народного хозяйства. А посткоммунистические государства столкнулись с необходимостью полного демонтажа значительной части уже существовавших секторов промышленности при одновременной радикальной перестройке и модификации многих производств, связанных как с переориентацией их экономик с «Востока» на «Запад», так и с «информационной революцией».

Третье отличие связано с высокой этнической неоднородностью посткоммунистических стран. Это приводит к распространению националистических настроений. Национализм в любых его формах, как правило, плохо совместим с демократией, поскольку подчеркивает превосходство одних наций над другими, тем самым раскалывая социум по этнонациональному признаку и препятствуя возникновению подлинного гражданского общества. Как отмечает А. Пшеворский:

«Духовной силой, питавшей оппозицию коммунизму, была вовсе не жажда свободы (не путать со стремлением обрести независимость от Советского Союза), это были религия и национализм. Точнее — их исторически конкретный сплав. Возрождение политической силы церкви, возникнувшие националистические идеологии и этнические конфликты, взрыв сепаратизма — все это признаки живучести органицистских идеологий в Восточной Европе».

Смотри в этой связи ироническую максиму польского диссидента *Я. Куроня*: «Национализм — высшая фаза коммунизма».

Так, словенский исследователь С. Флере пишет: «Картину распада Югославии можно представить как альянс этнических политиков (предпринимателей. — *Прим. авт.*) и интеллектуалов (так называемых независимых, оппозиционных или диссидентских интеллектуалов), сформировавших коалицию ради разжигания чувств этнической фрустрации и безотлагательного действия (объясняя причину кризиса своих государств в терминах несоответствия положения их нации внутри югославской федерации). Старые и новые элиты того времени (в некоторых странах, например Хорватии, политиков почти не было) использовали идеологию этнической ненависти для очернения других групп ради развала коммунизма, в борьбе за формирование новой политической элиты. Эти новые элиты (в каждом новом государстве) использовали, нередко не по назначению, любые средства пропаганды в самых разнообразных формах, включая то, что сегодня называется разжиганием ненависти, особенно путем распространения слухов, пробудивших глубоко укорененные коллективные страхи. Телевидение играло наибольшую роль. Югославская драма начиная с конца второй половины 1980-х годов стала драмой симулякров. Телевизионные истории, не обязательно правдивые, служили мобилизации масс, не многим отличаясь от гитлеровской ксенофобии, рассказов о мнимых жестокостях. Отсутствие панъюгославской телевизионной системы стало фактором, позволившим элитам монополизировать “правду”». Однако необходимо помнить, что часто трудно бывает сделать за одно поколение то, на что в странах Запада ушли века, и поэтому можно было предвидеть, что попытки в короткие сроки построить нацию-государство в мультиэтнических посткоммунистических странах скорее всего будут сопряжены с насилием.

Четвертое отличие посткоммунистических от поставторитарных переходных процессов С. Терри связывает с проблематикой гражданского общества. С ее точки зрения, применение этого понятия к сегодняшним реальностям Восточной Европы и бывшего СССР вообще весьма сомнительно. Гражданское общество предполагает не только существование автономных от государства политических и общественных организаций, но и их способность взаимодействовать в определенных границах. Без наличия таких институционально оформленных границ, без готовности общественных групп и лидеров следовать общепринятым правилам игры возможен паралич политической системы. В посткоммунистических странах существуют серьезные препятствия на пути формирования реального гражданского общества. С одной стороны, в большинстве этих стран до установления коммунистических режимов существовали лишь элементы гражданского общества, весьма далекие

от его зрелых форм. С другой стороны, реальная политическая практика оппозиционных групп и политический опыт последних лет коммунистической власти не способствовали формированию представлений о политике как «искусстве возможного». Политическая жизнь фрагментарна и излишне персонализирована, конфронтация здесь по-прежнему преобладает над компромиссом, а электорат пребывает в состоянии отчуждения и замешательства. Основная масса населения не доросла до самоопределения, поэтому и слабые институты гражданского общества оторваны от него. «Организации “третьего сектора” собирают западные деньги, но работают с очень малой эффективностью», — отмечает британский политолог *М. Маколи*. Однако, по мнению некоторых исследователей,

«активность гражданского общества не способна стать основой формирования духа национальной общности. Не может гражданская активность сама по себе служить фактором политической консолидации и формирования общего интереса, в которых нуждается общество. Более того, ассоциативная активность, объединяющая граждан с актуализированным чувством неудовлетворенности, может способствовать углублению общественных расколов, что создает основу активизации оппозиционных (несистемных. — *Прим. авт.*) движений» (Ш. Берман).

Пятое отличие посткоммунистического развития С. Терри видит в международных условиях. Они менее благоприятны, чем были для Германии и Италии в послевоенные годы или для южноевропейских стран в 70-е годы XX в. В 1990-е годы посткоммунистические страны не получали должной помощи и поддержки. Особенно это верно в отношении *России и ряда* постсоветских государств. Так, С. Коэн пишет о том, что для обеспечения успеха процессов демократизации в России и других странах Восточной Европы США и другие страны Запада должны были осуществить новый «план Маршалла». Однако несомненно, что в процессах политической трансформации европейских посткоммунистических стран «внешние» акторы играют очень заметную, можно сказать даже, решающую роль. Так, американский социолог венгерского происхождения Иван Селеньи пишет в своей книге «Как построить капитализм без капиталистов» (1998), что если в Китае капитализм строился «снизу», в России — «сверху», то в странах Центральной и Восточной Европы и Балтии имеет место «капитализм извне».

«Капитализм здесь также (как в России. — *Прим. авт.*) строится сверху, но мы можем говорить о достаточно быстрой приватизации государственного сектора. Но приватизация происходила... в основном посредством конкурентных торгов. Инвестиции имели транснациональный характер.

Можно сказать, что экономический рост (1990-х годов. — *Прим. авт.*) был обусловлен влиянием иностранного капитала, так, например, 75% венгерского рынка — это собственность иностранных инвесторов... Все это сильно глобализовано и зависит от мировых рынков».

Поэтому уже в 1990-е годы две трети иностранного капитала, поступившего в посткоммунистические государства Европы, приходилось на страны — члены Евросоюза, а Россия перестала быть для своих бывших союзников сколько-нибудь притягательной не только в политическом, но и в экономическом отношении.

Однако на более глубоком уровне социалистические страны на рубеже 80–90-х годов XX в. столкнулись с невозможностью адаптировать политическую и экономическую системы к изменившимся условиям окружающей среды, особенно по институциональным причинам. Это означало, что кризис легитимности препятствовал устойчивой и поэтапной трансформации политической системы, даже при помощи извне.

С точки зрения другой американской исследовательницы, В. Барнс, в Восточной Европе, в отличие, например, от Латинской Америки, речь идет не о возвращении к демократии. На Востоке правовое государство и другие демократические институты не восстанавливаются, как это было в других странах, а создаются практически заново. Аналогичная ситуация и в сфере экономики, где рождается новая система, а не модифицируется уже существовавшая. «Иначе говоря, — пишет В. Барнс, — изменения в Латинской Америке и Южной Европе более адекватно следовало бы назвать режимными переходами. Трансформации, произошедшие в Восточной Европе после 1989 г., являются не просто обычным политическим переходом. Скорее это революция, которая охватывает изменение идентичности, экономики, социальной структуры и государства».

Как уже отмечалось, первоначальные представления о сроках и этапах переходного процесса в посткоммунистических странах базировались на опыте предшествующих поставторитарных переходов, прежде всего в Латинской Америке. Для таких относительно развитых в промышленном отношении стран, какими были социалистические государства Восточной Европы и СССР, предсказывалась возможность достаточно быстрого перехода к рыночной экономике и стабильной демократии. С позиций прежних транзитологических концепций этот переход должен был состоять из двух основных этапов — «перехода к демократии» и «консолидации демократии». На основе накопленного практического опыта экономических и политических реформ в бывших социалистических странах прежние выводы все время уточняются. Аме-

риканский политолог *Л. Шин* называет четыре этапа трансформации посткоммунистического общества.

1. Разрушение тоталитарной системы.
2. Переход к демократической системе.
3. Утверждение демократической системы.
4. Окончательное совершенствование демократических институтов.

Зб. Бжезинский, предлагая свою периодизацию посткоммунистического перехода, учитывает его политические и экономические аспекты. Он выделяет три фазы процесса демократизации и создания рыночной экономики.

Первая фаза начинается сразу же после паления коммунистического режима. Ее задачами являются трансформация высших структур политической власти и первичная стабилизация экономики. Эта фаза может длиться от одного года до пяти лет.

Вторая фаза институционально обеспечивает функционирование демократической системы. Задачи этой фазы включают в себя принятие новой конституции, утверждение новой избирательной системы, внедрение в общественную практику демократических процедур и правил. Политическим изменениям сопутствуют серьезные сдвиги в экономической сфере. На этом этапе формируется банковский сектор, осуществляются монополизация и малая и средняя приватизация, основанная на законодательном обеспечении прав собственника.

Устойчивое функционирование демократических институтов на основе утверждения в обществе соответствующей политической культуры и стабильный рост экономики означают начало **третьей фазы**. Длительность второй фазы — от трех до десяти лет, а третьей — от пяти до более чем пятнадцати лет. Таким образом, сроки посткоммунистического перехода оказываются весьма длительными, не менее десяти лет в самых благополучных государствах Центральной Европы, а в наименее подготовленных для такого перехода странах — больше двух десятилетий.

Проблемы соотношения экономики и политики в процессе трансформации постсоциалистического общества привлекают внимание многих западных транзитологов. Дискуссии ведутся вокруг отмеченной выше противоречивости «одновременного перехода» и к рыночной экономике, и к демократии. Ряд исследователей отмечает, что основная масса людей, отвергая коммунистические режимы, руководствовалась мотивами социально-экономического, а не идейного или политического характера. Поэтому падение жизненного уровня, нестабильность материального положения широких слоев населения вызвали в пост-

коммунистических обществах разочарование в демократии как политической системе. Это разочарование опасно, во-первых, резким усилением антисистемной оппозиции правого и левого толка, во-вторых, ограничением демократических свобод со стороны правящего режима из-за возможности массовых народных выступлений, в-третьих, приходом к власти нового авторитарного режима. Чтобы избежать этого, предлагается использовать метод шоковой терапии для ускорения прохождения периода экономических неурядиц либо, наоборот, отложить экономические реформы до того момента, когда производство достигнет низшей точки падения. Другой подход вообще рекомендует избежать одновременного проведения политических и экономических реформ. Сделать это можно, выбрав один из следующих сценариев:

- экономические реформы предшествуют демократизации;
- сначала предпринимаются комплексные политические реформы, и только после их институционального закрепления начинаются рыночные преобразования.

Приверженцы первого сценария исходят из того, что экономические реформы требуют последовательных, решительных и непопулярных действий сильной авторитарной власти. Подобный тезис отражает представления консервативного направления теории политической модернизации 70-х годов XX в. Но сегодня он подвергается серьезной научной критике. Основные возражения против стратегии либерализации экономики авторитарными методами сводятся к следующему: во-первых, многие авторитарные правительства на практике не способны осуществить либерализацию экономики, для успеха авторитарной модернизации экономики необходимы некоторые дополнительные условия, а именно опора либо на правящую партию, либо на некоррупцированный государственный аппарат, либо на профессиональную армию (ни в одной из посткоммунистических стран этих условий не существовало); во-вторых, способные к проведению успешной экономической либерализации правительства утрачивают, по крайней мере в краткосрочной перспективе, импульсы к демократизации политической системы.

Сравнительные исследования опыта различных стран Европы, Латинской Америки и Азии не дают однозначного ответа на вопрос о том, эффективен ли авторитарный путь экономической модернизации. Нельзя исключать возможности успешного последовательного проведения рыночных преобразований при авторитарном режиме, а затем либерализации и демократизации этого режима. Некоторые авторитетные ученые полагают, что в долгосрочной перспективе коммунистический Китай, демонстрирующий успехи в создании рыночной экономи-

ки, имеет не меньшие, а большие шансы создать демократическую политическую систему, чем государства, отвергнувшие коммунистический режим, но не сумевшие пока добиться серьезных экономических успехов. На этом фоне деятельность М. Горбачева, инициировавшего либерализацию коммунистического режима в условиях начавшегося спада в экономической сфере и в отсутствие сколько-нибудь продуманного плана рыночных реформ, выглядит недостаточно обоснованной. Однако канадские исследователи писали в начале нового века:

«Создается впечатление, что для анализа трансформационных процессов в странах Центральной и Восточной Европы наиболее применима категория “парадокс” — мощное авторитарное государство необходимо на первых стадиях трансформационного процесса, в то время как полный переход к демократии неосуществим без ликвидации авторитарных тенденций в государстве».

Поэтому многие видные западные политологи и экономисты полагают, что политические преобразования должны быть важнейшим условием для перехода от плановой экономики к рыночной. По их мнению, Б. Ельцин и его сторонники сделали ошибку осенью 1991 г., упустив время для серьезных политических изменений. Вместо того чтобы создать собственную политическую партию, скорректировать действовавшую советскую конституцию и провести новые парламентские выборы, российское руководство без необходимой политической и идеологической подготовки приступило к радикальной экономической реформе. Отдав приоритет экономическим изменениям перед изменениями политического характера, Б. Ельцин, по мнению известных специалистов в области транзитологии Х. Линца и А. Степана, совершил крупный просчет. В результате своими действиями он ослабил и государство, и демократию, и экономику. Многие последующие кризисы посткоммунистического развития современной России проистекали из того, что долгосрочные цели были принесены в жертву краткосрочным расчетам молодых экономистов, не имевших достаточно политического опыта и знаний.

Транзитология, в отличие от прежних концепций политической модернизации, не рассматривает демократизацию как процесс с однолинейной направленностью, а предусматривает самые различные, в том числе и пессимистические, сценарии ее осуществления. Сегодня пессимизм в оценках демократического будущего большей части посткоммунистических государств начинает преобладать. Меньше всего опасность отказа от демократической ориентации развития связывают с перспективой восстановления коммунистических режимов. Более вероятно установление националистической диктатуры или утверждение на

длительное время политических режимов, содержащих в себе элементы авторитаризма. Как утверждает Ф. Шмиттер, перед странами, находящимися на этапе поставторитарного перехода, кроме альтернативы автократии или демократии существует и еще одна: либо возникновение и консолидация гибридных режимов, сочетающих в себе элементы автократии и демократии, либо существование «стойких, но не утвердившихся демократий».

По мнению того же Ф. Шмиттера, в посткоммунистических странах наиболее реальной перспективой является все же не существование гибридных режимов, а установление «не утвердившейся демократии». Не менее реальна и перспектива консервации нынешнего переходного состояния. Она также не выглядит привлекательно, так как постсоциалистическое общество совмещает в себе негативные черты, доставшиеся в наследство от тоталитарного прошлого, с не менее отрицательными чертами первоначального периода становления рыночной капиталистической экономики.

После крушения коммунизма бывшие социалистические страны развивались по-разному, и сегодня их уже нельзя рассматривать как некую недифференцированную группу. По мнению американского политолога Ч. Гати, лишь в небольшой группе бывших коммунистических государств Центральной Европы и постсоветских республиках Балтии есть возможность успешного завершения демократических преобразований и экономических реформ.

В то же время Ч. Гати считает, что в посткоммунистических условиях могут достаточно долго существовать и гибридные режимы. Все не вошедшие в вышеназванную первую группу восточноевропейские государства, а также Россию, Украину, Белоруссию и Молдавию американский политолог причисляет к группе стран с полуавторитарными режимами. В этих странах осуществляются умеренные рыночные реформы, власти здесь допускают существование свободной прессы, проводятся внешне свободные, но на деле манипулированные выборы, для некоторых государств данной группы подходит утвердившееся в транзитологии понятие «делегативная демократия», или, иначе говоря, здесь возникла формально демократическая система, в которой реальная власть сосредоточена в единственном центре, например, в руках у президента.

К третьей группе относятся восемь бывших советских республик Закавказья и Центральной Азии. Эти страны Ч. Гати называет «проигравшими», считая, что в них на смену тоталитаризму пришли авторитарные режимы, а шансов на формирование демократической системы и создание современной рыночной экономики в обозримой перспективе в этих странах нет.

«На континенте (в Европе. — *Прим. авт.*), — вторит Гати профессор Калифорнийского университета *И. Беренд*, — создается новая конфигурация, и в лучшем случае лишь часть центрально- и восточноевропейской периферии имеет потенциальную возможность присоединиться к ее основной части. Другая, причем большая часть Центральной и Восточной Европы, имеет шансы не разделить этого пути и остаться нестабильной, причиняющей постоянные хлопоты периферией Европы».

Используя классификацию и данные «Фридом Хаус» за 1990–2002 гг., известный британский политолог *Стивен Уайт* также констатирует отсутствие единого образца транзита, некоего общего «перехода к демократии». В результате он выделяет четыре группы постсоветских государств:

Первая группа — «*свободные*» типично христианские (лютеранские или католические) страны, находившиеся под властью коммунистов достаточно короткий период времени, имеющие более высокий уровень жизни, расположенные по западному периметру СССР (Польша, Чехия, Венгрия, страны Балтии и др.).

Вторая группа — «*частично свободные*» страны, как правило, православные, под властью коммунистов примерно с 1917 г., с низкими и средними доходами по классификации Всемирного банка, евразийские, а не центральноевропейские (поскольку «Восточной Европы» больше нет) — Россия, Украина, Молдова, Армения, Грузия и др.

Третья группа — «*несвободные*», как правило, мусульманские страны с низкими по стандартам Всемирного банка душевыми доходами, расположенные большей частью в Азии. Беларусь — самое яркое исключение — может быть отнесена к этой группе по ошибке. Азербайджан, оцененный «Фридом Хаус» как «частично свободный», по иным имеющимся данным, «несвободен». Почти во всех этих странах сильная президентская власть, корнями уходящая в партийное руководство советских времен, еще более расширенная практикой использования всенародных референдумов. Более того, «Фридом Хаус» включил две страны этой группы — Туркменистан и Узбекистан — в список «самых репрессивных режимов мира» наряду с Северной Кореей, Экваториальной Гвинеей и Ираком (до вторжения США и свержения режима С. Хусейна).

Четвертая группа — «*непереходные*» страны — Китай, Северная Корея, Вьетнам. Это азиатские страны со своими традиционными религиями и низким уровнем доходов. Среди них страна с самым большим населением — Китай и такая страна, как Вьетнам, который по некоторым прогнозам обойдет к 2050 г. Россию по численности населения. Куба тоже в этой группе, хотя географическое расположение и др. придает ей ряд уникальных характеристик.

Подчеркивая особую роль «внешнего фактора» в процессах трансформаций в Центральной и Восточной Европе, американский политолог *Эндрю Янош* отмечает, что между режимами, существовавшими в этом регионе в 1940–1980-х и 1990-х годах, при всех различиях есть одно несомненное сходство — это та роль, которую внешние акторы играют по отношению к странам Восточной Европы, навязывая им определенные политические программы. Поскольку проекты такого рода акторов-гегемонов каждый раз сталкиваются с сопротивлением «местного материала», результат определяется соотношением двух групп факторов: с одной стороны, целей и ресурсов гегемона, с другой — степенью «эластичности», податливости местных структур, которая варьируется от страны к стране.

Так, если Чехия, Венгрия, Польша и Словения сплотились вокруг западного проекта или, по крайней мере, выступающие против него антисистемные партии не нашли в них существенной поддержки у электората, то в Словакии, Хорватии, Болгарии и Румынии (условно также Сербии, где политическая ситуация менее однозначна) в силу экономических, этнополитических и культурных причин граждане оказались резко разделены на оппозиционные лагеря, поддерживающие «гегемона» или выступающие против него. Наконец, в Албании, Боснии и Герцеговине, Македонии и Косово местные импульсы к демократизации были настолько слабы, что реализация западного проекта основывалась здесь исключительно на иностранной военной силе.

По мнению исследователя, преимущество западного проекта перед коммунистическим — в том, что идеал, на который он нацелен, более осязаем. Однако его реализация тоже требует больших жертв (что уже осознают граждане десяти стран, вступивших в Европейский союз. — *Прим. авт.*). До сих пор удавалось поддерживать его легитимность за счет ожиданий лучшего будущего. Но в дальнейшем все будет зависеть от готовности Запада подкреплять свою гегемонию в Восточной Европе реальными материальными ресурсами. А это в свою очередь будет определяться динамикой экономической конъюнктуры, настроениями европейского электората и другими неустойчивыми факторами.

Многие авторы задавались вопросом о том, как объяснить имеющее место разнообразие результатов процесса демократизации в посткоммунистических странах? Отвечая на этот вопрос, С. Горовиц выделяет четыре ключевых (по его мнению) фактора, которые воздействовали на процессы и результаты демократического транзита:

- 1) различия в экономической структуре и силе групп, экономически проигрывающих от демократизации;

- 2) различия в политической культуре, определенной в понятиях религиозных традиций и национальной идентичности;
- 3) вовлеченность в крупномасштабный военный конфликт;
- 4) различия в силе президентской власти и консолидированности партийной системы.

Стоит также отметить, что в классификациях подобного рода присутствует значительная доля субъективизма. Этим можно объяснить причисление к группе наиболее преуспевших в демократизации стран государств Балтии, где не решена проблема прав русскоязычного населения. Сомнительным представляется и характеристика России как «несвободной страны», сопоставимой с режимами в Катаре, Руанде, Иране, Туркменистане и ряде других стран.

В этой связи следует подчеркнуть, что в западной политологии все более утверждается мнение, согласно которому концепция глобального «переходного периода», или «третьей волны демократизации», на рубеже тысячелетий исчерпала свой аналитический потенциал и, будучи использованной западным политологическим сообществом для анализа трансформаций в Центральной и Восточной Европе, по сути, представляла собой не научную теорию, а идеологию. «Насколько пригодным был этот ярлык (“переходные общества”. — *Прим. авт.*), использованный в свое время в Латинской Америке и на Пиренейском полуострове, где, в общем, был опыт демократического устройства, а перемены, во всяком случае, были не столь глубоки? И есть ли смысл говорить об одном переходе, а не о комплексе перемен, отмеченных важными чертами национальной специфики?» — пишет сегодня *Ст. Уайт*.

В течение последнего десятилетия XX в., считают наиболее радикально настроенные исследователи, желаемое выдавалось за действительное. В то время как американские аналитики писали о демократизации, а также социально-экономической и политической модернизации, во многих странах «транзита» происходило нечто обратное — **перерождение и реанимация на новой основе авторитарных режимов**, росли социальная поляризация и экономическая демодернизация. Уже к концу 90-х годов XX в. выяснилось, что нет общей траектории, по которой страны «транзита» с разной скоростью, но устойчиво двигались бы от «несвободы» к «свободе». Движение «вверх» в этом направлении имело место, но было и движение «вниз». Скажем, большая часть бывших советских республик (в том числе и Россия) по показателям политических прав и гражданских свобод ниже, чем СССР в последний год существования. По данным «Фридом Хаус», движение во всем постсоветском регионе шло не к демократии, а от нее.

Причина того, что реальность в значительной степени игнорировалась западными экспертами, по мнению *С. Коэна*, заключалась в их политической ангажированности. США всемерно поддерживали и распространяли миф о глобальной демократизации, так как он способствовал закреплению американской гегемонии после окончания «холодной войны». Другой американский политолог, *Т. Кэросэрс*, высказывается по этому поводу более сдержанно, отмечая лишь то, что концепция «транзита», мобилизованная в конце 1980-х — начале 1990-х годов для анализа событий в мире и обоснования американской политики «мировой демократической революции», устарела и требует пересмотра.

Авторы, придерживающиеся данной точки зрения, вполне обоснованно критикуют современную реальность в большинстве стран «третьей волны» как не соответствующую даже минимальным критериям демократии. Они отмечают отсутствие социального консенсуса по поводу демократии и ее базовых ценностей, слабость гражданского общества, неэффективность рыночной экономики, фиктивность правовой системы и ее механизмов и др.

Так, американский исследователь *Майкл Буравой* пишет:

«Вместо ожидаемого неолиберального *революционного* разрыва с прошлым или неонинституциональной тенденции *эволюционного* движения к будущему капитализму Россия переживает... *инволюционную* (регрессивную) деградацию, вызванную расширением сферы обмена за счет производства».

В результате получается «транзит без трансформации», и большинство стран, вставших на путь демократических реформ, но не добившихся успеха (а это 85 из 100 государств «третьей волны»), попадают в своего рода переходную «серую зону». Само это понятие является метафорой, предполагающей также наличие «черной» и «белой» зон, т.е. регионов доминирования тоталитаризма и либеральной демократии. Переход из «серой» зоны в «белую», т.е. достижение стандартов западной либеральной демократии, — в принципе возможно, однако не для всех. В этом — важнейшее отличие данной позиции от ортодоксальной. Так, Кэросэрс полагает, что государства «серой зоны» навсегда в ней останутся, западный демократический порядок для них не достижим, Коэн же пишет, что именно стремление модернизировать Россию по американским рецептам стало одной из причин провала демократического проекта, и выходом для страны может быть отказ от трансформационной стратегии, навязанной извне в начале 1990-х годов (так как радикальный монетаризм не единственный путь экономической трансформации). В то же время оба автора фактически констатируют консервацию разделения мира на более и менее продвинутые регионы с точки зрения стандартов современной либеральной демократии.

Таким образом, причина кризиса, или «конца», транзитологической парадигмы, по мнению ряда исследователей, состоит не только в том, что теория не в состоянии объяснить причины провала демократических трансформаций в десятках стран, но и в том, что оказались ложными ее фундаментальные основы, восходящие к теории модернизации, связанные с декларируемой перспективой достижения справедливого демократического общества **для всех**. Идея «транзита» в течение более чем десяти лет играла роль интеллектуальной компенсации за крушение идеалов мировой социалистической системы. Она давала ее адептам в посткоммунистических странах надежду на то, что общества, отказавшиеся от социалистической идеи всеобщего благоденствия, получат шанс приобщиться к ее капиталистической версии при условии следования неолиберальным рецептам «Вашингтонского консенсуса». В действительности же оказалось, что их практический смысл состоял в обеспечении максимальной открытости постсоциалистических экономик и их включении в систему мирового капиталистического разделения труда на «вторых ролях» — в качестве, с одной стороны, поставщиков дешевой, но квалифицированной рабочей силы, сырья и энергоносителей, с другой — рынка сбыта для западных товаров и помойки для отходов производства.

Элитистская модель прежде всего не в состоянии убедительно объяснить и процессы, происходящие в российской политической жизни в последние два десятилетия.

Во-первых, начальный период российского транзита («перестройка») не имеет примеров удавшегося «пакта», наоборот, он отмечен расколом правящей элиты и утратой ею политической монополии.

Во-вторых, уже на первом этапе существенной составляющей политической системы России стала сфера публичной политики, оказавшаяся важным фактором в процессе рекрутирования новой элиты и обеспечения легитимности представителей старой.

В-третьих, фрагментация и трансформация элит происходила у нас на фоне нарастания проблем и противоречий, связанных с национально-государственным устройством страны.

Далее, в условиях российского транзита трудно найти корреляцию между расширением политического участия и повышением уровня социально-экономического развития страны, наоборот, социальный и экономический кризис в 1990-е годы в России принимал все более глобальные масштабы (*В. Гельман*).

Выявившаяся в результате практики демократического транзита конца 1980-х — начала 1990-х годов в Центральной и Восточной Европе неадекватность элитистской теории стимулировала дальнейшее развитие и даже

оформление в субдисциплину транзитологии. Среди появившихся в последние годы разработок наиболее интересными представляются дополняющие традиционные подходы в транзитологии типологии *Терри Линн Карл и Филиппа Шмиттера*, а также *Дж. Мунка и К. Лефф*.

Авторы обеих типологий фиксируют два основных параметра переходного процесса:

- 1) ведущие акторы — элиты/массы (у Карл и Шмиттера); старые элиты/контрэлиты (у Мунка и Лефф);
- 2) их основные стратегии, или паттерн конкуренции, в процессе перехода (компромиссные/силовые — у первых; конфронтация/аккомодация — у вторых).

Сочетание названных параметров выявляет четыре идеальных типа перехода и зон промежуточных вариантов: 1) «пакт»; 2) реформа; 3) революция и 4) «навязанный» переход (по Карл—Шмиттеру; табл. 8), или 1) «революция сверху»; 2) реформа снизу; 3) социальная революция; 4) консервативная реформа; реформа через разрыв; 5) реформа через выпутывание; 6) реформа через компромисс (по Мунку—Лефф).

Таблица 8

Модели переходных периодов (по Карл—Шмиттеру)

Акторы	Стратегия	
	компромиссная	силовая
Элиты	«Пакт»	«Навязанный» переход
Массы	Реформа	Революция

Исследования **революций** и случаев **реформ «снизу»** в рамках транзитологии до недавнего времени особого развития не получали. Они рассматриваются как варианты транзита, редко приводящие к стабильной консолидированной демократии. Так, в частности, *Дж. Хигли* формулирует вопрос: «Ведут ли революции в современном понимании этого термина к политическим улучшениям?» И отвечает: «Если отправной точкой является критерий демократичности и либерализма, то ответ — однозначное Нет».

С. Хантингтон дает развернутый ответ на вопрос, сформулированный выше. Так, в случае крушения авторитарного режима приход к власти оппозиции является лишь следствием слабости прежней власти, а бывшее единство оппозиции, имевшее негативную основу («дружили» против коммунистической власти), достаточно быстро оборачивается ее расколом; начало нового этапа борьбы за власть между новыми

правлящими группировками ведет к тому, что судьба демократии оказывается в зависимости от ситуативного соотношения сил между умеренными и радикалами, демократами и антидемократами. Кроме того, быстрые и радикальные изменения «разрушают традиционные источники власти и традиционные институты; они значительно усложняют проблему создания новых основ политического объединения и новых политических институтов, которые сочетали бы законность и действенность. Темпы социальной мобилизации и расширения политического участия высоки, темпы политической организации и институализации низки. Как результат — политическая нестабильность и беспорядок. Основная проблема политики (в этих условиях) — отставание развития политических институтов от социальных и экономических изменений».

Западные исследователи также столкнулись с трудностями в определении характера перемен (так называемых «бархатных революций») в Восточной Европе в 1989–1991 гг. Так, *Ч. Тилли* в одном из первых исследований этих проблем, определяющий революцию как «внезапную, масштабную смену правителей страны с участием народа», включает в нее два компонента: *революционную ситуацию*, которую он определяет как ситуацию «множественного суверенитета», когда правительство, находившееся прежде под контролем единой суверенной власти, становится объектом «эффективных, конкурентных, взаимоисключающих требований со стороны двух или большего числа участников политики при поддержке значительной части населения», и *исход революции*, когда действительно происходит силовая смена власти. По мнению Тилли, в большинстве стран Восточной Европы имелся исход революции без революционной ситуации (по терминологии Карл и Шмиттера — «навязанный» переход). И только в Восточной Германии, Чехословакии, Советском Союзе и Югославии произошли революции, так как только там вызов действовавшим обладателям государственной власти был поддержан массами.

В то же время британский политолог Т. Г. Эш определяет события в Польше и Венгрии в 1989 г. как «нереволюционную революцию» и использует неологизм «революция» (*refolution*), который у него означает гибрид двух понятий: реформы и революции, а известный английский историк *Э. Хобсбаум* особо подчеркивает, что ни один из режимов в Восточной Европе не был сброшен силой. Все они «тихо отказывались от власти, за исключением Румынии. Но даже там сопротивление было недолгим». Советский Союз тоже не был разрушен «в ходе революции или восстания народа». Чаще всего для описания событий августа—декабря 1991 г. в нашей стране используются лексемы «распад», «коллапс», а не революция.

В свою очередь немецкий социальный философ *Ю. Хабермас* считает, что восточноевропейские революции 1989 г. и последующих лет не создали никакого нового взгляда на мир или нового идеала. Наоборот, в этих революциях речь шла о возврате к тому времени, когда коммунисты еще не взяли власть, и о том, чтобы как можно быстрее наверстать прогресс, достигнутый Западом в модернизации общества. Поэтому революция в Восточной Европе была «наверстывающей революцией», обращенной не в будущее, а в историю и капиталистическую современность.

«При том что наверстывающая революция должна осуществить возврат к демократическому правовому государству и сделать возможным присоединение к капиталистически развитому западному миру, она ориентируется на модели, уже опробованные, согласно ортодоксальному их прочтению, в революции 1917 г. Этим можно объяснить своеобразные черты этих революций, почти полное отсутствие в них инновационных, направленных в будущее идей».

Надо отметить в связи с этим, что объяснительная схема «холодильника» получила широкое хождение для интерпретации событий рубежа 1990-х годов в посткоммунистической Восточной Европе. Данная теория исходит из того, что Советская Россия после Первой мировой войны на своей территории, а после Второй мировой войны на территории всей Центральной и Восточной Европы (т.е. на территории трех последних европейских империй) искусственно «заморозила» нормальные национальные стремления и процесс строительства наций. Но когда советская система резко сжалась, долгое время остававшиеся скрытыми — «замороженными» — национальные проблемы и мощные национальные движения вновь вышли на поверхность политического процесса.

В целом отличительной чертой перемен 1989–1991 гг. в посткоммунистических странах, по мнению многих исследователей, стала высокая степень контроля со стороны властных *номенклатур* на всем протяжении периода перехода к демократии и рыночному обществу. Так, американский историк *С. Коткин* утверждает сегодня следующее: именно этот истеблишмент партийного государства, или «негражданское общество» (в отличие от того, что автор определяет как воображаемое или идеализированное гражданское общество, перевозносимое тогдашними диссидентами и западными интеллектуалами), разрушил собственную систему. Везде, кроме Польши, отводить главную роль оппозиции (в разрушении системы) — значит удаляться в область вымысла.

В связи с так называемыми «цветными революциями» в Сербии 2000 г., Грузии 2003 г. и Украине 2004 г. некоторые западные аналитики заговорили о новом «демократическом прорыве» и даже о «новой де-

мократической волне», поспешив поставить эти «революции» в один ряд с «бархатными революциями» 1989 г. в Центральной и Восточной Европе. Выше отмечалась двусмысленность и особый характер «революций» в 1980–1990-х годах в коммунистических странах. Столь же неоднозначна в научной литературе оценка и «цветных революций», не случайно в англоязычных публикациях для их обозначения появилось слово-гибрид — *«revelction»* (соединяющий слова «революция» и «выборы»).

Тем не менее Майкл Макфол вычленяет на основе сравнения ряд факторов успеха революционного «демократического прорыва» в вышеназванных странах (оставляя почему-то за скобками «цветную революцию тюльпанов» в Киргизии):

«... 1) полуавторитарный, а не полностью авторитарный режим; 2) непопулярный руководитель государства; 3) объединенная и организованная оппозиция; 4) возможность быстро предоставить убедительные сведения, подтверждающие фальсификацию результатов выборов; 5) достаточное количество независимых СМИ, которые могут сообщить гражданам о фальсификации; 6) политическая оппозиция, способная мобилизовать десятки тысяч и более демонстрантов, чтобы выразить протест против мошенничества в ходе выборов; 7) раскол среди силовых структур правящего режима».

Характерно, что американский исследователь «не замечает» того обстоятельства, что в ходе «цветных революций» зачастую власть получили не представители контрэлит или оппозиционной общественности, а представители части правящей элиты, которые использовали массовое недовольство и массовую политическую активность для реализации своих собственных интересов.

«Классическим примером подобного развития событий может служить оранжевая революция в Украине в 2004 г.: оппозицией себя провозгласила часть элиты, которая в течение предшествующего десятилетия была ядром режима тогдашнего президента Украины Кучмы и несла значительную ответственность за ухудшение качества жизни населения» (О. В. Гаман-Голутвина).

Любопытно также, что Макфол «забывает» и важнейший внешний «фактор успеха» — такой как массивная политическая, информационная и финансовая поддержка, оказанная оппозиции государствами ЕС и США, а также неправительственными международными организациями, которая имела место во всех трех «революциях».

В то же время все транзитологи по-прежнему рассматривают в качестве идеальной формы перехода **пакт** — явное или неявное соглашение между «демократизаторами» в правящей элите, умеренной частью оппозиции и другими представителями правящей группировки (кон-

серваторы). В ряде случаев участие в «пакте» умеренной оппозиции позволяет «демократизаторам» нейтрализовать сопротивление переменам со стороны сторонников «жесткой линии». Важнейшими составляющими «пакта» являются:

- участие всех заинтересованных политических акторов,
- выработка правил поведения самих переговоров (так называемый «процедурный пакт»);
- соглашение о правилах взаимодействия акторов в переходный период по важнейшим вопросам (выбор формы правления и государственного устройства, правил проведения выборов, базовых принципов экономической политики);
- выработка гарантий для участников соглашений, предусматривающих обеспечение возможностей политического участия оппозиции и включающих «плату» представителям прежнего режима в виде гарантий и привилегий в обмен на их согласие на демократизацию (квоты парламентского представительства, отказ от преследования по политическим мотивам, контроль над назначениями на некоторые посты и др.).

Заключение «пакта» открывает путь к дальнейшей демократизации. Г. О'Доннелл и Ф. Шмиттер так описывали последовательность событий: «результатом открытия режима и заключения “пакта” становится восстановление гражданского общества и реструктуризация публичной сферы, назначение выборов приводит к появлению политических партий, наконец, проведение “основополагающих выборов”, свободных и честных, способствует началу демократического правления, принятию новых “правил игры” заинтересованными акторами и переходу к новому этапу — консолидации демократии». Описанная модель перехода конечно же идеально типична, хотя достаточно полно отражает опыт постфранкистской Испании и ряда латиноамериканских стран.

Более детально разработанная, нежели в классической элитистской теории, типология переходных процессов позволяет использовать ее в качестве аналитического инструментария при изучении трансформаций рубежа 1990-х годов на посткоммунистическом пространстве.

Эти модели можно ранжировать по уровню возникающей в итоге неопределенности. Осмысливая характер и последствия трансформаций в посткоммунистических обществах, транзитологи используют категорию «неопределенности», которую считают системной характеристикой этого процесса. Американская исследовательница *Валери Банс* использует эту категорию не только для характеристики политических институтов, но и для описания результатов политического процесса.

Неопределенность перехода отличается как от неопределенности демократии, где институты носят определенный характер, однако результаты взаимодействия заранее не известны (но, как отмечает Ф. Шмиттер, «современные представительные демократии опираются на “ограниченную неопределенность” и “условное согласие” акторов принимать порождаемые ею результаты»), так и от неопределенности авторитарного режима, где институты определены слабо, зато итоги политического процесса предопределены. В условиях перехода не определены и институты, и результаты процесса. Неопределенность порождает нестабильность и затягивает трансформацию. В такой ситуации политические решения могут приводить к неожиданным результатам. Черномырдинская формула «Хотели как лучше, а вышло как всегда» хорошо описывает процесс осуществления политических решений в ситуации неопределенности. При этом неопределенность минимальна в случае «пакта» элит и максимальна в ходе революции. Относительно велика она и при «навязанном» переходе.

Именно эту модель применяют для описания российских трансформаций конца 1980-х — начала 1990-х годов. Так, Т. Заславская пишет, что в конце 1980-х годов имелся потенциал демократической революции, но он по разным причинам не материализовался, скорее всего его перехватила номенклатура, использовав для проведения ряда реформ «сверху» в своих собственных интересах. Так называемые «путчи» 1991 и 1993 гг. — это наиболее наглядные примеры силовой стратегии элит. Попытки компромисса в этот период неизменно терпели крах, а массовое участие, особенно в октябре 1993 г., было незначительным. Однако решающим фактором, резко усилившим неопределенность, стал институциональный, а именно «замораживание» после августовского путча многих институтов советского периода (Советы), их неорганичное сосуществование с институтами президентской республики. Американский политолог *Майкл Макфол* считает, что проблема неопределенности была связана не только с тем, что в тот момент была упущена возможность, проведя парламентские выборы, сформировать демократическое большинство и успешно провести рыночные реформы. Важнее другое: российская политическая система образца 1991–1993 гг. сформировалась как таковая в результате того, что трансформация не была завершена. Не была принята новая конституция (по мнению *А. Шеворского*, принятие новой конституции в самом начале демократической трансформации создает институциональные предпосылки ее успеха), гибридный режим, сложившийся в условиях, когда авторитарное правление рухнуло, а новые демократические институты еще не сформировались (его иногда в литературе определяют как неконсоли-

дированную демократию) самим фактом своего существования усиливал эффекты неопределенности. По мнению *Л. Шевцовой*, угроза поражения на выборах и потери власти провоцировала российских политических лидеров усиливать неопределенность перехода, с тем чтобы она служила альтернативой формированию конкурентного демократического режима. Таким образом, помимо формирования демократической конкуренции сохранялась и возможность авторитарной трансформации режима. Состояние неопределенности, сохранявшееся довольно долго — 25 месяцев, но которое невозможно сохранять бесконечно, сыграло не последнюю роль в судьбе режима, который рухнул в октябре 1993 г., когда исполнительная власть решилась на силовой выход из сложившейся ситуации (стратегия «навязанного» перехода).

В результате победы исполнительной власти была принята «Конституция победителей», закрепившая доминирование этой ветви власти, и сложился политический режим, зачастую описываемый (как уже отмечено выше) с помощью концепта «делегативной демократии» Г. О’Доннелла. Кроме того,

«стратеги успешных демократических транзитов вначале проводили последовательную политическую демократизацию, строили и закрепляли эффективные демократические институты, а затем создавали то, что *Х. Линц* и *А. Степан* называют “экономическим обществом”, т.е. систему социальных гарантий и посреднических институтов между государством и рынком, и лишь после этого осуществляли болезненные экономические преобразования... Тем самым, с одной стороны, последовательная политическая демократизация способствовала обеспечению массовой поддержки демократии в условиях тяжелых экономических реформ, а с другой — создавалась социальная страховочная сетка, облегчавшая экономический переход, а в конечном счете и экономическую модернизацию» (*А. Ю. Мельвиль*).

Ни то, ни другое не было сделано в России. При Ельцине не были созданы ни политические институты демократии для поддержки экономических реформ, ни институты государственной поддержки рыночной экономики и системы социального обеспечения. В отсутствие какой бы то ни было социальной страховки политически и социально не подкрепленные, но крайне болезненные экономические реформы были обрушены на социально никем и ничем не защищенное население, что вело к его отчуждению от государства.

Тем не менее и эти интерпретации элитистской теории не лишены недостатков.

Во-первых, переход уподобляется автономному, скоротечному и самоценному процессу, который неизбежно завершается либо установлением процедурной демократии, либо возвратом к авторитарному

режиму, институализация и длительное сохранение гибридного режима не рассматривались как возможный исход.

Во-вторых, в стороне остается столь важная для понимания российского политического процесса проблема трансформации самих политических элит.

В-третьих, опыт нашей страны демонстрирует, что результатом взаимодействия элит может оказаться не достижение процедурной демократии, а временное, ситуационное разрешение внутриэлитного кризиса (и в форме «навязывания» — октябрь 1993 г., и в форме «пакта» — президентские выборы 1996 г.), т.е. временная консолидация (даже на основе негативного консенсуса).

Наконец, в элитистских теориях недостаточно учитывается воздействие на демократическую трансформацию соответствующего институционального контекста.

Можно, наверное, сформулировать и другие претензии к данному научному направлению, однако именно оно на сегодняшний день дает наиболее адекватный инструментарий для интерпретации эмпирического материала, получаемого в результате сравнительных исследований процессов демократического транзита. По крайней мере пока не появилось альтернативной и эмпирически более адекватной теории. Несомненно, транзитологические концепции постсоциалистического развития далеки от совершенства. Более того, по прошествии более двадцати лет после конца правления коммунистов все труднее оправдывать использование термина «переход» по отношению к странам этого региона.

«Большинство посткоммунистических режимов (больше) не идут никуда. Они достигли точки, к которой желали прийти, — по меньшей мере это касается правящих элит. Уместна иная терминология, та, что уже не дает дефиниций этих режимов при допущении, что имеет место состояние перехода к демократии западного стиля, та, что помещает их в контекст режимов большей части развивающегося мира, где соперничество на выборах нередко соседствует с господством элиты, контролирующей де-факто экономику, СМИ, правоохранительные органы» — отмечает Ст. Уайт.

Уже неоднократно многими экспертами высказывалось предположение, что их следует классифицировать как «полуавторитарные режимы», обладающие высокой степенью устойчивости и не имеющие почти ничего общего с западными демократиями.

§ 4. Институциональный подход в транзитологии

Одной из самых насущных проблем политической науки в конце XX в. стала выработка четких представлений о последствиях институ-

циональных изменений (институциональных эффектах). Этот вопрос возник в связи с так называемой «третьей волной демократизации», когда многие страны Восточной Европы, Латинской Америки и Азии в 1980–1990-е годы вступили на путь перехода от авторитаризма к демократии, что актуализировало задачу рационального «конструирования» политических институтов.

Теория институциональных изменений предлагает подход к объяснению различий в зависимости от возможного пути институционального развития. В то же время она предоставляет инструментарий, при помощи которого можно проанализировать последствия этих различий и выработать рекомендации.

«Новизна “рациональной” версии нового институционализма, — отмечает С. В. Патрушев, — состоит в анализе эффектов и влияний институтов, особенно того, чьи интересы или предпочтения преобладают в публичной политике или общественных решениях, исследовании отношения между институциональными контекстами или структурами принятия решений и априорным, рациональным поведением индивида».

Важнейшим инструментом анализа является моделирование (симуляция) на основе различных гипотез поведения отдельных политических акторов в рамках признанных правил. Для подтверждения этого используются или репрезентативные (сравнительные) данные социологических исследований (опросы, статистика, эконометрический анализ), или изучение конкретных случаев (*case studies*).

Институционалисты отмечают недостаточность только нормативного видения демократии. Демократия — это не столько комплекс идей и принципов свободы и справедливости, сколько комплекс норм, институтов и процедур, сформировавшихся на протяжении долгой истории, утверждают они. Американский социальный философ Дж. Дьюи, отмечая многозначность понятия «демократия», в частности, писал:

«Но одно из значений несет явственно политический смысл, указывая на некий способ управления — на определенный порядок отбора должностных лиц и регулирования их поведения в качестве таковых».

Предметом давнего спора в политической науке является и вопрос об отношении между культурным контекстом и институциональными переменами. Суть спора сводится к дилемме: можно ли преодолеть препятствия, порождаемые спецификой культуры, введением радикальных институциональных перемен, или же, напротив, невозможно введение новых институтов в культурно неподготовленном обществе. Не случайно ключевой дилеммой консолидации демократии Ф. Шмиттер называет вопрос о том наборе институтов, с которыми политики могут со-

гласиться, а граждане пожелают поддержать. Необходимо согласие относительно некоторого набора правил, с использованием которых решались бы возникающие конфликты.

Институциональный подход в транзитологии как раз и связан с анализом влияния на консолидацию демократии как культурного контекста, так и различных аспектов институционального выбора (прежде всего выбора президентской либо парламентской формы правления и вариантов избирательных систем). «Решающим шагом на пути к демократическому государству является передача власти от группы лиц своду правил», — отмечает в этой связи *А. Пшеворский*. Речь идет, следовательно, о ведущей роли в процессах демократизации *институализации* политики как «...процесса образования, развития и усвоения индивидами и различными социальными общностями требуемых норм и ролей, ценностей и эталонов политического поведения, способов контроля за их соблюдением, а также результат процесса, в рамках которого политическое действие начинает регулироваться и приобретать стабильные черты политической структуры». Так, согласно представлениям транзитологов, при переходе от авторитарного к демократическому правлению процесс институализации включает в себя три последовательных этапа: первоначально заключенное *соглашение* (институциональный «пакт») постепенно становится укоренившимся *порядком* (практикой), а тот в свой черед превращается в *институты*, которые могут быть определены как результат «взаимной типизации опривыченных действий». Поскольку институты устанавливают «правила игры», которые определяют, как индивидуумы действуют в процессе применения власти, постольку установление структуры институтов видится как основной путь изменения поведения людей. В долгосрочной перспективе такое поведение постепенно меняет и авторитарную политическую культуру на демократическую.

Таким образом, *институализация* — это и процесс, «...посредством которого организации и процедуры приобретают ценность и устойчивость. Уровень институализации какой-либо политической системы определяется адаптивностью, сложностью, автономией и согласованностью ее организаций и процедур. Равным образом уровень институализации какой-либо отдельной организации или процедуры измеряется ее адаптивностью, сложностью, автономией и внутренней целостностью. Если есть возможность выделить и измерить эти критерии, можно сравнивать политические системы по уровню институализации. Можно также оценивать возрастание и снижение уровня институализации отдельных организаций и процедур в составе политической системы» (С. Хантингтон).

В свою очередь процесс строительства институциональной системы — это прежде всего процесс создания *конституции*:

- как набора учреждений, процедур и принципов (правил), которые определяют и структурируют систему правления;
- как писаного документа, который устанавливает и ясно формулирует эту систему.

Институциональный подход стал плодотворной попыткой преодоления методологической односторонности и теоретического синтеза структурного и элитистского подходов с учетом богатого опыта структурирования новой социально-политической реальности в рамках «третьей волны демократизации».

Старт дискуссии на эту тему был дан *Х. Линцем* в начале 1990-х годов. Так, сравнив опыт постпереходного развития в странах с президентскими и парламентскими системами, Линц делает вывод о том, что выбор президентских систем ведет к росту политической нестабильности, противостоянию между законодательными и исполнительными органами власти, пренебрежению принципами законности, повышению влияния ошибок в управлении на углубление кризиса в стране и т.д. Дальнейшее сравнительное изучение демократий (*А. Валенсуэла, А. Лейпхарт, А. Степан, С. Скач и др.*) подтвердило, что тип избирательной модели значимым образом связан не только с развитием партийной системы, но и с типом существующей в стране исполнительной власти (однопартийное или коалиционное правительство), а также с отношениями между исполнительной властью и парламентом (представительным органом), т.е. с формой правления.

Возможны *четыре основных варианта* сочетания двух основных формул голосования и двух основных форм правления (парламентской и президентской республик). При этом мы абстрагируемся от тех различий, которые, скажем, есть между парламентской республикой и конституционной парламентской монархией или президентской и полупрезидентской республиками — в данном случае они для нас несущественны.

Первый вариант — это парламентская форма правления в сочетании с мажоритарной системой выборов. Важнейшая отличительная черта этой формы правления — формирование правительства на основе парламентского большинства и его формальная ответственность перед парламентом. Глава государства занимает в системе властных органов скромное место. Парламент наряду с изданием законов и вотированием бюджета имеет право контроля над деятельностью правительства. Принятие мажоритарной модели выборов обычно ограничивает количество конкурирующих партий двумя и дает сильнейшей из них непропорцио-

нально большое число мест в законодательном органе (эффекты мажоритарного голосования). При этом партия большинства контролирует и исполнительную власть, формируя однопартийное правительство, и парламент (через свою фракцию). Таковы основные особенности мажоритарной, или *вестминстерской*, модели демократии, обеспечивающей сильное и стабильное правительство. Так, в Великобритании, где эта модель и сформировалась, все послевоенные правительства (за исключением одного) опирались на однопартийное большинство в парламенте, хотя ни одна из правящих партий не получала абсолютного большинства голосов в период с 1931 по 1997 г.

Таким образом, общепризнано, что контроль исполнительной власти над законодательной повесткой дня является главной особенностью таких парламентских систем. Доминирующее влияние исполнительной власти на законотворческие результаты, партийную дисциплину и деятельность парламентского большинства зависит от законодательных полномочий, сосредоточенных в руках премьер-министра. В свою очередь главный недостаток данной модели демократии в том, что самые незначительные колебания в политических предпочтениях избирателей могут вызвать серьезные изменения в составе парламента, а значит — в составе и политике правительства. Вследствие этого в случае победы другой партии на выборах и смены правительства не сохраняется преемственность политической линии государства.

Кроме того, широкое заимствование этой модели в 1950—1960-е годы государствами, возникавшими на территории бывших колоний Великобритании, не привело к появлению в большинстве из них консолидированных демократий. Как отмечал *Д. Горовиц*, голосование за партии этнического типа явилось главной причиной упадка таких демократий в молодых государствах Африки, Азии и Карибского бассейна. И добавляет: «вечная власть одного и того же большинства — отнюдь не то же самое, что “правление большинства”. Необходимо исходить из того, что состав большинства текуч, что оппозиция тоже когда-нибудь сможет сформировать правительство, что симпатии публики со временем меняются». Вспомним в связи с этим, что становление сравнительной политологии как субдисциплины политической науки, по ироническому замечанию Г. Алмонда, происходило (в годы «второй волны демократизации») в связи с обсуждением вопроса «Почему вестминстерская модель демократии не прижилась в Африке?».

Второй вариант — парламентская форма правления в сочетании с системой (преимущественно) пропорционального представительства, скорее ассоциирующаяся с многопартийными системами. Число

партий, представленных в парламентах стран этой модели демократии, различно, иногда их много (Италия), но везде у власти находятся коалиционные правительства. Исключения составляют однопартийные правительства меньшинства (Скандинавские страны). Однако такие правительства допустимы, поскольку они фактически пользуются поддержкой коалиции большинства, участники которой по каким-то причинам предпочитают не входить в верхний эшелон исполнительной власти официально. Данную модель характеризует более уравновешенное соотношение исполнительной и законодательной власти. Этими чертами наделена *консенсусная, или европейская континентальная*, модель демократии, «которая — в противоположность однозначному и безраздельному правлению большинства — воплощает стремление к ограничению и распределению власти различными способами» (А. Лейпхарт). Многие авторы обращают внимание на обеспечение в рамках парламентских систем большей преемственности правительства, измеряемой «коэффициентом возврата министров». Отмечают также большую эластичность парламентских моделей, выражающуюся в способности противостоять политическим кризисам и реагировать на изменения окружающей среды: насколько попытка досрочного отстранения президента от должности чревата дестабилизацией системы (опасной для молодых демократий), настолько же смена премьера или правительства не угрожает ее основам.

Модификации этой модели действуют во всех западноевропейских странах, за исключением Великобритании и Франции, а также в Венгрии, Польше, Эстонии и др. Многие западные исследователи (А. Лейпхарт, Х. Линц, Р. Степан и др.) считают, что парламентская форма правления в сочетании с пропорциональной системой выборов¹ более подходит и для обществ, осуществляющих переход к демократии. Эта система, по их мнению, более «чутко реагирует» на изменение настроений общества и способствует созданию сильных партий и «политического сообщества». При этом «роль парламента как механизма согласования интересов различных акторов в постпереходный период возрастает, в то время как на более ранних этапах трансформации основные решения принимаются внепарламентским путем». Это подтверждает и статистика: из 41 страны мира, где с 1981 по 1991 г. без перерыва функционировали демократические системы, 30 были парламентскими государствами и только 4 — президентскими республиками. Из 93 стран,

¹ Не все исследователи разделяют эту точку зрения. См. критику подхода А. Лейпхарта американским политологом Г. Лардеретом.

получивших независимость в период с 1945 по 1979 г., в 1980—1989 гг. без перерыва демократическими были 15 стран, и все они — парламентские республики.

Подводя некоторый итог этой дискуссии, *Р. Хилл* пишет:

«...Парламентская система может лучше объединять фрагментированные общества, позволяя осуществиться представительству интересов разных групп. Распределение власти среди парламентариев предотвращает появление центра, выражающего узкие интересы определенной группы. Парламентские системы предусматривают преемственность при смене лидера. Также они проявляют гибкость, которой не хватает президентским системам: президенты исполняют служебные обязанности в течение установленного срока, компетентны они или нет, достигнуты определенные цели или нет; премьер-министры же могут быть смещены проще и быстрее».

Эти выводы в целом подтверждает политическая практика центрально-европейских парламентских республик (Венгрии, Чехии и Словакии). Так, в Чешской Республике президент, избираемый двухпалатным парламентом (палата представителей и сенат), обладает преимущественно церемониальными полномочиями. Правительство несет политическую ответственность перед парламентом и может быть смещено путем простого вотума недоверия. Большими законодательными полномочиями обладает палата представителей, зато сенат в отличие от нее не может быть распущен и т.д. Такая институциональная система создала благоприятные предпосылки для достаточно быстрой консолидации демократии. Правда, западноафриканский опыт показывает, что парламентские системы могут быть неэффективными во фрагментированных обществах, где формирование устойчивых коалиций является проблемой.

Третий вариант — это президентская республика в сочетании с системой мажоритарных выборов. Она имеет место в США и на Филиппинах (и потому может быть названа *американской*). При бипартизме, связанном с данной системой выборов, партии президента не обязательно быть одновременно партией большинства в парламенте. Так, в 1980-е годы демократы контролировали обе палаты американского конгресса, а республиканцы — президентский пост (в ноябре 1996 г. они поменялись, позже эта ситуация повторилась еще несколько раз).

Важнейшая отличительная черта президентской республики — жесткое разделение властей. Все ветви власти обладают значительной самостоятельностью по отношению друг к другу, однако существует развитая система сдержек и противовесов, сохраняющая относительное равновесие властей. Так, парламент не вправе вынести вотум недоверия правительству, но и президент не вправе досрочно распустить парламент. В то же время парламент обладает правом на импичмент, т.е.

правом привлечения к ответственности и судебного рассмотрения дел о преступлениях высших должностных лиц, в том числе и президента, однако у главы государства есть право отлагательного вето на решения парламента. Независимая судебная власть, формируемая президентом, при участии парламента обладает правом конституционного контроля и правом на толкование «буквы и духа конституции» (право на дискрецию). Правда, по мнению Р. Даля, во всех важных и спорных ситуациях обычно невозможно просто сравнить тексты конституции и предлагаемого акта, и поэтому судьи начинают руководствоваться своими собственными предпочтениями и идеологией. Тем самым не избираемые народом судьи оказываются участниками процесса принятия важнейших политических решений, что противоречит принципам демократии. Именно поэтому Даль предлагает ограничить полномочия верховного суда отменой только тех законодательных актов, которые нарушают фундаментальные права граждан — свободно выражать мнения, голосовать, создавать политические объединения и др.

Главный институциональный недостаток модели — это так называемая «двойная», или «параллельная», легитимность институтов президента и парламента, которые избираются по одной формуле — всеобщим голосованием народа и потому могут претендовать на то, что являются носителями «мандата народа», а это чревато трудноразрешимыми конфликтами между исполнительной и законодательной властями. «Президентские системы также могут стать пленниками в сражениях между президентом и законодательным органом, как это случается в США...», — отмечает Р. Хилл. Кроме того, конкурентный, агрессивный стиль политического действия, характерный для «мажоритарных» демократий, с одной стороны, облегчает политическую идентификацию, позволяя избирателям отличать «своих» от «чужих», однако, с другой, может вызвать усталость от демократического участия и затруднить достижение взаимопонимания между элитами. Еще один часто отмечаемый недостаток — слабость и организационная аморфность партий. Общеизвестно, что в американском политическом процессе доминируют не партии, а личности, отсюда высокая степень персонификации политики.

Четвертый вариант — президентская система с избирательным законом, предусматривающим (преимущественно) пропорциональное представительство. Она является наименее устойчивой, однако именно данный тип правления был первоначально избран во многих «новых демократиях» Латинской Америки (поэтому его и называют *латино-американским*), а затем в постсоциалистической Восточной Европе и СНГ (Белоруссия, Россия, Румыния, Хорватия, Украина до 2006 г. и др.).

Во-первых, эта система наследует основной недостаток президентской формы правления — «параллельную», или двойную», легитимность (см. выше). Так, Х. Линц, отмечая уникальность политического стиля США, утверждает, что деятельность президентских систем, находящихся на начальных стадиях развития, может быть неэффективна в связи с проблемой «двойной» легитимности института президента и парламента, а жестко установленный срок полномочий уменьшает гибкость в случае необходимости перемен. Ситуация, в которой страной управляет четко фиксированный срок непопулярный или недееспособный лидер, на законных основаниях практически не сменяемый досрочно, способна серьезно пошатнуть веру в эффективность демократических институтов.

Аргументы против президентализма дополняет британский публицист конца XIX в. *Уолтер Беджхот*: «Отсутствие в президентской республике монарха или “Президента республики” действующего символически, как представительская власть, лишает эту систему гибкости и средства ограничения власти. Подобная фигура, обычно нейтральная, способна играть роль нравственного баланса во времена кризиса или действовать в качестве посредника между премьером и его оппонентами, среди которых могут быть не только парламентские противники, но и военные лидеры».

Во-вторых, в условиях президентской формы правления «особенно неопределенным является положение лидеров оппозиции, которые вообще не могут занимать никакие государственные посты и не имеют даже того полуофициального статуса, каким обладают, скажем, лидеры оппозиции в Англии». В результате эта институциональная система не образует достаточных стимулов к созданию стабильных и эффективных политических партий.

В-третьих, при пропорциональной избирательной системе, как правило, многие партии получают места в представительном органе власти, но поскольку правительство формируется президентом, а не парламентом, то партиям нет смысла формировать правящую коалицию. В условиях сложившейся многопартийности партия президента, вероятнее всего, получает сравнительно небольшое количество мандатов в законодательном органе. Однако президент не может нормально управлять, не имея поддержки парламента. Последний же, не неся ответственности за деятельность правительства, не имеет поэтому стимула для его постоянной поддержки. Отсюда возможность перманентных конфликтов между президентом и парламентом, что может завести управление страной в тупик. Президенты, не способные договариваться с парламентами, имеют большое искушение прибегнуть к иным политическим

средствам (управление посредством указов) и силам, чтобы править без парламента (РФ — 1993–1999 гг.) или найти средства формирования «послушного парламента» (РФ — 2003 г.), а это уже путь в авторитаризм. Говоря иначе, такого рода процедуры формирования парламента, создания и утверждения правительства не дают мотивации к сотрудничеству президента и законодателей. «Трактовка президента как слуги народа связывается с приданием ему полномочий на издание декретов, на сопротивление решениям парламента, а также с правом досрочного роспуска этого последнего тогда, когда на линии “парламентское большинство — глава государства” рождается конфликт», — пишут польские исследователи.

В Латинской Америке, где в послевоенный период преобладали полупрезидентские системы, они, как отмечал *Х. Линц*, проявили особую подверженность тупиковым ситуациям в отношениях исполнительной и законодательной властей и неэффективности руководства. Эта проблема становилась особенно серьезной, когда президенты не располагали поддержкой большинства парламента в своих легислатурах. Важной чертой полупрезидентализма является и отказ от разделения властей, что отличает, скажем, американскую модель. Это, по мнению *А. Лейпхарта*, ослабляет возможности формирования консенсусной модели демократии, поскольку не обеспечивает защиты интересов политических меньшинств. Институциональные решения, свойственные полупрезидентализму, поощряют выбор стратегии, ведущей к победе с целью реализации собственных интересов, а не для поиска взаимопонимания с теми, кто имеет другие цели. В этом смысле данная система рождает то, что *А. Лейпхарт* назвал «эффектом большинства», т.е. склонность к формированию большинства, способного навязывать собственную волю, а также ведет к доминированию исполнительной власти над законодательной и фактическому отказу от разделения властей, что препятствует формированию консенсусной модели демократии.

Авторитарная личность в качестве главы государства и президентская конституция не подходят для обществ, политический опыт которых также был авторитарным. Необходим радикальный разрыв с авторитаризмом. Более того, *С. Мэйнворинг* и *М. Шугарт* утверждают, что в президентских и смешанных системах, если президент и парламента принадлежат к одной партии, жесткая партийная дисциплина ведет к нарушению демократического принципа разделения властей и авторитарному правлению.

Сторонники президентализма, как правило, приводят два стандартных аргумента «за». Первый имеет нормативный характер и гласит, что

президентализм является режимом, гарантирующим большую политическую стабильность, нежели парламентаризм, благодаря большей независимости от изменения расстановки политических сил, характерной для стран демократического транзита.

Второй апеллирует к фактам, в частности, утверждается, что страны, вступающие на путь демократических трансформаций, чаще принимают президентскую модель, парламентская же система, за некоторыми исключениями, свойственна демократиям, достигшим стабильности.

Однако статистические данные скорее подтверждают большую неустойчивость президентских систем по сравнению с парламентскими. Так, между 1973 и 1989 гг. в 77 из 186 государств хотя бы в течение одного года существовали демократические режимы. Если исключить из их числа 24 «старые» демократии, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития, то остается 53 страны, из которых 28 были парламентскими республиками, 25 — президентскими. На протяжении рассматриваемого периода (1973—1989 гг.) демократиями в течение десяти лет подряд оставались 17 из 28 парламентских республик (или 61%) и только 5 из 25 президентских (20%). Другими словами, уровень «выживаемости» парламентских демократий был в три раза выше, чем президентских. Однако можно напомнить, что ни президентская, ни парламентская модель демократии не прошла проверки на прочность в странах «третьего мира». Распад парламентских систем здесь чаще всего был связан с острыми этническими конфликтами, препятствующими созданию устойчивого правительства, распад же президентских систем чаще был вызван фракционностью и «несговорчивостью» партий.

Не работает и аргумент о большей стабильности исполнительной власти в условиях президентского режима по сравнению с парламентским. Если принимать во внимание отставки и перестановки в правительстве России, подотчетном президенту, скажем, в 1998 г., то можно признать, что президентские системы могут быть так же нестабильны, как и парламентские, где правительство ответственно перед парламентом (Италия).

Можно также поставить под сомнение и вывод о том, что в демократизирующихся странах чаще выбирают президентскую (полупрезидентскую) форму правления. Если речь идет о Латинской Америке и странах СНГ, то это действительно так, однако в Западной Европе после Второй мировой войны (ФРГ, Италия, Австрия) и в Центральной Европе в 1990-е годы (Чехия, Венгрия, Болгария, Словакия, Польша, страны Балтии) выбор делался преимущественно в пользу парламентской модели.

Объясняя институциональный выбор, осуществленный в России и во многих странах СНГ, *В. Кувалдин* пишет: «Там, где социальные и политические институты неразвиты и слабы, вакуум заполняет сильная президентская власть, нередко с авторитарными тенденциями».

Как отмечают компаративисты, президентские (полупрезидентские) системы действительно могут оказаться эффективными при проведении прежде всего экономических реформ. Они позволяют исполнительной власти самостоятельно решать проблемы, не терпящие отлагательства. В этих условиях президент выполняет функцию своеобразного клапана безопасности, позволяющего нейтрализовать негативные следствия политической фрагментации и поляризации общества. Однако для этого необходимо несколько дополнительных условий: во-первых, президент-харизматик, символизирующий либо антикоммунистическую оппозицию (Л. Валенса, В. Гавел), либо стремление к обретению независимости (Ф. Туджман в Хорватии, Б. Ельцин в 1991 г.); во-вторых, ясный порядок передачи власти следующему главе государства и, в-третьих, поддержка действий президента со стороны влиятельной общественно-политической силы. В России эти факторы пока не срабатывают. Более того, по мнению С. Моисеева, «политические механизмы, созданные для решения краткосрочных задач экономической реформы, пришли в противоречие с долгосрочными целями перехода к демократии. Нынешней стадии реформ должны соответствовать новые, более совершенные политические институты».

Представляется, что сторонники президентализма переоценивают его стабилизационные возможности, в то же время не учитывая опасности его потенциальной эволюции в сторону авторитаризма (Белоруссия). В свою очередь сторонники парламентской системы явно недооценивают тот факт, что в случае отсутствия стабильной двухпартийной системы она может нормально функционировать только при наличии массовой политической культуры согласия, опирающейся на толерантность и стремление к компромиссу.

Таким образом, институциональный подход показывает, насколько ответственным делом является выбор формы правления и электоральной модели в условиях становления демократической системы.

И хотя институционалисты считают, что в политике выбор «правил игры» намного важнее, чем выбор «игроков», однако институциональный выбор делают политические элиты, и они «...определяют институциональный дизайн (в том числе выбирают избирательную систему), руководствуясь отнюдь не стремлением оптимизировать функционирование демократии. Как и любой субъект политического процесса, они

преследуют собственные интересы по поводу максимизации власти», — резонно отмечает Г. Голосов¹.

А. Пшеворский в свою очередь акцентирует внимание на том, что судьба институционального выбора в ходе институциональной реформы зависит от соотношения сил политических акторов в этот период:

- если соотношение сил акторам неизвестно (как в Испании конца 1970-х), то создается эффективный баланс сдержек и противовесов;
- если акторы знают о наличии баланса сил, то возможны как соглашения сторон, так и вариант силового противостояния (например, Россия 1992–1993 гг.);
- если же соотношение сил заведомо известно акторам и имеет место доминирование одной из сторон, то институты создаются для обеспечения преимуществ сильной стороны и стабильность сохраняется постольку, поскольку сохраняется такое соотношение сил (Франция 1958 г., Россия с октября 1993 г.).

По мнению институционалистов, принципиальное значение для судьбы институтов в новых демократиях имеет также характер принятия конституционных норм. Как правило, стабильность институтов связана с принятием конституций на основе широкого согласия; вместе с тем если противники новой конституции после ее принятия обнаруживают, что в рамках новых «правил игры» они могут вести борьбу за власть и их существованию ничто не угрожает, то институты, возникшие в результате чисто ситуативного выбора, могут сохраняться надолго — особенно в случае гибкой интерпретации конституционных норм (Франция после 1958 г.). Таким образом, элитистский и институциональный подходы в транзитологии являются не взаимоисключающими, а скорее взаимодополняющими.

Особое внимание, уделяемое абстрактному моделированию политических институтов, является одновременно и существенным плюсом, и существенным минусом неинституционального подхода. С од-

¹ Общепризнано, что создание новой конституции — это ключевой момент в переходе к демократии. Отсюда возникающая в связи с этим важная проблема — как скоро она должна быть принята. По мнению Ф. Шмиттера, А. Пшеворского и др., конституция должна стать первым приоритетом в процессе перехода. Она есть продукт дискуссий, компромиссов между политическими элитами. Задержка сыграет на руку группам, чья власть установится на начальном этапе транзита: их интересы будут заложены в проекте, они закрепятся в новой системе. Поэтому надо принять конституцию вначале, чтобы она не поддерживала никакую специфическую группу, а воплощала «нейтральные» принципы.

ной стороны, это позволяет абстрагировать и схематизировать определенные взаимосвязи и отчетливо указать механизмы взаимодействия. С другой стороны, это абстрагирование зачастую приводит к тому, что существенные аспекты действительности не учитываются. Применение институционального подхода к исследованию транзитов еще раз подтвердило, что не существует единого стандарта или сочетания институтов, олицетворяющих современную демократию, а институционалистская школа пытается решить совершенно непосильную задачу, рекомендуя «правила игры», которые могут помочь достижению справедливости. Как остроумно заметили *Г. Экштейн* и *Д. Антер*, «Институционалисты полагали, что совершенствование политической структуры способно заменить удачу». Демократия создает лишь институциональную предпосылку решения никуда не исчезающих контекстуальных проблем с помощью правил и демократических процедур.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ КАК ОБЪЕКТ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Место и роль политических партий в становлении и функционировании либеральной демократии
 2. «Политическая партия» — определение понятия
 3. Типологии политических партий
-

§ 1. Место и роль политических партий в становлении и функционировании либеральной демократии

В современных западных демократиях гражданское общество и государство интегрированы в единое целое посредством трех основных политических институций: представительной системы государственной власти, всеобщего избирательного права и политических партий. Метафора «суверенная власть народа» означает сегодня, что власть в государстве исходит от народа и осуществляется им посредством его представителей, выбираемых на строго фиксированный срок на основе всеобщих, равных и тайных выборов. Поэтому политические партии играют исключительную роль в функционировании современных демократических представительных систем. Именно они прежде всего обеспечивают связь политической системы и окружающей среды, выполняя функции артикуляции и агрегации социальных интересов.

Современная демократия — это представительная демократия. Требование создания многопартийной системы вытекает из стремления привести партийную структуру в соответствие с плюралистической общественной структурой современных государств. Без признания партийного плюрализма и оппозиции любая политическая система не может быть названа ни демократической, ни представительной. Однако роль представительного органа власти как выразителя «общей

воли», в отличие от «воли всех» (Ж.-Ж. Руссо)¹, означает, что в парламенте должны быть представлены не интересы отдельных социальных групп или личностей, а общезначимые политические интересы. Именно поэтому в демократических странах основными коллективными субъектами избирательного процесса и парламентского представительства являются политические партии. Поскольку партии, в отличие от иных общественных объединений, предназначены не для выражения отдельных корпоративных интересов, а для выявления и учета в групповых интересах общезначимого начала и перевода его на общегосударственный уровень.

Политические партии берут на себя и формулирование коллективных целей для социума, предлагая различные цели и стратегии общественного развития. Трансформируя требования и чувства социальной неудовлетворенности в позитивные политические цели, партии направляют стихийную энергию социального протеста в русло конституционной борьбы за их достижение через участие в государственном управлении.

«Партии, — пишет российский исследователь А. Кулик, — осуществляют обратную связь органов государственного управления с управляемым обществом. Они выполняют функцию поддержания социального консенсуса, и государство, ограничивающее свободу организации и деятельности партий, напоминает паровой котел, в котором неисправный регулятор давления создает постоянную угрозу взрыва».

Расширяя пространство публичного политического процесса, партии стремятся преодолеть отчуждение маргинальных групп общества от политики, т.е. выполняют функцию политической мобилизации. Еще М. Вебер видел, что соперничество за голоса масс подразумевает опору на организованные массовые партии и что такие партии обычно организованы иерархически и бюрократически. Партии приобретают голоса избирателей, поощряя последних идентифицировать себя с политическим имиджем партии и с ее руководством. Они упрощают стоящий

¹ «Общая воля, — писал Ж.-Ж. Руссо, — ...стремится всегда к пользе общества, но из этого не следует, что решения народа имеют всегда такое верное направление... Часто существует немало различие между волею всех и общей волею. Эта вторая блюдет только общие интересы; первая — интересы частные и представляет собой лишь сумму изъявлений воли частных лиц». Таким образом, по Руссо, истинная демократия предусматривает отказ от частных интересов во имя интереса общего. Звучит идеально, однако политическая практика показала, что достижение данной цели не только невозможно, но даже опасно, что подтверждает опыт французских якобинцев, а в XX в. — опыт левых и правых тоталитарных движений и режимов.

перед избирателями выбор. Отсюда следующая констатация: политические партии и регулярные выборы — это тесно взаимосвязанные и взаимозависимые институты демократической системы, а «демократия — это система, при которой партии проигрывают выборы» (А. Пшеворский).

Чаще всего политические партии и определяются как организации, стремящиеся к выдвижению и избранию своих признанных представителей на государственные посты. Не случайно в законодательстве ФРГ, Швеции и некоторых других стран записано, что политическое объединение утрачивает правовое положение партии, если оно в течение определенного количества лет (в ФРГ — 6 лет) не участвует в выборах, т.е. участие в выборах — не только право, но и обязанность партий. Однако участие в выборах — это лишь способ, посредством которого партии могут содействовать формированию политической воли народа и его политическому волеизъявлению, поскольку выборы это аналог непрямого принятия политических решений¹. Так, согласно ст. 21 Основного закона ФРГ партиями являются организации, содействующие формированию политической воли народа.

Современные правительства, как правило, партийные правительства, а партийные фракции определяют «лицо» современных парламентов, поскольку через партии реализуются еще две важнейшие политические функции — политического представительства и рекрутирования политической элиты.

Выступая универсальным посредником между обществом и государством, партии становятся инструментом легитимации власти и одновременно решают одну из важнейших проблем — проблему защиты прав и свобод граждан от вмешательства государства. Поддерживая непрерывность политического процесса, партии объективно обеспечивают устойчивость обратных связей между обществом и политической системой. Работая над преодолением отчуждения «периферийных» групп общества, партии увеличивают гибкость и маневренность политической системы.

Политические партии выступают в качестве субъекта политической социализации. От партий массы воспринимают ценности, лежащие в основе норм поведения и «правил игры» в сфере политики, без соблюдения которых стабильное существование демократии становится невозможным. По замечанию известного американского политолога *С. М. Лунсета*, выборы являются современным выражением «демократической

¹ Политическим решением принято называть решение относительно общественного блага, аналогом прямого принятия решений народом (избирателями) является референдум.

классовой борьбы». При этом социализирующая функция партий реализуется как в ходе избирательных кампаний, в повседневной партийной деятельности (освоение техники голосования и избирательной технологии в широком смысле массовыми слоями населения, до того не принимавшими активного участия в политике), так и в процессе регулярного общения политиков с потенциальными сторонниками.

Наконец, партии являются наиболее эффективным и легитимным инструментом борьбы за власть и участие в принятии значимых политических решений. Партии являются общественными инструментами институализации политической борьбы. Посредством партий политически регулируется процесс доступа к власти, и борьба за нее приобретает рациональные формы. Как отметили С. М. Липсет и С. Роккан, в западных политических системах политическая борьба между партиями имеет интегрирующее для нации значение. Они институализируют политические конфликты в рамках нации, тем самым способствуют укреплению национальной целостности и политического порядка. «Формирование стабильных каналов выражения конфликтующих интересов способствовало стабилизации структуры большого числа наций-государств».

Политические партии — один из немногих политических институтов, рождение которых неразрывно связано с генезисом либеральной демократии. «Демократия мыслима не иначе, чем выраженная через партии», — пишет, например, *Г. Шатинайдер*. Видимо, этим объясняется то, что с самого начала реформ конца 1980-х годов многопартийность в России рассматривалась как своего рода панацея или локомотив, который поведет всю трансформированную политическую систему к стабильной, консолидированной демократии. Хотя конечно же политическая история знает не только демократические, системные, но и антисистемные, революционные и реакционные партии.

Процесс становления демократии происходил через два параллельных потока изменений европейских политических систем после 1789 г.

1. Институализация демократии — становление системы свободной конкуренции политических сил, постепенное снижение и отмена избирательных цензов, обеспечение тайного и равного голосования, установление контроля законодательных органов над исполнительными и др.

2. Развитие и утверждение каналов политической мобилизации избирателей — формирование и укрепление политических партий. Именно поэтому партии были бы невозможны без современного конституционализма, в свою очередь он был бы недейственным, если бы не было политических партий. Таким образом, рационализация борьбы за власть

и введение ее в конституционные рамки предполагают, что партии действуют против партий, включая и правящую в данный момент, но не против государства и государственных институтов, что существует не одна единственная партия, а их множество, и что партии включены в представительную систему.

В результате, отмечая особую роль и значение партий в функционировании представительной демократии, многие исследователи (причем и те, кто позитивно, и те, кто негативно оценивают данный институт) называют современное государство «партийным государством». Согласно определению *К. фон Бейме*: «Партийное государство понимается как тип современной демократии, в которой парламент утратил свое значение в качестве института выражения суверенной воли народа: парламенты в основном лишь ратифицируют те решения, которые в другом месте уже приняли партии, входящие в коалицию большинства».

В то же время партии имеют длительную предысторию, поскольку политические группы интересов, в большей или меньшей степени организованные, всегда были неотъемлемым атрибутом политики. В связи с этим можно вспомнить «партии» пополяров и оптиматов времен кризиса Римской республики, гвельфов и гибеллинов средневековой Европы¹, политические объединения, возникавшие в ходе Нидерландской революции XVI в. и Английской революции XVII в. (диггеры, левеллеры, индипенденты) и Великой французской революции конца XVIII в. (фельяны, жирондисты, якобинцы, «бешеные») и др. Однако партии в современном смысле слова — относительно недавнее «изобретение». Они появились лишь во второй половине XIX в.

Появление партий — своеобразный исторический итог развития западных обществ после веков борьбы за власть без каких-либо правил, кроме правила господства более сильного. В течение длительного исторического периода единственно возможным способом легитимной передачи власти было ее наследование. Когда прерывалась династия и утрачивалось легитимное обоснование передачи и осуществления власти, начиналась борьба «без правил», пока силой не устанавливалось равновесие между борющимися фракциями. Вполне естественным было и то, что в результате победы победитель не только навязывал свою волю

¹ Партия гвельфов отстаивала идею «жреческой власти», воплощенной в средневековой Европе в папозаризме, — европейские короли этой эпохи утверждались постановлением римского понтифика, т.е. не были в полном смысле суверенны. Гибеллины, защищавшие власть императора, воспринимали ее как синтез традиции церковной и светской власти, их политическим кредо был не только антипапизм, но и антиабсолютизм (анти-Франция).

побежденным, но и зачастую истреблял своих наиболее опасных соперников, предотвращая, таким образом, вероятный мятеж против его власти. «...В случае с партиями также побеждает более “сильный”, но его сила реализуется через восприятие сообществом норм, в выработке которых участвовали представительные органы». Не случайно поэтому их непосредственные предшественники, «внутренние партии» или «партии — политические клубы», возникли примерно столетием раньше на «родине классического парламентаризма», в Великобритании. Это знаменитые «тори» и «виги», представлявшие в английском парламенте интересы двух фракций господствующего класса: земельных собственников и двора («тори»), а также промышленников и купцов («виги»). Подчеркивая роль протопартий и политической конкуренции в становлении и укоренении институтов британской представительной демократии, известный английский историк XIX в. *Т. Б. Маколей* писал, что если в институтах Англии «свобода и порядок, преимущества, которые несут новизна и традиции, были объединены до такой степени, какой не найдешь в других местах, мы можем приписать эти счастливые свойства упорным сражениям и попеременным победам двух групп государственных мужей, одна из которых выступала за авторитет и традиции, а другая — за свободу и прогресс». Однако следует напомнить, что так было не всегда.

«Еще в XVII веке, — отмечал *В. Зульцбах*, — партия, которая в то время владела государственной машиной, довольно часто использовала свою власть для уничтожения своих противников. Постоянно витала в воздухе угроза кровопролития, а свергнутый министр мог радоваться, если его не посылали на эшафот».

Характерно также, что не только в XIX в., но и XVIII в. термины «тори» и «виги» ровным счетом ничего не выражали с точки зрения идеологии. Известно, что «виги» и «тори» возникли в 1679 г.: поводом для поляризации политических сил послужил тогда вопрос о законопроекте, лишившем герцога Йоркского (будущего короля Якова II) права на престолонаследие из-за его католичества. Предполагается, что «вигами» (по-гэльски «конокрад») противники первоначально называли шотландских пресвитериан. Словечком «тори» ирландские протестанты первоначально именовали бунтовщиков-католиков. Таким образом, в глазах добропорядочного британца-англиканина «виги», ставившие конфессиональный принцип выше принципа законного престолонаследия, иронически ассоциировались с похитителями чужого добра, а «тори», делавшие упор на наследственных правах в ущерб значению истинной веры, — с кознями папистов. После «славной революции» 1688 г., Акта о престолонаследии (1701 г.) и воцарения Ганноверской ди-

настии (1714 г.) основания, вызвавшие к жизни «вигов» и «тори», постепенно исчезают — но не исчезают группы интересов, которым они помогли оформиться. Потому «тори» и «виги» только на время «уходят» с парламентской арены.

Оформление в парламенте политических протопартий (партий — парламентских групп) во второй половине XVII в. постепенно вовлекло в парламентские дебаты и общественность вне парламента. Возникает еще один уровень политических отношений — между членами парламентских группировок и поддерживающими их представителями общества вне парламента.

«Появляются избирательные комитеты, значение которых постоянно росло с расширением избирательного права и увеличением электората. В отличие от парламентских групп комитеты находятся у самого основания политической пирамиды и покрывают всю территорию страны, разделенную на избирательные участки» (*А. Кулик*).

Благодаря им демократические практики, вначале институализировавшиеся на элитном уровне, затем постепенно разрастаются вишь, превращая все общество в сложную систему институализированных отношений. Объединение парламентских групп и избирательных комитетов явилось завершающим этапом становления внутренних (системных) партий.

Индустриализация страны, связанные с ней социальные потрясения (массовое рабочее чартистское движение), парламентские реформы (1832 г. и др.) и расширение избирательного права окончательно возвращают в британскую политику политические партии, а избирательная система (мажоритарная в один тур) стимулирует выделение двух из них, находящихся во многом легендарные корни в торизме и вигизме «героической эпохи». Таким образом, уже полтора столетия назад главные английские партии превращаются в нечто, отдаленно напоминающее современные партии, одна из которых обеспечивает необходимый политический, социальный и экономический прогресс, а другая — столь же необходимые сдержанность, преемственность, осторожность. При этом роли могут и меняться.

Во многом схожую эволюцию прошли и две основные партии США. Истоки американских политических партий можно найти в конце восемнадцатого столетия, в первые годы независимости, когда еще до принятия Конституции США оформилась политическая группа «федералистов», лидером которой был *Александр Гамильтон*. Им противостояли антифедералисты/республиканцы во главе с *Томасом Джефферсоном*. Федералисты были сторонниками сильного централизованного прави-

тельства, в то время как сторонники и последователи Джефферсона и Мэдисона выступали за такую организацию американской федерации, которая оставляла большую часть властных полномочий за штатами. Эти политические группировки просуществовали до 1820-х годов. В 1828 г. республиканская группировка раскололась на два крыла: демократическую партию во главе с будущим президентом США Эндрю Джексоном и партию «вигов». Последняя просуществовала около двадцати лет, а затем, в 1854 г., объединившись с противниками рабства среди демократов, дала начало существованию республиканской партии. В 1840 г. демократическая партия приняла письменную политическую платформу, повысив тем самым свою ответственность перед избирателями. Спустя двадцать лет ее примеру последовала и республиканская партия. Сегодня и демократическая, и республиканская партии ищут свои исторические корни в эпохе борьбы за независимость и становления американского государства.

Однако политическое размежевание в США происходило и по иным основаниям, отразив напряженности отношений «...между “инсайдерами” (белыми англосаксами и протестантами из Северной Европы) и “аутсайдерами” (иммигрантами более поздней волны, католиками, евреями и чернокожими афроамериканцами). Первых можно обнаружить преимущественно среди федералистов, «вигов» и республиканцев, вторые нашли политическое прибежище у демократов. Первые демонстрировали более пуританские, индивидуалистические и в двадцатом столетии антигосударственнические тенденции — протестантские ценности, доминирующую религиозную традицию. Вторых отличали меньшее морализирование и большая ориентация на коммунитарные ценности, групповые интересы и государство. Хотя политическая история Америки сложнее этой схемы, Соединенным Штатам повезло в том, что это естественное деление, о котором писал Токвиль, было на протяжении более двух веков замкнуто на два политических лагеря», — отмечает С. М. Липсет.

Начавшись в XVIII в. в Великобритании и США, процесс формирования партий охватил во второй половине XIX — первые десятилетия XX в. другие страны Европейского континента. В свое время *С. М. Липсет* и *Ст. Роккан* дали убедительное политологическое обоснование функции европейских партий как политических выразителей глобальных социальных расколов. Они назвали четыре «критические точки» — решающие исторические события, ставшие водоразделами в политической истории Европы:

- 1) реформация (XVI–XVII вв.);
- 2) национальная революция (период начиная с 1789 г.);
- 3) промышленная революция (XIX–XX вв.);
- 4) революция в России (1917 г.)

и четыре линии основных расколов, обозначающих серьезные конфликты интересов внутри каждой политической системы и возникающих как результат появления критических точек в европейской истории:

- 1 — между центром и периферией;
- 2 — между государством и церковью;
- 3 — между городом и деревней;
- 4 — между работодателями и рабочими.

Именно они и дали толчок к появлению в Европе политических партий с различными социальными базами (региональными, конфессиональными, этническими, классовыми). Таким образом, роккановская модель формирования политических партий в Западной Европе укладывается в следующую схему: критическая точка истории — раскол по какому-либо важному основанию — артикуляция основных проблем — возникновение политических альтернатив. Из концепции следует, что в Европе к 20-м годам XX в. возникло несколько наиболее значительных партийных альтернатив:

- **консервативная** — представляющая первоначально центральные элиты, а затем и весь класс крупных собственников;
- **либеральная** — выражающая первоначально интересы периферии, а затем радикалов в городах;
- **аграрная** — защищающая интересы землевладельцев и крестьян;
- **социал-демократическая** — ориентированная на работу в рабочем движении и представительство интересов этого класса;
- **коммунистическая** — представляющая радикальные силы, не принимающие сложившиеся политические системы и стремящиеся к мировой революции.

Нагляднее всего эта теоретическая схема работала в Скандинавии. Во всех странах этого региона сложилась двублоковая партийная система: рабочему движению, представленному социал-демократами и коммунистами, противостояли «буржуазные» партии — консервативные, либеральные, аграрные, это позволяло до определенного времени говорить о пятипартийной системе Скандинавских стран, что полностью соответствовало концепции Ст. Роккана.

Действительно, национальные революции в США и во Франции стали историческим рубежом в эволюции западных политических сис-

тем, а последовавший за ними промышленный переворот дал мощный толчок развитию политических партий. Как отмечал *Х. Даалдер*, «...не будет большим преувеличением сказать, что партии — детища промышленной революции». Постепенно они обретают основы организации, вырабатывают программы, осваивают специфические методы политической работы. Несомненно и то, что решающее влияние на процесс становления современного типа партий оказало организованное рабочее движение. Как пишет *К. Г. Холодковский*: «Партия как форма политической организации приобрела особое значение для тех социальных слоев, которые не чувствовали себя представленными в существовавших государственных институтах». Поэтому именно западноевропейские рабочие (социал-демократические) «внешние» (несистемные) партии, созданные непарламентским путем «снизу», стали первыми массовыми партиями с фиксированным членством, сетью местных организаций и центральными руководящими органами, регулярными связями между ними, членскими взносами, партийными уставами и программами. Возникновение во второй половине XIX в. классовых партий стало следствием включения широких масс в политику. Именно партии становятся выразителями интересов общественных классов. Наряду с рабочими создаются буржуазные, крестьянские, мелкобуржуазные партии «социальной интеграции» (*З. Нойманн*)¹, которые перенимают у них формы организации и политические методы работы в массах. Правда, и в этот период образовавшаяся партийная структура общества целиком не совпадала с классовой. В дальнейшем это несовпадение все более увеличивалось.

Введение института всеобщего избирательного права сначала для мужчин (конец XIX в.), а затем для женщин (середина XX в.) имело следствием изменение размеров и социальной принадлежности корпуса избирателей, что неизбежно сказалось на изменении стиля представительства и характера связей между представителями и представляемыми. При этом главным инструментом политической мобилизации нового массового электората не только в Великобритании, но и в других странах Запада окончательно стали политические партии, сыгравшие ключевую роль в формировании новых отношений между представителями и представляемыми и в обеспечении участия последних в политическом процессе.

¹ *З. Нойманн* выделяет (либеральные) партии представительства (индивидуального и элиты) и партии социальной интеграции, которые подразделяются на два подтипа: демократические и абсолютистские (тоталитарные).

«Партии стали главным посредником в установлении связей между массой населения и представителями этой массы. В то же время партии постепенно “пленили” избираемых представителей, превратив их из относительно независимых игроков в инструмент собственной политической деятельности. В результате полученного партиями контроля за ходом выборов в представительные собрания парламентарии стали в определенном смысле “слугами партии” и выдвигались ими в соответствии с партийными потребностями».

Сравнительно-исторический анализ процессов формирования партий и партийных систем в различных странах позволяет говорить о трех основных способах их возникновения:

- партии, образованные «сверху», представляют собой организации, сформированные на базе различных парламентских групп, сегментов политических элит, групп давления, создания новых партий в результате партийного раскола по идейным и иным причинам;
- партии, сформированные «снизу», на основе общественных движений, реализующих потребность в артикуляции и агрегации интересов социальных групп, конфессиональных, этнических, региональных общностей или же возникающие в результате объединения приверженцев той или иной идеологии либо харизматического лидера;
- «комбинированный» способ, который характерен для возникновения партий в результате соединения встречных усилий элитарных групп и масс рядовых граждан (например, объединение парламентской группы с гражданскими комитетами по поддержке того или иного политического лидера).

Следует отметить, что первоначально существование либеральной демократии и не связывалось с существованием партий. Развернутую аргументацию против существования партий можно найти у лорда *Болинброка* в его книге «Рассуждения о партиях» (1735 г.) и у Д. Юма; Джордж Вашингтон, покидая пост президента в 1796 г., обратился с прощальным посланием к американскому народу, в котором он предостерегал от соблазна партийной политики. Дж. Мэдисон в «Федералисте» (№ 10) также приводит различные доводы против «фракций», правда, признает, что «причины фракционного духа неустранимы», и оставляет открытым вопрос о появлении партий в США и т.д. Уже в XIX в. в зачаточной форме проявились многие проблемы, связанные с деятельностью партий: манипуляция волеизъявлением избирателей, заключение верхушечных соглашений лидерами партий, которые искажали природу представительной системы, возможность гегемонии на политической арене одной партии, коррупция и др.

Не случайно поэтому и в XIX в., и позднее неоднократно выдвигались проекты преодоления негативных последствий партийной политики. С одной стороны, в противовес «величайшему злу либерально-демократического государства — партийности» (Луи Блан) выдвигалась идея **функционального, ответственного корпоративного представительства**, предполагающая, что представительные учреждения должны состоять не из депутатов, избранных населением *от территориальных округов*, а из делегатов отдельных деловых организаций, не теряющих с ними связи и перед ними ответственных, с другой — идея **«беспартийных выборов»**.

Однако реально и полно воплотить в жизнь доктрину корпоратизма сумел лишь итальянский фашизм, создав модель фашистского корпоративного государства как некоей национальной ассоциации — «третьего пути» между либеральным капитализмом и большевистским социализмом. В той или иной степени элементы корпоративного устройства получили воплощение в межвоенный период во франкистской Испании, салазаровской Португалии, нацистской Германии, СССР до 1936 г. и др. Именно эту форму государственного корпоратизма Ф. Шмиттер характеризовал следующим образом:

«Ограниченное число принудительных, иерархически ранжированных и функционально дифференцированных групп монополизируют представительство общественных интересов перед государством в обмен на то, чтобы государство само отбирало их лидеров и формулировало их требования и позиции».

Наиболее последовательной попыткой ликвидации партийной политики в условиях либеральной демократии было введение в начале XX в. «беспартийного» голосования в США. Практически это вылилось в исключение наименований партий из избирательных бюллетеней. В период 1900—1920 гг. «беспартийные» избирательные бюллетени применялись более чем 60% городов страны с населением свыше 5000 человек, а также на выборах в законодательные собрания двух штатов (Небраска и Миннесота). Хотя данную практику нельзя рассматривать как пример полной отмены партий, вряд ли можно предполагать, что партии полностью исчезнут даже в случае их действительной законодательной отмены. Ибо, как пишет американский политолог А. Уэйр, «идеал XIX века, связанный с независимым народным представителем, тщательно взвешивающим все доводы “за” и “против” и выносящим обоснованное решение в интересах своих избирателей, не более чем химера».

При отсутствии политических партий, как показал опыт США, избирательный механизм не выполнял в достаточной степени функций по установлению ограничений на деятельность избранных политиков.

В ходе «беспартийных» выборов осведомленность избирателей относительно «независимых» кандидатов (тем более что их, как правило, много в мажоритарном округе) была весьма невысока, поэтому выборы, как свидетельствует практика, выигрывали кандидаты, либо лучше известные населению, либо занимающие в данный момент эту выборную должность, либо затратившие на избирательную кампанию больше средств, чем другие. Правда, для беспартийного кандидата в любом случае сохраняется главное ограничение — угроза быть неизбранным на следующих выборах. И наоборот, для партийного кандидата это ограничение если и существует, то в гораздо меньшей степени. Ведь даже в случае низкого личного авторитета в глазах избирателя или вообще при полной неизвестности такого кандидата избирателю его может «вытянуть» в депутаты авторитет партийных лидеров или привлекательность идеологии, сторонницей которой выступает партия.

Отсюда следует, что массовое участие «независимых» кандидатов в избирательной кампании означает, что они должны финансировать свою кампанию из собственных средств, искать фонды или прибегать к помощи заинтересованных групп, с которыми после избрания надо было расплачиваться предоставлением определенных льгот и услуг. Таким образом, «независимые» кандидаты на самом деле связаны невидимыми для избирателя узами зависимости. Непартийные выборы не препятствуют попаданию во власть людей с темным, даже криминальным прошлым, из-за которого любая демократическая партия не приняла бы их в свои ряды и тем более не выставила бы в качестве своих кандидатов на выборах. Конечно же следует оговориться, что реальные расходы партий на выборы также не покрываются целиком за счет членских взносов и государственных субсидий. Партии в не меньшей мере нуждаются в спонсорах (в качестве которых при определенных условиях может выступать и государство, способное предоставить помимо финансовых и иные, не менее значимые ресурсы). При этом между партиями и спонсорами зачастую возникают весьма и весьма тесные контакты, содержание которых имеет мало общего с обязательствами партии перед ее избирателями. Наконец, существует практика включения кандидатов в партийные списки на возмездной основе.

Еще одна характерная особенность «беспартийной политики» состоит в том, что отсутствие партий в законодательных органах может привести к потере внутренней связи в процессе формирования политики. Законодатели, не связанные ни партийными обязательствами, ни дисциплиной, быстрее всего будут лоббировать либо свои собственные интересы, либо интересы своих «спонсоров». Правительство, стремя-

щееся опереться на коалицию большинства в беспартийном парламенте, вынуждено будет покупать поддержку у «независимых» кандидатов, а для принятия решений заинтересованные лица будут вынуждены сколачивать кратковременные коалиции, которые неизбежно развалятся сразу же после итогового голосования, если не раньше. Таким образом, уничтожение партийных связей между законодателями не только может обернуться из предполагаемого достоинства недостаточной целостностью правительственной политики, но и чрезвычайно обостряет проблему коррумпированности и безответственности власти. Здесь будет уместно вспомнить слова известного французского социолога М. Дюверже о том, что «режим без партий обеспечивает увековечивание руководящих элит, сформированных по праву рождения, богатства или должности»... «человеку из народа чрезвычайно сложно пробиться в эту закрытую касту без поддержки партий, стремящихся растить собственные элиты». Кроме того, принадлежность к политической партии обеспечивает кандидату «узнаваемость». «Партийный лейбл» существенно упрощает целый ряд информационных проблем. Избиратель нередко испытывает дефицит политической информации. Однако восполнить этот дефицит он стремится максимально экономным способом, не тратя времени на изучение программ, выдвинутых независимыми депутатами. Тут-то на помощь и приходит партийная принадлежность, позволяющая легко идентифицировать позиции кандидата, а значит, облегчающая выбор при голосовании. Кроме того, заявляя о своей принадлежности к политической партии, кандидат присваивает долю ее известности и популярности. Современный французский исследователь Ж.-П. Жакке констатирует, что эволюция представительного правления привела к его ограничению политическими партиями, без которых, однако, «разобщенные избиратели не могли бы выразить свою точку зрения» и «гражданин оказался бы разоруженным перед лицом власти».

Таким образом, несмотря на то что сегодня партии занимают одно из последних мест среди институтов, заслуживающих доверия избирателей¹, вряд ли можно говорить об их окончательном провале в качестве носителей демократии. «Утверждение о том, что партии не играют никакой роли в посредничестве на выборах или в формировании правительства,

¹ Даже в благополучной, обладающей эффективной политической системой Швейцарии партиям доверяет лишь 12% опрошенных — намного меньше, чем армии, церкви, судам и кантональным правительствам (М. Доган). В США количество независимых избирателей, не идентифицирующих себя с какой-либо из двух доминирующих на политической арене страны партий, выросло с 1952 г. по 1998 г. в полтора раза (с одной пятой до более трети всего электората). Две трети американцев, родившихся после 1959 г., считают, что ни одна из партий не способна эффективно решить наиболее насущные проблемы Америки.

или их роль незначительна, неубедительны, хотя, быть может, партии и не столь влиятельны, как это представлялось политологам прежних поколений» (А. Уэйр).

Особенно важна роль партий в условиях модернизации общества, они сами и порождение политической модернизации, и ее инструмент.

«Политические партии представляют собой отличительную особенность современной политики, но в другом отношении это не исключительно современный институт. Функции партии — организация участия населения в политике, согласование интересов, обеспечение связи между общественными силами и государством. Выполняя эти функции, партия неизбежно отражает политическую логику, а не логику эффективности. Бюрократия с ее дифференцированной структурой и системой продвижения в зависимости от заслуг с точки зрения этой второй логики — более современный институт, чем политическая партия, функционирование которой основано на патронаже, влиянии и компромиссе. На этом основании идеологи модернизации, как и защитники традиции, нередко отвергают и порочат систему партий. Они пытаются модернизировать свое общество политически, не создавая института, который обеспечивал бы политическую стабильность этого общества. Они стремятся стать модернизированными в ущерб политической сфере и терпят неудачу: невозможно преуспеть в модернизации, пренебрегая политикой», — подводит итог С. Хантингтон.

Таким образом, несомненным является то, что политические партии играют существенную роль в процессе политической модернизации. Вместе с тем ответ на вопрос о том, всегда ли их появление и деятельность способствуют становлению демократии, не столь очевиден.

§ 2. «Политическая партия» — определение понятия

Именно в Великобритании с XVIII в. начинается изучение данного феномена. В начале века английский политический деятель *Р. Памперсон* обосновал лингвистическое оформление понятия «партия» как естественной части общества (от *party* — часть) в противоположность фракциям — осколкам общества, пытающимся навязать ему свои интересы и надзор. В середине XVIII в. философ Д. Юм предлагает, по всей видимости, первую типологию политических партий. По его мнению:

- 1) на почве общего интереса возникают «партии по интересам»;
- 2) на привязанности к тому или иному лидеру строятся «партии по аффектам»;
- 3) на основе общих принципов создаются «партии по принципам».

Несколько позже появляется и классическое определение «политической партии», принадлежащее одному из «отцов-основателей» евро-

пейского консерватизма, английскому мыслителю и политическому деятелю Э. Берку: «Партия — группа людей, придерживающаяся общих принципов и объединившаяся для обеспечения общими усилиями национальных интересов». Несколько позже, в начале XIX в., французский политический философ Б. Констан называл партийными объединениями «общность лиц, публично исповедующих одну и ту же доктрину».

Сегодня существует огромное количество дефиниций политической партии. В научной литературе можно встретить более двухсот определений партий и несколько десятков их типов. Такое разнообразие объясняется не только различием исследовательских подходов. Партии в каждой стране являются продуктом ее общественно-политического и культурно-исторического развития. Поэтому, как заметил однажды немецкий политолог Х.-Д. Клингеманн, «природа партий, как и природа красоты, зависит от взгляда наблюдателя». Однако практически все определения носят функциональный характер. Поэтому достаточно условно все их множество можно разделить на две большие группы:

- 1) их авторы считают важнейшими для партий функциями артикуляции и агрегации социальных интересов и формулирования общенациональных целей, такого рода определения близки по содержанию к берковскому;
- 2) исследователи, принадлежащие к этой группе, акцентируют в качестве ключевых для партий функций политическое представительство, борьбу за власть и участие во власти.

Классическим определением в рамках второй группы стало определение, предложенное М. Вебером:

«Партиями именуется основанные на (формально) свободной агитации объединения, имеющие целью получение власти для своих руководителей внутри сообщества, а для их активных членов — предоставление посредством этого (духовных и материальных) ресурсов для реализации своих предметных целей или достижения личных выгод».

К этой группе относится и дефиниция Й. Шумпетера: «Партия — это не группа людей, способствующая осуществлению общенационального интереса, скорее это группа людей, которая, исходя из общих принципов, стремится к политической власти». Или более современное и в большей степени соответствующее природе нынешних «*универсальных*» партий определение К. фон Бейме: «Партии — это общественные организации, конкурирующие между собой на выборах во имя достижения власти».

Более широкое «зонтичное» определение, которое охватывает партии, использующие не только состязательные и сдерживающие, но

и подрывные стратегии в борьбе за власть, предложил американский политолог К. Джанда:

«Партия — это организация, преследующая цель замещения правительственных должностей своими признанными представителями».

Стремясь сформулировать универсальное определение «политической партии», американский политолог *Д. Ла Паломбара* указал на четыре образующих партию признака:

- 1) любая партия есть носитель идеологии или особого видения мира и человека (мировоззрения);
- 2) партия — это организация, т.е. достаточно длительное институализированное объединение людей на разных уровнях политики (от местного до международного);
- 3) цель партии — завоевание и осуществление власти;
- 4) каждая партия старается обеспечить себе поддержку народа — от голосования за нее до активного членства.

Причем первый и третий признаки — это то, что отличает политические партии от заинтересованных групп, а второй и третий — это то, что отличает их от общественных движений.

Обычно различия между партиями и группами интересов сводят к тому, что первые агрегируют (объединяют) интересы, а вторые их артикулируют (выражают), первые борются за власть и участие во власти, а вторые только оказывают давление на власть, однако это различие не абсолютно. Именно поэтому проблема идентификации различных видов групповых объединений остается и сегодня предметом внимания исследователей. Так, английский политолог *Г. Джордан* считает, что партии и группы интересов с точки зрения их функциональных и организационных особенностей нередко перетекают друг в друга. На этом основании он делает предположение, что «дефиниции партии и группы интересов должны частично совпадать, пересекаться, накладываться друг на друга: ведь перед нами не дискретные явления. Использование только одного критерия, такого, например, как “не стремящиеся к власти”, не дает удовлетворительного результата». Действительно, как отмечает Р. Патнем: «Идеологически итальянские профсоюзы (“классический” пример групп интересов, а именно функционального представительства. — *Прим. авт.*) представляют собой самый широкий спектр политических ориентиров — здесь можно встретить коммунистов, католиков, неофашистов, социалистов и тех, кто сам по себе...» Сальваторе Кон предполагает, что принадлежность к профсоюзам в Италии определяют «политическая мотивация и идейные традиции,

а не экономические факторы». То же самое можно сказать о профсоюзах Франции.

В свою очередь, в определениях общественных движений, как правило, подчеркивается два основных параметра движения: их коллективный характер и целенаправленность действий.

От них производны такие признаки движения, как:

- общие ценности, воплощенные в идеологии движения;
- общая коллективная идентичность;
- наличие системы норм и правил поведения для «своих» (внутренний этос) и правил взаимодействия с окружением (внешний этос).

Так, американские социологи Р. Тернер и Л. Киллиан дают следующую дефиницию:

«Общественное движение представляет собой коллективное образование, действующее в течение достаточно длительного времени. Его цель — содействие или сопротивление социальным изменениям в обществе или группе, частью которой оно является».

На основании обобщения большого исторического материала американский исследователь С. Тарроу описал полный цикл эволюции массовых революционных движений:

- период социального беспокойства, недовольства, брожения;
- беспокойство охватывает интеллектуалов, которые формируют идеологию;
- возникновение целевых организаций, готовящих социально-политические действия, программы будущих политических перемен — эти организации в будущем становятся основой для мобилизации широких масс, что придает движению общенациональный характер;
- взрыв революционных настроений, перерастающий в действия, переворот;
- период власти, осуществляемой переходными, умеренно-компромиссными группами;
- мобилизация и массовое распространение экстремистских групп, подъем массового движения, опасющегося, что умеренные не защитят достигнутых перемен;
- захват власти экстремистами и период террора для подавления противников;
- спад массового террора, стабилизация нового порядка, умиротворение экстремистских настроений или, в ином варианте, реставрация (в трансформированном виде) старого порядка.

В более общем виде стадии эволюции движения выделяет польский политолог Е. Вятр:

- создание предпосылок движения;
- стадия артикуляции стремлений;
- стадия агитации;
- стадия развитой политической деятельности: проведение программ в жизнь, борьба за власть или оказание давления на правительство;
- стадия затухания политического движения: достижения целей или признания их неосуществимости.

Однако не все общественные движения проходят полный цикл развития.

«...Социальное движение при демократии — дело сомнительное и всегда недолговечное, — пишет А. Пшеворский. — Профсоюзам есть к чему двигаться: к институтам производственных отношений и государству; партии движутся к парламентам; лобби — к бюро; а у движений нет институтов, к которым они могут стремиться».

В частности, поскольку движения в условиях демократии, как правило, не ставят своей задачей борьбу за власть, постольку они рассматриваются партиями как ресурс поддержки в избирательной борьбе. По мнению ряда исследователей, открытая политическая система (американская) делает наиболее вероятными три сценария развития общественных движений национального масштаба:

- 1) распад движения;
- 2) включение активистов движения в одну из политических партий (кооптация);
- 3) создание групп давления, которые пытаются оказать влияние на правительство и парламентские партии. В странах с относительно закрытой политической системой (ряд стран Европы), где партии возникли по классовому признаку, третий вариант маловероятен, однако возможно создание на базе движения новой политической партии (например, партия зеленых в ФРГ).

§ 3. Типологии политических партий

Политические партии можно классифицировать по ряду формальных признаков.

Исходя из отношения политических партий к действующей власти, партии делятся на правящие, т.е. находящиеся у власти, поддерживаю-

щие власть и оппозиционные власти (в числе последних особо выделяют так называемые партии, находящиеся во внесистемной оппозиции).

По наличию (отсутствию) представительства в парламенте партии подразделяются на внепарламентские и парламентские политические партии. Последние, в свою очередь, делятся на мажоритарные — партии парламентского большинства, доминирующие и миноритарные партии.

В зависимости от отношения к социальной действительности политические партии могут подразделяться на консервативные, реформистские, революционные, реакционные.

Однако подобные классификации скорее констатируют текущее положение партии в политической системе и носят описательный характер, нежели создают инструменты для анализа.

Простейшая и наиболее распространенная классификация политических партий — деление их на «левые» и «правые» — обязана своим происхождением Великой французской революции. Так уж случилось, что в 1789 г., когда созданные королем *Людовиком XVI* Генеральные штаты провозгласили себя Учредительным собранием, противники короля, сторонники радикальных мер и приверженцы принципа «народного суверенитета», сидели слева от трона, а сторонники монархии, сохранения «статус-кво» и завершения революции — справа. Современное употребление этих терминов связано с появлением социал-демократических и коммунистических партий. К левым стали относить тех, кто признает высшей ценностью социальную справедливость и борьбу за нее провозглашает своей целью, смещение вправо в этом случае означает постепенный отказ от этой ценности. Сравнительные исследования партийных систем выявили общую тенденцию, в соответствии с которой «партии всегда остаются более развитыми слева, чем справа, поскольку они всегда более необходимы на левом фланге, чем на правом», поскольку у правых сил, как правило, гораздо больше политических ресурсов и каналов влияния на политический процесс.

Принцип ранжирования политических сил по оси «правые—левые» служит сегодня наиболее доступным ориентиром самоопределения в политическом пространстве и получения информации в ходе выборов для западного деполитизированного обывателя. Д. Фукс и Х.-Д. Клингеманн рассматривают «схему “левые—правые” как механизм упрощения, который служит в первую очередь для обеспечения функций ориентации индивидов и функции коммуникации в политической системе». Так, они обнаружили, что более 90% западногерманских и голландских избирателей имеют хотя бы минимальное представление о ярлыках «левый» и «правый», в то время как в США цифра оказалась

меньшей в силу того, что эта схема тесно связана с европейской политической традицией, с расхождениями, характерными для партийных систем Европы.

По данным западноевропейского социологического исследования, правые политические позиции выражаются ныне в приоритете национально-патриотических ценностей, склонности к милитаризму и поддержке в рамках существующих демократических институтов порядка в обществе, в уважении к сложившимся традициям, нормам и авторитетам.

Левые сегодня выступают за большую социальную справедливость, мир, свободу самовыражения и развития индивида, терпимость, ослабление различных нормативных запретов, интернационализм. Выступая за равенство и перераспределение доходов в пользу менее имущих слоев, они не противопоставляют его свободе: большее экономическое и социальное равенство является для них предпосылкой более свободной жизни для всех, а не только привилегированных слоев общества.

При этом конечно же следует помнить, что в различных странах есть свои «оттенки», вкладываемые в содержание понятий «левые—правые». Так, по мнению В. А. Гурова,

«...понятие “левый” во французской мысли не имеет ни оттенка принадлежности к одной определенной идеологии, ни обозначает совокупность политических партий, но, скорее, выражает чувство принадлежности к определенному течению, идейным предпочтениям. Главной характеристикой французской левой является ее эгалитарная, антидинастическая, антиэлитарная и даже антирасистская направленность, система представлений, согласно которой происхождение, семейная или социальная принадлежность не создают ни превосходства, ни заслуг, они не могут принижать или возвышать человека. Ценность человека в обществе определяется только его личными поступками. Отсюда ведет свое происхождение вера левых в социальную солидарность и равенство в противоположность правым, всегда отстаивавшим справедливость неравенства и социальных привилегий в качестве фундаментальных, природных законов. Второй характеристикой левых, которая тесно связана с первой, является убежденность в том, что государство должно играть роль главного регулятора в общественной жизни. Это убеждение левых было основным пунктом их расхождений с либералами, хотя по многим вопросам государственного управления экономикой позиции либералов и социалистов нередко сближались».

Известный американский исследователь Э. Даунс еще в конце 1950-х годов предложил простую модель идентификации избирателей с партией по шкале «правый—левый»: «...каждая партия имеет свое отношение к конкретным политическим проблемам, и всякий раз это отношение может быть обозначено точкой на шкале “левые—правые”. Общая позиция партии на этой шкале будет средней величиной от всех ее

частных позиций. Более того, каждый гражданин может наделять разным весом отдельные политические программы, так как любая программа влияет на одних граждан больше, чем на других». Однако современные исследования показали, что эта модель не работает, так как не может гарантировать последовательность идеологических посылок, поскольку избиратели приписывают политическим позициям различную значимость.

Развитием данной типологии стала классификация партий в зависимости от идеологических предпочтений, в соответствии с ней партийно-политический спектр включает (слева направо): левых радикалов (коммунисты, троцкисты, анархисты и др.), левых реформистов (социал-демократы), либералов, консерваторов, правых радикалов (фашисты, национал-экстремисты).

Как отмечает Ф. У. Паппи, «начиная с Даунса идеология обсуждалась как один из возможных способов получения политической информации с наименьшими затратами. Такое использование идеологии нельзя путать с идеологическим мышлением в смысле “политической искушенности”... Изначально ожидалось, что доля граждан, имеющих “идеологию” в этом смысле, среди американского электората составляет 2,5%, еще 9% тех, кто близок к этому. Несмотря на то что эти цифры для американского электората выросли по сравнению с нижними значениями в конце 1950-х годов, идеологическое мышление осталось исключением из правила и не превратилось в мощный инструмент сбережения интеллектуальных усилий для тех, кто пытается ориентироваться в мире политики». Кроме того, линейный характер спектра и содержательные критерии типологии затрудняют определение места тех или иных реально существующих, а значит, динамично развивающихся партий в этой классификации. Особенно трудно это сделать в условиях радикальных изменений политической системы. (Попробуйте, например, позиционировать партию В. В. Жириновского ЛДПР или «лево-правую» КПРФ.)

Поэтому классификацию политических партий чаще всего осуществляют по признакам внутрипартийных структур и стратегий достижения целей политического объединения. Одну из первых научных классификаций политических партий предложил М. Вебер. Он выделил два типа партий — на основании особенностей стратегий достижения целей политических группировок (**патронажная, мировоззренческая**) и специфики внутренней организации — **партия знати и массовая партия**.

Группировки *патронажного* типа стремились обеспечить своему лидеру высший пост в государстве, для того чтобы он в свою очередь гарантировал своему окружению получение официальных должностей

после победы. Партии такого типа не исповедуют какой-либо идеологии, используя в своих программах те положения, которые обладают наибольшей мобилизующей силой. Целью *мировоззренческих* партий является реализация определенных политических идеалов, хотя это также не исключает возможность осуществления патронажа.

Партия знати являлась господствующим партийным типом в период до появления всеобщего избирательного права (для мужчин), представляя собой персональную сеть друзей и клиентов местной элиты, которая и образовывала ядро таких неформальных объединений. С расширением избирательного права на политическую авансцену выходят *массовые партии*, создавшие постоянные членские организации и ставшие связующим звеном между новыми категориями электората и политическими институтами государства.

Сегодня наиболее распространенной является типология известного французского политолога Мориса Дюверже, который предложил разделять партии на **массовые** и **кадровые**. Различие кадровых и массовых партий не строится на их численности, поскольку речь идет не о внешних различиях, а об особенностях организационных структур, основных направлениях деятельности, организационной стабильности, принципах руководства.

Примером **массовой** партии для Дюверже являются европейские социалистические и социал-демократические партии (прежде всего Французская социалистическая партия), большинство которых возникло во второй половине XIX в. в условиях введения всеобщего избирательного права как политические организации рабочего класса и как антисистемные партии протеста, что и предопределило некоторые особенности их организации. Прежде всего это мобилизационные партии.

«Привлечение новых членов представляет для нее (массовой партии. — *Прим. авт.*) фундаментальную потребность с двух точек зрения — политической и финансовой. Она стремится прежде всего осуществить политическое воспитание рабочего класса, выделить в его среде элиту, способную взять в свои руки правительство и управление страной, члены партии, таким образом, составляют саму ее основу, субстанцию ее деятельности. Без членов партия представляла бы собой учителя без учеников. С финансовой точки зрения она в основном опирается на членские взносы, уплачиваемые ее членами».

Массовые партии — это ответ на усиливавшийся разрыв между гражданским обществом и государством, они становятся, по сути, связующим звеном между ними и механизмом рекрутирования политического персонала государственных структур.

Кадровые (элитные) партии исторически появились раньше массовых. Это, по словам М. Дюверже, «объединения нотаблей» («лучших людей») с целью подготовки и проведения выборов с последующим сохранением контактов с избранными. Эти партии были в основном собраниями людей, тесно связанных и с государством, и с гражданским обществом. М. Дюверже различает несколько категорий нотаблей:

1. Нотабли, которые своим именем или престижем повышают авторитет кандидата в депутаты и завоевывают ему дополнительные голоса.
2. Нотабли, умеющие организовывать избирательную кампанию.
3. Нотабли-финансисты.

«То, что массовые партии достигают числом, кадровые партии добиваются путем отбора... Если понимать под членством то, что имеет признаком обязательство перед партией и, далее, регулярную уплату членских взносов, то кадровые партии не имеют членов», — писал М. Дюверже.

Пик активности кадровых партий — это время выборов, в промежутках между ними они как бы «засыпают». Именно от нотаблей (партбоссов) зависит выдвижение кандидатов на все выборные посты, в том числе избрание выборщиков на национальный съезд, определяющий кандидатов в президенты. Взаимодействие между кокусами (группами партийных боссов по округам и графствам) устанавливается лишь во время выборов.

Классическое исследование данного типа партий (прежде всего американских и британских) осуществили в конце XIX в. американец Дж. Брайс и в начале XX в. наш соотечественник М. Острогорский. Так, Дж. Брайс в книге «Американская республика» (1888 г.) выделял в структуре партийных объединений США две составные части — комитеты, занимающиеся сбором денег и организацией избирательной кампании, а также собрания, призванные заниматься выдвижением кандидатов. Моисей Острогорский в своей книге «Демократия и политические партии», появившейся в 1903 г. в Париже, проследил историю формирования постоянной организации английских и американских партий, в основе которой лежала структурная единица, именуемая «кокусом». Этим термином Острогорский обозначил совокупность руководителей партийных избирательных комитетов различного уровня (партийные боссы). В целом он дает пессимистическую оценку перспектив демократического развития в условиях сосредоточения средств контроля и манипулирования политическим поведением масс в руках небольшого числа людей, входящих в «партийный кокус».

«Когда политические партии впервые появились в США, они представляли собой лишь группы влиятельных людей, организованные в полити-

ческие клубы с целью выдвижения и проведения посредством выборов своих кандидатов в государственные органы. Процесс отбора и выдвижения кандидатов почти не подвергался никакой регламентации вплоть до конца XIX века, т.е. до тех пор, пока в отдельных штатах не были установлены в законодательном порядке правила, регламентирующие данный процесс», — пишут современные американские исследователи политических партий.

Выводы М. Острогорского перекликаются с теми, к которым пришел немецкий социолог Р. Михельс в книге «Социология политических партий в условиях демократии» (1910 г.) при анализе эволюции «классического» примера европейской массовой партии (Социал-демократическая партия Германии). Именно он сформулировал так называемый «железный закон олигархии», фиксирующий неизбежность олигархического перерождения демократических партий в условиях прихода масс в политику и преобладание хорошо организованных властных элит над априори слабо организованным большинством. «Организация — это то, что порождает власть избранных над избирателями, уполномоченных над теми, кто их делегировал. Кто говорит: “Организация”, тот говорит: “Олигархия”». Убежденность в том, что олигархия неизбежно разрушит потенциал демократии, со временем привела Михельса к отказу от своих социалистических и демократических убеждений и оправданию фашистской диктатуры Б. Муссолини.

Первоначально кадровые партии, в отличие от массовых, ориентировались на политическую мобилизацию прежде всего среднего класса и были «системными партиями». Ныне эти различия во многом нивелировались, кадровые партии были вынуждены заимствовать или имитировать многие структуры партий массовых, в значительной степени нивелировались идеологическая и классовая определенность, радикализм политических требований бывших партий протеста.

В связи с этим М. Дюверже выделяет категорию **полумассовых** партий. Это, например, партии, состоящие не только из индивидуальных, но и коллективных членов. Классический пример такого рода — возникшая в 1900 г. Лейбористская партия Великобритании¹. С финансовой точки зрения это массовая партия, так как партийные расходы покрывались преимущественно за счет взносов членов тред-юнионов, которые и были коллективными членами партии. Однако, во-первых, она никогда не была марксистской, а значит, и антисистемной партией, во-вторых, как отмечает М. Дюверже:

¹ Однако начавшиеся после 1997 г. реформы в Лейбористской партии привели к значительному снижению роли профсоюзов и изменили природу партии.

«Общее членство остается весьма отличным от индивидуального: оно не предполагает ни действенного включения в политическую жизнь, ни персональных обязательств перед партией. Это глубоко трансформирует ее природу. Примером того же рода является и Социалистическая партия Бельгии, разделившаяся сегодня на Социалистическую партию Валлонии и Социалистическую партию Фландрии».

М. Дюверже также обратил внимание на то, что в значительной части партий существуют внутрипартийные автономные образования — **фракции**, которые многие исследователи относят к числу важных параметров, характеризующих не только внутрипартийную структуру, но и стиль деятельности. В результате он выделил два «чистых типа» партийных фракций:

1) фракции, основанные на отношениях клиентелы (фракции в рамках Либерально-демократической партии Японии, Христианско-Демократической партии Италии, Демократической партии США, Индийский национальный конгресс и др.). В этом случае отношения «патрон—клиент» включают в себя межличностный обмен «услугами» и взаимные обязательства между влиятельным партийным лидером и его сторонниками, но обмен этот носит вертикальный характер, а обязательства асимметричны. Вертикальные узы клиентелы «подрывают горизонтальные связи солидарности как среди патронов, так и в особенности, среди клиентов... В вертикальных связях “патрон—клиент”, характеризуемых не взаимностью, но зависимостью, “изменничество” отличает как патрона (эксплуатация), так и клиента (уклонизм)», — пишет, в частности, Р. Патнем;

2) фракции, построенные на идеологической общности. Такие фракции зачастую имеют даже особое фиксированное членство, иногда — некое подобие устава и программы, издают свою газету и т.д. Они более устойчивы, однако и в большей степени склонны к выходу из состава партии, чем фракции-клиентелы.

Эволюция западных политических партий ведет к более терпимому отношению к инакомыслию в своих рядах, предел которому устанавливают только основные программные цели. Некоторые партии по своей структуре превращаются по существу в федерацию фракций. Так, например, Австрийская народная партия (700 тыс. членов) включает «Союз хозяев» (крупные промышленники и аграрии), «Союз рабочих» и «Крестьянский союз».

Позднее классификация М. Дюверже неоднократно дополнялась и уточнялась. Так, французский политолог Ж. Шарло предложил дополнить ее категорией **партия избирателей**. Он обратил внимание на то, что созданная для обеспечения массовой политической поддержки Шарля

де Голля партия «Объединение французского народа»¹ имела чрезвычайно неопределенные идейные установки и этим напоминала кадровую партию. В то же время голлистская партия широко использовала методы вовлечения масс в политическую жизнь, практикуемую массовыми партиями, что и обеспечивало объединение вокруг партии и ее лидера избирателей даже «с противоположными интересами».

Фиксируя изменения, происходящие в современных партийных системах Запада, политологи стали выделять еще несколько типов партий:

1. «Всеохватные партии» («*catch-all party*» — О. Кирххаймер, 1966 г.), универсальные, или «народные», партии. Их появление отражало новые явления в отношениях между партиями, государством и гражданским обществом:

- эрозия социальных границ между группами ослабляла партийные идентификации населения и размывала прежние устойчивые связи между партиями и их избирателями;
- экономический рост и формирование общества благосостояния заставили партии разрабатывать партийные программы, которые отражали бы интересы максимального большинства;
- развитие и повышение политической роли СМИ позволили партийным лидерам обращаться сразу ко всем потенциальным избирателям, что сделало последних скорее покупателями партии, чем их активными сторонниками;
- это привело к усилению роли профессиональных политиков в партийном руководстве и одновременному ослаблению влияния рядовых членов партии.

В результате партии утрачивают идеологическую определенность и ориентируются на максимальную мобилизацию электората, вне зависимости от его социальной принадлежности и идейных предпочтений. Для таких партий уже не столько важно массовое членство, сколько массовость электоральной поддержки. В них неизбежно увеличивается разрыв между группой лидеров — профессиональных политиков и рядовыми членами партии, снижается роль партийных активистов, в организацию избирательных кампаний все больше включаются технологи и все меньше — политические стратеги, так что, страстно желая

¹ Сегодня это «Союз в поддержку народного движения». Однако следует помнить о том, что «классическое» голлистское «Объединение французского народа» с его воинствующим национализмом и оппозицией режиму Четвертой республики серьезно отличалось и от примиренчески консервативного «Союза демократов за республику» Жоржа Помпиду, и от популистских «Объединения в поддержку республики» Жака Ширака и «Союза в поддержку народного движения» Николя Саркози.

победить оппонента, не обращают внимания на используемые средства. Сюрпризы появляются позже, когда оказывается, что ущерб нанесен не чему-нибудь, а тонкой материи доверия граждан к осуществлению политики и к жизнеспособности институтов.

В результате, как отмечают Р. Кац и П. Мэйр, «“всеохватные” партии превратились в брокеров, торгующих государственными постами». Как следствие партии начинают проявлять собственные интересы, отличные от интересов их «клиентов», и получают возможность манипулировать государством в собственных интересах.

Оценивая в целом характеристики «всеохватных» партий, исследователи отмечают, что они сочетают в себе признаки как массовых, так и кадровых партий, являясь результатом своеобразной конвергенции двух партийных типов. Если с первыми их роднили массовое членство и сохраняющаяся ориентация на определенные группы интересов, то со вторыми — рост влияния профессиональных политиков, персонализация партийного лидерства, растущая ориентация на мобилизацию избирателей, а не на собственных членов (поэтому лидеры партий отчитываются скорее перед первыми, нежели чем перед последними). Однако многие западные политологи считают, что будущее именно за универсальными партиями, так как они ориентированы на общественный, а не групповой интерес, более гибки и способны получать массовую поддержку на выборах.

2. Как проявление тенденции к установлению все более тесных связей между партиями и государством появились **новые кадровые, или «картельные» (электорально-профессиональные), партии** — политические профессиональные (корпоративные) объединения менеджеров по государственному управлению, готовящие выборы и соперничающие между собой в том, кто способен предложить более профессиональное и менее дорогостоящее управление обществом и уловить наиболее существенные для электорального успеха интересы и настроения общества. Поэтому, в частности, они почти не отличаются друг от друга, озабочены преимущественно организационно-техническими аспектами избирательных кампаний, однако более приспособлены к быстро меняющимся условиям электоральной конкуренции. Они не стремятся к массовому членству, но борются за голоса избирателей, используя СМИ и вовлекая в свою орбиту лидеров общественных движений, представителей групп интересов и гражданских инициатив. Такого рода партии представляют собой возврат на новом уровне к элитарным кадровым партиям, заимствование американского опыта.

«Происходит “американизация” не только партий, но и политической жизни вообще, — отмечает К. Г. Холодковский. — Те черты американской

партийно-политической системы, которые многие политологи считали архаичными, связанными с неразвитостью в США социальных конфликтов, характерных для индустриального общества, оказались, напротив, наиболее современными и в чем-то более продуктивными, по крайней мере с точки зрения электоральных задач, которые все более поглощают внимание партийных лидеров».

Объединения такого рода, по мнению ряда специалистов, очень мало напоминают массовую партию и становятся «механизмами» распределения государственных финансовых средств и постов между группами профессиональных политиков, основывающихся на непосредственной связи политика и избирателя без помощи партийной организации, на сокращении посредством СМИ дистанции между политическими лидерами и избирателями, на больших государственных субсидиях, выделяемых на обеспечение партийной деятельности. Представляя собой скорее своего рода «информационно-технократический мутант», «электронный танк», такого рода партии «таранят» избирательную систему и уничтожают всякие иллюзии относительно выявления «воли народа» и «демократичности выборов». Таким образом, «картелизация» партий, вращение их в государственные структуры несет в себе угрозу для гражданского общества.

Одной из главных черт этой модели является ослабление межпартийной конкуренции:

«партии, входящие во властный картель, вступают в “договорные” отношения по поводу распределения и сохранения государственных привилегий, препятствуя росту влияния нетрадиционных политических акторов. ...Демократия становится публичным “заискиванием” элит, а не включением населения в процесс производства политической стратегии. Если раньше можно было говорить о четком разделении правящих и оппозиционных партий, то при доминировании политических объединений картельного типа ни одна из значимых партий не может рассматриваться находящейся “вне власти”. Неразличимость партийных программ накладывает ответственность за государственную политику на все партии и в то же время понижает ответственность каждой конкретной партии. Демократия скорее становится средством сохранения социальной стабильности, а не социальных перемен...» (Р. Катц, П. Мэйр).

Меняются и американские «кадровые» партии, демонстрируя на фоне разговоров о «кризисе партий» признаки организационного возрождения. В результате структурных реформ, осуществленных в демократической партии в 1969–1972 гг., утратили свое былое влияние на процедуру выдвижения делегатов на партийный съезд (а значит, и определение кандидата партии на президентский пост) местные органи-

зации в избирательных округах и даже штатах. Теперь задача определения кандидата партии в президенты решается в ходе первичных выборов (праймериз). Впервые первичные выборы были проведены еще в 1912 г., однако в конце XX в. их роль неизмеримо возросла. В 1972 г. праймериз демократов были проведены в 18 штатах, в 1976 г. — в 27, в 1980 г. — в 35, в 1984 г. — в 30, в 1988 г. — в 37, в 1992 г. — в 40. Под влиянием демократов увеличивали число своих праймериз и республиканцы. При этом в ряде штатов к голосованию на первичных выборах приглашались не только «свои» избиратели, но и «чужие». В последнее время наряду с традиционной практикой выдвижения кандидатов для голосования на праймериз «партийными боссами» получает распространение их «петиционное» выдвижение путем сбора подписей. Тем самым, казалось бы, происходит демократизация процедуры и воля избирателей открыто ставится выше воли активистов партии и ее руководства. Однако данная практика зачастую открывает путь для формально демократического выдвижения кандидатов от могущественных, обладающих значительными политическими ресурсами групп интересов. Таким образом, национальные съезды демократической и республиканской партий сами больше не определяют кандидатов для участия в выборах президента США. Чтобы выступить на президентских выборах, кандидат должен выиграть кампанию по выдвижению своей кандидатуры и победить на праймериз в большинстве штатов и только затем добиваться победы над конкурентом от другой основной партии. Фокус избирательных кампаний сместился от партий к кандидатам, и победители по праву могут утверждать, что успехом они обязаны прежде всего собственным усилиям. Тем более что большую часть средств на выборную кампанию им приходится находить самостоятельно. Как пишут авторы известной книги «Трудным путем демократии: процесс государственного управления в США»:

«...Сложившаяся практика выдвижения кандидатов и проведения избирательных кампаний далека от идеала ответственного партийного управления, лежащего в основе мажоритарной модели демократии. Американские партии лучше вписываются в плюралистическую модель (демократии. — *Прим. авт.*), которая в широком плане видит в них главные заинтересованные группы, состязающиеся наряду с другими за продвижение своих собственных интересов. И менее всего партии стремятся к благой цели представления чаяний и нужд большинства народа».

3. Симптоматично и возрождение политических объединений, построенных по типу «вождистской партии» (Национальный фронт Ж. М. Ле Пена (Франция), Австрийская партия свободы Й. Хайдера, партия Пима

Фортейна (Нидерланды), ЛДПР В. В. Жириновского и др.), которые обладают более строгой организационной структурой и приверженностью к традициям, выступают против государственного вмешательства в экономику и критикуют социальную политику правительства. Обязательно наличие лидера, чьи директивы не подвергаются обсуждению или сомнению. Они получают преимущество не только на стадии выборов, за счет жесткой дисциплины и беспрекословного подчинения воле лидера, но и в парламенте. Парламентские фракции, созданные на базе таких партий, гораздо более эффективно отстаивают свои партийные интересы в процессе внутрипарламентской борьбы, поскольку жесткая фракционная дисциплина «превращает их в машины, ведомые руководителем партии» (М. Дюверже). В свою очередь Г. Китчелт и Х.-Д. Клингеманн видят в подъеме «крайне правых» в Европе принципиально новый политический феномен, связанный с процессами глобализации, европейской интеграции, трансформациями постиндустриального общества (развитие сектора услуг в экономике за счет традиционных отраслей индустрии, повышение уровня образования и рост среднего класса, превалирование ценностей самореализации и индивидуализма и т.д.). Традиционные партии в отличие от «новых правых» и «новых левых» оказываются, по мнению немецких политологов, не в состоянии адаптировать в своих программах «постиндустриальное измерение» политики. В этом смысле европейские крайне правые партии вполне современны, и голосование за них связано с актуальными современными проблемами: неудовлетворенностью социально-политической ситуацией в стране и своим положением, в частности, с растущим страхом остаться без работы в условиях «рационализации» производства на глобальном уровне, обеспокоенностью последствиями европейской интеграции (а крайне правые наиболее последовательные ее критики), неприятием массовой иммиграции, разочарованием в эффективности традиционных партий и др.

Известный социолог Матей Доган пишет по этому поводу:

«Концепция классового социального конфликта долгое время была ключевой в социологии партий, тогда как роль религиозной, этнической, языковой и культурной дифференциации недооценивалась. Сегодня принадлежность к социальному классу не является более доминирующим фактором электорального поведения».

Объяснение данного феномена исследователь, в частности, видит в том, что низшая страта рабочего класса сегодня состоит в основном из иммигрантов, не имеющих избирательных прав. В то же время во многих странах Запада классовая солидарность размывается, уступая место

конкуренции и конфликтам между местными рабочими и гастарбайтерами. Такие конфликты происходят и на электоральном уровне, когда местные рабочие голосуют против партий, выступающих за расширение прав рабочих-иммигрантов и за новые правые партии, призывающие к ужесточению иммиграционной политики. Появление в Европе новых этнических и расовых меньшинств, по мнению Догана, привело к появлению нового размежевания, не существовавшего еще тридцать лет назад.

4. Проблемно-ориентированные партии — новые партии, ставящие своей целью разрешение проблем, чуждых традиционным политическим объединениям. Ярким примером здесь могут служить проблемы защиты окружающей среды, ставшие предметом заботы «зеленых», или региональные партии, отстаивающие требования децентрализации власти и артикулирующие местные интересы, и т.д. Немецкий исследователь Герберт Дахс объясняет данный феномен тем, что у граждан исчезает возможность идентифицировать себя с общенациональными, универсальными партиями, которые больше не проводят адресную политику, обращенную к конкретным группам населения и им понятную. Подобная ситуация приводит к тому, что нишу занимают малые партии, ориентированные на интересы конкретных социальных и региональных групп.

5. «Партии идентичности». Различные социальные группы в современном западном обществе активно требуют признания обществом своей «особости», базирующейся на этнической, конфессиональной, гендерной принадлежности или сексуальной ориентации, многие из них создают для защиты своего «права на различие» новые политические партии. Как отмечает *Ч. Тейлор*: «“Политика признания” предполагает, что многие, кто чувствует себя ущемленным в статусе равного другим существа, стремятся к тому, чтобы их специфическая идентичность была публично признана».

6. Поскольку в условиях «маркетизации» политики она приобретает черты профессиональной сферы услуг, а политические организации, действующие в этой сфере, — черты фирм по оказанию услуг политического свойства, некоторые западные исследователи определяют эту новую модель как «партия—бизнес-фирма» (*Д. Хопкин, К. Паолуччи* и др.). Следствием такого превращения становится вытеснение механизма политического представительства интересов широких социальных слоев. Эмпирическим основанием для такого рода заключений послужили партийные группировки ряда стран Южной Европы — «Союз христианских демократов» в Испании и «Вперед, Италия!» С. Берлускони. Эти

партии (в отличие от картельных партий, ориентированных на государственную поддержку) черпают свои ресурсы, как и коммерческие фирмы, преимущественно из частного сектора экономики. По сути, это компания или сеть компаний. Партии — бизнес-фирмы не связывают себя жестко с определенной идеологией, могут меняться как их цели, так и стратегия поведения на «политическом рынке». В отличие от «всеохватных» партий они не ориентируются в своей деятельности на представительство определенных групп интересов, объединяются вокруг яркого лидера, обеспечивая ему массовую электоральную поддержку, но не могут сформировать базис организации, способной выполнять основные функции демократической политической партии. По мнению авторов этой модели, подобные партии могут появляться в эпоху серьезной трансформации партийных систем.

«Если экстраполировать тенденции последнего времени, — считает британский политолог *Коллин Крауч*, — то в качестве классической партии XXI века можно назвать организацию, состоящую из самовоспроизводящейся внутренней элиты, далекой от массовых движений, которые для нее служат базой, и в то же время уютно устроившейся среди нескольких корпораций, которые в свою очередь финансируют выдачу подрядов на проведение опросов общественного мнения, услуги политических советников и труды по привлечению избирателей в обмен на обещание партии в случае прихода к власти щедро вознаградить компании, стремящиеся к политическому влиянию».

Появление этих новых типов партий — свидетельство кризиса партийных систем Запада, «симптомы их вырождения». Некоторые авторы даже приводят целый список причин, обуславливающих «упадок партий», — это «изобилие, усиление государства, появление универсальных партий, неокорпоратизм, средства массовой информации, новые политические проблемы и расколы (например, между интересами экономического роста и защитой окружающей среды), трудности в функционировании государства, постиндустриализм» (*Г. Пейтнер*).

Кстати, все эти изменения ставят под сомнение один из выводов С. М. Липсета и С. Роккана об «отвердении» партийных систем Западной Европы. Так, они полагали, что к 60-м годам XX в. европейские страны достигли стадии устойчивости политических систем. Возникла традиция демократического правления, сложившаяся в результате преодоления длительных конфликтов и противостояний. Сложилась и основные политические партии, имеющие стабильную поддержку избирателей, что позволяло говорить о репрезентации практически всех интересов общества в политике. Эволюция государств Западной Европы в сторону «социального государства», казалось бы, привела к устранению

основных социально-экономических противоречий и дальнейшему развитию демократии. Однако серьезные изменения в социальной и политической сферах стран Запада, произошедшие в 1970–1980-е годы, заставляют критически подойти к тезису о завершенности структуры партийных систем Западной Европы. В частности, развивая теоретическую модель С. М. Липсета и С. Роккана, можно предположить, что в 1950–1970-е годы западный мир прошел еще одну «критическую точку» своего развития — Научно-техническую революцию. В результате возник новый раскол/размежевание — между интересами дальнейшего экономического роста и необходимостью сохранения среды обитания человека. Сформировалась и новая политическая альтернатива — массовые демократические движения 1970–1980-х годов, из которых выросли и партии, представляющие интересы защиты окружающей среды — партии «зеленых», существующие ныне во всех европейских странах.

Более того, по мнению *П. Пеннингса* и *Я.Э. Лейна*, сегодня в большинстве стран размежевания заменены открытым и гибким партийным соревнованием. Конечно, не следует полагать, что размежевания исчезли полностью, просто возникли альтернативные факторы и изменился характер самих размежеваний, они стали «размороженными» (*unfrozen*). Строго говоря, термин «размежевание» неприменим к новым, «сконструированным» в результате политических и электоральных стратегий барьерам, не укорененным в структуре общества. Те же авторы пишут о «дезинтеграции» партийных систем стран Западной Европы.

«Политические партии более не играют той роли в функционировании демократии, что принадлежала им в 1950-х и 1960-х годах», — констатирует *М. Доган*. Эмпирическое исследование показало, что за последние несколько десятилетий произошло значительное сужение идеологического пространства. Если представить, что расстояние между крайне правыми и крайне левыми составляло в 1960 г. 1 метр, то сегодня оно не превышает нескольких дециметров, особенно в тех странах, которые в 1950-е годы пережили сильнейшую поляризацию. В Италии коммунисты (Демократическая партия левых сил) и неофашисты (Национальный альянс) пересмотрели свои доктрины и даже изменили названия своих партий. Во Франции можно наблюдать значительную сдержанность в отношении старых идеологий, ныне вытесненных проблемами иного характера.

Большинство людей почти во всех европейских странах занимают позицию в центре политического спектра между левыми и правыми. В своем скрупулезном сравнительном исследовании периода 1978–1994 гг. *Э. Ноэль-Нойманн* показала доминирующую роль центра по

сравнению с крайними политическими позициями. Анализ материала по девяти другим странам Европы, проведенный в 1960-е годы, также выявляет сдвиг в сторону центра и ослабление поляризации. Привлекательность центра отчетливо проявилась уже на выборах 1973, 1978 и 1981 гг. во Франции. Совсем недавно по историческим меркам левые согласились с постулатами экономического либерализма, а правые — с постулатами социальной солидарности.

В этой связи важно обратить внимание на курс, избранный *германскими и французскими* социалистами и *британскими* лейбористами. В Германии Социал-демократическая партия отреклась от марксистской идеологии на съезде в Бад-Годесберге в 1959 г. Когда в 1981 г. Социалистическая партия пришла к власти во Франции, ее программа предусматривала национализацию основных отраслей экономики. Однако пробыв два года у власти, она взяла курс на либерализм и в течение 10 лет проводила политику, противоречащую своей первоначальной программе. В 1995 г. английские лейбористы в свою очередь отказались от собственной традиционной идеологии и урезали влияние профсоюзов в делах партии, которая ныне представляет также интересы средних классов. С. М. Липсет на материале многих стран проследил этот сдвиг курса социалистов вправо, в сторону экономического либерализма.

Деполаризация — лишь один из аспектов ослабления партийной идентификации. Колебание настроений электората — другой аспект этого явления. Во Франции еще за месяц до президентских выборов 1995 г. половина избирателей не определила своей позиции. Каждый третий сделал свой выбор только за 15 дней до голосования (данные различных опросов в марте, апреле и мае 1995 г.). Та же черта поведения электората обнаружена в Соединенном Королевстве. Неуверенность избирателей свидетельствует об отсутствии склонности поддерживать какую-то из идеологических доктрин и в целом об ослаблении влияния последних, а также о том, что многие избиратели решили отдать предпочтение политическим проблемам, а не партиям.

Опрос, проведенный после президентских выборов во Франции в 1995 г., показал, что большинство избирателей имели твердое мнение по многим из таких важных проблем, как безработица, образование, коррупция, реформа органов управления и прочие, и что по крайней мере треть французов проявила безразличие к политическим доктринам и партиям. Только один вопрос — иммиграция из неевропейских стран — объясняет успех Национального фронта на этих выборах. Лишь меньшинство избирателей, голосовавших за эту партию, исходили из идеологических соображений. Голосование большинства избирателей отра-

жало реакцию на проблемы повседневной жизни в районах, серьезно затронутых наплывом иммигрантов. На общеевропейских выборах 1989 г. проблема иммиграции уже превратилась в главную причину голосования за крайне правых.

Как отмечает французский политолог *Б. Манен*, «формирующаяся сегодня форма представительного правления отличается новым участником публичной дискуссии — колеблющимся избирателем и ее новым форумом — каналами передачи информации». Он же констатирует, что сегодня происходит переход от «партийной» к «аудиторной» демократии.

Таким образом, сокращение числа партийных активистов, трудности, с которыми сталкивается партийная пресса, и перемены в политическом словаре, исчезновение партий «объединяющих» (за исключением малых экстремистских партий) в противовес партиям «представляющим», появление новых партий и фрагментация партийных систем — это не единственные символы ослабления роли партий в политической жизни.

Еще один симптом ослабления партий — рост политического влияния средств массовой информации (особенно электронных), которые в значительной мере «перехватили» у партий ряд функций: политической социализации, распределенной теперь между семьей, школой и телевидением, и политической мобилизации, особенно в период избирательных кампаний. В целом СМИ выполняют эти функции гораздо результативнее партий. Достаточно вспомнить избирательные кампании Росса Перо в США (1992 г.), Бернара Тапи во Франции, Сильвио Берлускони в Италии (1994 г.) или Владимира Жириновского у нас в 1993 г., их успех был полностью обусловлен массивным и искусным использованием телевизионного эфира в политических целях. Таким образом, телевидение становится самым опасным конкурентом массовых партий, оставляя не у дел партийных активистов. Наиболее радикальные прогнозы предсказывают конец «века партий» как «организаций единомышленников, объединенных сходством политических принципов», на смену им идут команды политтехнологов, активно использующих телевидение для продвижения на рынок политического товара. Соответственно центр тяжести в предвыборной агитации окончательно переносится с партийных митингов на экраны телевизоров, с политических программ на видеоряд, и прежде всего на формирование привлекательного для избирателей имиджа партийных лидеров и кандидатов на выборные посты.

«Эти имиджи являются очень упрощенными и схематичными ментальными репрезентациями. Значимость им придается за счет того, что боль-

11. Политические партии как объект сравнительного исследования

шее число избирателей недостаточно компетентны, чтобы разобраться с техническими подробностями предлагаемых мер и их обоснованием. Но использование упрощенных репрезентаций является также методом решения проблемы информационных издержек. Давно замечено, что одна из главных проблем гражданина в крупных демократиях заключается в несоответствии издержек на политическую информацию и влияния, которое он надеется оказать на исход выборов. В партийных демократиях эта проблема практически не возникла, поскольку решения избирателей обусловлены чувством классовой принадлежности. ...Однако... поскольку представители избираются на основе схематичных имиджей, у них появляется определенная свобода действий после избрания. К избранию их приводят довольно размытые обязательства, которые допускают несколько интерпретаций» (Б. Манен).

Растущая в результате свобода действий политиков и «персонификация» политики лишает ее программного «стержня» и делает игрушкой сиюминутных интересов и ситуативного соотношения сил.

Наибольшее воздействие на политический процесс массмедиа оказывают через способность формировать **политическую повестку дня**, т.е. список проблем, которые должно решать правительство. Уделяя внимание одним проблемам и игнорируя другие, медиа тем самым формируют политические приоритеты общества. В этой связи американские исследователи отмечают тенденцию концентрации медийных средств в руках немногих владельцев и указывают на связанную с этим опасность: владельцы получают возможность контролировать новостной поток и тем самым влиять в своих политических интересах как на формирование общественного мнения, так и на его восприятие властью.

Тенденции персонификации политики, профессионализации партийной верхушки, превращения ее в замкнутый и самодостаточный «политический класс» приводят к росту дистанции с рядовыми членами партии. В свою очередь ослабление влияния партийной массы и рядовых активистов на процесс принятия решений делает менее эффективной обратную связь государства с гражданским обществом и превращает партии в «полугосударственные агентства» и «электоральные машины», лишая гражданское общество эффективного канала влияния на государственную власть.

Могут возразить, что функцию выразителя групповых интересов сегодня все больше берут на себя многочисленные общественные ассоциации, «благодаря корпоративным механизмам взаимодействия с государством участвующие и в процессе агрегирования, взаимной притирки этих интересов... В подготовке и принятии социально-экономических решений они нередко оказываются более эффективными,

нежели инструменты традиционной партийной политики. Этому способствует широкое распространение во всех развитых странах органов функционального представительства, берущих на себя задачу согласования интересов в отдельных сферах» (К. С. Холодковский).

Важно отметить, что группам интересов перешла та функция, исполнение которой и делало партии представителями гражданского общества.

«...Современные граждане — даже в тех государствах, которые долгое время находились под гнетом авторитаризма, — владеют достаточно разнообразными организационными навыками и в гораздо меньшей степени отождествляют себя с партийными символами и идеологией, их интересы защищают гораздо более разнообразные группы интересов. Более того, новые режимы появляются в той среде, которая, по сути, плотно насыщена различными моделями успешного коллективного действия. Все это не может исключить доминирующей роли партий в представительстве социальных групп, но это указывает на то, что они будут иметь более сильную конкуренцию со стороны ассоциаций и социальных движений, чем их предшественники...» — отмечает Ф. Шмиттер.

Однако, как уже отмечено, группы интересов по определению не могут в отличие от партий претендовать на легитимное представительство большинства и на осуществление власти от его имени. В отличие от политических партий они и призваны артикулировать частные интересы, фрагментируя и разделяя тем самым общество на сегменты с несовпадающими интересами.

«...Внедрение системы “функционального представительства” ... в принципе не может возместить упадок традиционных демократических институтов, — считает С. Н. Пишова. — Теория “корпоративного гражданства”, вопреки декларированным целям, подрывает самые основания плюралистического общества. Фактически предполагается делигитимация социального конфликта путем выведения его из поля политического взаимодействия общества и государства и превращения в объект внутрикорпоративного регулирования. Показательна в связи с этим судьба профсоюзов. Они оказались съеденными, поглощенными корпорациями. Вместо организованных интересов, опосредующих отношения между управляющими и управляемыми, оказывающих давление на властные структуры, мы наблюдаем использование профсоюзов как инструмента корпоративного управления, проводника властных импульсов сверху вниз. Переоформление системы политических отношений на базе “корпоративного гражданства” отнюдь не всегда совместимо с традиционными политическими формами гражданского общества. ...Кризисное состояние традиционных институтов гражданского общества и инструментов их политического влияния (в том числе СМИ) требует выработки новых подходов для обеспечения демократического контроля над властями и бизнесом».

Еще более драматична ситуация с политическими партиями в странах «третьей волны демократизации». Многочисленные социологические опросы от Восточной Европы до Латинской Америки фиксируют высокий уровень недоверия граждан поставторитарных стран как к отдельным партиям, так и к партийным системам в целом. Эксперты, характеризуя партии этой группы государств, называют их неэффективными и коррумпированными, их, как правило, возглавляют амбициозные, некомпетентные и корыстные лидеры, не способные ни к конструктивному взаимодействию друг с другом, ни к профессиональному государственному управлению. Эти партии не имеют сколько-нибудь определенной идеологической идентичности и устойчивой социальной поддержки, их активность дискретна, и пик ее приходится на периоды избирательных кампаний. Попытки извне способствовать становлению партий и партийных систем, как правило, не имеют успеха. Политические партии, которые получали помощь в рамках международных программ содействия демократии, в лучшем случае игнорировали на практике рекомендации западных доноров и как-то выживали, а в худшем — терпели крах, независимо от того, насколько тщательно они следовали советам западных экспертов, которые, по словам Т. Карозерса, зачастую «прописывали» политическим партиям неадекватные средства лечения их многочисленных недугов. Большинство авторов отмечают слабую роль партий в процессе демократизации посткоммунистических государств.

Однако парадоксальность ситуации состоит в том, что политических институций, более эффективно выполняющих все многообразие функций политических партий, пока не появилось. Характерно название статьи «ветерана» американской политической науки Сеймура Липсета, появившейся в 2000 г. и посвященной эволюции этого политического института, — «Неизбежность партий». Действительно, партии реагируют на изменение ситуации, модернизируют свою структуру, сокращают бюрократический аппарат, осуществляют попытки внедрения в партийную жизнь элементов прямой демократии, т.е. достаточно гибко учитывают изменение настроений избирателей и в целом небезуспешно приспосабливаются к новым условиям.

Глава 12

ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ В СРАВНИТЕЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ

1. Свойства партийных систем
 2. Типологии партийных систем
-
-

§ 1. Свойства партийных систем

В то время как партии изучаются преимущественно специалистами по отдельным странам, партийные системы чаще привлекают внимание ученых, занимающихся кросснациональным (сравнительным) анализом политики.

Многopартийность обычно понимается как порядок, при котором партийные структуры служат проводниками политического конфликта, адекватно отражают взгляды и интересы определенных групп избирателей и выступают от их имени, а также принимают участие в функционировании правительства или оппозиции. Не случайно она является одним из важных признаков демократичности политической системы. По парадоксальному определению А. Пшеворского, «демократия — это система, в рамках которой партии проигрывают выборы».

Таким образом, партийные системы — это структуры, обеспечивающие межпартийное соревнование или сотрудничество.

Под **партийной системой** обычно понимают конфигурацию политического пространства, составленного из независимых элементов (партий) и определяемого их количеством, параметрами (численность избирателей, тип структуры и др.) и коалиционными возможностями.

Я.-Э. Лэйн и С. Эрсон на основе того, что партийные системы состоят из отдельных элементов и взаимосвязей между ними, представляющих нечто большее, чем их сумма, определяют ее как «совокупность политических партий, действующих в стране на основе определенной организационной модели, которую характеризуют свойства партийной системы». Однако вопрос о свойствах, концептуально важных для теории партийных систем, вызывает дискуссию среди исследователей. Так, А. Лейпхарт выделил такие свойства партийной системы, как:

- минимальные выигрышные коалиции;
- продолжительность существования правительства;
- эффективное число партий;
- количество проблемных измерений;
- непропорциональность результатов выборов.

Другие ученые добавили к этим характеристикам:

- уровень межпартийной конкуренции;
- степень устойчивости избирательных предпочтений и др.

В свою очередь концепт «изменение партийной системы» призван раскрывать развитие базовых свойств системы в течение какого-то времени. При этом искомая стабильность партийной системы — это не отсутствие изменений; стабильность подразумевает более или менее фиксированные отношения между партиями, закрепленные правилами и институтами, поддерживающими доминантных игроков партийной системы.

Рассмотрим подробнее показатель «эффективное число партий», разработанный М. Лааксо и Р. Таагеперой, который используется для измерения уровня фрагментации партийной системы, поскольку позволяет определить количество значимых партий в системе. При выявлении эффективного числа партий N_p учитывается относительная величина каждой партии. Подсчет осуществляется по формуле

$$N_p = \frac{1}{\left(\frac{P_i}{100}\right)^2 + \dots + \left(\frac{P_i}{100}\right)^2}$$

где P_i — доля (процент) голосов (мест), полученных каждой i -той партией на выборах.

Так, в 1993 г. в выборах в Государственную думу участвовало 13 партий, расчет эффективного числа партий дал значение, близкое к 8, что соответствовало числу партий, представленных в первой Государственной думе.

Сравнительный анализ президентских систем показал, что на эффективное число партий влияет такой, казалось бы, незначительный показатель, как одновременное и разновременное избрание президента и парламента. В результате на основе этих исследований можно сделать следующие выводы:

- наименьшее число партий (кандидатов) соответствует одновременным выборам парламента и президента;
- если президент избирается правилом относительного большинства голосов и парламента избирается одновременно с президен-

том, то примерно одинаковое число партий конкурирует на президентских и парламентских выборах;

- независимо от того, как избирается президент, если выборы парламента происходят не одновременно с президентскими, то это ведет к сильному увеличению числа конкурирующих партий.

В парламентских системах главным фактором, влияющим на число партий, является метод избрания членов парламента (см. «законы Дюверже» — глава 13). Однако существует и еще один важный показатель, влияющий на число политических партий, — число мест в парламенте от избирательного округа. Так, в Великобритании, США, Канаде, Франции и Австралии каждый округ представляет в парламенте один депутат, что уменьшает число конкурирующих партий. В то же время в Австрии от одного округа избираются 20 депутатов, в Дании — 10, в Италии — 19 и т.д. На основании сравнений можно сделать общий вывод, что чем больше депутатов представляет округ в парламенте, тем легче малым партиям получить хотя бы один мандат и соответственно тем меньше шансов у партии быть полностью исключенной из представительства в парламенте и из конкурентной борьбы за голоса избирателей.

Эту картину усложняет такой фактор, как степень этнической однородности страны. Можно предположить, что если общество этнически относительно однородно, то большого числа партий не будет, независимо даже от числа мест (представительства) в парламенте от округа. Но если общество не однородно, то число партий должно в большей степени зависеть от такого представительства. Данные, полученные в результате сравнения 25 демократий «западного образца» (включая Индию и Японию), подтвердили существование этой зависимости (табл. 9).

Таблица 9

Характеристика этнической неоднородности

Число мест	Этнически однородные страны	Неоднородные	Сильно неоднородные
$m = 1$	—	4,9	4,4
$1 < m < 10$	6,5	6,4	9,7
$m > 10$	7,7	8,9	—

Источник: Алескеров Ф. Т., Ордешук П. Выборы. Голосование. Партии. М., 1995.

Примерами этнически однородных стран являются Исландия, Ирландия, Япония, Скандинавские страны, Нидерланды; неоднородных — Бельгия, Канада, США, Швейцария; сильно неоднородных — Индия.

§ 2. Типологии партийных систем

Большинство из предлагаемых в литературе типологий партийных систем носит количественный характер, поскольку их главным критерием является число партий, действующих на политической арене. Однако этот, на первый взгляд, чисто формальный критерий чрезвычайно важен. М. Дюверже даже утверждал, что «различие по признаку “однопартийная — двухпартийная — многопартийная система” может стать основным способом классификации политических режимов», поскольку характер партийной системы оказывает заметное воздействие на избирательный процесс и на процесс принятия политических решений. Возникает проблема: какие партии учитывать? Как правило, при классификации партийных систем во внимание принимаются следующие критерии:

1. Число эффективных партий.
2. Наличие или отсутствие доминирующей партии или коалиции.
3. Уровень соревновательности между партиями.

Дж. Сартори в работе «Партии и партийные системы» (1976 г.) выделяет семь основных типов партийных систем, руководствуясь критериями движения от властного монизма ко все большему политическому плюрализму. При этом учитываются только крупные партии, обладающие либо «потенциалом для коалиции», либо «потенциалом для шантажа» (каким, например, в недавнем прошлом обладали коммунистические партии в Италии, Испании и Франции). Необходимо также учитывать партии, обладающие «правительственной релевантностью» при формировании коалиций и «соревновательной релевантностью», будучи в оппозиции. При этом партия считается **релевантной**, когда само ее существование или появление влияет на тактику партийного соревнования и особенно когда оно изменяет направление конкуренции, определяя переход от центристского к центробежному соревнованию нацеленных на участие в управлении партий левого, правого толка или тех и других (Дж. Сартори).

1. «**Однопартийные системы**» (СССР, Куба, Румыния, Монголия, КНДР и др.), где фактически партия «срастается» с государством. «Казус однопартийной системы ясен, — пишет Сартори. — Политическая власть монополизирована лишь одной партией, в том смысле, что другие партии не имеют права на существование». Вместе с тем Дж. Сартори обосновал тезис о том, что партийная система возникает лишь при наличии более чем одной партии. Но термин «однопартийная система» им использован и продолжает использоваться и по сей день в научной литературе.

2. **Системы «партии-гегемона»** (ГДР, Болгария, Китай, Польша). Наряду с правящей коммунистической партией существуют партии-сателлиты, признающие «руководящую роль правящей партии» и, несмотря на представительство во власти, реально почти не влияющие на процессы принятия решений.

3. **Системы с доминирующей партией.** Это партийная система тех стран, где долгие годы, несмотря на наличие основных демократических процедур и множества партий, одна «партия власти»¹ регулярно побеждает на выборах и доминирует во властных структурах.

«Как правило, партийные системы с доминированием одной партии возникали в государствах, перед которыми стояли не решенные в той или иной степени задачи национальной интеграции, экономической модернизации, строительства современного государства, формирования гражданского общества, включения широких масс населения в политическую жизнь» (Е. Ю. Мелешина).

Это государства Центральной и Восточной Европы в межвоенный период; ФРГ — до 1963 г.; Италия до начала 1960-х годов; Мексика — с 1929 г. по начало 1990-х, Япония — до 1993 г., Филиппины во времена президентства Ф. Маркоса, Россия в 2000-е годы и др. Иногда такие системы называют полупартийными.

В зависимости от того, какие механизмы применялись для закрепления доминирования одной партии во власти в течение достаточно длительного времени, в исследовательской литературе вслед за Дж. Сартори выделяют три типа партийных систем с доминированием одной партии:

- 1) преобладающая партийная система — это система, в которой господство одной партии осуществляется в рамках процедур демократического соревнования;
- 2) доминантная партийная система в отличие от преобладающей — это несложившаяся система с неустойчивыми партиями, где, однако, господство одной партии осуществляется в рамках процедур демократического соревнования;
- 3) авторитарная доминантная система — это система, возникающая в условиях недемократических режимов.

Между тремя типами партийных систем с доминирующей партией есть как сходства, так и серьезные различия.

¹ Под «партией власти» понимаются политические организации, созданные и используемые исполнительной властью для участия в парламентских выборах для влияния на законодательный процесс.

Их объединяют:

- распространение клиентелизма, политического патроната и ориентации на личностные связи (отсюда селективные мотивы членства в партии, коррупция и политические скандалы);
- неопределенность идеологических позиций и прагматический центризм, связанные со стремлением привлечь на свою сторону как можно больше политиков и избирателей;
- возникновение систем с доминированием одной партии в XX в. происходило, как правило, в странах «догоняющей модернизации».

Их различают:

1) инструменты, которые используются в борьбе за власть. В преобладающих и доминантных системах преобладают преимущественно законные демократические механизмы. Несмотря на доминирование одной партии, на национальном уровне в структурах власти представлены многие групповые интересы не только за счет других партий, но и благодаря внутрипартийной фракционной борьбе. В авторитарных доминантных системах внутрипартийная фракционная борьба, как правило, жестко пресекается;

2) в преобладающих и доминантных системах доминантная партия является правящей, т.е. не только служит инструментом влияния исполнительной власти на законодательную, но и определяет состав правительства и несет ответственность за проводимый курс. В доминантных авторитарных системах «партия власти» часто является условно правящей, так как используется в основном не для обеспечения доступа к власти определенной социальной группе, а для усиления влияния правящей группировки в законодательном органе и в обществе в целом (Национально-демократическая партия Египта);

3) господствующие партии в преобладающих и доминантных системах, как правило, выступают инструментом постепенной модернизации политических отношений, развития публичной политики и создают предпосылки для перехода к партийной системе без доминирования одной партии. В доминантных авторитарных системах господствующие партии, напротив, часто используются для закрепления недемократических практик и процедур, для поддержания господства правящей группы. Их вклад в модернизацию политических отношений более скромный, если не нулевой.

С сожалением приходится признать, что в современной России сложилась доминантная партийная система.

4. **Системы «простого плюрализма»** (двухпартийная система — США, Великобритания), где две основные мажоритарные партии сменяют друг друга у власти, лишая «третью силу» каких-либо шансов на победу. Такая система оказывает умеряющее воздействие, поскольку две партии борются за голоса колеблющихся избирателей в центре политического спектра и потому отстаивают умеренную центристскую политику (А. Лейпхарт). Действительно, второстепенные партии никогда не добивались большого успеха на выборах в США, но тем не менее играют весьма важную роль в политической системе страны — роль «предохранительных клапанов». Они позволяют тем, кого не устраивает *status quo*, выразить свое недовольство властью в рамках существующей системы и таким образом внести свой вклад в политическую дискуссию. Временами третьи партии оказывали реальное воздействие на политику, осуществляемую двумя главными акторами. Распространение избирательного права на женщин, прогрессивный подоходный налог и прямые выборы в сенат — все эти важные для развития американской демократии инициативы исходили от третьих партий.

5. **Системы «умеренного плюрализма»**, где «нормальное количество (партий) ... три или четыре» (Бельгия, ФРГ, Швеция, Франция и др.).

6. **Системы «крайнего плюрализма»** — в них более пяти партий (это Италия, где до 1993 г. в парламенте было представлено восемь партий, Финляндия и др.), затруднено формирование устойчивых партийных коалиций и возможна поляризация партийного спектра, партийная же система фрагментирована, т.е. «в ней представлено множество партий, ни одна из которых не может приблизиться к черте абсолютного большинства». Для характеристики партийной системы Италии (1963—1993 гг.) Дж. Сартори употребляет термин **«система поляризованного плюрализма»**, поскольку эта система отличалась от других, подобных ей, противостоянием двух партий, находящихся на противоположных полюсах политического спектра и обладающих наибольшими «ресурсами власти» (Христианско-демократическая партия) и «ресурсами шантажа» (Итальянская коммунистическая партия).

«Таким образом, — пишет исследователь, — фрагментация партийной системы может отражать либо сегментацию, либо поляризацию, т.е. идеологическое дистанцирование. Очевидно, что (в идеологических системах) есть нечто, чего нельзя выявить с помощью количественного подсчета и что тем не менее значимо. Это является аргументом в пользу перехода от классификации к типологии и соединения критерия численности с идеологическим». Сегодня ряд исследователей характеризует партийную систему Украины как «систему поляризованного плюрализма с явно выраженными рудиментами фрагментированной системы».

7. **Атомизированные системы** (свыше 8 партий), где происходит распыление влияния и осуществляется дисперсия ролей (Малайзия, Россия начала 1990-х и др.).

«Эта модель, — пишет Сартори, — введена как остаточный класс, чтобы обозначить черту, за которой проблема такого подсчета уже не стоит остро, порог, за которым число партий — будь то десять, двадцать или тридцать — уже не имеет определяющего значения. Такие партийные системы могут быть определены аналогично атомизированной конкуренции в экономике, т.е. как ситуация, когда ни одна коалиция не оказывает заметного влияния на другие компании».

Для Дж. Сартори и двухпартийные, и умеренно многопартийные системы центристремительны, тогда как крайне многопартийные — центробежны.

«Если в политической системе преобладают центристремительные тенденции, то это означает, что проводимая политика является взвешенной, тогда как не отличающийся умеренностью или экстремистский политический курс отражает преобладание центробежных сил... приводит к политическому тупику и парализует деятельность правительства».

Таким образом, по мнению многих западных исследователей (Дж. Сартори, А. Лейпхарт, М. Тейлор, В. М. Херман и др.), умеренная многопартийность является оптимальным условием для стабильной демократии.

В типологии американского политолога *П. Ордешука* вводится иной критерий — наличие (или отсутствие) одной, двух и более доминирующих на политическом пространстве партий (так называемых партий большинства), в результате речь также идет о трех типах партийных систем:

- 1) **двуполюсная система** (США, Великобритания, Новая Зеландия);
- 2) **однополюсная система** (Япония, Мексика);
- 3) **многополюсная система** (Нидерланды, Бельгия, Швейцария и др.).

Возможна и более подробная градация по этим критериям.

Приведем также типологию американского исследователя *Ж. Блонделя*, основанную как на количественных, так и на качественных критериях (влиятельность партии, коалиционный потенциал и др.):

- 1) **двухпартийная система** (эффективное число партий равно 2);
- 2) **«двух с половиной» партийная система** (эффективное число партий равно 2,6 — Австралия, ФРГ, Ирландия, Канада);
- 3) **многопартийная система с доминирующей партией** (эффективное число партий равно 3,5);
- 4) **многопартийная система без доминирующей партии** (эффективное число партий равно 4,5).

Возможно создание типологии партийных систем и по другим основаниям. Так, *Даниель Карамани* на основании таких критериев, как наличие или отсутствие влиятельных партий, отстаивающих региональные интересы, выявляет несколько типов партийных систем в странах Европы, отличающихся территориальной конфигурацией:

- «национализированные» партийные системы, характеризующиеся гомогенной поддержкой всех политических партий и отсутствием или слабостью региональных партий (Греция, Дания, Исландия, Норвегия);
- сегментированные системы, отличающиеся наличием как минимум одного влиятельного региона, представленного региональной партией, при гомогенной поддержке остальных политических сил (ФРГ, Италия);
- «территориализованные» партийные системы, в которых отсутствуют сильные региональные партии, но по причине культурных размежеваний наблюдается неравномерная поддержка основных партий по территориям (Великобритания, Франция, Швейцария);
- «регионализированные» партийные системы, для которых характерны не только территориально неравномерная поддержка партий, но и наличие значительных региональных партий (Бельгия, Финляндия).

При этом Карамани отмечает, что кросснациональные сходства связаны с возникновением и деятельностью партий, отражающих функциональное, социально-экономическое размежевание, а отличия — с религиозными, аграрными и региональными политическими силами.

Обычно же партийные системы либеральных демократий в сравнительном плане исследуют по пяти главным измерениям, предложенным *Я.-Э. Лэйном* и *С. Эрсоном* (на основе факторного анализа 14 показателей, выделенных на материале 272 выборов в 16 европейских странах в 1920–1984 гг.) для европейских партий:

- 1) дробность, т.е. колебания численности и силы единиц, составляющих партийные системы;
- 2) функциональная ориентация, т.е. различия между традиционными классовыми партиями и партиями конфессиональными, этническими, региональными;
- 3) поляризация, т.е. колебания в идеологических предпочтениях между партиями по «лево-правой» шкале;

- 4) радикальная ориентация, т.е. различия в степени влияния крайне левых и крайне правых партий¹;
- 5) изменчивость, т.е. различия в суммарной мобильности между партиями.

Анализ изменений данных характеристик — основная проблема в компаративном анализе партийных систем.

В целом современные партийные системы стран Запада характеризуются следующими чертами.

1. Произошло «усреднение» социальной адресации программ и лозунгов политических партий.
2. Сгладились противоречия по линии «левые—правые». В 1950—1970-е годы «правые» приняли «правила игры», разработанные «левыми» (социальное государство), в 1980—1990-е годы «левые» восприняли положительный опыт «консервативной волны».
3. Произошло упрощение партийной структуры по линии лидер — аппарат — партийная масса. Лидер все более олицетворяет партию.
4. Углубилась профессиональная система политического управления (окончательно оформился «политический класс»). Вместе с тем широкое развитие получили альтернативные движения, которые омолодили одряхлевшую партийную систему новыми идеями и формами политической организации.

Очевидно, что партийная система есть результат воздействия множества факторов, которые влияют на конфигурацию партий и динамику их изменений. М. Дюверже предложил разделить эти факторы на:

а) **специфические для каждой страны** — это национальные традиции и история, экономическая и социальная структура, тип политической системы, наличие постоянного раскола/расколов общества, конфессиональные предпочтения населения, этнический состав и др. (так называемый национальный контекст). Так, по мнению Стейна Роккана, для тщательного анализа конфигурации партийных систем той или иной страны следует учитывать процессы исторически складывающихся

¹ В частности, проделанный Дж. Б. Пауэллом (мл.) сравнительный анализ 28 партийных систем стран Запада, функционировавших в 1965—1975 гг., выявил корреляцию между высоким уровнем поддержки экстремистских партий, правительственной нестабильностью и массовыми беспорядками. В то же время Я.-Э. Лэйн и С. Эрсон обнаружили лишь опосредованное влияние дробности партийной системы и ее поляризации на те же показатели.

партийных альтернатив, развитие конкуренции в политике и утверждение системы всеобщих выборов, структуру оппозиционных сил и точек раскола. Разнообразие западноевропейских партийных систем, по Ст. Роккану, отражает прежде всего историю конфликтов и компромиссов каждого государства по трем из четырех линий расколов, возникших в результате двух революций — национальной и промышленной;

б) **общие** — среди которых наиболее важен избирательный режим, оказывающий воздействие на количество партий, их численность, специфику формирования партийных коалиций, размеры представительства в парламенте и т.д. Однако существует и обратная зависимость, поскольку в конечном счете значимость голосования зависит от того, какой выбор предлагают избирателям политические партии. Не случайно поэтому наиболее разработанной теорией, рассматривающей партийные системы в сравнительном плане, является теория избирательных систем.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В КОМПАРАТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

1. Выборы как инструмент политического представительства
 2. Сравнение мажоритарной и пропорциональной систем
 3. Модификации двух основных избирательных моделей
 4. Эволюция моделей электорального поведения
 5. Референдум как форма «прямой демократии»
-

§ 1. Выборы как инструмент политического представительства

Выборы являются центральным институтом демократии, потому что власть правительства исходит исключительно из согласия управляемых. Главный механизм, превращающий это согласие во властные полномочия правительства, — это свободные, равные¹ и тайные выборы. Не случайно избирательные системы и процессы считаются одной из главных характеристик демократии. А демократическим называется государство, «в котором идеологически и социально различающимся группам открывается легальная возможность для соревнования за контроль над властью и где агенты, контролирующие властные институты, *избираются и ответственны перед народом*» (Т. Ванханен). Выборы легитимируют власть, через выборы народ определяет своих представителей и наделяет их мандатом на осуществление его суверенных прав. Введение всеобщего голосования в значительной степени изменило способы политических действий, поскольку «народ стал постоянным актором на политической сцене, тогда как ранее он довольствовался случайным участием в политической жизни в периоды нестабильности» (Ж.-П. Жакс).

¹ Выборы считаются равными, если обеспечена единая норма представительства — количество избирателей, представляемых одним кандидатом на выборное место. Английская парламентская реформа 1832 г. стала первой реформой избирательного права, которая положила начало переходу от средневекового избирательного принципа равного представительства от корпоративных единиц к новому демократическому принципу представительства от количества населения.

Конечно, как в демократических сообществах, так и в авторитарных системах политические решения принимаются президентами, правительствами, парламентами и т.д. Фундаментальное различие между демократическими и авторитарными государствами состоит в том, что в демократических государствах эти решения непосредственно (на референдумах) или косвенным образом (через альтернативные выборы) оцениваются и утверждаются народом. В свою очередь электоральное¹ поведение — наиболее массовая и законная форма политического поведения. С. Хантингтон даже утверждает, что институты представительной демократии укореняются на новой почве и обретают прочность только в результате «испытания двойной сменой», т.е. правительство должно дважды поменяться демократическим способом — в результате всенародного волеизъявления.

Институт выборов не просто обеспечивает коммуникацию между массами и политическими элитами, выборы рассматриваются как «площадка» для артикуляции и презентации публичных (политических) интересов ключевыми политическими акторами, а также выявления «воли народа» по этим вопросам. Тем самым выборы институализируют как массовое политическое участие, так и политическую конкуренцию между элитными группами. Кроме того, участие в выборах позволяет ограничить проявления опасных для политической системы форм массовой активности, направив ее в институциональное (регулируемое нормами) русло, когда недовольные политикой правительства люди выражают свой протест, голосуя за перемены. А другая часть граждан посредством выборов демонстрирует поддержку правительственному курсу.

«Не случайно законы о выборах обсуждаются обычно с большей страстностью, чем бюджет, — отмечает А. Салмин. — Через бюджет раз в год распределяются деньги, которые потом разными путями перераспределяются. Через закон о выборах — власть и статус, которые перераспределяются гораздо реже и с большим трудом».

В целом институт выборов играет чрезвычайно важную роль в институализации демократического политического порядка и обеспечении политической стабильности.

Западные исследователи утверждают, что политический режим может считаться демократическим только в том случае, если он обеспечивает реализацию следующих условий:

¹ *Электорат* (от лат. *elector* — выборщик, избиратель) — это контингент избирателей, голосующий за какую-либо партию/кандидата на выборах.

- все взрослое население имеет право участвовать в голосовании за кандидатов в государственные органы¹;
- выборы проводятся регулярно, в соответствии с предписанными законом временными границами;
- все группы взрослого населения имеют право формировать политические партии и выдвигать кандидатов на выборные посты;
- все места в основной законодательной палате занимают в результате свободной конкуренции;
- избирательные кампании проводятся честно и справедливо: ни закон, ни насилие, ни запугивание не должны мешать кандидатам представлять свои взгляды и качества, препятствовать избирателям в их изучении и обсуждении;
- голоса подаются свободно и тайно; они подсчитываются честно; кандидаты, получившие необходимую долю голосов избирателей, занимают соответствующие посты до истечения положенного срока и до очередных выборов.

В то же время современная политическая практика демонстрирует, что выборы могут играть и дестабилизирующую роль. Ярким примером тому служат так называемые «цветные революции» в Югославии, Грузии, Украине и Кыргызстане. Во всех названных случаях именно выборы стали поводом для массовых протестных акций, поскольку сторонники оппозиционных партий, недовольные результатом выборов, отказались признать их легитимность и открыто выступили против правящей элитной группы.

Наконец, выборы могут стабилизировать недемократический политический порядок, легитимируя авторитарную власть. В этом случае выборы консолидируют элиту и политическое сообщество вокруг пра-

¹ Осуществление этого условия предполагает закрепление всеобщего избирательного права, однако даже в странах Запада всеобщее избирательное право для мужчин появляется только в начале XX в. «К 1830-м годам всеобщее избирательное право для белых мужчин стало нормой в Америке. В то же время в Европе имущественный ценз оставался высоким. Акт о реформе 1832 г. (в Великобритании. — *Прим. авт.*) расширил границы английского электората с 2 до 4%; в Америке же на президентских выборах 1840 г. голосовало 16% населения. Во Франции высокий имущественный ценз существовал до 1848 г., когда было введено всеобщее избирательное право для мужчин — только для того, чтобы потерять всякий смысл с установлением Второй империи. В Германии всеобщее право голоса для мужчин было введено в 1871 г., но в Пруссии трехклассовая система голосования действовала до конца Первой мировой войны. В Нидерландах и Скандинавии всеобщее голосование мужчин стало фактом только в конце XIX и в первые десятилетия XX в.» (С. Хантингтон). Предоставление избирательных прав женщинам — это уже практика XX в., в Европе «последний бастион» на пути политического равенства полов пал в 2001 г. в Лихтенштейне, когда и здесь женщины получили избирательные права.

вающей группы и «недемократических правил игры». Когда в демократическом обществе граждане участвуют в выборах, они осуществляют свое право и обязанность решать, кто будет управлять от их имени. В авторитарном государстве, наоборот, акт голосования служит лишь для того, чтобы придать законность выбору, уже сделанному режимом. Выборы здесь не являются выражением политической воли граждан, а служат, по выражению *Дж. К. Скотта*, «публичной фиксацией... воли авторитарного режима, своеобразным символическим доминированием, реализуемым через демонстрацию и специально разыгрываемый спектакль». Многие авторитарные режимы в XX столетии научились использовать институт выборов в интересах сохранения своей власти. Такого рода проблемы актуальны и для «новых» демократий, существующих на постсоветском пространстве, и для посткоммунистических стран Центральной и Восточной Европы.

По мнению некоторых исследователей, регулярные выборы, являющиеся по существу «формой молчаливого торга «между властью и электоратом, не обеспечивают существования демократии как политической системы, так как, пусть и при смене правительства, они не создают условий для безусловного выполнения результатов «молчаливого торга»: электорат не может быть гарантирован от того, что новое правительство не будет продолжать политический курс предыдущего правительства. Эта особенность выборов фиксирует их слабость даже как демократической практики. Отсюда следует, что вряд ли целесообразно рассматривать выборы как «определяющий признак демократии» (*В. Сергеев*)¹. Еще А. де Токвиль писал:

«Для меня совершенно ясно, что те, кто рассматривает всеобщее избирательное право как гарантию хорошего выбора, сильно заблуждаются. У всеобщего избирательного права есть другие преимущества, но только не это».

««Политический рынок» демократии — это по существу рынок фьючерсов. Голоса обмениваются не на конкретные решения, а на обещания таковых. В подобной ситуации возможности для обмана очень велики, а трудности в создании гарантий для «политического контракта» практически непреодолимы в отсутствие мощных независимых организаций, способных оказать давление на власть. Но и сам факт создания таких организаций — политических партий, профсоюзов и т.д. — не спасает положения. Руководство этих организаций тоже выборное,

¹ Отсюда и принципиально иное определение демократии — «как институционализированной системы переговоров между социальными группами, обеспечивающей легитимность режима».

и в отсутствие неформальной демократической культуры может быстро превратить формальные демократические правила функционирования подобных организаций в фикцию (смотри «железный закон олигархии» Р. Михельса). Возникает классический парадокс — кто должен следить за гарантам демократического порядка?» (В. Сергеев) Однако это пока не самая распространенная точка зрения на роль выборов в функционировании демократической системы.

В конце 1990-х годов *К. Давиша* утверждал, что, посчитав свободные выборы главным критерием демократической трансформации в посткоммунистических странах, Запад наделил их той ролью, которую эти выборы никогда не играли при становлении демократии в самих западных странах. Признание свободных всеобщих выборов главным критерием демократии основано на убеждении, что такие выборы могут состояться только по достижении ряда предварительных условий, которые существовали на Западе, но отсутствовали в посткоммунистических странах; а именно: правовое государство, гражданское общество и демократическая политическая культура. Результат — «демократически избираемая и сменяемая авторитарная власть» (Г. Г. Дилигенский). Однако нельзя не согласиться с Т. Карозерсом, который пишет: «Возможно, есть основания полагать, что во многих странах демократия с трудом выживает даже при наличии выборов, но существовать без них она не может, ни в одной стране».

Как отмечает американский политолог *К. Боун*, «избирательная система, как минимум, включает в себя три аспекта: определение того, что представляет собой один голос (какие действия может предпринять избиратель), порядок суммирования голосов (т.е. в национальном масштабе или по округам различных видов) и правило переведения доли полученных голосов в распределение мандатов». Нейтральной и совершенной **избирательной системы** не существует. Впервые это было показано еще в XVIII в. французским ученым-просветителем Ж. А. Н. Кондорсе. Речь идет о знаменитом «парадоксе Кондорсе». Для понимания его сути рассмотрим простой пример. Пусть есть три избирателя и три кандидата (*X*, *Y*, *Z*). Каждый избиратель высказывает свое мнение о кандидатах в виде упорядочения предпочтений:

1-й избиратель	2-й избиратель	3-й избиратель
X	Z	Y
Y	X	Z
Z	Y	X

Коллективное решение также ищем в виде упорядочения предпочтений избирателей с использованием правила простого большинства. Так, если кандидат X лучше кандидата U для большинства избирателей (для двух), то таким же должно быть коллективное решение. Отметим, что X предпочтительнее U для двух избирателей (1-го и 2-го) и, тем самым, в коллективном упорядочении X должен быть предпочтительнее U . Однако, аналогично, U лучше Z для 1-го и 3-го избирателей, и в коллективном решении U должен быть предпочтительнее Z . Но заметим также, что Z лучше X для 2-го и 3-го избирателей, и окончательно получим, что в коллективном упорядочении предпочтений X должен быть лучше U , U лучше Z и Z лучше X . Таким образом, правило простого большинства при таких предпочтениях избирателей не работает и построить разумное коллективное решение не удастся.

Пытаясь избежать таких эффектов, ученые вплоть до середины XX в. анализировали и предлагали иные процедуры голосования, которые на проверку оказывались также несовершенными. Кеннет Эрроу в начале 1950-х годов в книге «Общественный выбор и индивидуальные ценности» исследовал задачу голосования совершенно иначе. Он не стал анализировать различные избирательные процедуры, а сформулировал условия, которым должна удовлетворять любая разумная процедура согласования различных, часто несовпадающих индивидуальных мнений. Приведем условия, которые рассматривал Эрроу, в упрощенной форме.

Условие 1. Число избирателей — не меньше 2, а число вариантов — не меньше 3.

Условие 2. Правило голосования «перерабатывает» упорядочение избирателей, причем в качестве индивидуальных допустимы любые упорядочения. Каждый избиратель строит собственное упорядочение независимо от мнения других избирателей. Коллективное решение также должно быть упорядочением.

Условие 3. «Независимость от посторонних вариантов». Оно заключается в следующем: при построении решения о том, считать ли X лучше U , исходят только из мнений избирателей о сравнительных преимуществах этих же альтернатив — X и U — и не учитывают мнений избирателей об относительной предпочтительности других возможных вариантов — X и W , U и V и тем более W и V .

Условие 4. «Условие единогласия»: если все избиратели единодушно считают, что X лучше U , то таким же должно быть и коллективное решение.

Все эти условия выглядят вполне разумными, но полученный результат получил наименование «парадокса Эрроу». Прежде чем его сфор-

мулировать, введем еще одно допущение. Предположим, что среди множества избирателей выделен один (например, 2-й) и коллективное решение будет всегда совпадать с мнением этого избирателя независимо от мнений остальных. Это допущение назовем «диктаторским правилом». Так вот, оказалось, что единственным правилом построения коллективного решения, удовлетворяющим четырем условиям Эрроу, является совершенно недемократическое «диктаторское правило», т.е. коллективное решение всегда должно совпадать с мнением одного из избирателей.

Парадокс Эрроу привел к появлению многих исследований, в которых ученые, модифицируя различным образом условия 1–4, пытались получить более интересные правила, чем «диктаторское». Рассмотрим лишь один частный случай, связанный с изменением условия 1. Предположим, что число вариантов равно двум. Например, этими вариантами могут быть: а) избрание кандидата на выборную должность и б) неизбрание кандидата или а) одобрить проект Конституции, б) отвергнуть его. Кроме того, предположим, что число избирателей нечетно. Тогда единственным правилом голосования, удовлетворяющим всем условиям Эрроу (при учете указанных ограничений), является правило простого большинства голосов.

Казалось бы, искомая «самая лучшая» процедура найдена. Но вспомним, что число кандидатов на выборную должность может быть и больше одного, кроме того, даже в случае одного кандидата, если он не набирает искомые 50% голосов, оставить должность вакантной нельзя, и надо предлагать другого/других кандидатов. Наконец, где гарантия, что кандидат, отвергнутый избирателями ранее, не окажется лучшим по сравнению с последующими?

Следовательно, парадокс Эрроу утверждает, что если предпочтения избирателей рациональны, т.е. каждый избиратель может упорядочить все варианты — от наиболее до наименее предпочтительного, коллективное решение, если оно не определяется «диктаторским правилом», может не быть рациональным.

Парадокс Эрроу важен еще по одной причине. Поскольку поиск «лучшего» решения может быть бессмысленным (его просто может не быть), то при построении политической системы мы не должны уповать на то, что кто-то предложит нам лучшее решение. Парадокс Эрроу подталкивает нас не искать лучшее при всех обстоятельствах решение, а понимать то, как различные процедуры в различных структурах демократического общества преобразуют различные индивидуальные мнения в коллективные решения (т.е. исследовать институциональные эффекты).

Таким образом, исход выборов определяется, с одной стороны, предпочтениями избирателей, с другой — избирательной процедурой¹ и способом подсчета голосов. Поэтому избирательные системы могут быть представлены как способы конвертации голосов избирателей в места в выборных структурах власти. По той же причине ключевыми в теории избирательных систем являются вопросы: а) об учете голосов и б) распределении мест.

Кроме того, «по сравнению с другими элементами политической системы электоральными правилами легче манипулировать в политических целях», — отмечают Р. Таагепера и М. С. Шугарт. Такого рода манипулирование возможно не только в результате прямой подтасовки результатов выборов, введения ограничений на выдвижение кандидатов и предвыборную агитацию, нарушения тайны голосования и правила «один человек — один голос», неравной нарезки округов и махинаций с определением их границ (так называемый «джерримандеринг»²), но и путем выбора той или иной избирательной модели. Избирательная система, несомненно, является ключевым элементом конституционного строительства, поскольку, как уже отмечено, имеет прямое отношение к распределению властных полномочий. Поэтому «правлящие элиты определяют институциональный дизайн (в том числе выбирают избирательную систему), руководствуясь отнюдь не стремлением оптимизировать функционирование демократии. Как и любой субъект политического процесса, они преследуют собственные интересы по поводу максимизации власти», — резонно отмечает Г. Голосов. Однако манипулирование при голосовании возможно не только со стороны организаторов выборов, но и со стороны избирателей, позднее мы будем рассматривать феномен так называемого стратегического голосования, когда избиратель учитывает не только свои, но и чужие предпочтения и голосует не за самого предпочтительного кандидата, а за того, кто, по его мнению, способен победить.

¹ *Избирательная процедура* — это мероприятия государства по организации и проведению выборов, «избирательная система в действии» — это уже предусмотренный законом/традицией способ голосования избирателей.

² Так, в США в рамках мультикультуралистской «политики различия» в ряде штатов сегодня реализуется практика так называемого «аффирмативного джерримандеринга», т.е. границы избирательных округов проводятся таким образом, чтобы число округов, в которых этнические или расовые меньшинства составляют большинство, было максимальным. В результате выросло число афро-американцев и испано-американцев в депутатском корпусе (в настоящее время даже в южных штатах по крайней мере 10 депутатов являются представителями афро-американской расы), однако одновременно выросло и недовольство политически дискриминируемого большинства белых избирателей.

Возможность манипулирования при голосовании представляется, на первый взгляд, нежелательной, однако уже доказано, что любая процедура голосования является либо манипулируемой, либо диктаторской, третьего не дано.

Помимо вышеназванных способов, организаторы голосования могут манипулировать и путем предложения к рассмотрению новых альтернатив, и путем изменения формы представления рассматриваемых вариантов, а также меняя формулировку вопроса, выносимого на голосование. Но эти способы манипулирования касаются скорее парламентских голосований и референдумов. Еще одна возможность манипулирования состоит в рассмотрении тех же альтернатив, но предложенных в иной форме. Предположим, что в стране есть всего две партии — демократов (Д) и республиканцев (Р), а на выборах, как в США, раз в четыре года «в первый вторник после первого понедельника ноября» избирается президент, одна треть сената и депутаты нижней палаты Конгресса. Предположим, что в выборах участвует всего 13 избирателей. Далее, обозначим через ДДР комбинацию, в которой избиратель голосует за президента-демократа (первая буква в комбинации), сенатора-демократа (второе место слева) и депутата-республиканца. Аналогично расшифровываются все другие возможные комбинации. Рассмотрим следующие предположительные результаты голосования.

Комбинация	Число голосов	Комбинация	Число голосов
ДДД	3	ДРР	1
ДДР	1	РДР	3
ДРД	1	РРД	3
РДД	0	РРР	1

Для подведения итогов голосования используем правило простого большинства. Тогда демократ-кандидат в президенты набирает 6 голосов, а республиканец — 7 голосов, и президентом станет республиканец. Демократ-кандидат в сенаторы набирает 7 из 13 голосов, так же как и демократ-кандидат в депутаты. В результате выбранная комбинация — это РДД, т.е. комбинация, за которую никто из избирателей вообще не голосовал. Иначе говоря, если бы в этой ситуации голосование шло за «пакет» альтернатив, то список РДД с гарантией оказался бы невыбранным. Известны случаи, когда этим приемом манипулирования пользуются: так, могут предложить голосовать за список (законопроектов или кандидатов в члены комитета) «в целом», иногда, наоборот, за альтернативы из списка порознь.

Манипулирования со стороны избирателей, которое, к слову сказать, имеет наименее негативные последствия, можно избежать. Так, если процедура голосования достаточно сложна или если предпочтения других избирателей неизвестны, то избиратель может и не знать, как манипулирование с его стороны может отразиться на результате с учетом того, что и другие избиратели могут манипулировать мнениями. Тогда он может отказаться от манипулирования.

В то же время проблема обнаружения манипулирования со стороны участника голосования представляется весьма трудной задачей, поскольку, даже зная предпочтение, объявленное индивидуумом, трудно сделать вывод о том, является ли это предпочтение истинным (особенно интересна в этом смысле практика проведения «*exit-pool*» в России и странах СНГ).

Однако запрещение публикации результатов опросов общественного мнения накануне выборов может привести к тому, что выбор избирателей будет не адекватен их истинным предпочтениям.

Приведем следующий пример. Пусть избиратели поделены на группы А, Б, В и Г численностью соответственно 100, 60, 50 и 40 избирателей, и пусть в выборах участвуют четыре кандидата — И, П, С и М. Получено следующее упорядочивание предпочтений избирателей:

Группа А (100 избирателей)	Группа Б (60 избирателей)	Группа В (50 избирателей)	Группа Г (40 избирателей)
И	М	С	П
М	П	М	М
П	С	П	С
С	И	И	И

Если по результатам опроса общественного мнения установлено, что кандидаты И и М имеют наибольшую поддержку, то избиратели из группы Г, чей наиболее предпочтительный кандидат согласно опросу не имеет шансов быть избранным, могут во время голосования проголосовать за М (своего второго по предпочтительности кандидата). Тогда при использовании процедуры «относительного большинства» М будет избран 110 голосами, а И наберет 100 голосов. Заметим, что М является вторым по предпочтительности для 190 избирателей. То есть использование избирателями манипулирования дает наилучший из возможных результатов.

Возможна ситуация, когда избиратели голосуют за кандидата-экстремиста только в знак протеста против политики существующего пра-

вительства. И очень многие избиратели потом могут с удивлением обнаружить, что этот кандидат набрал большинство голосов, поскольку и другие избиратели голосовали за него в знак протеста. (В. Жириновский в 1993 г.). Поэтому публикация опросов общественного мнения позволяет избирателю сориентироваться в предпочтениях других избирателей и тем самым помогает становлению устойчивой структуры партий, корректно отражающих интересы всех групп и слоев населения.

Однако с помощью «заказных» опросов общественного мнения (так называемых рейтингов популярности) организаторы выборов также могут манипулировать предпочтениями избирателей (особенно в России).

§ 2. Сравнение мажоритарной и пропорциональной систем

Избирательные системы отличаются друг от друга по многим параметрам. Реально существует столько их модификаций, сколько имеется государств, использующих в политических целях процедуру выборов. Однако базовых систем две — это **мажоритарная** (плюральная) и **пропорциональная** (голосование по партийным спискам). Совершенных избирательных систем, как известно, не существует, у каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Как писал «ветеран» французской политики Мишель Рокар: «Мажоритарная система слишком груба, пропорциональная — слишком опасна».

Мажоритарная модель впервые была введена в Англии в 1429 г. для выборов депутатов палаты общин. При мажоритарной (плюральной) системе от каждого избирательного округа избирается один депутат. Победителем на выборах считается кандидат, набравший наибольшее число голосов. Когда имеется более двух кандидатов по одномандатному округу, один из них может набрать менее 50% голосов (т.е. относительное большинство голосов) и тем не менее добиться победы. Данная система чаще используется для выборов главы государства (США, Исландия, Венесуэла, Колумбия и др.), реже — при выборах нижней палаты парламента (Великобритания, Канада, США, Япония, Индия). Половина мест в Государственной думе РФ (225) ранее также замещалась по данной формуле голосования.

Как правило, голосование по мажоритарной модели происходит в одномандатных округах, однако возможно использование и многомандатных округов, в этом случае избиратель имеет столько голосов, сколько депутатов избирается от данного округа (выборы местного самоуправления в Великобритании). Систему голосования с одним непередавае-

мым голосом имеет Япония, где при голосовании в многомандатных округах избиратель имеет только один непередаваемый голос. Мандаты в этом случае получают: кандидат, набравший наибольшее число голосов, далее следующий за ним по числу голосов и т.д., такая система выявления победителей используется также на Тайване и в Чили. Согласно коалиционному соглашению, заключенному британскими консерваторами и либерал-демократами, в 2011 г. в стране пройдет общенациональный референдум по реформе избирательной модели, при этом предполагается переход к системе «единого непередаваемого голоса».

Еще один возможный вариант — так называемое «кумулятивное» голосование, когда избиратель получает несколько голосов и распределяет их между кандидатами по собственному усмотрению (он может, в частности, «отдать» все свои голоса одному наиболее предпочтительному для него кандидату). Эта система применялась пока только для выборов палаты представителей американского штата Орегон.

Разновидностью этой модели является модель простого (абсолютного) большинства — каждый избиратель указывает на одного наиболее предпочтительного кандидата, затем подсчитываются голоса и побеждает тот, кто набрал более 50% голосов¹. Естественно, если кандидатов больше двух, то победителя может и не быть, что и предопределило использование других правил голосования, хотя, как мы помним, правило простого большинства удовлетворяет всем условиям Эрроу при числе альтернатив, равном двум.

Таковыми правилами являются мажоритарная модель голосования в два тура или двухступенчатое правило простого большинства (Франция, Португалия и РФ — выборы президента и др.). В этом случае если ни один из кандидатов не набирает в первом туре абсолютного числа голосов (50% + 1 голос), назначается второй тур, в котором избиратели делают выбор между двумя и более кандидатами, набравшими наибольшее число голосов в первом туре². Победитель определяется по абсо-

¹ Иногда в практике парламентских голосований используется модификация этого правила — так называемое правило квалифицированного большинства голосов, например 2/3, 2/5 и др. Особым и редким случаем является правило «единогласия», когда для того, чтобы решение было принято, необходимо, чтобы за него проголосовали все участники голосования.

² Если быть абсолютно точным, то сегодня избрание в Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции) происходит голосованием **в двух турах по мажоритарной избирательной системе относительного большинства**. Чтобы быть избранным в первом туре, кандидат должен получить абсолютное большинство действительных голосов; это большинство должно быть по крайней мере не менее четвертой части избирателей, внесенных в список в округе. Если в первом туре ни один из кандидатов

лютному или простому большинству голосов. Несомненное достоинство этой системы лежит на поверхности, оно — в простоте и понятности процедуры определения результатов голосования, и при этом избранный депутат формально представляет абсолютное большинство избирателей. В то же время применение такой избирательной модели значительно увеличивает затраты на проведение выборов как со стороны государства, так и со стороны кандидатов.

Правда, *М. Доган и Д. Пеласси* считают, что предварительные выборы (праймериз) в США выполняют ту же функцию, что и первый тур голосования в избирательной системе Франции. Аналогичным образом практику опросов общественного мнения в том виде, в каком она осуществляется в Великобритании, по их мнению, можно было бы рассматривать как функциональный эквивалент этого первого тура голосования. Они особо подчеркивают, что если пренебречь рассмотрением этих функциональных эквивалентностей, «можно не получить представления не только о том, как формируются позиции избирателей, но и о том, как осуществляется выбор политических лидеров в разных странах».

Сравнительные исследования моделей голосования, осуществленные Р. Таагеперой и М. С. Шугартом, позволили сделать вывод о том, что «цель системы, при которой к участию во втором туре допускаются двое и более кандидатов, состоит в поощрении сделок между партиями в промежутке между двумя турами».

Так, промежуток между первым и вторым турами голосования действительно используется французскими партиями для активного «торга» — какому из оставшихся кандидатов передать голоса тех, кто не прошел в первом туре. В итоге переговоров проигравшие в первом туре

не набрал абсолютного большинства поданных голосов, то через неделю проводится второй тур, в который допускаются кандидаты, набравшие в первом туре 12,5% голосов от числа избирателей, включенных в списки. Поэтому во втором туре могут участвовать не двое, а сколько угодно кандидатов (теоретически до восьми), преодолевших этот установленный законом барьер, и для избрания во втором туре достаточно получить относительное большинство голосов. Однако на практике с начала 1960-х и до начала 1990-х годов на участие во втором туре в большинстве округов могли претендовать лишь по двое кандидатов — от правительственного большинства и от оппозиции, поэтому во втором туре один из них получал абсолютное большинство голосов. Двухступенчатое правило относительного большинства используется также на президентских выборах в Португалии, Перу и Чили. В Коста-Рике применяется то же правило с одним отличием — победитель должен набрать в первом туре 40% голосов, если такого победителя нет, то используется второй тур, для победы в котором достаточно и относительного большинства голосов.

партии призывают своих сторонников отдать голоса одному из победителей первого тура. Эти «торги» зачастую приводят к заключению соглашений о взаимной поддержке кандидатур, когда партии договариваются поддерживать кандидата партии-союзницы в том округе, где он имеет наибольшие шансы. Зачастую такие соглашения заключаются еще до выборов, партии-партнеры договариваются, по каким избирательным округам они будут выдвигать своих кандидатов, чтобы не допустить распыления голосов потенциальных сторонников. В таких соглашениях закладываются основы парламентских коалиций, что рассматривается как одно из важнейших преимуществ данной системы.

Так, несмотря на несогласие по многим экономическим и социальным вопросам, Французская социалистическая партия (ФСП) и Французская коммунистическая партия (ФКП) накануне парламентских выборов 1997 г. выступили с совместной декларацией, провозгласившей стремление левых сил к единому фронту. ФСП заключила также предвыборные соглашения с левыми радикалами и экологами, произведя в некоторых округах взаимное снятие конкурирующих кандидатур. В 63 округах не выставила своих кандидатов ФСП, в 60 — радикалы и экологи.

И наоборот, неудача правых в решении этой задачи привела к тому, что помимо шести официально разрешенных «дуэлей» между представителями правых партий и независимыми правыми кандидатами было зарегистрировано 40 неофициально соперничающих пар или даже троек кандидатов. Это и стало одной из причин их поражения на выборах.

Кроме того, как отмечал еще М. Дюверже, «по общему правилу второй тур выгоден центру и невыгоден флангам: т.е. представительство первого завышено, а вторых занижено». Действительно, во Франции основные бонусы получают системные партии центра, такие как Объединение в поддержку республики (ОПР)/Союз за французскую демократию (СФД) и социалисты. Так, на парламентских выборах правопоцентристская коалиция ОПР/СФД завоевала 39% голосов избирателей, однако получила 82% мест в Национальном собрании, в 2002 г. шираковский Союз в поддержку народного движения (ЮМП) получил соответственно 33,7% голосов и 63,21% депутатских мандатов. В конечном итоге мажоритарная избирательная система в два тура обеспечивала завышенное представительство победившей на выборах коалиции партий, а внутри этой коалиции — партии, получившей больше голосов, чем ее партнеры.

Таким образом, нетрудно заметить, что даже эта избирательная модель не обеспечивает адекватного отражения политических предпочте-

ний избирателей. Кроме того, ко второму туру «за бортом» оказываются кандидаты, пользующиеся иногда поддержкой значительной части электората. Перегруппировка сил между двумя турами несомненно вносит свои коррективы, но для многих избирателей второй тур голосования превращается в выбор «наименьшего из двух зол», а не поддержки кандидатов, действительно представляющих их политические позиции.

Политологи-компаративисты отмечают, что хотя такого рода диспропорциональность не вполне справедлива, но такова «цена», которую приходится платить за изоляцию крайних экстремистских партий. Именно благодаря этой системе Национальный фронт Ле Пена, получив на парламентских выборах в 1993 и 2002 гг. соответственно 12,4 и 11,3% голосов, не сумел завоевать ни одного депутатского мандата. Способность французской избирательной системы «штрафовать» антисистемные партии, закрывая им путь к получению мандатов, является, по мнению Дж. Сартори, одним из основных ее достоинств.

Однако любое достоинство, как правило, оборачивается недостатком, в частности, это достаточно высокий (для Западной Европы) уровень абсентеизма во Франции. Так, в 1997 г. 32,4% избирателей на выборы не явились. Парламентские выборы в 2002 г. установили новый рекорд неявки избирателей: около 35% из них не пришли на избирательные участки, что превратило данный сегмент электората в самый крупный политический блок. Особенно высок уровень абсентеизма (как и в России) среди молодежи от 18 до 24 лет — 58% и от 25 до 34 лет — 54%. Не пришли на избирательные участки 53% студентов университетов, 54% безработных. Кроме того, данная система голосования в отличие от системы относительного большинства приводит к увеличению числа конкурирующих кандидатов.

Модификацией этой модели голосования является правило, по которому при отсутствии победителя по простому большинству голосов решение принимается другим сообществом выборщиков, такой подход использовался на президентских выборах в Чили до 1972 г., в Эстонии, когда в случае отсутствия победителя по простому большинству на всеобщих выборах окончательное решение принимал парламент простым большинством голосов.

Система пропорционального представительства предполагает распределение мест в парламенте в соответствии с количеством (процентной пропорцией) голосов, полученных на выборах по партийным спискам в едином общенациональном избирательном округе (Нидерланды) или в нескольких многомандатных региональных округах. Так, выборы Европейского парламента проводятся по пропорциональной системе в регио-

нальных многомандатных округах (но не более 9 мандатов от округа). В Скандинавских странах (за исключением Норвегии), в Греции и Польше выборы по пропорциональной модели проводятся не только по региональным избирательным округам, но и по «национальному округу».

Данная система применяется при выборах парламентов: вся континентальная Западная Европа, за исключением Франции, половина (а с 2007 г. весь состав) депутатов Государственной думы и др. В 18 из 27 государств Центральной и Восточной Европы в ходе демократических трансформаций также было отдано предпочтение пропорциональному принципу голосования. Пропорциональная модель впервые была применена в нескольких швейцарских кантонах в 1891–1893 гг., затем она появилась в Бельгии (1893 г.), Финляндии (1906 г.) и Швеции (1908 г.). В массовом порядке она была введена в западноевропейских странах в 20-е годы XX в. усилиями социал-демократов.

Распределение мест происходит с использованием либо метода делятелей, либо метода избирательных квот (см. Приложение).

Наиболее яркое сопоставление основных систем голосования осуществил французский политолог Морис Дюверже. Согласно так называемому «закону Дюверже» мажоритарная система в один тур (система относительного большинства) способствует становлению дуалистической системы с чередованием независимых и стабильных партий у власти. Дюверже приводит две причины, определяющие взаимосвязь между законом о мажоритарных выборах, тактикой предвыборной борьбы двух крупных партий и психологической мотивацией избирателей:

1. От каждого одномандатного округа место в парламенте способна получить лишь крупная общенациональная партия, малые партии практически не имеют шансов на победу. В результате мажоритарная избирательная система обеспечивает крупным партиям больше мест в парламенте, что не соответствует доле полученных ими голосов, поскольку голоса, поданные за кандидатов проигравших партий, «пропадают».

2. Избиратели, стремящиеся реально повлиять на исход выборов, будут учитывать не только свои предпочтения, но и предпочтения других избирателей и потому будут голосовать за партию/кандидата, способных одержать победу в округе (так называемое «полезное», или «стратегическое», голосование). Они вряд ли отдадут голоса за малую партию или независимого кандидата, даже если симпатизируют им. Таким образом, количество мест, полученных малыми партиями, не соответствует поданным за них бюллетеням на выборах, а число этих голосов не отражает реальных предпочтений электората. Это можно проиллюстрировать примером. В 1980 г. на выборах президента США Рональд Рейган

получил 51% голосов, Джимми Картер — 41% и независимый кандидат Джон Андерсон — 7%. Анализируя различные данные, американские политологи С. Брамс и П. Фишборн показали, что если бы те же самые избиратели высказали свои истинные предпочтения, то распределение голосов было бы следующим: за Рейгана — 40%, за Картера — 35% и за Андерсона — 24%. Таким образом, более 70% тех, кто симпатизировал Андерсону, изменили свое исходное предпочтение и отдали голоса за Рейгана или Картера.

Следует добавить, что феномен «полезного голосования» и селективная мотивация электората могут возникать и при использовании других избирательных моделей, скажем, в условиях существования партийной системы с доминирующей партией. Так, в России в декабре 2003 г. 38% респондентов (самая большая доля из поддерживающих «Единую Россию») отметили, что намерены отдать голос за партию потому, что ее поддерживает В. В. Путин; 20% собирались голосовать за нее потому, что «это самая сильная партия, ее поддерживает большинство» (от 0 до 5% среди сторонников других партий). В то же время мотив «Я разделяю программу и лозунги партии» был отмечен лишь 25% респондентов (среди других заметных партий РФ — от 30 до 52%).

Дюверже утверждал также, что мажоритарные выборы в два тура приводят к объединению нескольких гибких, независимых партий в две относительно устойчивые политические коалиции. Практика Пятой республики в целом подтверждала устойчивость этой связи. Влияние мажоритарной системы на поведение французских избирателей проявлялось в том, что они в первом туре голосовали за определенную партию, а во втором поддерживали одну из двух избирательных коалиций.

Наконец, пропорциональное представительство, по Дюверже, благоприятствует многопартийности и не создает стимулов к формированию предвыборных коалиций, в результате формируется партийная система, включающая множество негибких, независимых и относительно стабильных партий.

В свою очередь сложившиеся партийные системы влияют на выбор и закрепление избирательного режима. Так, двухпартийность способствует закреплению мажоритарной избирательной модели с голосованием в один тур. Существование множества партий, не склонных к союзам, предполагает борьбу за пропорциональную систему, обеспечивающую им представительство в парламенте. Наличие множества партий, склонных к союзам, противоречит пропорциональности.

Однако взаимосвязь между избирательной моделью и партийной системой не абсолютна, из правила есть и исключения. Есть примеры

«выживания» малых партий и при мажоритарном голосовании. Как правило, это относится к сильным региональным партиям, которые пользуются устойчивой поддержкой избирателей только в некоторых округах. Так, «Квебекская партия» в Канаде регулярно добивается победы в округах, расположенных на территории этой франкоязычной провинции. Электоральная стратегия, направленная на артикуляцию локальных интересов, позволяет подобным партиям успешно преодолевать в «своих» округах эффект «полезного голосования». Основываясь на этом опыте, Д. Ре уточняет вывод Дюверже. Он пишет: «Формула большинства всегда ассоциируется с двухпартийным соревнованием, кроме случая, когда существуют сильные локальные малые партии». В Австрии в течение почти всего послевоенного периода сохранялась двухпартийная система (ныне разрушенная праворадикальной «Австрийской партией свободы»), несмотря на пропорциональную систему представительства, что объясняется стремлением политических элит страны к сотрудничеству и формированию правительств «большой коалиции». Еще один пример: современная Франция, где в 1990-е годы «двухблоковость» партийной системы постепенно размывается. Общеευропейские тенденции к ослаблению идеологической связи партий и избирателей, росту недоверия к традиционным партиям и увеличению мобильности электората, возрастанию политической роли малых «периферийных» партий и т.д. здесь проявились, в частности, в том, что от выборов к выборам стало увеличиваться число «треугольников» и даже «четырёхугольников», возникающих во втором туре. Иногда кандидатам от правительственного большинства и основной оппозиционной партии не удается даже пробиться во второй тур. Если в 1986 г. основные партии Франции (ФСП, ОПР, СФД) набрали 84,5% голосов, периферийные (ФКП, НФ, экологи и др.) — 15,1%, то в 1993 г. основные партии поддержали 68,1% французов, а периферийные — 31,9%, в 1997 г. за основные партии проголосовали уже только 66,9%, в то время как за периферийные — 33,1%.

Президентские выборы 2007 г., похоже, окончательно разрушили французскую двухблоковую партийную систему. Во-первых, хотя в выборной гонке за президентское место участвовали более десятка кандидатов, тем не менее за две недели до выборов 42% французских избирателей не определились, за кого будут голосовать в первом туре, — это самый высокий показатель в истории страны, при этом 20% граждан заявили, что они не видят ни одного кандидата, который отвечал бы их ожиданиям. Во-вторых, в соревновании за голоса избирателей практически на равных конкурировали Николя Саркози (26% голосов в пер-

вом туре голосования), представлявший созданный в 2002 г. Ж. Шираком «Союз в поддержку народного движения», который должен был стать единственной правой партией страны и куда перешли многие члены «Союза за французскую демократию»; Сиголен Руаяль (23,5%), кандидат от Социалистической партии; «центрист» Франсуа Байру (21%), лидер выжившего «Союза за французскую демократию», и неугомонный вождь крайне правого Национального фронта Жан-Мари Ле Пен (16%).

Тем не менее «законы Дюверже» дают возможность увидеть вероятные следствия этой взаимосвязи.

В то же время, по мнению Ст. Роккана, мажоритарная система возможна лишь при незначительных конфликтах в государстве или же там, где властные элиты умело аккумулируют различные интересы. Чем глубже расколы в стране, тем сильнее требование оппозиционных сил по установлению пропорциональной системы. Не случайно в большинстве стран, где впервые было введено голосование по партийным спискам, существовало серьезное этнолингвистическое или конфессиональное противостояние (конфессионально и лингвистически смешанная Швейцария, наличие этно-лингвистического конфликта в Бельгии, наличие этнического меньшинства (Шлезвиг) в Дании и др.).

Выводы Дюверже получили подтверждение и развитие в работе *Р. Таагенеры и М. Шугарта* «Места и голоса: эффекты и детерминанты электоральных систем» (1989 г.). Их исследование показало, что пропорциональное представительство с высокой величиной округа ($M > 5$) способствует росту фрагментации партийной системы, тогда как мажоритарная система голосования с низкой величиной округа ($M < 5$) ведет к ее сокращению. В то же время сравнительные исследования показали, что мажоритарная система не только ограничивает число представленных в парламенте партий, но и сокращает влияние экстремистских правых и левых сил, усиливая роль центристских группировок.

В дальнейшем сравнительное изучение политических партий позволило американскому политологу Р. Кацу выявить, в частности, корреляцию между размерами округов и избирательной системой, с одной стороны, и образом действий политических партий — с другой. Так, он утверждает, что:

- пропорциональное представительство способствует более экстремистским позициям партий по политическим проблемам;
- партии, конкурирующие между собой в малых округах, будут по преимуществу ориентироваться на персональных лидеров и патронаж, тогда как партии, конкурирующие в больших избирательных округах, будут склонны к проблемной ориентации;

- в условиях пропорциональной системы с большими избирательными округами партии будут более идеологизированными, чем в условиях системы относительного большинства, и т.д.

Выдвинутые им гипотезы (всего 12) Р. Кац подверг проверке двумя способами: экстенсивным — путем привлечения кросснациональных данных и интенсивным, включавшим детальный анализ поведения партий Великобритании, Ирландии и Италии. В обоих случаях гипотезы выдержали проверку.

Действительно, даже беглое сравнение функционирования партийных систем Четвертой и Пятой республик во Франции подтверждает одну из этих корреляций. Четвертую республику, где, в частности, применялась пропорциональная модель выборов, нередко приводят в качестве характерного примера нестабильной, неэффективной «центробежной демократии» (А. Лейпхарт). Причем сильно раздробленная и поляризованная партийная система называется одной из главных причин ее хронической нестабильности. В Пятой же республике в 1980-е годы сложился консенсус по основным проблемам общественного развития, который не устранил, конечно, противоречия и конфликты между основными политическими силами Франции, но сделал их менее идеологизированными, поскольку сблизились ценностные установки. На первый план в партийной борьбе вышли практические вопросы (иммиграция, безработица, защита окружающей среды и т.д.). Значительно уменьшилась амплитуда колебаний политического курса в результате смены правительств и др.

Однако нельзя забывать, что праворадикальный Национальный фронт — уже вторая по численности (более 100 тыс. членов) и третья по электоральной поддержке партия современной Франции, и нельзя предсказать, как долго будет действовать «республиканская дисциплина» — отказ всех политических сил вступать в союзы с крайне правыми. По крайней мере в голлистском ОПР после поражения 1997 г. все громче звучали призывы «перестать дьяволизировать Национальный фронт», перенять ряд его требований, чтобы вернуть ушедших к Ле Пену избирателей... Более того, призывы к прямому союзу с Фронтом сегодня уже не табу для традиционных правых.

Обычно дискуссии между сторонниками той или другой избирательной системы сводятся к проблеме, что предпочтительнее в качестве результата применения этих моделей: сильное, стабильное правительство и «персонифицированное» представительство местных интересов или более представительное правительство и представительство реальных

«посредствующих структур» (партий), в том числе меньшинств? По мнению американских политологов,

«в системах с одномандатными избирательными округами у кандидатов есть районы, которые они могут называть своими. Эти системы в большей степени, чем иные, предоставляют возможности и создают мотивации для более персонифицированных, личностных, специфических отношений между представляемыми и их представителями. Такие отношения чаще всего основываются на непартийной, неидеологизированной, непрагматической «службе своему округу» — различной деятельности представителей в интересах отдельных лиц, групп и организаций избирательного округа».

За простым тезисом о том, что депутаты представляют в парламенте свой избирательный округ, скрывается достаточно сложный феномен, поскольку фактически округ для каждого депутата представляет не некую целостность, но набор своеобразных концентрических кругов. Самый широкий из них — включает все население, проживающее в границах округа. Более узкий и важный для депутата круг составляют люди, оказывающие депутату или кандидату в депутаты наиболее устойчивую поддержку, — это так называемый первичный округ. Наконец, самый узкий круг — политические консультанты и доверенные лица депутата или кандидата в депутаты — персональный округ. Любой политик, участвующий в выборах, имеет сильную мотивацию к максимальному расширению своего первичного округа, что и заставляет его в большей или меньшей степени прибегать к практике «службы своему округу».

Таким образом, система голосования в одномандатных округах в большей мере, чем иные, создает условия для возникновения более персонифицированных, личностных и тесных отношений между представляемыми и их представителями. В их основе лежит относительно непартийная, неидеологизированная работа депутата в своем избирательном округе — «служба округу», что препятствует в свою очередь становлению сильных, дисциплинированных, общенациональных партий.

Однако, в отличие от Соединенных Штатов, политическая практика Франции и некоторых других западноевропейских стран не подтверждает однозначно эту зависимость. Так, одной из причин поражения правых партий на выборах 1997 г. французские исследователи в частности называют просчет относительно «персонального вотума»¹ действовавших кандидатов от правых партий на местах. Во время голосования решающим фактором для 67% французов стала программа партии на

¹ «Персональный вотум» относится к той части предвыборной поддержки кандидата, которая базируется на его личностных качествах, квалификации, деятельности и достижениях», — отмечают американские исследователи.

национальном уровне и только для 22% — личность и заслуги кандидата. В то же время 43% избирателей было ничего не известно или они редко слышали о депутате их избирательного округа. Поэтому те же авторы писали далее:

«Та же часть вотума, которая не является персональной, включает в себя поддержку кандидата, основанную на его партийной принадлежности; таких устойчивых характеристиках избирателей, как класс, религия, этническая принадлежность; реакции на такие национальные условия, как состояние экономики, а также на оценке деятельности лидера правящей партии. Эти не персональные факторы являлись причиной подавляющего большинства изменений результатов выборов, особенно за пределами США».

Сторонники мажоритарной системы голосования указывают также на опасность чрезмерного дробления партийной системы, следствием чего является нестабильность, присущая коалиционным правительствам.

Однако система относительного большинства несправедлива, поскольку значительная часть избирателей страны (иногда более 50%) остается не представленной в органах власти. Иначе говоря, система относительного большинства может привести к выбору кандидата, против которого возражает, вообще говоря, большинство избирателей. Кроме того, она лишает представительства на общенациональном уровне и меньшинства (этнические, религиозные и др.), если те не составляют большинства населения в каком-либо избирательном округе. Наоборот, при пропорциональном представительстве даже малые партии могут оказывать заметное политическое влияние, если они входят в состав коалиционного парламентского большинства. То есть они имеют возможность войти в правительство, что важно для мультиэтнических обществ, где есть опасность сепаратизма. Считается, что пропорциональная система обеспечивает систему обратной связи между государством и структурами гражданского общества, что способствует развитию политического плюрализма и многопартийности.

Помимо указанных, основные избирательные модели имеют еще целый ряд недостатков.

Недостатки мажоритарной системы:

- партия, получившая на выборах меньше голосов, чем ее соперники, может получить в парламенте большинство депутатских мест;
- две партии, набравшие одинаковое (или близкое) количество голосов, проводят в органы власти неодинаковое число кандидатов (не исключена гипотетическая ситуация, при которой партия, набравшая больше голосов, чем ее ближайший соперник, не получает тем не менее ни одного мандата);

- в мажоритарных системах наиболее трудным решением для избирателя является решение об участии в голосовании.

«Это приводит к парадоксу избирательной системы — зачем вообще голосовать, если ожидаемая польза от участия отдельного индивида очень мала или даже вовсе отсутствует, если учитывать затраченные усилия? Эти затраты очевидны, между тем польза от избираемого правительства сомнительна, так что маловероятно, что голос данного гражданина будет иметь решающее значение» (Ф. У. Панни).

Кроме того,

«американская система ППВ (“победитель получает все”. — *Прим. авт.*) может ущемлять права весьма значительного национального меньшинства афроамериканцев, нарушая честное представительство в законодательных органах штатов и в конгрессе, — отмечает Р. Даль. — Для того чтобы афроамериканские избиратели могли послать хотя бы несколько своих представителей в легислатуры штатов и в палату представителей, законодательные органы и суды иногда сознательно “нарезают” избирательные округа с таким расчетом, чтобы создать такую зону, где афроамериканцы оказались бы в большинстве. Очертания такого округа порой не имеют никакого отношения к географии, экономике или истории».

Таким образом, мажоритарная система ведет к абсентеизму, значительному искажению предпочтений электората, регулярному переизбранию инкубентов (кандидатов, уже занимающих эту выборную позицию), недопредставленности меньшинств, препятствует партийному строительству и создает наибольшие возможности для манипулирования этими предпочтениями. Так, после выборов 1997 г. пресса и специалисты заговорили о так называемом «французском парадоксе». В электорате в целом левые снова оказались в меньшинстве, более того, их избирательная база даже сузилась, а победа одержана за счет особенностей мажоритарной избирательной системы¹. В доказательство политологи продемонстрировали, как выглядело бы Национальное собрание при том же распределении голосов, будь система пропорциональной: левые — 256 мест, правые — 299. Разница образовалась «...за счет

¹ Правда, Д. Рэ в книге «Политические следствия избирательных систем» еще в конце 1960-х утверждал, что оба основных типа избирательной системы содержат в себе тенденцию к образованию «искусственного большинства»: на деле большинство в законодательном собрании чаще всего является следствием избирательной системы, а не волеизъявления избирателей (Р. Таагепера, М. С. Шугарт). Однако «бонус», получаемый победителями в условиях мажоритарной системы, явно больше, чем при использовании «чисто» пропорциональной. Представление о том, что мажоритарная система «...при многопартийной системе и обилии кандидатов... существенно искажает волю избирателей», уже прочно вошло даже в учебники.

Национального фронта, получившего лишь один мандат и имевшего бы пропорционально числу собранных голосов 77 депутатских мандатов». Кандидаты НФ вышли во второй тур в 133 избирательных округах (в 101 округе на выборах в 1993 г.), а по количеству собранных голосов (15,01%) он стал третьей партией Франции, опередив не только ФКП, но и СФД. Но против Фронта еще раз достаточно исправно сработала «республиканская дисциплина». Таким образом, можно заключить, что мажоритарная система служит (по крайней мере во Франции) достаточно надежным заслоном против политического экстремизма, однако искажает реальные предпочтения избирателей, так как опять воспроизводится ситуация выбора из двух зол».

Однако и Национальный фронт «наказал» прежде всего своих соседей по политическому спектру (ОПР–СФД). Перед вторым туром НФ не снял ни одного кандидата, а лидер фронта Ле Пен выдвинул лозунг «дайте уйти уходящим» и призвал своих сторонников не голосовать за правых кандидатов. Несмотря на то что большинство поддержавших НФ в первом туре (50%) во втором все-таки проголосовали за правых кандидатов, рекордное число избирателей НФ (30%) отдали свои голоса левым. Из 76 округов во втором туре образовались «треугольники» и «четырёхугольники», в 69 действовавший депутат принадлежал к традиционным правым. Правые кандидаты во многих округах набрали больше всех голосов в первом туре, однако они были переизбраны только в 29 округах, т.е. 40 округов перешло к левым.

Недостатки пропорциональной системы: 336

- непосредственная связь между депутатами и избирателями очень слаба, поскольку голосование осуществляется не за конкретных кандидатов, а за «партийные списки» (особенно при голосовании по общенациональным округам);
- высокая степень зависимости депутата от «своей» партии и независимость от избирателей, такая несвобода может негативно отразиться на процессе обсуждения и принятия важных законопроектов в парламенте;
- для многопартийной системы, сформировавшейся в результате применения пропорциональной модели голосования, экспрессивные соображения более характерны, чем для двухпартийных систем, «так как сложность ситуации принятия решения не способствует инструментальному голосованию. Партии, скорее отстаивающие те или иные абсолютные ценности, а не прагматические цели сиюминутной политической выгоды, оказываются в этом случае в лучших условиях, чем в мажоритарных демократиях со сменяющимися правительствами» (Ф. У. Паппи). Про-

порциональная система, вопреки утверждениям ряда исследователей, не препятствует распространению политической коррупции, об этом, в частности, свидетельствует пример Италии, где с 1947 по 1993 г. применялась пропорциональная модель на выборах национального парламента, которая законодательно разрешала избирателю голосовать за кандидатов из различных партийных списков. Это так называемое «панаширование» использовалось партийными боссами для проверки того, как проголосовали избиратели, которым были обещаны привилегии в обмен на голосование за определенный список кандидатов.

Новый толчок к сопоставлению достоинств и недостатков двух основных моделей голосования дали радикальные трансформации рубежа 1980—1990-х годов в Восточной Европе и России. Дополнительные аргументы в защиту пропорционального представительства выдвинул, в частности, А. Лейпхарт. По его мнению, пропорциональная система выборов и парламентаризм лучше справлялись с задачами представительного правления, защиты интересов меньшинств, политического участия избирателей и контроля за безработицей, чем альтернативные системы. Это вызвало резкую критику со стороны ряда исследователей. Так, американец К. Квейд утверждал, что

«система простого большинства побуждает соревнующиеся партии принимать установку на формирование политического большинства. В результате партии склоняются к умеренности, к поиску примирения, к сглаживанию острых углов — короче, к готовности делать до выборов то, что после выборов делают партии в условиях пропорционального представительства».

Г. Лэрдирет дополнял: «В условиях системы простого большинства партии стремятся к умеренности, так как это позволяет получить голоса откладывающих свое решение на последний момент избирателей-центристов». Тем временем исследователи функционирования избирательных систем в «новых» демократиях приходят к выводу, что дело не столько в пропорциональной или мажоритарной системе, сколько в отсутствии эффективных партий (Ю. Коргунок, Г. Голосов и др.).

§ 3. Модификации двух основных избирательных моделей

Для того чтобы как-то нивелировать недостатки двух основных систем голосования, на практике применяют великое разнообразие их модификаций.

Так, например, при пропорциональной системе партийные списки могут составляться для всей страны и выборы могут проходить по общенациональным партийным спискам (Израиль, Нидерланды, РФ с 2007 г.) или они могут иметь региональный характер (Австрия, Норвегия). Выборы в Европейский парламент также проходят по пропорциональной системе в многомандатных региональных округах (не более 9 мандатов в округе). Еще один вариант — выборы части депутатов по общенациональному округу, а остальных — по региональным «партийным спискам» (Польша — 69 по общенациональному округу и 322 — по региональным, Швеция). Голосование по общенациональным спискам может происходить вместе с выборами по одномандатным мажоритарным округам (Венгрия, Россия до 2007 г.), или же голосование по региональным спискам осуществляется вместе с выборами по одномандатным округам (Германия). При этом места в парламенте могут распределяться по двум разным формулам:

- 1) никак не связанным друг с другом — так называемая «смешанная несвязанная система выборов» (Андорра, Литва, Россия до 2007 г., Хорватия и др.);
- 2) результаты выборов по одной из формул влияют на распределение мест по другой — «смешанная связанная система» (Германия, Италия¹, Мексика, Новая Зеландия). В ФРГ на выборах в бундестаг каждый избиратель имеет два голоса: «первый голос» он может отдать за кандидата от данного мажоритарного избирательного округа, «второй голос» — земельному списку партий (пропорциональная система). Решающими для итогов выборов являются «вторые голоса». Если партия одержит победу в большем числе избирательных округов, чем это предусмотрено 5%-ным барьером «вторых голосов», то она получает дополнительные «переходные» мандаты. В то же время партия, сумевшая провести своего кандидата в бундестаг и по земельному списку, и по мажоритарному избирательному округу, теряет столько голосов из числа поданных за ее список, сколько отдано в поддержку ее кандидата в мажоритарном округе. Таким образом, удваивая шансы быть избранными для своих наиболее ценных представителей, партия «платит» за эту страховку вполне адекватную цену.

¹ Так, в Италии в соответствии с результатами референдума 1993 г. был принят новый закон о выборах, заменивший пропорциональную модель с региональными многомандатными округами. Теперь пропорционально полученным партиями голосам распределяется только 25% мандатов, большинство же депутатов (75%) избирается на мажоритарной основе.

Для того чтобы: а) отсеять от парламентского представительства (при голосовании по пропорциональной модели) маргинальные политические группы; б) подтолкнуть мелкие партии к объединению и в) создать работоспособный парламент, обычно устанавливается минимальная процентная ставка (электоральный порог), преодоление которого только и дает возможность получения мест в парламенте (в Западной Европе это обычно 3–5%) (ФРГ, Испания, Швеция, Румыния). Более того, в 11 странах Центральной и Восточной Европы процентный барьер между первыми и вторыми выборами даже вырос — приблизительно с 3,9 до 4,6%, а для избирательных объединений он стал и того выше, так, в Венгрии он составляет теперь 15%.

При таких обстоятельствах не принесшие мандатов голоса пропорционально плюсятся в таком случае к голосам партий-победительниц, что наиболее выгодно крупнейшим из них. Действительно, в условиях множественности претендентов на власть остаток таким способом распределяемых голосов неизбежно оказывается весьма значительным, что приводит к ощутимому искажению представительства социально-политических интересов в парламенте. В России, где в думских выборах 1995 г. участвовало 43 избирательных блока пропало почти 50% голосов избирателей, проголосовавших за блоки и партии, не преодолевшие 5%-ный барьер. Для сравнения: в ФРГ, где в выборах в бундестаг участвует, как правило, не более 5–6 партий, за последние 35 лет терялось не более 15% голосов. Кроме того, заработанные партиями и блоками-«аутсайдерами» выборной гонки голоса могут быть переданы и их политическим оппонентам.

Именно стремление компенсировать потерю мелкими партиями голосов их избирателей породило такую разновидность пропорциональной системы, при которой в дополнение к выборам по региональным многомандатным округам проводятся выборы и по единому «общенациональному» округу. Для этого округа резервируется определенное число мандатов, которые распределяются пропорционально количеству голосов, полученных каждой партией в общегосударственном масштабе. Тем самым у партий «меньшинства» появляется дополнительный шанс на представительство в общенациональном парламенте. При пропорциональной системе с «общенациональными» компенсирующими мандатами степень адекватности отражения политических предпочтений избирателей возрастает, однако не настолько, чтобы отразить весь спектр существующих ориентаций, поскольку предельный лимит голосов (процентный барьер) зачастую сохраняется и при распределении мандатов по «общенациональному» округу (Швеция — 4%-ный барьер по «общенациональному» округу).

Есть и иные способы преодоления этого недостатка. Например, введение «плавающего» процентного барьера. Также возможно так называемое «анонсированное блокирование объединений», т.е. предоставление не прошедшим в парламент избирательным объединениям и блокам права самим распорядиться голосами «своих» избирателей, отдав их любому из победителей (или нескольким из них). Во избежание же скупки голосов и прочих форм давления было бы целесообразно, чтобы все участники выборов заранее официально объявили, кому они готовы отдать полученные голоса в случае своего поражения. Если окажется, что неудачники переоценили свои возможности, не захотели ни с кем делиться или не угадали своих «фаворитов», то поданные за них голоса можно было бы распределить по пропорциональному принципу. Предлагавшееся в 1990-х годах многими участниками политического процесса в России снижение процентного барьера конечно же повысило бы адекватность отражения волеизъявления избирателей, однако одновременно резко увеличило бы число партий, представленных в парламенте (в том числе и маргинальных), и снизило эффективность его деятельности. Так, в Румынии снижение «заградительного барьера» с 5 до 3% «открыло шлюзы для партийных расколов и парламентской нестабильности» и способствовало приходу в парламент партий, занимающих крайне *правые*, ультранационалистические позиции. По мнению немецкого правоведа Г. Майера, единственным серьезным аргументом в пользу 5%-ного барьера является «защита функциональной способности парламента». Но это «настолько большая ценность, что общие правовые соображения позволяют рассматривать ее как оправдывающую причину для нарушения принципа равенства выборов. Является ли эта причина императивной, должно зависеть от реального анализа обстоятельств».

При голосовании по мажоритарной системе оно может происходить с использованием категорических и ординальных бюллетеней. Голосование называют *категорическим*, когда избиратель имеет право выбрать только одного кандидата из числа баллотирующихся по избирательному округу. Голосование называется *ординальным*, если избиратель может ранжировать кандидатов по степени предпочтительности. Возможны два варианта ординального голосования.

Первый — так называемое «*одобряющее голосование*». Здесь каждый избиратель должен указать, против кого из кандидатов он не возражает, причем число отобранных кандидатов не ограничивается. Далее для каждого кандидата рассчитывается, сколько избирателей включили его в свой выбор, и кандидат, набравший наибольшее количество голосов, становится победителем.

Второй вариант — правило простого большинства с выбыванием. Если никто из кандидатов не набрал простое (абсолютное) большинство голосов, то определение победителя осуществляется последовательным удалением из подсчета кандидатов, набравших наименьшее число голосов, и перераспределением их голосов среди остающихся, и так до выявления победителя (*Д. Пе*). В результате оно становится специфическим вариантом смешанной мажоритарно-пропорциональной системы, поскольку рассеивает голоса избирателей, благоприятствуя плюрализму в партийной системе. Данная модель, которую часто называют системой единственного передаваемого голоса, используется для выборов членов палаты представителей Австралии, на Мальте и в Ирландии в случае проведения дополнительных выборов в парламент и для избрания президента страны. Эта избирательная система считается одной из самых демократичных. *Э. Лейкман и Д. Ламберт* указали следующие преимущества данной системы:

1. Избранный орган отражает, с отклонением в несколько процентов, степень влияния политических партий или других общественных группировок среди избирателей.
2. Любая партия или другая группа, собрав большинство голосов, получает большинство мест.
3. Элемент азарта исключен.
4. Избирателю предоставляется возможность выбирать кандидатов, руководствуясь как их личными качествами, так и партийной принадлежностью».

В условиях мультиэтнического государства данная система способна также обеспечить представительство интересов некомпактно проживающих этнических меньшинств. Как уже указывалось, мажоритарная система не может обеспечить представительство таких меньшинств. Пропорциональная система в чистом виде, предполагающая участие политических партий как основных акторов избирательных кампаний, также является не вполне адекватным средством решения проблемы этнического представительства, так как ее применение подталкивает к партийному строительству по этническому признаку (хотя практика применения пропорциональной системы на Западе привела к выработке механизмов преодоления этого недостатка).

К числу главных неудобств рассматриваемой системы следует отнести сложность применения методики подсчета голосов и непонятность для избирателей процедуры определения результатов выборов. Этим, видимо, и объясняется ее малая распространенность.

И все же абсолютной свободы в выборе и манипулировании избирательной системой не существует. Свободу ограничивают местные по-

литические условия и традиции. Это же относится и к реформе избирательной системы. Для того чтобы провести такую реформу, как правило, требуется одобрение большинства членов парламента. Однако это те самые люди, которым именно действующая избирательная система сослужила добрую службу. Зачем же им стремиться к изменению системы, благодаря которой они достигли своего политического положения? Поэтому чаще всего сторонниками избирательной реформы выступают оппозиционные политические силы. Так, в Великобритании либерал-демократы поддерживают реформу именно потому, что действующие «правила» им невыгодны. У партий, представленных в парламенте, особых причин для беспокойства о подобной реформе не существует. Поэтому избирательные системы обладают большой инерционностью. Многие западные страны до сих пор придерживаются формулы выборов, введенной одновременно с институтом всеобщего избирательного права для мужчин (США, Великобритания и др.). Правда, в Великобритании давно идет дискуссия по поводу избирательной реформы.

Однако наряду со странами, где избирательная система чрезвычайно устойчива, в Западной Европе есть государства, где она меняется чрезвычайно часто. Ни одна страна Запада не меняла избирательной модели так часто, как Франция. Как отмечает А. М. Салмин: «Эволюция избирательных систем в этой стране создает ощущение какого-то постоянного и притом возвращающегося “на круги своя” эксперимента с представительством». После введения всеобщего избирательного права (в 1848 г.) в 1852–1871 гг. (1), 1875–1885 гг. (2), 1889–1919 гг. (3), 1927–1945 гг. (4) и с 1958 г. (5) во Франции действовала мажоритарная система с голосованием в два тура. В 1848–1852 гг. (6) и 1871–1873 гг. (7) — система голосования в два тура в округах с несколькими депутатами (многомандатных), при которой для избрания необходимо относительное большинство, но не меньше определенного уровня, недостижение которого требовало проведения второго тура. В 1873–1875 гг. (8) и 1885–1889 гг. (9) действовала система голосования в два тура в многомандатных округах, когда для избрания в первом туре необходимо абсолютное большинство, а во втором — относительное. В 1919–1927 гг. (10) и 1951–1958 гг. (11) была введена сложная мажоритарно-пропорциональная система, при которой избранными по многомандатному округу считались все кандидаты списка, получившего абсолютное большинство голосов. В случае если ни один из списков не получал абсолютного большинства, распределение депутатских мест производилось на основе принципа пропорционального представительства. Наконец, в 1945–1951 гг. (12) и 1986 г. (13) использовалась чисто пропорциональная система. Кроме того, серьезной корректировке подвергались электоральные формулы в Северной

Ирландии (1973 г.) и правила выборов в верхнюю палату японского парламента (1982 г.). В 1960-е годы поменялись избирательные системы Австрии и Швеции. В 1993 г., как уже отмечалось, изменилась избирательная модель в Италии и в 2007 г. в России.

§ 4. Эволюция моделей электорального поведения

Помимо выполнения отмеченных выше функций периодически проводимые выборы позволяют выяснить степень политической активности и ангажированности населения. Однако любой способ голосования и подсчета голосов приводит к результатам, которые не могут не выглядеть произвольными и несправедливыми в глазах значительных групп избирателей. Не случайно Й. Шумпетер как-то заметил, что «избиратель является участником неработающего комитета — комитета всего народа, поэтому он и прилагает меньше целенаправленных усилий на свое совершенствование в политической сфере, чем при игре в бридж». Поясняя эту ситуацию в терминах теории рационального выбора, А. Даунс писал, что поскольку рационально действующий политический актер «продолжает вкладывать ресурсы в добывание дополнительных данных до тех пор, пока предельно возможная отдача от информации не сравняется с предельно допустимыми затратами на ее получение», постольку избиратель, имеющий очень слабую надежду на то, что его голос окажется решающим на выборах (т.е. вышеупомянутая отдача окажется скорее всего невелика), будет вкладывать мало ресурсов в приобретение политической информации.

В этой ситуации важную роль играет идеология, поскольку она (согласно теории рационального выбора) позволяет избирателю минимизировать затраты времени и усилий на сбор информации, касающейся программных установок партий, участвующих в выборах. Отсюда ограничения на изменение программных положений для традиционных крупных партий, действующих в условиях стабильной демократии, когда партия идет на резкую скачкообразную смену своих идейных ориентиров, возникает угроза потери значительной части своего электората, в то время как привлечение новых массовых категорий избирателей остается проблематичным. Поэтому представление о том, что наиболее вероятными стратегиями массовых партий в условиях стабильных западных демократий является «деидеологизация» или крайне осторожная и медленная идейная эволюция, не только доминирует в теоретической литературе, но и подтверждается сравнительными результатами социологических исследований. Случаи радикальной и быстрой смены

идеологических позиций таких партий имеют место лишь в исключительных обстоятельствах, связанных со структурными изменениями сложившихся полей межпартийной конкуренции.

Отсюда вырастает важная практически для всех стран проблема **абсентеизма**. Сравнительные исследования подтверждают существующую зависимость между неучастием в выборах и падением доверия к государственным органам. Однако нельзя однозначно толковать явление абсентеизма, его причиной может быть не только отчуждение от политической власти и разочарование потенциальных избирателей в своих возможностях воздействовать на политическую жизнь, но и уверенность в том, что его интересы будут защищены в любом случае. Исследователи отмечают, что страны с моделями пропорционального представительства, где голос каждого избирателя имеет более высокое значение для получения мест в законодательном собрании, обычно имеют более высокое число голосующих, чем страны с мажоритарной системой выборов. Социально-экономический статус, этническая и конфессиональная принадлежность избирателей, относительная простота регистрации для участия в выборах, эффективность партийной системы, «имидж» кандидата, созданный СМИ, периодичность выборов — все это влияет на то, сколько избирателей придет к избирательным урнам.

В 1950-е годы западные исследователи констатировали, что «...требования, предъявляемые для успешного функционирования демократии, не проявляются в поведении “среднего” избирателя... Многие голосуют без реального вовлечения в выборы... Гражданин мало информирован относительно деталей выборной кампании... В определенном смысле избиратели не слишком рациональны» (Э. Даунс). Исследования 1960-х годов подтвердили, в частности, отсутствие ясной идеологической ориентации и политического сознания у американских избирателей (А. Кембелл).

На основании этого делался вывод об «элитистском характере современной демократии»:

«Выживание демократии зависит скорее от приверженности элит демократическим идеалам, чем от широкой поддержки демократии массами. Политическая апатия и массовое неучастие вносят свой вклад в выживание демократии. К счастью для демократии, антидемократические массы гораздо более апатичны, чем элиты», — отмечали Т. Дэй и Х. Цейглер.

Отсюда доминирование в первой половине XX в. «элитно-направляемого» электорального поведения масс.

Однако в 1970–1980-е годы рост образовательного уровня и привязаний граждан стран Запада, изменение системы занятости, повы-

шение уровня жизни и мобильности населения породили ориентацию на новые, «постматериальные» ценности. Как неоднократно отмечал Р. Инглехарт:

«В противоположность росту материализма в связи с индустриальной революцией невиданная ранее надежность существования людей в индустриально развитом обществе привела к межпоколенческому сдвигу в пользу постматериалистических и постмодернистских ценностей. Если индустриализация была отмечена упором на хозяйственный рост практически любой ценой, то члены “общества изобилия” все больше внимания обращают на качество жизни, защиту окружающей среды и самовыражение».

В результате «...в постиндустриальном обществе культурные изменения приобретают новое направление».

В то же время разрастание государства и трудности в его функционировании, возникновение и рост влияния неокорпоративизма, радикальное изменение роли СМИ, возникновение новых политических проблем и расколов радикально изменили характер политики (так называемая «новая политика») и ее восприятия, породив феномен «нового политического сознания» и создав предпосылки для развития процесса, который в литературе описывается как процесс когнитивной мобилизации.

«Когнитивная мобилизация означает, что граждане обладают уровнем политического искусства и ресурсами, необходимыми для того, чтобы стать самостоятельными в политике. Вместо того чтобы зависеть от элит и референтных групп (внешняя мобилизация), граждане теперь более способны справляться со сложностями в политике и принимать свои собственные политические решения» (Р. Далтон).

Ослабление социально-классовых конфликтов, свертывание острого идеологического противостояния, фрагментация социума сопровождаются увеличением роли принципиально немажоритарных идеологий и способов групповой идентификации (этнических, религиозных, сексуальных, половозрастных, эстетических и т.д.). Лишающиеся гарантированной поддержки массового электората партии все больше превращаются в избирательные машины для политических лидеров.

Первые практические следствия новой формы политической мобилизации неоднозначны. Т. Погунтке высказал гипотезу о пяти вероятных способах воздействия данного феномена на партийные системы:

- 1) отход части сторонников традиционных левых партий к постматериалистическим левым партиям («зеленые»);
- 2) рост влияния малых (в том числе региональных) партий;
- 3) возникновение новых социальных движений;

- 4) отчуждение носителей «нового политического сознания» от политики и их отказ поддерживать традиционные партии;
- 5) создание новых партий.

Наибольшее влияние на формирование партийных предпочтений ныне оказывают, по мнению специалистов, близость позиций избирателей и партий по конкретному политическому вопросу и ретроспективные оценки. Однако, как отмечает Ф. У. Паппи,

«в духе М. Вебера можно охарактеризовать отдельных избирателей как в терминах целе-рационального... так и ценностно-рационального... поведения». Последний тип поведения основан «на вере в безусловную — этическую, эстетическую, религиозную или любую другую самодовлеющую ценность определенного поведения как такового, независимо от того, к чему оно приведет. Так как голос отдельного избирателя никогда не имеет решающего значения на общих выборах, экспрессивные соображения приобретают большую важность, чем утилитарные мотивы голосования, когда надеются, что потраченные избирателями усилия окупятся той пользой, которую можно ждать от избранной власти... Неверно будет считать, что избиратели иррациональны. Скорее несовершенен механизм голосования... который должен обнаруживать политические предпочтения электората».

Идейная фрагментация электората в последние годы не только сокращает размеры «гарантированной поддержки» традиционных политических партий, но и делает практически невозможным образование крупных идеологически однородных сегментов политического рынка.

«Место политических партий занимают специфические интересы и образующиеся вокруг них социальные движения, индивиды больше не “принадлежат” какой-то одной группе, но меняют свою “принадлежность” в зависимости от того, насколько важной оказывается для них та или иная проблема в то или иное время», — констатировал известный британский социолог Р. Дарендорф.

Это вынуждает политические партии менять стратегию, усилить внимание к интересам самых разных меньшинств. Нынешние избирательные стратегии уже не ориентированы на объединение под партийными знаменами идейных единомышленников, убеждение максимально возможного числа избирателей в правоте своей политической программы. Ныне они нацелены на привлечение всех, кого можно привлечь хоть чем-то («*to catch all party*» О. Кирххаймера), на поиск лозунгов, которые не столько привлекают своей определенностью, сколько не отпугивают своей многозначностью, «общечеловеческим содержанием». А поскольку лучше писаных программ эту роль выполняют образы, то имиджи политиков становятся главными действующими «лицами» политического процесса.

В данном случае речь идет об упадке массовых партий как механизмов организации политического процесса. Политическим элитам Запада все труднее направлять политическое поведение массового избирателя, отсюда и применяемая ныне партиями Запада тактика «прислушивания» к воле избирателей, в том числе все более активное использование Интернета для установления интерактивной связи и получения дополнительной информации о настроениях «новых категорий избирателей» (этим вызвано, в частности, все большее преобладание «элитно вызываемой» формы электорального поведения). Однако

«современные политики в передовых государствах действуют в рамках узкого политического спектра, где все они претендуют быть демократами. Кроме того, все они воспринимают рыночную систему как единственно возможную форму экономической организации. И все же демократия, которую они поддерживают, есть только узкий плебисцитарный вариант демократии, в рамках которой народ периодически называет своих избранных хозяев... В этих обстоятельствах у избирателей есть выбор между вариациями одного и того же, и они демонстрируют все большее безразличие к политическому процессу и все больший цинизм в отношении к тому, чего с его помощью можно достичь», — отмечает П. Хирст.

В результате в Великобритании участие в выборах упало за период с 1997 до 2001 г. с 71 до 59,5%, а в группе избирателей от 18 до 24 лет в выборах 2001 г. приняли участие только 40%. Численность консервативной партии к 2001 г. сократилась с конца 1980-х годов более чем в три раза. В выборах в Европейский парламент участвуют обычно не более трети избирателей. Не случайно поэтому тема кризиса доверия институтам представительной демократии в постиндустриальном обществе звучит лейтмотивом большинства дискуссий по проблемам перспектив западной демократии.

На основании материалов масштабного «Исследования гражданского участия», проведенного в середине 1990-х годов, известный американский политолог С. Верба и его соавторы делают вывод о чрезвычайно неравномерном по сравнению с другими демократическими странами Запада распределении политического участия в США по социальным стратам и соответственно о менее представительном характере американского электората. На фоне снижения удельного веса форм политического участия, связанных с голосованием, за последние 20 лет почти в два раза (до 23%) выросла доля населения, чье участие в политических кампаниях сводится к взносам в виде времени или денежных пожертвований. Повышение значимости подобных форм

политического участия существенно влияет на уровень политического равенства: по мере того как главным ресурсом в политике становятся деньги, вытесняя даже время, сокращается круг людей — эффективных политических акторов, а соответственно — и круг артикулируемых проблем и интересов. В результате «громче всего» звучат требования обеспеченных граждан, повышая вероятность того, что именно они и будут учтены. Здесь уместно будет вспомнить известное высказывание политолога Е. Шатшнайдера: «Недостатком плюралистического рая является то, что этот небесный хор поет с сильным акцентом высшего класса». Однако этой проблемой озабочены все представительные демократии.

Поэтому все более актуальной становится проблема поиска механизмов электоральной мобилизации. Прежде всего активизация участия избирателей в выборах достигается путем организации эффективной избирательной кампании политических партий, финансовой поддержки со стороны государства мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов. В большинстве западных стран максимально упрощена процедура регистрации избирателей (исключение — США). Эта задача обычно возлагается на местные почтовые отделения, которые обязаны иметь списки всех жителей своего почтового округа. Перед выборами почтальоны разносят регистрационные карточки всем потенциальным избирателям, и последним достаточно вернуть их в почтовое отделение по почте или лично (другой вариант, когда избирателей приглашают на почту, для того чтобы отметить в списках). Затем почтовые отделения передают списки зарегистрированных избирателей на избирательные участки. Естественно, никаких ограничений в избирательных правах (цензовых и др.), кроме как по приговору суда, не допускается.

Еще один из достаточно распространенных способов борьбы с абсентеизмом — принудительное голосование, применяемое в таких странах, как Австралия, Бельгия, Греция, Италия. В этом случае используются различные меры морального (гласность) и материального (денежный штраф) принуждения. Так, в Австралии в случае неявки потенциальный избиратель либо платит умеренный штраф, либо официально сообщает причины своей неявки на выборы. Мягкость наказания определяется еще и тем, что как в Австралии, так и в Бельгии граждане не обязаны голосовать, а только обязаны явиться на избирательный участок и получить бюллетень, с которым имеют право поступить как им заблагорассудится. Тем не менее показатель участия в выборах для этих стран достаточно высок, в 1980-е годы он составлял: в Австра-

лии — 83, Бельгии — 87, Греции — 87, Италии — 93%¹, при среднем показателе по Западной Европе — около 70%², а по США — около 50% (на выборах президента). В Нидерландах, где принудительное голосование было упразднено в 1967 г., показатель участия сразу упал с 94,7 до 83,5%.

Однако дискуссия о введении обязательного голосования упирается в аргумент, согласно которому повышение эффективности функционирования избирательной системы может произойти за счет снижения ее демократичности. Ведь применение этой системы не обязательно ведет к демократии, даже если и предлагается с благими намерениями повышения политической активности и образованности населения, а также формирования легитимного механизма представительной власти.

Кроме того, для политиков абсентеизм не является злом по определению: как показывает опыт поставторитарного развития бывших социалистических стран, чем ниже явка избирателей, тем более простые и менее затратные средства получения власти могут быть использованы.

В последнее время эти способы борьбы с абсентеизмом утратили эффективность, поэтому государство и политические организации стремятся, приспособившись к новым реалиям постиндустриального общества, использовать возможности сетевых информационно-коммуникационных технологий для повышения своей легитимности, преодоления отчуждения граждан от власти, расширения их политической вовлеченности. Многие западные страны ставят в связи с этим в качестве ближайшей цели обеспечение бесплатного доступа населения в Интернет.

¹ Итальянские выборы, по Р. Патнему, не могут служить критерием гражданской активности и вовлеченности избирателей по нескольким причинам:

- 1) «принудительное» голосование;
- 2) партийные организации (до 1994 г.) были явно заинтересованы в выборах, а раз так, то активность избирателей определялась не столько «гражданским духом», сколько могуществом и авторитетом партийных структур. «Политические партии на Юге Италии организационно сильны, потому что в условиях слабости гражданских ассоциаций любая партия стремится стать проводником отношений типа «патрон — клиент»... Север и Юг отличаются не степенью политической вовлеченности, но ее характером»;
- 3) в тех частях Апеннин, где распространены отношения «патрон—клиент» (Юг), голосование на выборах тесно связано с немедленным предоставлением персональных патронажных выгод, что едва ли служит признаком «гражданственности».

² В Западной Европе исключение составляет Швейцария, где в выборах участвовало менее половины избирателей (48,9%), что, как представляется, может быть объяснено «пресыщенностью» избирателей частыми голосованиями. Подсчитано, что швейцарцы участвуют в среднем в четырех голосованиях в течение года.

Но исследование влияния Интернета и ИКТ на политические процессы показало, что даже в тех странах, где значительная часть населения имеет доступ к Интернету, а в Великобритании, например, это около половины подданных королевы, ИКТ оказывает еще довольно скромное влияние на расширение политического участия. Национальный социологический опрос 2002 г. показал, что в онлайн-политическое участие в Великобритании вовлечено около 17% тех, кто когда-либо участвовал в традиционных политических мероприятиях.

§ 5. Референдум как форма «прямой демократии»

Особую форму политического участия граждан представляет **референдум**, называемый иногда плебисцитом¹. Конституции лишь половины (9 из 18) западноевропейских государств предусматривают возможность проведения референдумов по инициативе парламента или правительства, лишь в четырех из них требуется утверждение референдумом принятых парламентом изменений и дополнений к конституции (Дания, Ирландия, Франция, Швейцария), и только страны «альпийского треугольника» (Австрия, Италия, Швейцария) используют механизм народных инициатив, т.е. предусматривают возможность выдвижения определенным числом граждан требования о проведении референдума по какой-либо проблеме. Референдум — это форма «прямой демократии», особый тип всенародного голосования, объектом которого является не тот или иной кандидат, а какой-либо важный вопрос, по которому власть считает необходимым выяснить мнение населения страны. Это может быть вопрос о государственной принадлежности той или иной территории (референдумы 1935 и 1957 гг. о Саарской области в Германии) или о ее независимости (референдум 1995 г. во франкоязычной провинции Квебек в Канаде), вопрос о форме правления (референдумы 1946 г. в Италии и 1974 г. в Греции о замене монархии республикой) и т.д.

Подобно выборам референдумы бывают разных видов в зависимости от предмета голосования, способа проведения и сферы применения. Референдум называется конституционным, если с его помощью производится утверждение конституции или поправок к ней, или законодательным, если предмет референдума проект акта текущего законодательства.

¹ Так, согласно принятой в международном праве терминологии плебисцитом называют референдум, в рамках которого решается вопрос о государственной принадлежности той или иной территории. Кроме того, применительно к государственности Древнего Рима плебисцит являлся полным эквивалентом современного референдума.

Считается, что первый в европейской истории референдум был проведен в 1439 г. в Швейцарии¹, которая и сегодня очень часто прибегает к этому средству выяснения воли народа, особенно на кантональном и общинном уровнях.

Именно поэтому в современной Швейцарии столкнулись с рядом негативных следствий применения этого института «прямой демократии».

Как отмечают швейцарские исследователи,

«количество подлежащих голосованию (на референдуме. — *Прим. авт.*) деловых проблем и мероприятий федерации, кантона или общины, равно как и сложность проблем политических, из-за которых граждане, имеющие право голоса, призываются к урнам, сильно возросло. ...В современном промышленном обществе часто только специалисты в состоянии оценить значение и последствия принятых решений по обсуждаемой проблеме. Поэтому избиратель спрашивает себя: а какую ценность имеет его личное участие в голосовании?»

Кроме того, частое проведение референдумов породило эффект «пресыщенности голосованием», который, в частности, привел к значительному снижению политической активности швейцарцев. В результате «...убеждение, что в Швейцарии правит народ, мало соответствует действительности, ибо правом принимать участие в выборах и голосованиях пользуется небольшая, постоянно убывающая часть населения, имеющая право голоса. В промежутке между двумя мировыми войнами нормальным было участие в голосованиях 70–80% населения, сейчас же участие ниже 40% становится правилом; даже в выборах парламента участвует не более половины населения, обладающего правом голоса. ...Из 6,8 млн населения страны приблизительно 4,5 млн имеют право голоса и избирательное право... Участие в голосовании 40% населения означает, что только 13%, или 20% голосующих, принимают общие политические решения», что в свою очередь резко снижает степень легитимности политической власти.

В исследовательской литературе достаточно давно идет дискуссия по поводу оценки процедуры принятия или одобрения конституции путем общенародного референдума. Всенародное голосование зачастую навязывалось гражданам авторитарной властью. В качестве примера можно привести так называемое одобрение Конституции Чили в 1980 г., где конституционный референдум проводился фактически в условиях

¹ Правда, следует заметить, что задолго до этого данная форма участия народа в государственной жизни была известна Римской республике, а юридический статус плебисцитарных решений был даже закреплен специальными законами: *Lex Valeria Horatia* (449 г. до н.э.) и *Lex Hortensia de plebiscites* (287 г. до н.э.).

военного положения, когда была запрещена деятельность всех политических партий, а средства массовой информации жестко контролировались военной хунтой.

В основном отрицательно оценивается в научной литературе и опыт конституционного референдума во Франции 1958 г. и в России 1993 г. Так, французская конституция принималась в условиях серьезного политического кризиса, когда Франция вела войну в Алжире, своей самой богатой и географически близкой колонии. Поэтому говорить о реальном волеизъявлении французских граждан в такой ситуации довольно трудно. Граждане Франции решали не столько вопрос о конституции, сколько то, как предотвратить гражданскую войну в самой Франции — между сторонниками и противниками продолжения войны в Алжире. В результате голосовали не столько за конституцию, сколько за генерала Ш. де Голля, в котором большинство видело спасителя Франции.

Конституционный референдум 1993 г. в России также проводился в условиях, неблагоприятных для адекватного политического волеизъявления народа. Как считают некоторые исследователи, в результате выбора неправильной стратегии политического развития после «августовского путча» 1991 г. (что стало причиной острейшего политического кризиса) и «силовой» победы в октябре 1993 г. после более чем двухлетнего противостояния исполнительной власти во главе с президентом Б. Ельциным и Верховного Совета РФ на референдум была предложена и принята «Конституция победителей», закрепившая доминирование этой ветви власти.

«После подавления путча 1991 г., — отмечает, частности, А. Медушевский, — президент мог провести новые выборы в старый Верховный Совет, обеспечив себе большинство для последующего бесконфликтного осуществления конституционных реформ. Иной вариант состоял в достижении консенсуса с действующим большинством. ...Президент избрал вариант, который сам впоследствии признал ошибкой».

Необходимо учитывать также то обстоятельство, что проект конституции — это очень сложный документ, более или менее адекватная оценка его очень сложна и практически непосильна для большинства граждан любой страны. В случае референдума фактически всегда речь идет о всенародном вотуме доверия по отношению к инициаторам этого референдума, граждане, проголосовав «за», как бы соглашаются с общей политикой государства и поддерживают эту политику, голосуя за конституцию.

Следует в связи с этим отметить двоякую политическую природу референдумов. С одной стороны, они призваны наиболее полно выя-

вить волю народа по тому или иному вопросу, референдум — это форма «прямой демократии», когда значимое политическое решение принимает непосредственно народ, основным мотивом голосующего на референдуме оказывается озабоченность общественными проблемами, и по этой причине референдумы дают нам относительно «чистый» показатель гражданской вовлеченности. Так, степень участия итальянцев в общенациональных референдумах была значительно ниже степени участия во всеобщих выборах, так как тут полностью подключались «негражданские» мотивации. «В последние десятилетия на выборы являлось более 90% избирателей, в то время как явка на референдумы плавно снижалась с 86% на референдуме 1974 г. до 64% на референдуме 1987 г. ...Поскольку те, кто привык обменивать свой голос на что-то стоящее, просто в данном случае не приходили к урнам, поскольку никаких материальных выгод, в отличие от выборов, это дело не сулило» (Р. Патнем). При этом общенациональные референдумы в Италии проводятся достаточно часто:

- 1) 1947 г. — о форме правления;
- 2) 1974 г. — о легализации разводов;
- 3) 1981 г. — о введении законов против терроризма;
- 4) 1985 г. — о введении «скользящей шкалы» заработной платы при заключении коллективных договоров;
- 5) 1987 г. — об использовании атомной энергии;
- 6) 1993 г. — о реформе избирательной системы.

С другой стороны, организаторы референдума могут сделать его предметом псевдопроблему. Политическая практика показывает, что референдум может быть использован как противовес представительной демократии или как средство обойти парламент и принять государственное решение вопреки ему. Случается и так, что воля народа, выраженная на референдуме, игнорируется и попирается власть имущими. Поэтому трудно представить, что референдум как форма непосредственного политического участия населения мог бы стать эффективным инструментом решения сложных проблем политического и социально-экономического развития стран Запада.

В заключение отметим, что, несмотря ни на что, партийные выборы — наиболее массовая форма политического участия и цивилизованный способ борьбы за власть и смены правительства. Именно выборы обеспечивают легитимацию власти и политической деятельности в целом. Выборы — это и укрошенная политическая энергия масс, поскольку они обеспечивают их вовлеченность в политическую жизнь, предоставляя возможность политического участия и политического выбора — кан-

дидата, партии, программы и целей. Благодаря выборам политика и особенно процедура передачи власти превращаются в обычный, рутинный процесс.

«Таким образом, — указывает А. Уэйр, — соревнование между политическими партиями посредством выборов оказывается полезным для политической системы тем, что оно: а) налагает ограничения на цели и политику правительства; б) позволяет избирателям осуществить определенный выбор относительно того, кто и каким образом ими будут управлять; в) обеспечивает политическое образование граждан». Демократические выборы в конечном итоге — это не борьба за выживание (или привилегии), а соперничество «за право служить».

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

1. Корпоратизм и концепции групп интересов
 2. Типологизация организованных групп интересов
 3. Лоббизм в сравнительном измерении
 4. Практика неокорпоратизма и плюрализма
-

§ 1. Корпоратизм и концепции групп интересов

Любое общество может быть представлено как более или менее развитая система всевозможных групповых интересов (экономических, политических, профессиональных, этнических и т.д.), актуализированных и латентных, постоянно пребывающих в сложных взаимоотношениях сотрудничества и соперничества, имеющих или стремящихся получить доступ к процессу выработки и принятия значимых политических/государственных решений с целью обеспечения выгод для себя.

Эволюция политической организации общества ведет к возникновению и постепенному совершенствованию сложного механизма взаимодействия государства и гражданского общества, граждан, преследующих определенные цели и интересы, и государства, стремящегося преобразовать множественность интересов в единый общественный интерес.

«Государство действительно, и его действительность заключается в том, что интерес целого реализуется, распавшись на особенные цели. Действительность всегда есть единство всеобщности и особенности, разложенность всеобщности на особенности, которые представляются самостоятельными, хотя они носимы и хранимы лишь внутри целого» (*Гегель*).

Эта идеальная абстрактная модель впервые была очерчена Гегелем в «Философии права», где дано также философское обобщение понятия гражданского общества.

Сегодня хорошо известно, что одна из важных проблем функционирования политических систем любого типа (для демократий же это центральная проблема) — согласование групповых и общегосударствен-

ных интересов так, чтобы первые по возможности не противоречили последним. Одним из теоретических направлений, предлагающих свои варианты ее практического решения, является *корпоратизм, или корпоративизм*.

Появление термина «корпорация» (от лат. *corpus* — тело) относится к европейскому средневековью, когда под корпорацией понимался один из видов сословно-профессиональных объединений цехового типа (гильдия, ганза, братство). В XIV—XV вв. во многих европейских странах сложилась даже система корпоративной политической власти, когда, например, органы городского самоуправления формировались цехами.

Главная особенность средневековой корпорации — это попытка преодолеть общинные отношения, заменить кровно-родственные и соседские связи общностью сословно-профессиональных интересов. Патриархальное равенство членов общины вместе с «вынужденным» членством в ней корпорация заменяет формальным равенством ее членов и добровольным и осознанным выбором членства. Однако вне корпорации человек оказывается не в состоянии полноценно заниматься профессиональной деятельностью, а выход из нее означает «социальную», а нередко и физическую смерть. В результате в условиях безысходной привязанности человека к корпорации равенство всех перед общим интересом и добровольность членства становятся чисто формальными. Само выражение общего интереса превращается в выражение особенного интереса корпоративной верхушки. Именно в средневековой корпорации возникли и развились те начала, которые носят универсальный характер для корпоративной организации как таковой:

- 1) объединение индивидов, следующих общему интересу;
- 2) делегирование полномочий небольшой группе руководителей корпорации;
- 3) жесткая иерархия власти в корпорации;
- 4) превращение общего интереса в особенный интерес верхушки.

Уже с XVIII в. ставится под сомнение социальная и экономическая эффективность гильдий и цехов. «Обеспечивая социальные гарантии своих членов, гильдии все же в первую очередь оставались коалициями распределения, использующими монополию на власть в собственных интересах... Они снижали экономическую эффективность и препятствовали технологическим новациям» (*М. Олсон*). Однако гильдии, по мнению некоторых исследователей, стали важным этапом «в развитии горизонтальных связей гражданской вовлеченности, которые благотворно сказывались как на управлении, так и на экономической деятельности» (*Р. Патнем*).

Однако осмысление корпоративной организации начинается позже, уже в эпоху исчезновения цехов. Наиболее полно этот феномен исследовал Гегель в той же «Философии права». Он понимал под корпорацией не просто сословно-профессиональное объединение, но социальный институт, стоящий между индивидом и государством, необходимый для преодоления отчуждения его как от общества в целом, так и от государства в частности. Таким образом, корпорация, по мнению Гегеля, выполняет важные экономические и социально-психологические функции.

Пик теоретического интереса к корпоративным формам политической организации приходится на вторую половину XIX — начало XX в. В противовес «величайшему злу либерально-демократического государства — партийности» французским социалистом *Луи Бланом* выдвигается идея *функционального, ответственного представительства*, предполагающая, что представительные учреждения должны состоять не из депутатов, избранных населением, а из делегатов отдельных деловых организаций, не теряющих связи с ними и перед ними ответственных. Корпоративистские идеалы разделяли не только правые социалисты, но и многие французские ученые (Л. Дюги, Г. Морен, М. Леруа и др.). В частности, Л. Дюги в развитии «федерализма классов, организованных в синдикаты», усматривал не только гарантию против всемогущества правящих, но и против «насильственного революционного скачка». «Есть только одно средство свободы, старое как мир, — ассоциация. Свободны когда сильны, сильны в той мере, в какой не одиноки», — сочувственно цитирует Дюги правого политика, лидера праворадикальной организации «Аксъен Франсез» Шарля Моррасса. Всех этих исследователей относят к так называемым плюралистам. По мнению *С. Лэборда*, именно концепция плюрализма послужила связующим звеном между европейской политической теорией и американской политической наукой. Плюралистами оспаривалось понятие государственного суверенитета, ассоциировавшееся у них с идеологией абсолютной монархии, они ставили под сомнение неограниченную власть центрального правительства и т.д. В частности, Л. Дюги предложил свое понимание государства как «федерации публичных служб», единственный смысл существования которой — отражение факта общественного многообразия и солидарности. Государственные институты, согласно его концепции, должны поддерживать естественное многообразие общественной жизни при помощи юридического признания прав независимых ассоциаций и общественных групп. Концепцию Дюги можно представить как попытку привести долю социологического реализма в традиционную правовую концепцию государства. Среди британских плюра-

листов существовало два не совпадавших представления о задачах, решаемых государством, и о его месте в обществе. Первое — государство должно быть функциональной ассоциацией наряду с другими группами. Второе — государство должно стоять особняком, поскольку его задача — сбалансировать противоречия, существующие между общественными группами. Так, согласно представлениям Коула, государство принимает форму высшей ассамблеи, представляющей все основные социальные и экономические группы. Эти идеи позднее органично вошли в теорию неокорпоративизма.

Как дальнейшее развитие этих идей возникает теория *монопольного представительства*. *Гастон Морэн*, выдвинувший эту идею, исходил из необходимости:

- ограничения политической активности синдикатов (профессиональных союзов);
- предоставления отдельным из них права исключительного представительства определенных групп населения;
- государственного контроля над синдикатами.

Начало XX в. стало периодом реального противостояния корпоративной (сформировавшейся в рамках синдикалистского реформистского социализма) и марксистской концепций политического устройства. Специфическая форма корпоративизма возникла в нашей стране. Однако социалистический корпоративизм в отличие от фашистского варианта «был не только создан государством и функционировал под его контролем, но и практически не выходил за государственные рамки... он не был результатом взаимодействия государственных и негосударственных образований, но существовал исключительно *внутри* государственных структур, между ними, т.е. был *бюрократическим*» (С. П. Перегудов).

Интересы, наличествующие в обществе, могут конкурировать между собой, противостоять друг другу вплоть до взаимоисключения и антагонизма, но могут выступать и основой для солидарности и единства, сотрудничества во имя достижения единой цели, что ведет к формированию более общего интереса. Понятие интереса в данном случае берется в самом широком понимании, как социально-экономическая и политическая категория. Носителем общего интереса может выступать само общество в целом либо составляющие его элементы и структуры. Следствием интеграции индивидуальных интересов в более общий интерес является групповая дифференциация членов общества. Политическая наука обратила внимание на наличие в обществе групп интересов в начале истекшего столетия. В американской политической науке, вне рамок европейского корпоративизма, первым сформулировал кон-

цепцию заинтересованных групп (плюрализма групп давления) американский ученый *А. Бенгли*. В книге «Процесс правления. Изучение общественных давлений» (1908 г.), взглянув на политический процесс с позиций борьбы групповых интересов, он, в частности, писал: «Все явления государственного управления есть явления групп, давящих друг на друга и выделяющих новые группы и групповых представителей (органы или агентства правительства) для посредничества в общественном соглашении». В этом случае законодательный процесс есть лишь отражение, фиксация борьбы групповых интересов. «Голосование в законодательных органах по тому или иному вопросу отражает лишь соотношение сил между борющимися группами в момент голосования. То, что называют государственной политикой, в действительности представляет собой достижение равновесия в групповой борьбе в данный конкретный момент... Нет ни одного закона, который не отражал бы такого соотношения сил, находящихся в состоянии напряжения». Следовательно, анализ государственного управления должен основываться на эмпирическом наблюдении результатов взаимодействия групп и оцениваться лишь в социальном контексте. Выделенные группы интересов должны рассматриваться политическими теоретиками как неотъемлемые и важные элементы политической инфраструктуры.

Однако в течение двадцати лет его книга была невостребованной. Только в 1930-х годах в США заинтересованные группы становятся объектом исследования политической науки. Первыми обращают внимание на группы, активно взаимодействующие с органами политической власти, с политиками, принимающими или влияющими на принятие решений в законодательной и административной сфере, в судебных процессах, американские публицисты. Вслед за журналистскими разоблачениями начинают появляться более серьезные исследования, касающиеся деятельности отдельных заинтересованных группировок. Так, *П. Одегард* написал об «Американской антисалунной лиге», *П. Герринг* описал действие такого рода групп в конгрессе, *Л. Розерфорд* живописала об «Американской ассоциации баров», а *О. Гарсиа* изложил скандальную историю «Американской медицинской ассоциации» и т.д. Эти работы, вышедшие в конце 1920-х — начале 1940-х годов, подготовили почву для дальнейшего, уже более общего теоретического осмысления деятельности групп интересов и их места в политической системе современного общества.

В 1940—1950-е годы теория групп интересов получила развитие в трудах американского исследователя *Д. Трумэна*. Согласно его концепции политический процесс — это «процесс групповой конкуренции за

власть над распределением ресурсов». Общество представляет собой сложное образование множества взаимодействующих друг с другом групп, а социальные институты есть отражение борьбы заинтересованных групп. Все эти группы, преследующие свои интересы, стремятся заручиться поддержкой государства, поскольку только оно имеет право авторитетно распределять ресурсы и принимать политические решения. Свободная конкуренция множества групп интересов способствует в конечном итоге сбалансированию интересов, что в свою очередь придает стабильность всей политической системе. Свои представления о данном политическом феномене Д. Трумэн изложил в книге «Управленческий процесс. Политические интересы и общественное мнение» (1950 г.). Теория групп интересов развивалась в рамках плюралистической теории демократии. Американская политическая наука в целом заложила основы изучения политического процесса с позиции теории группового участия в политике. Теория групп интересов противостоит марксистскому пониманию политики как борьбы классов с антагонистическими интересами. Но если сама теория групп интересов носит абстрактный характер, то эмпирические исследования функционирования конкретных заинтересованных групп раскрывают сложную структуру данного общественного образования и их реальную роль в политической жизни.

В Европе исследование политологами групп интересов начинается только после Второй мировой войны. Тем не менее наименование «*нео-корпоратизм*» или «социетальный/либеральный корпоратизм» для обозначения такого рода феноменов появляется лишь в 1970-е годы, поскольку исходное понятие было дискредитировано в общественном мнении политической практикой фашизма. Скандинавские политологи в этой связи проводят различие между «позитивным и негативным корпоратизмом». Согласно представлениям Е. Эльстера, «позитивный (фашистский. — *Прим. авт.*) корпоратизм в теории основывается на сотрудничестве, но на практике он покоится на силовом и авторитарном типе отправления власти»... Негативный же корпоративизм «...основывается исключительно на борьбе и на конфликте в повседневном взаимодействии классов. Здесь не происходит никакого накопления неравенства, поскольку такой корпоративизм в противоположность позитивному покоится на регулярных переговорах, демонстрациях и забастовках». Другой автор (О. Берг) при сопоставлении двух форм корпоративизма делает упор на то, что при фашизме корпорация не является автономной по отношению к государству, она есть его часть, интерес, который она отражает, должен быть принесен в жертву интересам

государства, если между ними возникает конфликт. Вертикальное расслоение общества было здесь заменено горизонтальным — и «начальники» и «подчиненные» были насильственно втиснуты в рамки одной и той же организации.

Таким образом, «неокорпоратизм» основан на признании фундаментального конфликта между организованными группами интересов, в то время как традиционный корпоратизм предполагал функциональную комплиментарность (а значит, и гармонию) между общественными силами. Причем это не просто абстрактное или идеологическое различие: в неокорпоративской структуре один из принципиальных инструментов общественного конфликта, право на забастовку, остается неприкосновенным, а традиционный корпоратизм забастовки запрещает» (Б. Манен). Немецкий политолог *Г. Лембрух* определил либеральный корпоратизм как «особый тип участия больших организованных групп в выработке государственной политики, по преимуществу в области экономики». Либеральный корпоратизм не претендует «на подмену институциональных механизмов парламентского и партийного правления», но в то же время способствует большей интегрированности политической системы. «Неокорпоративские институты, чья цель заключается в обеспечении компромисса между конфликтующими общественными интересами, также представляют площадку для дискуссии. Условия компромисса не устанавливаются до начала конфронтации, они возникают в ее результате». В то же время неокорпоратизм «...нельзя отождествлять лишь с консультациями и сотрудничеством правительства и заинтересованных групп. Его отличительная черта — высокая степень кооперации между самими этими группами в выработке экономической политики».

§ 2. Типологизация организованных групп интересов

Группами интересов в рамках этой концепции называют институциональные структуры самого разного типа (предпринимательские, профсоюзные, религиозные, этнические, культурные и т.д.), которые, не претендуя на политическую власть, пытаются влиять на нее, посредничая в деле обеспечения специфических интересов своих членов. Несколько отличное определение дает американский исследователь *Дж. М. Бери*:

«Группа интересов представляет собой ассоциацию индивидуумов, имеющих общие цели и задачи и пытающихся реализовывать их путем оказания влияния на процесс принятия политических решений».

Более развернутое определение дает шведский политолог *Н. Андрен*:

«Под организациями интересов понимают те образования, которые представляют материальные интересы. Это группы, которые на основе единой позиции и интереса устанавливают требования к обществу или его институтам или же к другим организованным группам. Критерий состоит в том, что существующий единый интерес играет конституирующую роль и что интерес сам по себе защищается от других групп общества».

Типология заинтересованных групп представляет большую трудность, что объясняется их многочисленностью и чрезвычайным многообразием (следствием чего является, в частности, большое количество предложенных в литературе типологий). Однако все исследователи сходятся в том, что группы интересов есть прежде всего результат самоорганизации гражданского общества.

Так, американские ученые *Г. Алмонд* и *Дж. Пауэлл* выделяют четыре типа групп интересов:

- спонтанные, т.е. стихийно организованные, часто ориентированные на насилие (манifestации, бунты);
- неассоциативные, т.е. неформальные, непостоянные и ненасильственные, формирующиеся на основе родственных связей, вероисповедания и т.п. (религиозная секта, студенческая группа);
- институциональные, т.е. формальные организации, помимо выражения интересов наделенные и другими функциями (партия, собрание, администрация);
- ассоциативные, т.е. добровольные, специализирующиеся на выражении интересов организации (профсоюзы, группы деловых людей, этнические и религиозные ассоциации граждан).

Французский политолог *М. Дюверже* предложил подразделять группы интересов по критерию их организационных структур на:

- *массовые* (профсоюзы, молодежные организации, организации ветеранов и т.д.);
- *кадровые* (предпринимательские союзы, элитарные организации).

К третьему типу групп интересов Дюверже отнес научно-исследовательские центры и фонды, рекламные агентства. Кроме того, Дюверже различал группы интересов, действующие исключительно в политической сфере, и организации, для которых оказание политического давления составляет лишь какую-то часть их деятельности (профсоюзы, церковь и др.).

Получила распространение типология групп интересов, действующих в определенной общественной сфере — экономической, духовной, социальной или политической. Типология, как раз и ориентированная

на пять различных общественных сфер деятельности заинтересованных групп, была разработана *У. фон Алеманом*:

- 1) организованные интересы в экономической сфере и в мире труда: предпринимательские объединения, профсоюзы, потребительские союзы;
- 2) организованные интересы в социальной сфере: объединения защиты социальных прав (общество слепых, союзы пенсионеров и др.), объединения социальных достижений (благотворительные организации), группы самопомощи (общество анонимных алкоголиков) и др.;
- 3) организованные интересы в сфере досуга и отдыха: спортивные союзы, кружки общения и реализации хобби;
- 4) организованные интересы в сфере религии, науки и культуры: церкви, религиозные секты, научные ассоциации, общеобразовательные кружки, союзы деятелей искусств;
- 5) организованные интересы в общественно-политической сфере: духовные, этические, правозащитные («Международная амнистия», «Врачи без границ»), общественные движения (экологическое, разоруженческое, феминистское).

Существуют и другие классификации заинтересованных групп (например *Ж. Блонделя* и др.), которые выделяют группы организованных и специальных интересов, действующие на различных уровнях общественно-политической жизни, решающие проблемы разного масштаба в зависимости от их взаимодействия с центральными или местными органами власти.

Влияние заинтересованных групп определяется их ресурсами, т.е. количеством членов, экономическим могуществом, ролью, которую они играют в данном обществе, и др. Для достижения своих целей группы интересов применяют самые разные методы. Это и оказание консультационных и экспертных услуг правительству, и разворачивание общественных кампаний, чтобы убедить правящую элиту в законности своих требований, для чего широко используются средства массовой коммуникации. Это и угрозы, и использование «потенциала для шантажа». Если же это не приводит к цели, то могут использоваться деньги, для того чтобы «купить согласие». Наиболее мощные группы интересов могут саботировать действия правительства, например, парализуя производство, затрудняя действия некоторых важных государственных служб или вызывая в стране финансовую панику. Иными словами, ресурсы для достижения групповых интересов охватывают чрезвычайно широкий спектр — от убеждения и консультирования до прямого действия.

Деятельность организованных групп интересов в промышленно развитых странах Запада давно уже регулируется нормативными актами, Основным законом, постулирующим право граждан на объединение. Развитие теории групп интересов тесно связано с реальным политическим процессом, в котором действуют и взаимодействуют самые различные организации, имеющие специфические интересы и специфические организационные структуры. Так, историческое развитие гражданского общества в США свидетельствует о многообразии таких организаций. На это обратил внимание еще *А. де Токвиль*, который подробно описал добровольное участие граждан во всевозможных самоорганизованных ассоциациях и движениях, обобщенно определяемых современной политической наукой понятием «группы интересов».

«Американцы самых различных возрастов, положений и склонностей беспрепятственно объединяются в разные союзы, в которых они все без исключения участвуют: религиозно-нравственные общества, объединения серьезные и пустяковые, общедоступные и замкнутые, многолюдные и насчитывающие всего несколько человек. Американцы объединяются в комитеты для того, чтобы организовывать празднества, основывать школы, строить гостиницы, столовые, церковные здания, распространять книги, посылать миссионеров на другой край света. Таким образом, они возводят больницы, тюрьмы, школы. Идет ли, наконец, речь о том, чтобы проливать свет на истину, или о том, чтобы воспитывать чувства, опираясь на великие примеры, они объединяются в ассоциации».

Эта склонность американцев к объединению для более действенного участия в общественно-политической жизни составляет особенность национальной политической традиции. Современные американцы не утратили эту готовность присоединяться к любой группе, чтобы эффективно влиять на принятие политических решений. Стимулы для объединения могут быть самые различные: от чувства солидарности до стремления к достижению определенных целей, наконец, могут действовать простые материальные стимулы участия. Особенностью американского политического процесса второй половины XX столетия является рост численности и усиление влияния организаций, отстаивающих групповые интересы.

§ 3. Лоббизм в сравнительном измерении

Представительство интересов является одним из важнейших факторов успешного функционирования демократических систем. Однако степень вовлеченности групп интересов в политический процесс не-

динакова, пожалуй, наибольших масштабов она достигла также в США. Именно в американской политической практике зародилась около 200 лет назад и сформировалась особая форма представительства интересов — *лоббирование*. Согласно самому общему определению лоббирование представляет собой практику оказания воздействия на процесс принятия решений и соответственно на лиц, принимающих непосредственное участие в этом процессе. Лоббистская деятельность является одним из механизмов, с помощью которых группы интересов участвуют в процессе принятия политических решений и реализуют на практике свои интересы, цели и задачи, так как заказ таких групп и выполняет лоббист или лоббистская фирма. Современный лоббизм — это система отношений, которая может быть представлена как пирамида, имеющая у основания заинтересованные группы, в середине — экспертов-посредников, а на вершине — политиков.

Лоббист может быть членом группы интересов или же выступать за вознаграждение в качестве агента такой группы. Лоббисты часто называют себя также и представителями, консультантами, агентами или специалистами в области общественных связей. Сегодня влияние лоббистов оказывается настолько велико, что их зачастую называют «третьей палатой» Конгресса США. В XX в. появляются целые сообщества лоббистов — лоббистские фирмы, всецело занятые практикой «продавливания» интересов своих клиентов. Лоббистские функции выполняют многие юридические и адвокатские конторы. Такие фирмы работают на базе контрактов с компаниями, профсоюзами и иными ассоциациями, беря на себя обязательства эффективно представлять их интересы на уровне политической власти. Наиболее крупные лоббистские фирмы могут иметь одновременно до 50 клиентов, — как отдельных лиц, так и компаний и даже целых государств. Лоббистские организации, энергично действующие в политической сфере, представляют прежде всего интересы большого бизнеса и профсоюзов. В вопросах внешней политики все большую роль играют этнические лобби, которые стремятся манипулировать политикой Соединенных Штатов в интересах своих «исторических родин».

Американцы стали первыми, кто попытался поставить контроль лоббистской деятельности на правовую основу. В 1946 г. начал действовать федеральный закон о реорганизации конгресса, третий раздел которого регулировал лоббистский процесс и предъявлял конкретные требования к профессиональным лоббистам. Этот закон, охватывающий лоббизм в законодательном органе, работал почти полвека, однако его действие не распространялось на лоббирование исполнительных орга-

нов власти и особой сферы непрямого лоббизма. Недостаточная проработанность первого закона о лоббизме сказалась на неэффективности его функционирования. Потребовалось почти полвека напряженной работы и борьбы в конгрессе, чтобы заменить его новым законом о раскрытии лоббистской деятельности. В декабре 1995 г. новый закон был подписан президентом и вступил в силу. Его отличают более тщательная проработка понятийного аппарата, четкие требования по регулированию деятельности лоббистов и тех лиц, с которыми они входят в контакт, постоянный контроль со стороны ответственных лиц за регистрационными и отчетными документами и как обязательное условие — ознакомление общественности с деятельностью лоббистов через публикацию их отчетов. Закон распространяется исключительно на «профессиональных» лоббистов, т.е. тех, кто получает вознаграждение за проделанную работу. Закон не рассматривает в качестве таковых тех, кто действует на общественных началах, и потому в нем оговариваются минимальные суммы доходов от лоббистской деятельности и расходов на нее, ниже которых лоббисты не рассматриваются как лоббисты и не подлежат процедуре регистрации и последующего контроля над их действиями.

С. М. Лунсем отмечает еще одно отличие американской модели лоббирования:

«Организация политического воздействия в Соединенных Штатах проявляется несколько по-иному, нежели в других демократических странах. Лоббирование отдельных членов палаты представителей или законодателей в парламентских странах является значительно менее сильным, чем в Америке, поскольку члены парламента в Торонто, в Лондоне или Бонне должны поддерживать политику правительства. А те, кто пытается провести какие-либо законы или отклонить их в таких системах, должны оказывать давление на правительство или партийных лидеров».

Именно поэтому в европейских странах только 15% организованных групп интересов работают с парламентариями, остальные же оказывают давление на исполнительную власть и административные органы.

В современном мире лоббизм стал обязательным атрибутом демократического политического процесса, но его проявление в разных странах зависит от целого комплекса исторически сложившихся форм экономической, социальной и политической жизни того или иного народа. Поэтому в каждой из стран Европы сложилась своя специфическая модель лоббирования. Тем не менее их можно достаточно условно разделить на две группы: в странах первой группы лоббирование законодательно разрешено, здесь тщательно разработана сама схема лоббиро-

вания (Великобритания, ФРГ); во второй группе прямое лоббирование запрещено полностью или частично, что, впрочем, не означает его полного отсутствия (Франция, Италия).

В Великобритании для официальной регистрации лоббист должен заполнить особую форму, в которой фиксируются его имя, название и статус компании, ее дочерние отделения, имена членов парламента, имеющих финансовый интерес в этой компании (за исключением покупки акций), имена всех нанятых лоббирующих сотрудников. Однако при этом не требуется информации о затратах и зарплатах лоббистов, раскрытия контактов с лоббируемыми членами парламента (законодатель счел, что это приведет к нарушению этики и будет способствовать распространению лоббирования без регистрации этого вида деятельности). В Великобритании жалобы членов парламента и представителей зарегистрированных лоббистских фирм рассматриваются Профессиональным комитетом по поведению. В случае поступления жалоб на зарегистрированного лоббиста предусмотрена система принудительных мер и штрафов, возможно также их судебное разбирательство. Наихудший для лоббиста вариант — так называемое «презрение парламента» — созыв закрытого заседания палаты общин в Вестминстере.

Иная ситуация сложилась с представительством и реализацией групповых интересов в **ФРГ**. Немецкая конституция (Основной закон), объявив о свободе союзов, обществ и коалиций, наделила их правом обращаться с соответствующими просьбами и заявлениями к органам государственной власти, т.е. свободного воздействия на исполнительные и законодательные структуры государства. Представители властных структур взаимодействуют с лицами, представляющими групповые интересы в рамках «Положения о регистрации союзов и их представителей при бундестаге» и ст. 10 «Регламента деятельности федерального правительства». Ст. 10 предусматривает, что союзы могут обращаться по интересующему их вопросу к соответствующему министру и лишь в особых случаях к канцлеру.

Однако чаще всего инициатива в подобных контактах принадлежит депутатам и государственным чиновникам (они определяют, с кем конкретно будут иметь дело). Помимо этого имеется «Единое положение о федеральных министерствах», которое дает право последним привлекать к работе над законопроектами вневедомственных экспертов, консультантов, иных представителей «заинтересованных профессиональных кругов». При федеральных министерствах действуют консультативные советы, комитеты, комиссии (больше всего их создано при министерствах экономики и труда — около 90), которые обеспечивают

участие представителей заинтересованных групп в работе по подготовке законопроектов. Причем заинтересованные группы могут инициировать тот или иной законопроект. Для германского бундестага стало обязательным правилом приглашать на обсуждение очередного законопроекта все организации, интересы которых данный законопроект затрагивает. В ФРГ в так называемом «списке лоббистов» бундестага зарегистрировано более 1500 представителей различного рода групп интересов. К ним прежде всего относятся союзы предпринимателей и трудящихся по найму, торговые, промышленные, сельскохозяйственные и прочие палаты, союзы и ассоциации, организованные по региональному и профессиональному принципу, и т.д. По данным на конец XX в., в Германии зарегистрировано 240 000 союзов и объединений, в которые входят более 1,3 млн человек (3,7% всех занятых в ФРГ).

Своеобразие немецкой политической жизни заключается в том, что депутаты высшего законодательного органа могут свободно, без каких-либо ограничений заниматься лоббистской деятельностью или входить в контакт с лоббистами. От депутата требуется лишь заявить о своих связях с заинтересованными организациями и отчитаться перед компетентными государственными органами за использование денежных средств на представительство тех или иных интересов. Относительная свобода действий депутатов в этом направлении дает следующие среднестатистические данные: на каждого депутата бундестага приходится до 20 внешних лоббистов. Если немецкое законодательство запрещает государственным чиновникам получать любые вознаграждения «со стороны», то в отношении депутатов и партийных функционеров закон рассматривает такой акт как дар и налагает на него налог. От депутата требуется официальное оформление любого пожертвования в его адрес. Такую практику можно классифицировать как подкуп законодателя, при этом не подпадающую под действие закона. Попытки все же ограничить действия депутатов исключительно депутатскими полномочиями не имели успеха. Так, в октябре 2006 г. оппозиционные силы в бундестаге попытались, вводя в обиход выражение «стеклянный депутат», продвинуть законопроект, по которому политики обязаны отчитываться перед избирателями о своих заработках помимо основной заработной платы. Однако эта инициатива поддержки не получила.

Такая свобода действий депутатов дает им возможность совмещать свои непосредственные обязанности законодателей с членством в какой-нибудь и даже нескольких предпринимательских структурах. В качестве примера можно привести депутата бундестага (1990–1994) от Свободной демократической партии Отто Ламбсдорфа, который являлся

членом девяти наблюдательных советов и имел должности в десяти правлениях различных объединений и попечительских советов фондов. Одновременно он представлял в Германии интересы японской телекоммуникационной корпорации *NTT*.

Такое относительно свободное проявление лоббизма вызывает к нему критическое отношение со стороны германского общества. Сам термин «лоббизм» воспринимается населением негативно (видимо, поэтому данное понятие в нормативных правовых актах не используется, а применяется термин «представитель групп интересов»). Ряд видных немецких политиков и политологов настаивают на принятии специального закона, ограничивающего и жестко регламентирующего лоббистскую деятельность, прежде всего в законодательном органе страны.

Во **Франции**, чтобы не дать лоббистам действовать напрямую, т.е. непосредственно воздействовать на представителей законодательной и исполнительной власти, на видных политических деятелей, созданы соответствующие государственные структуры для регулирования взаимоотношений, которые складываются между государством и основными заинтересованными группами, сформировавшимися в недрах гражданского общества. К таковым структурам относится Экономический и социальный совет, на который возложены консультативные функции. В состав Совета входят представители профсоюзов, частного промышленного бизнеса, госпредприятий, сельскохозяйственные производители, представители «либеральных профессий», а также кооперативных организаций, ремесленников, работники сфер социальной деятельности — более двухсот человек, частично назначаемых правительством и избранных заинтересованными организациями. Количество занимаемых мест распределены пропорционально значимости представленных организованных интересов. Так, больше всех мест у профсоюзов — 69, частным предприятиям выделено 27, сельскохозяйственным производителям — 25. Остальные представлены более скромно. Французское правительство выделило специально 40 мест наиболее авторитетным ученым и общественно-политическим деятелям, заслужившим признание работникам культуры. Через Совет проходят все законопроекты и законодательные предложения, на которые он дает экспертные заключения. Структурно Совет разбит на девять секций, которые рассматривают определенные проблемы по социальным вопросам, вопросам занятости, экономики регионов, уровня жизни, финансов, внешних связей, производственной деятельности, научных исследований и технологий, развития агропромышленного сектора, а также общие экономические проблемы и конъюнктуру. Каждая секция готовит аналитические

отчеты, экспертные записки, которые поступают на рассмотрение руководящего органа Совета — бюро. По конституции Совет имеет право направлять в сенат и национальное собрание своего представителя для изложения своей позиции по той или иной важной для страны проблеме. Своеобразное положение Экономического и социального совета, выполняющего связующую функцию между заинтересованными группами гражданского общества и органами государственной власти, позволяет ему регулировать поток возникающих в обществе как частных групповых интересов, так и потребностей общественного характера, требующих своего разрешения во внутренней политике государства. Такие же, как Социально-экономический совет во Франции, совещательные органы имеются также в Нидерландах, Испании и Италии.

Помимо центрального консультативного органа во Франции узаконена целая сеть так называемых «исследовательских групп», комитетов и советов при официальных государственных организациях типа Национальной комиссии по информатике и свободам, Национального совета статистики, Национального комитета вина, Комитета по себестоимости производства вооружений и др. В стране в начале нового века действовало не менее 500 комитетов, 1200 советов и 3000 комиссий, под «крышей» которых осуществляются контакты между представителями государства и групп интересов. Представители законодательного органа страны делегируются им для связи этих организаций с соответствующими парламентскими постоянными комиссиями в целях сотрудничества в законодательном процессе. Такие структуры способствуют приданию узкогрупповым интересам общенационального характера, таким образом, смягчаются негативные моменты, сопутствующие лоббизму в виде коррупции, взяточничества, доминирования сильных за счет слабых и др.

Сложившаяся практика лоббистской деятельности показывает, что самым мощным лоббистом был и остается бизнес. Его влияние может выходить за национальные рамки и проявляться на «наднациональном» уровне. Существующие законодательства по лоббизму, как правило, особо выделяют деятельность иностранных лоббистов или лоббистов, проводящих интересы иностранной компании или фирмы. Делается это прежде всего для того, чтобы оградить интересы национальной экономики. В условиях Европы сделать это становится все труднее в силу высокой степени европейской экономической интеграции. Приоритет общеевропейских законов над национальными (национальные законы стран—участниц Европейского союза должны корректироваться в данном случае) заставляет заинтересованные группы бизнеса лоббировать структуры Европейского союза с целью изменить с их помощью дей-

ствующее в той или иной стране законодательство в нужном для себя направлении. Постоянное динамичное развитие интеграционных процессов и расширение сферы компетенции наднациональных органов Европейского союза способствуют бурному прогрессированию лоббизма на европейском уровне. Так, по официальным данным, в 1991—1992 гг. в Брюсселе работало около 3000 лоббистских организаций и в активную лоббистскую деятельность были включены 10 000 лоббистов. Причем группы коммерческих интересов стократно превышали группы общественных интересов. Такое положение дел заставляет официальные органы ЕС принимать меры, регулирующие их отношения с заинтересованными группами и организациями.

С этой целью в рамках ЕС создан специальный консультативный орган — Экономический и социальный комитет для организации встреч и обсуждения вопросов и выработки рекомендательных решений, затрагивающих интересы предпринимателей, лиц наемного труда и различных групп интересов.

«Действующий принцип, согласно которому Комитет должен вырабатывать единую рекомендацию по определенным вопросам, способствует согласованию разнообразных интересов. В результате совещательный орган выполняет функции артикуляции и согласования интересов, что принципиально важно для политической системы ЕС, которая выдерживает огромный поток информации “на входе”» (А. В. Тарасенко).

Однако прежде всего «евролоббисты» нацелены на структуры, «пропускающие» через себя соответствующие законопроекты, которые в ходе консультаций на конечном этапе становятся директивами, т.е. официальными нормативными актами ЕС. Прежде чем законопроект получит силу закона, он подлежит обсуждению в Европарламенте, Совете ЕС, комитете постоянных представителей и так называемых особых комитетах. Важная роль в законотворческом процессе отводится Европейской комиссии, которая на начальном этапе публикует проекты, и она же должна привлекать к сотрудничеству в работе над ними заинтересованных лиц. Для более эффективного влияния на структуры ЕС заинтересованные группы также стремятся организоваться на европейском «национальном» уровне. Удачнее всего действуют в этом направлении предпринимательские круги. Создан Союз конфедераций промышленников и работодателей Европы, функционируют европейские объединения по отдельным отраслям промышленности и экономики, к их числу можно отнести Европейский совет федераций химической промышленности, а также Европейскую ассоциацию банков. Формируются и действуют неформальные структуры бизнеса, такие как «Ев-

ропейский круглый стол промышленников», функционирующий по типу клубов, в списке членов которого значится 45 владельцев и менеджеров крупнейших компаний Европы. По значимости влияния следующими за группами интересов бизнеса можно поставить их «социальных партнеров» — профсоюзы, выражающие интересы лиц наемного труда. Профсоюзам удалось объединиться в Европейскую конфедерацию профсоюзов, которая в 1980-е годы развернула дискуссию о «Европейской социальной хартии». Другие группы интересов менее заметны на европейском уровне, хотя их значимость — прежде всего экологических организаций, союзов потребителей — постоянно возрастает. Сегодня уже созданы европейские ассоциации НКО, включающие значительное число общественных национальных объединений такого рода, достаточно назвать «Комитет по контактам и развитию НКО», «Платформу Европейских социально ориентированных НКО», «Восьмерку зеленых» и др.

§ 4. Практика неокорпоратизма и плюрализма

Сторонники концепции либерального корпоратизма считают, что заинтересованные группы выполняют в условиях демократии наряду с артикуляцией интересов чрезвычайно важную функцию контроля над деятельностью государственной администрации (подразделения которой сами являются группами интересов).

«Для того чтобы система плюрализма и демократии была работоспособной в административной сфере, — пишет, в частности, *Дж. Ла Паломбара*, — необходимо согласиться с тем основополагающим фактом, что большинство предъявляемых правительству требований выражают частные интересы и они не обязательно имеют в виду общие интересы и “благо нации”. Необходимо признать также, что государственно-административная система сама расчленена в соответствии со сферами политики и что подразделения государственной администрации во всех странах борются друг с другом за свою долю государственных расходов и ресурсов, которыми неизбежно подкрепляется политика».

Для каждой из этих административных сфер существует своя, естественная клиентела среди населения. Эти клиентельные группы и нужно поощрять к установлению регулярных и стабильных контактов со своими контрагентами в государственной администрации (например, руководителей промышленности и рабочих — с министерством промышленности, пожилых — с органами пенсионной системы, фермеров — с министерством сельского хозяйства и т.д.).

«...Если естественная клиентела каждого из этих административных секторов еще не создана, то само государство должно постараться создать такие организации, которые так же необходимы для обеспечения жизнеспособности демократической полиархии, как и политические партии страны. Ибо без них политика, продиктованная партиями, имеющими большинство в законодательных органах, либо останется на бумаге, либо будет осуществляться государственными чиновниками как им заблагорассудится».

Действительно, функцию выразителя групповых интересов сегодня все больше берут на себя многочисленные общественные ассоциации, «благодаря корпоративным механизмам взаимодействия с государством участвующие и в процессе агрегирования, взаимной притирки этих интересов. ...В подготовке и принятии социально-экономических решений они нередко оказываются более эффективными, нежели инструменты традиционной, партийной политики. Этому способствует широкое распространение во всех развитых странах органов функционального представительства, берущих на себя задачу согласования интересов в отдельных сферах» (К. Г. Холодковский). Важно отметить, что группам интересов перешла та функция, исполнение которой и делало партии представителями гражданского общества. Однако группы интересов по определению не могут претендовать на легитимное представительство большинства и на осуществление власти от его имени. В отличие от политических партий они и призваны артикулировать частные интересы, фрагментируя и разделяя тем самым общество на сегменты с несовпадающими интересами.

Как отмечают исследователи, наибольших успехов в реализации неокорпоративистской модели добились «малые европейские страны с хорошо организованными ассоциациями интересов и крайне уязвимыми интернационализированными экономиками. Корпоративистские тенденции просматривались особенно отчетливо, если в таких странах имелись мощные социал-демократические партии, сохранялись устойчивые электоральные предпочтения, если они обладали относительным культурным и языковым единством и соблюдали нейтралитет во внешней политике» (Ф. Шмиттер). Это прежде всего скандинавские страны и Австрия.

К наиболее важным характеристикам *неокорпоративистской модели* принято относить следующие:

- специфический, централизованный механизм артикуляции интересов;
- характерный способ распределения экономических и политических ценностей — по результатам переговоров;

- высокая степень ангажированности партнеров в процессе осуществления совместно выработанных решений, а также зависимость эффективности в реализации соглашений от силы и представительности отдельных структур (*Р. Хербут*).

В этом смысле особенно характерна австрийская модель неокорпоративизма, не случайно термин «социальное партнерство» возник применительно к австрийской системе распределения социальных благ и совместного управления социальными конфликтами, возникающими в связи с этим. Обычно указывают на три основные черты этой системы:

- 1) институализированная система консенсуального политического компромисса между большими группами интересов;
- 2) институализированная и централизованная кооперация между представителями секторов труда, капитала и агентами государства;
- 3) демократическая система управления предприятиями.

В других странах, где неокорпоративизм имел меньший успех (Великобритания, США и др.) действует *плюралистская модель* взаимодействия групп интересов. При плюрализме группы интересов осуществляют давление на политические элиты более спонтанным образом. Одной из важнейших черт плюрализма является большое число акторов, участвующих в политическом процессе. Ключевым положением этого подхода является представление о том, что содержание политического процесса представляет собой итог влияния многочисленных групповых интересов, что переводит проблему политического участия в плоскость проблемы включения человека в политическую систему. Структура политического участия предстает как система организованного политического давления на правительство. Отсюда значимость организованности давления. Те группы, которые лишены достаточной степени организованности, должны выработать ее, чтобы приобрести способность эффективного давления. Плюралистическое распределение благ имеет более стихийный характер, близкий к рыночной конкуренции. Перераспределение благ и привилегий является эффектом организованного давления, а процесс принятия политических решений происходит в результате острой конкуренции, а не сотрудничества групп интересов, поскольку малые группы интересов относительно редко руководствуются ценностями, связанными с общественным интересом, ориентируясь по преимуществу на получение групповой выгоды.

Плюрализм предполагает, что оптимальным путем, делающим возможным изменение социально-экономической системы в сторону большей справедливости и создающим благоприятные условия для дости-

жения политического консенсуса, является свободная игра интересов. Однако, во-первых, остается неясным, почему максимизаторы личной выгоды будут сознательно жертвовать чем-то для того, чтобы их группа добилась коллективных политических целей (см. «эффект безбилетника» — глава 4).

Во-вторых, плюралисты игнорируют существующее в реальной политической жизни различие между сравнительно небольшими привилегированными группами, с одной стороны, и гораздо более массовыми общностями — с другой. Первые представляют собой группы индивидов, сознательно образующих организацию, способную обеспечить достижение целей и опирающихся на значительные ресурсы давления. Вторые состоят из большого числа индивидов, которые не осознают или не имеют возможности осознать общие интересы и цели. Их групповой потенциал является латентным. Индивидуальная активность в рамках привилегированных групп строится с учетом групповых интересов, ради которых члены такой группы идут на определенные жертвы, т.е. группы консолидированы. В рамках больших латентных групп индивиды, как правило, не склонны уделять часть своих ресурсов для создания и поддержания организации.

Попытка устранить это затруднение предпринимается при помощи указания на то, что латентные группы, несмотря на неорганизованность, обладают высокой степенью потенциального давления, которое может быть реализовано вследствие активности лидеров. В условиях угрозы групповым интересам лидеры привносят в группу организацию. Не случайно неокорпоративизм главную роль приписывает кооперации и координации интересов, которые ведут к широким социальным соглашениям.

Таким образом, роль средства для укрепления демократии групповая активность может выполнять только в том случае, если в нее сознательно и эффективно вовлечено большинство членов сообщества. Если же это не так, участие в деятельности групп формирует новое измерение социального и политического неравенства, что порождает почву для дестабилизации политических систем.

Роль лидеров может быть положительной, если они разделяют ценности данной системы и стремятся только к восстановлению баланса политического влияния между группами. Однако лидерство может приобрести и отрицательный характер, если лидеры стремятся к экстремистской организации членов латентных групп на основе ущемленности их группового политического статуса.

Однако очевидно, что как та, так и другая модель является идеальной конструкцией, на практике же действуют смешанные системы взаимодействия групп интересов.

Тем не менее данные теории позволяют существенно расширить представления о современной демократии, вместе с тем они способны указать на угрозы демократии, таящиеся в проблематике участия. Они указывают на существование в обществе большого числа групп, которые лишены организации и не способны активно представлять свои интересы. Это «забытые группы», те, «кто страдает в молчании». В то же время чрезмерная активность латентных групп способна привести к дестабилизации политической системы, перегрузке ее требованиями, так как групп интересов такого рода очень много.

Большинство наблюдателей, вне зависимости от их оценки практики неокорпоратизма и плюрализма, признают, что под ее воздействием происходит постепенная трансформация современных демократий. Противники пишут о господстве профсоюзов и «профсоюзном государстве». Странники говорят о появлении системы «организованного капитализма». Неангажированные исследователи констатируют:

«Наряду с индивидами (если не взамен последних) своего рода гражданами становятся организации. Степень подотчетности [властей] и их восприимчивости [к нуждам граждан] возрастает, но за счет снижения степени участия индивидов [в политической жизни] и их доступа [к принятию решений]. Конкуренция внутри организаций начинает заменять конкуренцию между организациями. Развитие данной тенденции происходит неравномерно, не все ее признают, и далеко не очевидно, каков в конечном счете будет результат; и все же практически во всех современных обществах демократия становится все более связанной “интересами”, все более “организованной” и все более “непрямой”» (Ф. Шмидтер)¹.

И все-таки почему, несмотря на целый ряд негативных моментов (прежде всего это неравномерность ресурсов различных групп интересов и возможность доминирования нескольких наиболее мощных из них, большая вероятность использования незаконных способов давления на власть), неокорпоратизм в целом способствует укреплению западной демократии и сохранению социального мира?

Во-первых, это наличие независимых от государства групп интересов, нацеленных на взаимодействие с ним ради укрепления социального партнерства и повышения политической и экономической эффективности системы.

Во-вторых, это та или иная степень институализации этого взаимодействия, а также способность государства «навязывать» в ходе пере-

¹ «Наше общество, — пишут норвежские политологи, — следовало бы охарактеризовать как общество организаций».

говоров общенациональные приоритеты и защищать интересы «слабых» групп.

В-третьих, это соблюдение всеми сторонами взятых на себя обязательств и соответствующая система контроля за их применением.

В-четвертых, они не пытаются подменять партии и другие институты, выполняя свои специфические задачи, определяемые корпоративными интересами их членов. Форма их воздействия на власть, как правило, сводится к выявлению и постановке проблем, экспертной оценке законопроектов и решений правительства, разработке рекомендаций по совершенствованию принимаемых законодательных актов и т.д.

Для нынешней российской действительности характерно то, что:

- в структуре групповых интересов доминируют те, которые обладают наибольшими ресурсами давления;
- политическая система не реагирует на импульсы, идущие от массовых категорий населения, поскольку не обладает эффективными механизмами обратной связи;
- закон, устанавливающий «правила игры» для групп интересов, не принимается (с 1995 г.), а принятые правовые акты зачастую не работают или открыто игнорируются чиновниками;
- состояние общественной морали оставляет желать лучшего;
- спрос на бюджетный пирог по-прежнему огромен.

В результате можно констатировать, что в России сложились чрезвычайно благоприятные условия для расцвета группового эгоизма «сильных» за счет ущемления интересов «слабых» и становления кланово-корпоративной системы власти. В этих условиях опыт западного зрелого неокорпоратизма мог бы сыграть позитивную роль в становлении цивилизованной системы взаимодействий российских заинтересованных групп и власти.

МЕТОД ДЕЛИТЕЛЕЙ. Преимуществом этого метода является то, что он позволяет сразу распределить все места в региональном многомандатном или в общенациональном округе, без повторного распределения как часто бывает при использовании метода квоты. Метод состоит в последовательном делении полученных партийными списками голосов на серию делителей.

Существуют различные наборы делителей:

- по методу профессора В. д'Ондта делители составляют следующий ряд: 1–2–3–4–5 и т.д.;
- по методу Империилли: 2–3–4–5 и т.д.;
- по методу А. Сент-Ланге: 1–3–5–7 и т.д.;
- «умеренный или модифицированный метод Сент-Ланге» образует следующий ряд: 1, 4–3–5–7 и т.д.;
- при датском методе делители выражаются цифрами: 1–4–7–10 и т.д.

Во всех случаях при использовании метода делителей места передаются партийным спискам, имеющим наибольшие цифры в числе, равно количеству причитающихся округу мест.

Предположим, что в округе, от которого избирается 8 депутатов, списки получили: «А» — 126 тыс. голосов; «В» — 94 тыс.; «С» — 88 тыс.; «Д» — 65 тыс.; «Е» — 27 тыс.

- По методу д'Ондта места будут распределены:

Делители	Список «А»	Список «В»	Список «С»	Список «Д»	Список «Е»
1	126 000 (1)	94 000 (2)	88 000 (3)	65 000 (4)	27 000
2	63 000 (5)	47 000 (6)	44 000 (7)	32 500	13 500
3	42 000 (8)	31 333	29333	21 250	9 000

- При применении метода Империилли места будут распределены:

Делители	Список «А»	Список «В»	Список «С»	Список «Д»	Список «Е»
2	63 000 (1)	47 000 (2)	44 000 (3)	32 500 (5)	13 500
3	42 000 (4)	31 333 (7)	29 333 (8)	21 250	9 000
4	31 500 (6)	23 500	22 000	16 250	6 750

- При применении метода Сент-Ланге места будут распределены:

Делители	Список «А»	Список «В»	Список «С»	Список «Д»	Список «Е»
1	126 000 (1)	94 000 (2)	88 000 (3)	65 000 (4)	27 000 (8)
3	42 000 (5)	31 333 (6)	29 333 (7)	21 250	9 000
5	25 200	18 800	17 600	13 000	5 400

■ При применении *модифицированного метода Сент-Ланге* места будут распределены:

Делители	Список «А»	Список «В»	Список «С»	Список «Д»	Список «Е»
1, 4	90 000 (1)	67 142 (2)	62 857 (3)	46 428 (4)	19 286
3	42 000 (5)	31 333 (6)	29 333 (7)	21 250	9 000
5	25 200 (8)	18 800	17 600	13 000	5 400

■ При применении *датского метода* распределение мест будет:

Делители	Список «А»	Список «В»	Список «С»	Список «Д»	Список «Е»
1	126 000 (1)	94 000 (2)	88 000 (3)	65 000 (4)	27 000 (6)
4	31 500 (5)	23 500 (7)	22 000 (8)	16 250	6 750
7	18 000	13 428	12 571	9 285	3 857

Исследователи отмечают, что метод д’Ондта несколько благоприятнее для крупных политических партий, а метод Сент-Ланге и датский метод — для небольших партий. В то же время принято считать, что модифицированный метод Сент-Ланге несколько усиливает преимущества «средних» партий.

МЕТОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КВОТЫ — это способ распределения мест между партийными списками, в основе которого лежит квота (частное), получаемая от деления поданных за список голосов на число распределяемых в округе мест или число мест, увеличенное на одну или несколько единиц в зависимости от модификации применяемого метода квот.

При применении метода избирательной квоты обычно все места сразу не распределяются, и потому после его применения нужно привлечь еще один способ распределения оставшихся мест. Такими способами могут быть метод делителей, метод наибольшего остатка, метод наибольшей средней и др.

Применяется несколько модификаций квот:

- *Квота Хэра* выражается простейшей формулой x/y , где x число голосов, а y — число мест.
- Наиболее часто применяется на практике квота *Гогенбаха—Бишофа*, которая выражается формулой $x/(y + 1)$.
- *Квота Друпа* выражается формулой $(x + 1)/(y + 1)$.

Предположим, что в округе, от которого избирается 8 депутатов. списки получили: «А» — 126 тыс. голосов; «В» — 94 тыс.; «С» — 88 тыс.; «Д» — 65 тыс.; «Е» — 27 тыс.

Если применять *метод Т. Хэра*, то избирательная квота составит:

$$400 \text{ тыс. голосов} : 8 = 50 \text{ тыс. голосов.}$$

Списки	Список «А»	Список «В»	Список «С»	Список «Д»	Список «Е»
Число полученных голосов	126 000	94 000	88 000	65 000	27 000

Окончание

Списки	Список «А»	Список «В»	Список «С»	Список «Д»	Список «Е»
Полученные места	2	1	1	1	0
Остатки	26 000	44 000	38 000	15 000	27 000

Если для второго распределения применяется метод наибольшего остатка, то нераспределенные три места получат списки «В», «С», и «Е». В данном случае список «А» потеряет 26 тыс. голосов, а список «Д» — 15 тыс., что нежелательно.

При применении *метода Гогенбаха—Бишофа* квота будет:

400 тыс. голосов: $(8 + 1) + = 44\,444$ тыс. голосов

Списки	Список «А»	Список «В»	Список «С»	Список «Д»	Список «Е»
Число полученных голосов	126 000	94 000	88 000	65 000	27 000
Полученные места	2	2	1	1	0
Остатки	37 112	5 112	43 556	20 556	27 000

В этом случае распределяются с первого раза уже шесть мест; седьмое и восьмое, если применяется метод наибольшего остатка, передаются спискам «С» и «А». Исследователями замечено, что правило наибольшего остатка (особенно при применении квоты Т. Хэра) в определенной мере благоприятствует небольшим партиям, имеющим в этом случае «подбирать» оставшиеся места после первого распределения. Впрочем, как уже отмечалось, после первого распределения по методу квоты могут применяться и другие методы, в частности метод наибольшей средней. Однако поскольку этот метод дает результат, аналогичный тому, который получают при использовании метода д'Ондта, то зачастую правило наибольшей средней и метод д'Ондта отождествляются.

Рекомендуемая литература

К главе 1

Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор. М., 2002.

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993.

Ачкасов В. А. Сравнительная политология: Курс лекций. СПб., 2002.

Голосов Г. В. Сравнительная политология: Учебник. СПб., 2001.

Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М., 1994.

Ильин М. В., Сморгунов Л. В. Сравнительная политология // Политическая наука. 2001. № 2. Зарубежная политология в XX столетии. М., 2001.

Истон Д. Категории системного анализа политики // Антология политической мысли. М., 1997. Т. 2.

Кон М. Межгосударственные исследования как стратегия анализа // Сравнительная социология: Избранные переводы. М., 1995.

Мангейм Дж., Рич Р. Политология. Методы исследования. М., 1997.

Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997.

Сморгунов Л. В. Современная сравнительная политология: Учебник. М., 2002.

Сморгунов Л. Сравнительная политология: Теория и методология измерения демократии. СПб., 1999.

Сравнительная политология: Хрестоматия / Сост. А. Галкина, Г. Голосов. М., 1997.
Теория и методы в современной политической науке: Первая попытка теоретического синтеза / Под ред. С. У. Ларсена. М., 2009.

Чилкот Р. Х. Теории сравнительной политологии. В поисках парадигмы. М., 2001.

Шаран П. Сравнительная политология: В 2 ч. М., 1992.

К главе 2

Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. М., 1997.

Дежарев А. А. Основы политической теории. М., 1998.

Истон Д. Категории системного анализа политики // Антология политической мысли. М., 1997. Т. 2.

Каменская Г. В., Родионов А. В. Политические системы современности. М., 1994.

Парсонс Т. Система современного общества. М., 1998.

Политическая наука: новые направления / Науч. ред. Е. Б. Шестопад. М., 1999.

Политические системы и политические культуры Востока / Под ред. А. Д. Воскресенского. М., 2007.

Сравнительная политика: Основные политические системы современного мира / Под ред. В. С. Бакирова, Н. И. Сазонова. Харьков, 2005.

Хаттингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004.

Чилкот Р. Х. Теории сравнительной политологии. В поисках парадигмы. М., 2001.

Шаран П. Сравнительная политология. М., 1992. Ч. I.

Эндрейн Ч. Ф. Сравнительный анализ политических систем. Эффективность осуществления политического курса и социальные преобразования. М., 2000.

К главе 3

Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор. М., 2002.

Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. М., 1997.

Дегтярев А. А. Основы политической теории. М., 1998.

Дербишайр Дж., Дербишайр Я. Политические системы мира. М., 2004.

Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М., 1994.

Политическая наука: новые направления / Науч. ред. Е. Б. Шестопал. М., 1999.

Сморгунов Л. Сравнительная политология: Теория и методология измерения демократии. СПб., 1999.

Сравнительная политика: Основные политические системы современного мира / Под ред. В. С. Бакирова, Н. И. Сазонова. Харьков, 2005.

Теория и методы в современной политической науке: Первая попытка теоретического синтеза / Под ред. С. У. Ларсена. М., 2009.

Чилкот Р. Х. Теории сравнительной политологии. В поисках парадигмы. М., 2001.

Шаран П. Сравнительная политология. М., 1992. Ч. I.

К главе 4

Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики // Вопросы экономики. 1994. № 6.

Голосов Г. В. Сравнительная политология. СПб., 2001.

Нейман Дж. Теория игр и экономическое поведение / Дж. Нейман, О. Моргенштерн. М., 1970.

Нуреев Р. Теория общественного выбора: Курс лекций. М., 2005.

Олейник А. Институциональная экономика. Теория игр и моделирование взаимодействий // Вопросы экономики. 1999. № 5. С. 138–151.

Олейник А. Н. Институциональные аспекты социально-экономических трансформаций. М., 2000.

Олсон М. Логика коллективных действий. М., 1995.

Политическая наука: Новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М., 1999.

Рациональный выбор в политике и в управлении / Под ред. Л. В. Сморгунова. СПб., 1998.

Саймон Г. А. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении // Теория фирмы. СПб., 1995.

Сэндлер Т. Экономические концепции для общественных наук. М., 2006.

Теория и методы в современной политической науке: Первая попытка теоретического синтеза / Под ред. С. У. Ларсена. М., 2009.

Хиришман А. О. Выход, голос и верность: Реакция на упадок фирм, организаций и государств. М., 2009.

Цебелис Дж. В защиту теории рационального выбора // Современная сравнительная политология: Хрестоматия / Науч. ред. Г. В. Голосов. М., 1997.

Швери Р. Теория рационального выбора: Универсальное средство или экономический империализм // Вопросы экономики. 1997. № 7.

К главе 5

Бьюкенен Д. Сочинения. М., 1997. Т. 1.

Институциональная политология: Современный институционализм и политическая трансформация России / Под ред. С. В. Патрушева. М., 2006.

Институциональная теория и ее прикладные аспекты // Вопросы экономики. 1997. № 3.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997.

Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М., 2010.

Олсон М. Возвышение и упадок народов. Новосибирск, 1998.

Олсон М. Логика коллективного действия. М., 1995.

Ордешиук П. Эволюция политической теории Запада и проблемы институционального дизайна // Вопросы философии. 1994. № 3.

Патнем Р. Чтобы демократия сработала. М., 1996.

Политическая наука: Новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М., 1999.

Сморгунов Л. В. Современная сравнительная политология: Учебник. М., 2002.

Сморгунов Л. Сравнительная политология: Теория и методология измерения демократии. СПб., 1999.

Современные институциональные исследования: Состояние, проблемы, перспективы / Ред.-сост. О. Ю. Малинова, П. В. Панов, С. В. Патрушев // Политическая наука: Сб. науч. тр. М.: ИНИОН, 2009. № 3.

Сэндлер Т. Экономические концепции для общественных наук. М., 2006.

Теория и методы в современной политической науке: Первая попытка теоретического синтеза / Под ред. С. У. Ларсена. М., 2009.

Фукуяма Фр. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. М., 2006.

К главе 6

Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996.

Арон Р. Тоталитаризм и демократия. М., 1993.

Бенетон Ф. Введение в политическую науку. М., 2002.

Бжезинский Зб. Большой провал: Рождение и смерть коммунизма в двадцатом веке. Нью-Йорк, 1999.

Гаджиев К. С. Тоталитаризм как феномен XX века // Вопросы философии. 1992. № 2.

Гельман В. Я. Трансформация и режимы: Неопределенность и ее последствия // Россия регионов: Трансформация политических режимов. М., 2000.

Голосов Г. В. Сравнительная политология: Учебник. СПб., 2001.

Гудков Л. Исследования постсоветской России в свете теории тоталитаризма // Куда идет Россия? Формальные институты и реальные практики / Под ред. Т. И. Заславской. М., 2002.

Желев Ж. Фашизм. Тоталитарное государство. М., 1991.

Игрицкий Ю. И. Тоталитаризм вчера, сегодня... завтра? // Полис. 1998. № 4.

Медушевский А. Н. Сравнительное конституционное право и политические институты. М., 2002.

Сравнительная политика: Основные политические системы современного мира / Под ред. В. С. Бакирова, Н. И. Сазонова. Харьков, 2005.

Тоталитаризм: Что это такое? (Исследования зарубежных политологов). М., 1993. Ч. 1, 2.

Цыганков В. Современные политические режимы: Структура, типология, динамика. М., 1995.

Эндрейн Ч. Ф. Сравнительный анализ политических систем. Эффективность осуществления политического курса и социальные преобразования. М., 2000.

К главе 7

- Бешлер Ж.* Демократия: Аналитический очерк. М., 1994.
- Воскресенский А. Д.* Политические системы и модели демократии на Востоке. М., 2007.
- Гомберт Т., Блезюс Ю., Крелль К., Тимпе М.* Основы социальной демократии. М., 2010.
- Даль Р.* Введение в теорию демократии. М., 1992.
- Даль Р.* Введение в экономическую демократию. М., 1991.
- Даль Р.* Демократия и ее критики. М., 2003.
- Даль Р.* О демократии. М., 1999.
- Даль Р.* Полиархия: Представительство и оппозиция. М., 2010.
- Демократия в современном мире / Под общ. ред. Я. А. Пляйса и А. Б. Шатилова. М., 2009.
- Демократия: Теория и практика. М., 1995.
- Захария Ф.* Будущее свободы: Нелиберальная демократия в США и за их пределами. М., 2004.
- Зидентоп Л.* Демократия в Европе. М., 2001.
- Крауч К.* Постдемократия. М., 2010.
- Лейтхарт А.* Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное исследование. М., 1997.
- Липсет С.* Американская демократия в сравнительной перспективе // Сравнительная социология. Избранные переводы. М., 1995.
- Салмин А. М.* Современная демократия: Очерки становления. 2-е изд. М., 1997.
- Сморгунов Л. В.* Современная сравнительная политология: Учебник. М., 2002.
- Сравнительная политика: Основные политические системы современного мира / Под ред. В. С. Бакирова, Н. И. Сазонова. Харьков, 2005.
- Теория и практика демократии: Избранные тексты / Пер. с англ.; Под ред. В. Л. Иноземцева, Б. Г. Капустина. М., 2006.
- Тилли Ч.* Демократия. М., 2007.
- Шумпетер Й.* Капитализм, социализм и демократия. М., 1995.

К главе 8

- Алмонд Г., Верба С.* Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. 1992. № 4.
- Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р.* Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор. М., 2002.
- Ачкасов В. А., Бабаев С. А.* «Мобилизованная этничность»: Этническое измерение политической культуры современной России. СПб., 2000.
- Баталов Э. Я., Журавлева В. Ю., Хозинская К. В.* «Рычащий медведь» на «диком Востоке» (Образы современной России в работах американских авторов: 1992–2007). М., 2009.
- Баталов Э. Я.* Политическая культура современного американского общества. М., 1990.
- Глебова И. И.* Политическая культура России: Образы прошлого и современность. М., 2006.
- Инглхарт Р.* Постмодерн: Меняющиеся ценности и изменяющиеся общества / Полис. 1997. № 4.
- Пай Л.* Незападный политический процесс // Политическая наука. 2003. № 2.
- Пивоваров Ю. С.* Политическая культура: Методологический очерк. М., 1996.
- Политическая культура: Теория и национальные модели / Отв. ред. К. С. Гаджиев. М., 1994.

Политические системы и политические культуры Востока / Под ред. А. Д. Воскресенского. М., 2007.

Рукавишников В. О., Халман Л., Эстер П. Политическая культура и социальные изменения: Международные сравнения. М., 1998.

Теория и практика демократии: Избранные тексты / Пер. с англ.; Под ред. В. Л. Иноземцева, Б. Г. Капустина. М., 2006.

Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М., 2004.

К главе 9

Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000.

Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.

Ачкасов В. А. Этнополитология: Учебник. СПб., 2005.

Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс: Двусмысленные идентичности. М., 2004.

Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991.

Калхун К. Национализм. М., 2006.

Категории политической науки: Учебник. М., 2002.

Коротеева В. В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. М., 1999.

Малахов В. С. Национализм как политическая идеология: Учеб. пособие. М., 2005.

Миллер А. Национализм и империи. М., 2005.

Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М., 2002.

Национализм в поздне- и посткоммунистической Европе: В 3 т. / Под общ. ред. Э. Яна. М., 2010.

Национализм и популизм в Восточной Европе: Сб. науч. трудов / Отв. ред. Ю. И. Игрицкий. М., 2007.

Смит Э. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма. М., 2004.

Тишков В. А. Этнология и политика: Статьи 1989–2004 гг. М., 2005.

Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М., 2004.

Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб., 1998.

Этнос и политика: Хрестоматия / Авт.-сост. А. А. Прусаускас. М., 2000.

К главе 10

Гельман В. Как выйти из неопределенности? // Pro et contra. М., 1998. Т. 3. № 3. На путях к демократии.

Гельман В. Трансформация в России: Политический режим и демократическая оппозиция. М., 1999.

Гельман В. Я. Трансформация и режимы: Неопределенность и ее последствия // Россия регионов: Трансформация политических режимов. М., 2000.

Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? // Полис. 1999. № 1.

Карозерс Т. Конец парадигмы транзита // Политическая наука. 2003. № 2.

Мельвиль А. Ю. Демократические транзиты: Теоретико-методологические и прикладные аспекты. М., 1999.

Мельвиль А. Ю. О траекториях посткоммунистических трансформаций // Полис. 2004. № 2.

Политическая наука: Сб. науч. тр. М.: ИНИОН, 2007. № 3: Государства в политическом пространстве современности / Ред.-сост. А. Ю. Мельвиль, М. Г. Миронюк.

- Пределы власти. М., 1994. № 2, 3.
- Пишеворский А.* Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке. М., 1999.
- Растоу Д. А.* Переходы к демократии: Попытка динамической модели // Полис. 1996. № 5.
- Риггс Ф.* Сравнительная оценка президентской формы правления // Сравнительная социология: Избр. переводы. М., 1995.
- Сморгунов Л. В.* Современная сравнительная политология: Учебник. М., 2002.
- Сравнительная политология: Демократия, национализм, режимы третьего мира, правящий класс // Международный журнал социальных наук. 1993. № 3.
- Теория и практика демократии: Избранные тексты / Пер. с англ.; Под ред. В. Л. Иноземцева, Б. Г. Капустина. М., 2006.
- Уайт Ст.* Еще раз о посткоммунистической транзиции // Социс. 2003. № 11.
- Хантингтон С.* Политический порядок в изменяющихся обществах. М., 2004.
- Хантингтон С.* Третья волна. Демократизация в конце XX века. М., 2003.

К главе 11

- Джанда К.* Сравнение политических партий: Исследования и теория // Современная сравнительная политология: Хрестоматия / Науч. ред. Г. В. Голосов. М., 1997.
- Джордан Г.* Группы давления, партии и социальные движения: Есть ли потребность в новых разграничениях? // Мировая экономика и международные отношения. 1997. № 1.
- Дюверже М.* Политические партии. М., 2000.
- Зульбах В.* Основы образования политических партий. М., 2006.
- Кулик А. Н.* Сравнительный анализ в партологии (проект К. Джанды) // Полис. 1993. № 1.
- Малов Ю. К.* Введение в теорию политических партий (обзор идей и концепций). М., 2005.
- Мишель Р.* Главы из книги: «Социология политической партии в условиях демократии» // Диалог. 1990. № 3, 5, 7.
- Основы теории политических партий: Учеб. пособие / Под ред. С. Е. Заславского. М., 2007.
- Острогорский М. Я.* Демократия и политические партии. М., 1997.
- Спаский Е. Н.* Политические партии западных стран: Теория и современное состояние. Хабаровск, 2008.
- Теория и практика демократии: Избранные тексты / Пер. с англ.; Под ред. В. Л. Иноземцева, Б. Г. Капустина. М., 2006.
- Теория партий и партийных систем: Хрестоматия / Сост. Б. А. Исаев. М., 2008.
- Шмачкова Т. В.* Мир политических партий // Полис. 1992. № 1, 2.

К главе 12

- Алескеров Ф. Т., Ордешук П.* Выборы. Голосование. Партии. М., 1995.
- Голосов Г. В.* Партийные системы России и стран Восточной Европы: Генезис, структуры, динамика. М., 1999.
- Дюверже М.* Политические партии. М., 2000.
- Кулик А. Н.* Сравнительный анализ в партологии (проект К. Джанды) // Полис. 1993. № 1.
- Партии и выборы: Хрестоматия / Отв. ред. и сост. Н. В. Анохина, Е. Ю. Мелешкина. М., 2004. Ч. 1, 2.
- Политическая конкуренция и партии в государствах постсоветского пространства. Сб. ст. / Ред.-сост. Е. Ю. Мелешкина, Г. М. Михайлова. М.: ИНИОН, 2009.

Политическая наука: Политические партии и партийные системы в современном мире. Сб. науч. тр. / Ред. и сост. А. Н. Кулик, Е. Ю. Мелешкина. М.: ИНИОН, 2006. № 1.

Политическая наука: Социально-политические размежевания и консолидация партийных систем. Сб. науч. тр. / Ред. и сост. А. Н. Кулик, Е. Ю. Мелешкина. М.: ИНИОН, 2004. № 4.

Теория и практика демократии: Избранные тексты / Пер. с англ.; Под ред. В. Л. Иноземцева, Б. Г. Капустина. М., 2006.

Теория партий и партийных систем: Хрестоматия / Сост. Б. А. Исаев. М., 2008.
Шмачкова Т. В. Мир политических партий // Полис. 1992. № 1, 2.

Шмачкова Т. В. Теория коалиций и становление российской многопартийности // Полис. 1996. № 5.

К главе 13

Алескеров Ф. Т., Ордешук П. Выборы. Голосование. Партии. М., 1995.

Борзова Е. И., Бурдукова И. И. Политические и избирательные системы государств мирового сообщества: Учеб. пособие. СПб., 2004.

Вся политика: Хрестоматия / Сост. В. Д. Нечаев, А. В. Филиппов. М., 2006.

Выборы во всем мире. Электоральная свобода и общественный прогресс: Энциклопедический справочник / Сост. А. А. Танин-Львов. М., 2001.

Джанда К., Бери Д. М., Голдман Д., Хула К. В. Трудным путем демократии: Процесс государственного управления в США. М., 2006.

Дюверже М. Политические партии. М., 2000.

Европа: Партии и выборы (Доклады Института Европы. № 125). М., 2003.

Исаев М. А., Чеканский А. Н., Шишкин В. Н. Политическая система стран Скандинавии и Финляндии. М., 2000.

Манен Б. Принципы представительной демократии. СПб., 2008.

Морозова Е. Г. Политический рынок и политический маркетинг: Концепции, модели, технологии. М., 1999.

Партии и выборы. База данных по парламентским выборам и политическим партиям в Европе. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.parties-and-elections.de/>.

Партии и выборы: Хрестоматия / Отв. ред. и сост. Н. В. Анохина, Е. Ю. Мелешкина. М., 2004. Ч. 1, 2.

Политическая наука: Избирательный процесс в России и Франции: Сб. науч. тр. / Ред. и сост. Е. Ю. Мелешкина. М.: ИНИОН, 2005. № 2.

Политическая наука: Социально-политические размежевания и консолидация партийных систем: Сб. науч. тр. / Ред. и сост. А. Н. Кулик, Е. Ю. Мелешкина. М.: ИНИОН, 2004. № 4.

Сморгунов Л. В. Современная сравнительная политология: Учебник. М., 2002.

Таагепера Р., Шугарт М. С. Описание избирательных систем. Современная сравнительная политология: Хрестоматия / Науч. ред. Г. В. Голосов. М., 1997.

Теория партий и партийных систем: Хрестоматия / Сост. Б. А. Исаев. М., 2008.

Технология и организация выборных кампаний: Зарубежный и отечественный опыт. М., 1995.

Электоральная политология: Теория и опыт России / Под ред. Л. Сморгунова. СПб., 1998.

К главе 14

Автономов А. С. Азбука лоббирования. М., 2004.

Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор. М., 2002.

- Вяткин К. С.* Лоббизм по-немецки // Полис. 1998. № 1.
- Джанда К., Бери Д. М., Голдман Д., Хула К. В.* Трудным путем демократии: Процесс государственного управления в США. М., 2006.
- Джордан Г.* Группы давления, партии и социальные движения: Есть ли потребность в новых разграничениях? // Мировая экономика и международные отношения. 1997. № 1.
- Зяблюк Н. Г.* Лоббизм в США как политический институт // США: Экономика. Политика. Идеология. 1995. № 1.
- Лапаломбара Дж.* Роль бюрократии в осуществлении демократии: Лекции по политологии. Таллинн, 1991. Т. 1.
- Лепехин В. А.* Лоббизм. М., 1995.
- Липсет С.* Американская демократия в сравнительной перспективе // Сравнительная социология: Избранные переводы. М., 1995.
- Олсон М.* Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция, социальный склероз. Новосибирск, 1998.
- Павроз А. В.* Теория политического плюрализма: Сущность, противоречия, альтернативы. СПб., 2009.
- Патнем Р.* Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии. М., 1996.
- Перегудов С. П.* Корпорации, общество, государство: Эволюция отношений. М., 2003.
- Перегудов С. П.* Новый российский корпоратизм: Демократический или бюрократический // Полис, 1997. № 2.
- Пиизова С. Н.* Демократия и политический рынок в сравнительной перспективе // Полис. 2000. № 2, 3.
- Теория и практика демократии: Избранные тексты / Пер. с англ.; Под ред. В. Л. Иноземцева, Б. Г. Капустина. М., 2006.
- Токвиль А.* Демократия в Америке. М., 1992.
- Шмиттер Ф.* Неокорпоратизм // Полис. 1997. № 2.

Библиографический список

10 лет российских реформ глазами россиян: Аналитический доклад. М.: Ин-т комплексных социальных исследований РАН, 2002.

Административные реформы в контексте властных отношений: Опыт постсоциалистических трансформаций в сравнительной перспективе / Под ред. А. Олейника и О. Гаман-Голутвиной. М., 2008.

Алескеров Ф. Т., Ордешиук П. Выборы. Голосование. Партии. М., 1995.

Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. 1992. № 4.

Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор. М., 2002.

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.

Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996.

Аристотель. Политика // Соч.: В 4 т. М., 1983. Т. 4.

Арон Р. Избранное: Измерения исторического сознания. М., 2004.

Арон Р. Тоталитаризм и демократия. М., 1993.

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993.

Аузан А. Где мы живем. М., 2005.

Афанасьев М. Н. Российская Федерация: Слабое государство и «президентская вертикаль» // Страна после коммунизма: Государственное управление в новой России. М., 2004. Ч. 1.

Ачкасов В. А., Грызов Б. В. Институты западной представительной демократии в сравнительной перспективе: Учеб. пособие. СПб., 2006.

Бауман З. Текучая современность. СПб., 2008.

Бейме К. фон. Будущее парламентской демократии // Мир политики: Суждения и оценки западных политологов: Сб. статей. М., 1992.

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М., 1995.

Бурдые П. Социология политики. М., 1993.

Бурлацкий Ф. М., Галкин А. А. Современный Левиафан: Очерки политической социологии капитализма. М., 1985.

Бусыгина И. М. Политическая регионалистика: Учеб. пособие. М., 2006.

Бусыгина И. М., Верещагина Е. Л. Европейские организации межрегионального сотрудничества: Лоббирование интересов через институты ЕС // Вестник МГИМО-Университета. 2010. № 2 (11).

Бьюкенен Д. Сочинения. М., 1997. Т. 1.

Валадес Д. Контроль над властью. М., 2006.

Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. М., 2006.

Василенко И. А. Сравнительная политология: Учеб. пособие. М., 2009.

Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.

Власть и демократия: Зарубежные ученые о политической науке. М., 1992.

Влахова К., Лебеда Т. Активная гражданская позиция и удовлетворенность демократией в Европе // Системные изменения и общественное сознание в странах Восточной Европы: Сб. науч. трудов. М., 2008.

Воскресенский А. Д. Политические системы и модели демократии на Востоке. М., 2007.

Вятр Е. Социология политических отношений. М., 1979.

Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. М., 1997.

Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990.

Геллнер Э. Разум и культура. Историческая роль рациональности и рационализма. М., 2002.

Гельман В. Я. Трансформация в России: Политический режим и демократическая оппозиция. М., 1999.

Гельман В. Я. Институциональное строительство и неформальные институты в современной российской политике // Полис. 2003. № 4. С. 6–26.

Гельман В. Я. Трансформация и режимы: Неопределенность и ее последствия // Россия регионов: Трансформация политических режимов. М., 2000.

Гельман В. Я., Елезаров В. П. «Учредительные выборы» в контексте российской трансформации // Первый электоральный цикл в России 1993–1996 гг. / Общ. ред. В. Гельман, Г. Голосов, Е. Мелешкина. М., 2000.

Гельман В., Рыженков С., Белокурова Е., Борисова Н. Реформа местной власти в городах России, 1991–2006. СПб., 2008.

Гоббс Т. «Левиафан» // Соч.: В 2 т. М., 1991. Т. 2.

Голосов Г. В. Пределы электоральной инженерии: «Смешанные несвязанные» избирательные системы в новых демократиях // Полис: Политические исследования. 1997. № 3.

Голосов Г. В. Сравнительная политология: Учебник. СПб., 2001.

Гомберт Т., Блезус Ю., Крелль К., Тимпе М. Основы социальной демократии. М., 2010.

Гражданское общество в России: Проблемы самоопределения и развития. Материалы научной конференции (Москва. 7 декабря 2000 г.). М., 2001.

Грибанова Г. И. Местное самоуправление в Западной Европе. Сравнительный анализ политико-социологических аспектов. СПб., 1998.

Даймонд Л. Преодолевая авторитаризм и тоталитаризм: Стратегия демократизации // Мир политики: Суждения и оценки западных политологов: Сб. ст. М., 1992.

Даль Р. Введение в теорию демократии. М., 1992.

Данн О. Нации и национализм в Германии 1770–1990. СПб., 2003.

Десярев А. А. Основы политической теории. М., 1998.

Демократия: Теория и практика. М., 1995.

Джанда К., Бери Д. М., Голдман Д., Хула К. В. Трудным путем демократии: Процесс государственного управления в США. М., 2006.

Джордан Г. Группы давления, партии и социальные движения: Есть ли потребность в новых разграничениях? // Мировая экономика и международные отношения. 1997. № 1.

Дилигенский Г. Г. Социально-политическая психология. М., 1996.

Доган М. Падение традиционных ценностей в Западной Европе: Религия, государство-нация, власть // Мировая экономика и международные отношения. 1999. № 12.

Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М., 1994.

Долгополова С. В политическом тумане // Политический журнал. 2007. № 13/14. 16 апреля.

Домбовски М. Государство и постиндустриальная экономика // Вестник Европы XXI век. М., 2006. Т. XVIII.

Дубин Б. Интеллектуальные группы и символические формы: Очерки социологии современной культуры. М., 2004.

Дуткевич П., Ларуиер В., Гозина Д. Вызовы демократизации: Перспективы политической трансформации в Восточной Европе // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Политология. 2001. № 3 // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.humanities.edu.ru/db/msg/45671>.

Дюверже М. Политические партии. М., 2000.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1990.

Жаке Ж.-П. Конституционное право и политические институты. М., 2002.

Желтов В. В. Сравнительная политология: Учебник. М., 2008.

Зазнаев О. И. Полупрезидентская система: Теоретические и прикладные аспекты. Казань, 2006.

Заславская Т. О социальном механизме посткоммунистических преобразований в России // Социс. 2002. № 8.

Захаров А. E pluribus unum. Очерки современного федерализма. М., 2003.

Зегерт Д. Трансформация и развитие партий в Восточной Европе после завершения переходного десятилетия // Политическая конкуренция и партии в государствах постсоветского пространства: Сб. ст. / Ред.-сост. Е. Ю. Мелешкина, Г. М. Михалева. М.: ИНИОН, 2009.

Иванченко Л. А. Организационно-правовое обеспечение приоритетов регионального развития // Конституционно-правовые проблемы развития российского федерализма. М., 2000.

Ильин М. В., Мелешкина Е. Ю., Мельвиль А. Ю. Формирование новых государств: Внешние и внутренние факторы консолидации // Полис. 2010. № 3.

Инглхарт Р., Бейкер У. Е. Модернизация, культурные изменения и устойчивость традиционных ценностей // Теория и практика демократии: Избранные тексты. М., 2006.

Истон Д. Категории системного анализа политики // Антология политической мысли. М., 1997. Т. 2.

Казин Ф. А. Конец «переходного периода» или «серая зона» Европы? // Вестник политической психологии. СПб., 2003. № 2 (5).

Карозерс Т. Ошибка теории «поэтапной демократизации» // Pro et Contra. 2007. № 1 (35).

Кин Дж. Нации, национализм и гражданство в Европе // Международный журнал социальных наук. 1994. Ноябрь. № 4 (7).

Кирдина С. Современные российские реформы: Поиск закономерностей // Общество и экономика. 2002. № 3–4.

Козловски П. Общество и государство: Неизбежный дуализм. М., 1998.

Кола Д. Политическая социология. М., 2001.

Кон Г. Азбука национализма // Проблемы Восточной Европы. Вашингтон, 1989. № 25–26.

Кота М., Верцичелли Л. Основные пути развития и трансформации парламентской элиты в Европе (1848–2000 гг.) // Парламентаризм в России и Германии. История и современность / Отв. ред. Я. А. Пляйс, О. В. Гаман-Голутвина. М., 2006.

Козн С. Провал крестового похода. США и трагедия посткоммунистической России. М., 2001.

Кулик А. Н. Сравнительный анализ в партологии (проект К. Джанды) // Полис. 1993. № 1.

Левада-центр. Пресс-выпуск № 43. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.levada.ru/press/2003122500.shtml>.

Лейкман Э., Ламберт Д. Исследование мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. М., 1958.

Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное исследование. М., 1997.

Лейпхарт А. Конституционные альтернативы для новых демократий. Современная сравнительная политология: Хрестоматия / Сост. Г. Голосов, Л. Галкина. М., 1997.

Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М., 2007.

Липсет С. Американская демократия в сравнительной перспективе // Сравнительная социология: Избранные переводы. М., 1995.

Липсет С. М. Неизбывность политических партий // Политическая наука: Политические партии и партийные системы в современном мире: Сб. науч. тр. / Ред.-сост. А. Н. Кулик, Е. Ю. Мелешкина. М., 2006. № 1.

Локк Дж. Два трактата о правлении // Соч.: В 3 т. М., 1988. Т 3.

Люббе Г. Право оставаться иным. К философии регионализма // Политическая философия в Германии: Сб. ст. М., 2005.

Маколей Т. Б. Полн. собр. соч. СПб., 1860–1866.

Макфол М. Пути трансформации посткоммунизма. Сравнительный анализ демократического прорыва в Сербии, Грузии и Украине // Pro et Contra. 2005. Т. 9. № 2 (29).

Малахов В. Скромное обаяние расизма. М., 2001.

Малинова О. Ю. Либеральный национализм (середина XIX — начало XX века). М., 2000.

Мальшева Н. С. Политические идеи Гарольда Д. Ласки // Власть и демократия: Зарубежные ученые о политической науке. М., 1992.

Медушевский А. Размышления о современном российском конституционализме. М., 2007.

Межуев Б. В. Возможности применения понятия «гражданской культуры» к российской политике // Гражданская культура в современной России: Сб. науч. работ грантополучателей МОНФ. М., 1999.

Мельвил А. Ю., Ильин М. В., Мелешкина Е. Ю. и др. Как измерить и сравнить уровни демократического развития в разных странах? (По материалам исследовательского проекта «Политический атлас современности»). М., 2008.

Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях // Полис. 2002. № 2.

Мерло П. Электоральная практика, права человека и доверие к демократической системе // Полис. 1995. № 4.

Мертес М. Немецкие вопросы — европейские ответы. М., 2001.

Миллер А. И. Прошлое и историческая память как факторы формирования дуализма идентичностей в современной Украине // Политическая наука. М.: ИНИОН, 2008. № 1.

Миль Дж. Ст. Рассуждения о представительном правлении. Челябинск, 2006.

Миронок М. Г. Современный федерализм: Сравнительный анализ: Учеб. пособие. М., 2008.

Монтескье Ш. Избр. произв. М., 1955.

Нагайчук А. Ф. Лоббирование социальных интересов в политике. СПб., 2004.

Надаис А. Выбор избирательной системы // Полис. 1993. № 3.

Ноженко М. Национальные государства в Европе. СПб., 2007.

Нольте Э. Европейская гражданская война (1917–1945). Национал-социализм и большевизм. М., 2003.

Олсон М. Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция, социальный склероз. Новосибирск, 1998.

Олсон М. Логика коллективного действия. М., 1995.

Оукшот М. Рациональное поведение // Оукшот М. Рационализм в политике. М., 2002.

Оффе К. Этнополитика в восточноевропейском переходном процессе // Полис. 1996. № 2.

Паин Э. Распутица: Полемиические размышления о преопределенности пути России. М., 2009.

Парламентаризм в России и Германии. История и современность / Отв. ред. Я. А. Пляйс, О. В. Гаман-Голутвина. М., 2006.

Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997.

Партии и выборы: Хрестоматия / Отв. ред. и сост. Н. В. Анохина, Е. Ю. Мелешкина. М., 2004. Ч. 1, 2.

Первый электоральный цикл в России 1993–1996 гг. / Общ. ред. В. Гельман, Г. Голосов, Е. Мелешкина. М., 2000.

Петро Н. О концепции политической культуры или об основной ошибке советологии // Полис. 1998. № 1.

Победоносцев К. П. Великая ложь нашего времени. М., 1993.

Повороты истории. Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей: В 2 т. Т. 1: Постсоциалистические трансформации: теоретические подходы. СПб.; М.; Берлин, 2003.

Повороты истории. Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей: В 2 т. Т. 2: Постсоциалистические трансформации в сравнительной перспективе. СПб.; М.; Берлин, 2003.

Погорельская С. В. Германия: Социально-политические аспекты процессов «внутреннего объединения» // Актуальные проблемы Европы: Сб. науч. тр. М.: ИНИОН, 2007. № 4: Две Европы: Процессы интеграции / Ред.-сост. Ю. А. Гусаров.

Поздняков Э. А. Нация. Национализм. Национальные интересы. М., 1994.

Политическая наука в Западной Европе / Под ред. Х.-Д. Клингеманна; Науч. ред. Е. Б. Шестопаля. М., 2009.

Политическая наука: Новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна; Науч. ред. Е. Б. Шестопаля. М., 1999.

Политическая наука: Политические партии и партийные системы в современном мире: Сб. науч. тр. / Ред. и сост. А. Н. Кулик, Е. Ю. Мелешкина. М.: ИНИОН, 2006. № 1.

Политическая наука: Сб. науч. тр. М.: ИНИОН, 2007. № 3: Государства в политическом пространстве современности / Ред.-сост. А. Ю. Мельвиль, М. Г. Миронюк.

Политическая наука: Сб. науч. тр. М.: ИНИОН, 2008. № 1: Формирование нации и государства в современном мире / Ред.-сост. А. И. Миллер.

Политическая наука: Сб. науч. тр. М.: ИНИОН, 2010. № 1: Формирование государства в условиях этнокультурной разнородности / Ред. сост. Е. Ю. Мелешкина, А. И. Миллер.

Политическая наука: Социально-политические размежевания и консолидация партийных систем: Сб. науч. тр. / Ред. и сост. А. Н. Кулик, Е. Ю. Мелешкина. М.: ИНИОН, 2004. № 4.

Политические институты на рубеже тысячелетий / Под ред. К. Г. Холодковского. Дубна, 2001.

Политические системы и политические культуры Востока / Под ред. А. Д. Воскресенского. М., 2007.

Полищук Л. И. Российская модель «переговорного федерализма»: Политико-экономический анализ // Политика и экономика в региональном измерении / Под ред. В. Климанова и Н. Зубаревич. М.; СПб., 2000.

Поннер К. Р. Открытое общество и его враги: В 2 т. М., 1992.

Простаков И. А. Корпоративизм как идея и реальность // Свободная мысль. 1992. № 2.

Публичная политика: Вопросы мягкой безопасности в Балтийском регионе / Под ред. М. Б. Горного. СПб., 2004.

Пюиже де Ж. Шовен, солдат-землепашец: Эпизод из истории национализма. М., 1999.

Региональные элиты Северо-Запада России: Политические и экономические ориентации / Под ред. А. В. Дуки. СПб., 2001.

Россия между вчера и завтра. М., 2005.

Россия регионов: Трансформация политических режимов / Под ред. В. Я. Гельмана. М., 2000.

Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969.

Рыхард А. Посткоммунизм: Институциональный порядок или хаос? (реф.) // Системные изменения и общественное сознание в странах Восточной Европы: Сб. науч. тр. / Редколл.: Л. Н. Шаншиева (отв. ред.) и др. М.: ИНИОН, 2008.

Рэгин Ч. Особенности компаративистики // Современная сравнительная политология: Хрестоматия. М., 1997.

Сартори Дж. Вертикальная демократия // Политические исследования. 1993. № 2.

Сартори Дж. Партии и партийные системы: Рамки анализа // Партии и выборы: Хрестоматия / Отв. ред. и сост. Н. В. Анохина, Е. Ю. Мелешкина. М.: ИНИОН, 2004. Ч. 1.

Селеньи И. Строительство капитализма без капиталистов — три пути перехода от социализма к капитализму // Русские чтения. Вып. 3 (январь—июнь 2006 г.). М., 2006.

Сергеев В. М. Демократия как переговорный процесс. М., 1999.

Системные изменения и общественное сознание в странах Восточной Европы: Сб. науч. тр. / Редколл.: Л. Н. Шаншиева (отв. ред.) и др. М., 2008.

Сморгунов Л. В. Современная сравнительная политология: Учебник. М., 2002.

Сморгунов Л. Сравнительная политология: Теория и методология измерения демократии. СПб., 1999.

Современная сравнительная политология: Хрестоматия / Науч. ред. Г. В. Голосов, Л. А. Галкина. М., 1997.

Союзы: Кооперация и конфронтация. Бонн: In-press-basis-info, 1999.

Сравнительная политика: Основные политические системы современного мира / Под ред. В. С. Бакирова, Н. И. Сазонова. Харьков, 2005.

Сравнительные политические исследования России и зарубежных стран / Отв. ред. В. В. Лапкин. М., 2008.

Сравнительный федерализм и российские проблемы федеративных отношений: Сб. ст. / Под ред. Л. В. Сморгунова. СПб., 2008.

Страны Балтии и Россия: Общества и государства / Отв. ред.-сост. Д. Е. Фурман, Э. Г. Задорожнюк. М., 2002.

Сэндлер Т. Экономические концепции для общественных наук. М., 2006.

Тарасенко А. В. Роль совещательных органов в политических системах со слабым парламентом: Европейский союз и Россия...

Теория и методы в современной политической науке: Первая попытка теоретического синтеза / Под ред. С. У. Ларсена. М., 2009.

Теория и практика демократии: Избранные тексты / Пер. с англ.; Под ред. В. Л. Иноземцева, Б. Г. Капустина. М., 2006.

Теория партий и партийных систем: Хрестоматия / Сост. Б. А. Исаев. М., 2008.
Тимофеев И. Н. Формализованные методы исследования в политологии и сравнительной политике: Перспективы политологической школы МГИМО // Сравнительная политика. 2010. № 1.

Тишков В. А. Что есть Россия и российский народ // Наследие империй и будущее России / Под ред. А. И. Миллера. М., 2008.

Туровский Р. Ф. Политическая регионалистика. М., 2006.

Федералист. Политические эссе Александра Гамильтона, Джеймса Мэдисона и Джона Джея. М., 1994.

Федосов П. А. Двухпалатные парламенты: Европейский и отечественный опыт // Полис. 2001. № 1, 2.

Фесенко В. Сила и слабость партийной системы Украины // Политическая наука. 2006. № 1.

Флере С. Причины распада бывшей Югославии: Взгляд социолога // Социс. 2003. № 5.

Фливерберг Б. Кейс-стади в контексте качественно-количественной проблематики // Социс. 2004. № 9.

Флигстин Н. Поля, власть и социальные навыки: Критический анализ новых институциональных течений // Экономическая социология. 2001. № 4.

Хабермас Ю. Гражданство и национальная идентичность // Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность. М., 1995.

Хайек Ф. Пагубная самонадеянность: Ошибки социализма. М., 1992.

Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М., 2004.

Хантингтон С. Политический порядок в изменяющихся обществах. М., 2004.

Хигли Дж. Элиты, массовые группы и пределы политики: Методология и практика сравнительного анализа // Сравнительная политика. 2010. № 1.

Хилл Р. Новые государства Центральной и Восточной Европы // Европейская интеграция: Современное состояние и перспективы. Минск, 2001.

Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб., 1998.

Хьюбнер К. Нация: От забвения к возрождению. М., 2001.

Чилкот Р. Х. Теории сравнительной политологии. В поисках парадигмы. М., 2001.

Чичерин Б. Н. О народном представительстве. М., 1899.

Шаран П. Сравнительная политология. М., 1992. Ч. I.

Шевцова Л. Режим Бориса Ельцина. М., 1999.

Шеррер Ю. Германия и Франция: Проработка прошлого // Pro et Contra. 2009. № 3—4. Май—август.

Шмачкова Т. В. Мир политических партий // Полис. 1992. № 1—2.

Элейзер Д. Дж. Сравнительный федерализм // Полис. 1995. № 5.

Эндрейн Ч. Ф. Сравнительный анализ политических систем. Эффективность осуществления политического курса и социальные преобразования. М., 2000.

Эш Т. Г. 1989 год и перспективы «бархатных революций» // Pro et Contra. Журнал российской внутренней и внешней политики. Т. 13. 2009. № 5—6.

A New Handbook of Political Science / H.-D. Klingemann (eds.). Oxford: Oxford University Press, 1996.

Almond G. A. Political Development. Boston, 1970.

Almond G. A., Powell D. G. Comparative Politics: A Developmental Approach. Boston, 1966.

Almond G. A., Verba S. The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations. Boston, 1965.

- Arts W., Halman L.* National Identity in Europe today: What people feel and like? // Intern. J. of Sociology. Armonk, 2005–2006. Vol. 35. No 4.
- Ash T. G.* The Last Revolution // Hoover Digest — Hoover Institution on War, Revolution, and Peace. 2001. No 1.
- Ash T. G.* We the People: The Revolution of '89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague. Granta Books, 1990.
- Ashwin S.* «There's no joy any more»: the experience of reform in Kuzbass mining settlement // Europe-Asia Studies. 1995. Vol. 47. No 8. P. 1375–1378.
- Bell-Fialkoff A., Markovits A.* Nationalism: Rethinking the Paradigm in the European Context // The Myth of «Ethnic Conflict»: Politics, Economics and «Cultural» Violence / Ed. by B. Crawford and R. Lipschutz. Beverly, Cal., 1998.
- Berend I. T.* The «Crisis Zone» Revisited: Central and Eastern Europe in the 1990-s // East European Politics and Society. Vol. 15. No 2.
- Beyme von K.* Political parties in western democracies. Gower, 1985.
- Blondel J.* Comparative Legislatures. N.Y., 1973.
- Borneman J.* Belonging to the Berlins: King, State, Nation. Cambridge, 1992.
- Bringing the State Back / P. Evans, D. Rueschemeyer, T. Skocpol (eds). Cambridge, 1985.
- Buchanan J. M.* Limits of Liberty. Between Anarchy and Leviathan. Chicago, 1975.
- Bunce V.* Should transitologists be Grounded? // Slavic Review: American Quarterly of Russian, Eurasian and East European Studies. Spring 1995. Vol. 54. No 1.
- Burawoy M.* Transition without Transformation: Russia's Involuntary Road to Capitalism // East European Politics and Society. Vol. 15. No 2.
- Cain W., Ferejohn J., Fiorina M.* The personal vote: Constituency service and electoral independence. Cambridge (Mass.); London, 1989.
- Calhoon C.* Nations matter. Culture, history, and the cosmopolitan dream. L.; N.Y., 2007.
- Caramani D.* The nationalization of politics: The formation of national electorates and party systems in Western Europe. Cambridge; N.Y., 2004.
- Carothers T.* Confronting the Weakest Link: Aiding Political Parties in New Democracies. Washington, 2006.
- Carothers T.* The End of the Transition Paradigm // Journal of Democracy. Vol. 13. 2002. No 1.
- Colomer J. M.* Great empires, small nation: The uncertain future of the sovereign state. L.; N.Y., 2007.
- Comparative Constitutional Federalism: Europe and America. Westpoint, 1990.
- Comparing party system change / Ed. by P. Pennings, J. E. Lane. L.; N.Y.: Poutledge, 1998.
- Dahl R.* Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven.
- Dalton R.* Comparative Politics: Micro-behavioral Perspectives // The New Handbook of Political Science. Oxford, N.Y., 1996.
- Dalton R. J.* Citizen Politics in Western Democracies: Public Opinion and Political Parties in the United State, Great Britain, West Germany and France. Chatham, 1988.
- Divided Democracy. Cooperation and Conflict between the President and Congress / J. A. Thurber (ed.). Washington, 1991.
- Downs A.* Economic Theory of Democracy. N.Y., 1957.
- Duchacek I.* Comparative Federalism: The Territorial Dimension of Politics. Holt, 1970.
- Duverger M.* A New Political System Model: Semi-Presidential Government // European Journal of Political Research. 1980. Vol. 8.
- Eckstein H.* A Culturalist Theory of Political Change // American Political Science Review. 1988. Vol. 82. No 3.

- Eisenstadt S. N., Roniger L.* Patrons, clients and friends. Interpersonal relations and the structure of trust in society. Cambridge, 1984.
- Elazar D. J.* Exploring Federalism. Tuscaloosa, AL. 1987.
- Ericson R.* Does Russia Have a «Market Economy»? // *East European Politics and Society*. Vol. 15. 2002. No 2.
- Ersson S., Lane J.-E.* Politics and Society in Western Europe. L., 1987.
- Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights / S. May, T. Modood and J. Squires (eds).* Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Etzioni A.* Moral Dimension. Toward a New Economics. N.Y.; L., 1988.
- Fishman Robert M.* Rethinking State and Regime: Southern Europe's Transition to Democracy» // *World Politics*. 1990. Vol. 42. No 3. P. 422–440.
- Goodwin J.* No other way out. States and Revolution, 1945–1991. Cambridge, 2001.
- Gunther R., Diamond L.* Species of political parties: A new typology // *Party politics*. L. etc., 2003. Vol. 9. No 2.
- Gurr T. R.* Why Men Rebel? Princeton, N.Y., 1970.
- Habermas J.* Die nachholende Revolution. Frankfurt a. M., 1990.
- Haggard S., Simmons B. A.* Theories of international regimes // *International Organization*. 1987. Vol. 41. No 3.
- Helmke G., Levitsky S.* Informal institutions and comparative politics: a research agenda // *Working Paper No 307*. 2003. September.
- Hirst P.* From Statism to Pluralism. L., 1997.
- Hobsbawm E.* Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914–1991. L., 1994.
- Hopkin J., Paolucci C.* The Business Firm Model of Party Organization: Cases from Spain and Italy // *European Journal of Political Research*. Oxford, 1999. Vol. 35. No 3. P. 307–339.
- Horowitz D.* Ehtnic groups in conflict. Berkeley, 1985.
- Horowitz S.* Sources of Post-communist Democratization: Economic Structure, Political Culture, War and Political Institutions // *Nationalities Papers*. Vol. 31. No 2. 2003. June.
- Huber J.* Rationalizing Parliament. N.Y., 1996.
- Huntington S.* Will More Countries Become Democratic? // *Political Science Quarterly*. 1984. Vol. 99. No 2.
- Inglehart R.* Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton, 1990.
- Inglehart R., Norris P.* The True Clach of Civilizations // *Foreign Policy*. 2003. March–April.
- Inglehart R., Baker W. E.* Modernization, Cultural Change and the Persistence of Traditional Values // *American Sociological Review*. 2000. February.
- Jackman R. W., Miller R. A.* A Renaissance of Political Culture? // *American Journal of Political Science*. 1996. Vol. 40. No 3.
- Janos Andrew C.* From Eastern Empire to Western Hegemony: East Central Europe under Two International Regimes // *East European Politics and Society*. Vol. 15. No 2.
- Jary D., Jary J.* Collins dictionary / Harper Collins Publishers. 1991.
- Katz R.* Democracy and elections. Oxford University Press, 1997.
- Katz R. S., Mair P.* Changing Model of Party Organisation and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party // *Party Politics*. 1995. No 1.
- Kesselman M., Krieger J., Joseph W. A.* Introduction to Comparative Politics: Political Challenges and Changing Agendas. 2^d ed. Boston; N.Y., 2000.
- Kitschelt H.* Comparative historical research and rational choice theory: The case of transitions to democracy // *Theory and Society Klower Acad. Publie*. Vol. 22/3. 1993. June.
- Kotkin S.* Uncivil Society: 1989 and the Implosion of the Communist Establishment. N.Y., 2009.
- Krasner St. D.* Approaches to the State: Alternative Conceptions and Historical Dynamics // *Comparative Politics*. 1984. No 16 (2). P. 223–246.

- LaPalombara J., Weiner M.* Political parties and political development. Princeton University Press, 1972.
- Lepsius M. R.* Interessen, Ideen und Institutionen. Opladen, 1990.
- Linz J.* Totalitaere und autoritaere Regime. Berlin, 2000.
- Linz J., Stepan A.* Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and Post-Communist Europe. Baltimore. MD, 1996.
- Lipset S. M.* Political Man. L., 1956.
- Lipset S. M., Rokkan S.* Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives. N.Y., 1967.
- Macridis Roy C.* Modern Political Regimes: Institutions and Patterns. Boston: Little, Brown & Company, 1986.
- March J., Olsen J.* The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life / American Political Science Review. 1984. Vol. 78. P. 734–749.
- Mearsheimer J. J.* The false promise of international institutions // International Security. 1994/95. Vol. 19. No 3.
- Merkel W.* Defective democracies // Estudio: Working Paper. 1999. No 132.
- Munck Gerardo L.* Disaggregating Political Regime: Conceptual Issues in the Study of Democratization, Working Paper 228, The Helen Kellogg Institute for International Studies, 1996.
- Nairn T.* Faces of Nationalism: Janus Revisited. L., 1997.
- Nation and narration / Ed. by H. K. L. Bhabha. N.Y., 1990.
- Neumann S.* Modern Political Parties: Approaches to Comparative Politics. University of Chicago Press, 2000.
- O'Donnell Guillermo, Schmitter Philippe.* Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1986.
- Offe C.* Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory Facing the Triple Transition in East-Central Europe // Economic Institutions, Actors and Attitudes: East-Central Europe in Transition. / G. Lengyl, C. Offe and J. Tholen (eds). Budapest, 1992.
- Panbianko A.* Political Parties: Organization and Power. Cambridge, 1988.
- Parliaments of the World. A Comparative Reference Compendium. Vol. II. Inter-Parliamentary Union. L., 1986.
- Parsons T.* Politics and social structure. N.Y., 1969.
- Party systems and voter alignments revisited / Ed. by L. Karvonen, S. Kuhnle. L.; N.Y.: Routledge, 2001.
- Peters B.* Guy Comparative Politics. Theory and Methods. N.Y., 1998.
- Political culture and Post-Communism / Ed. by S. Whitefield. Oxford, 2005.
- Political Parties Old Concepts and New Challenges / Ed. by R. Gunter, J. R. Montero and J. J. Linz. Oxford, 2002.
- Poznanski K.* Transition and its Diissenters: An Introduction // East European Politics and Society. Vol. 15. No 2.
- Presidentialism and democracy in Latin America / Ed. by S. Mainwaring, M. S. Shugart. Cambridge, 1997.
- Reinterpreting Revolution in Twentieth-Century Europe / M. Donald, T. Rees (eds). L., 2001.
- Riker W. N.* Federalism: Origin. Operation. Significance. Boston, 1964.
- Sartori G.* Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes. 2nd ed. L.: Macmillan Press, 1997.
- Sartori G.* Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Vol. 1. Cambridge, 1976.
- Scalapino R. A.* Modernization and Revolution in Asia // Problems of Communism. 1992. No 41. January—April.

Schmitter P, Lehbruch G. Trends Towards Corporatist Intermediation. Beverly Hills, CA: 1979.

Schmitter Ph. The Consolidation of Democracy and Representation of Social Groups // American behavioral scientist. 1992. Vol. 35. No 4/5. March/June.

Seton-Watson H. Nations and States: An Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism. Boulder, 1977.

Snyder J. From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict. N.Y.; L., 2000.

Snyder L. The New Nationalism. Ithaca, 1968.

Stolting E. Angst, Agression und nationale Denkform // Prokla. 1992. No 2.

Stoner-Weiss K. Russia: Managing Territorial Cleavages under Dual Transitions // Federalism and Territorial Cleavages / Ed. by U. M. Amoretti and N. Bermeo. Baltimore and L., 2004.

Svend-Erik Skaaning Political Regimes and Their Changes: A Conceptual Framework // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://cddrl.stanford.edu/publications/political_regimes_and_their_changes_a_conceptual_framework.

Taylor Ch. The politics of recognition // Philosophical arguments. Cambridge, 1997.

The Handbook of political change in Eastern Europe. 2nd ed. Chaltenham; Northampton, 2004.

Tilly C. European Revolutions, 1492–1992. Oxford, 1993.

Vanhanen T. Process of Democratization: A Comparative Study of 147 States (1980–88). N.Y., 1990.

Verba S. et al. Voice and equality: civic voluntarism in American politics. Cambridge (Mass.), 1995.

Verdery K. Whither «Nation» and «Nationalism» // Daedalus. Bloomington, 1993. No 3. Summer.

Wiarda H. Comporatism and Comparative Politics: The Other Great “Ism”. Armonk, 1997.

Witehead L. The Alternatives to «Liberal Democracy»: A Latin American Perspective // Political Studies. 1992. Vol. XL. Special Issue.

Young C. The Politics of Cultural Pluralism. Madison, 1976.

Учебник

Ачкасов Валерий Алексеевич

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ

Редактор *Е. Н. Ковалева*. Корректор *А. А. Баринова*.

Художник *Д. А. Сенчагов*. Компьютерная верстка *С. А. Артемьевой*

Подписано к печати 24.12.2010. Формат 60×90^{1/16}. Гарнитура «NewtonC».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 25. Тираж 1500 экз. Заказ №

ЗАО Издательство «Аспект Пресс»

111141, Москва, Зеленый проспект, д. 8.

E-mail: info@aspectpress.ru; www.aspectpress.ru.

Тел.: (495)306-78-01, 306-83-71

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»

143200, Можайск, ул. Мира, 93.